

# НАШ СОВРЕМЕНИК

---

*Журнал писателей России*

---



№ 11 2015



НИНА ЯГОДИНЦЕВА



## ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ — ТАКАЯ ПЕЧАЛЬ...

\* \* \*

*Михаилу Стригину*

О, я угадаю, наверно, не скоро,  
Какими судьбами мы в небе носимы...  
Высокие амфоры зноя морского  
Везёт караван через душные зимы.

Сломать бы сургуч, приложиться губами  
К шершавому горлышку с привкусом глины —  
Но волны, что прежде несли и купали,  
Беззвучно уходят в ночные долины,

И амфора, ахнув, ложится на камень  
Тяжёлым, округлым коричневым боком —  
И влажно блестит в полутьме черепками,  
Как частыми звёздами в небе глубоком.

И жажда моя неутешна отныне,  
И сколь ни мечтаю забыть — бесполезно,  
Как ветер качает мосты навесные —  
Пути караванов сквозь гулкие бездны.

---

*ЯГОДИНЦЕВА Нина Александровна родилась в Магнитогорске, окончила Литературный институт им. А. М. Горького, член Союза писателей России, автор нескольких поэтических книг. Лауреат премии им. Бажова.*

\* \* \*

Четыреста лет монастырь стоял  
И семьдесят лет — пустырь.  
Камень стёрся до дыр и свет золотой остыл.  
Храм восстановили, закрыли дверь на замок,  
И с этого дня идущий мимо порою услышать мог:

Поют, Господи! Словно издалека,  
Пыльцой прозрачной осыпаясь на облака,  
Слёзной радугой озаряя глаза —  
Высокие женские голоса.

Из-за узких окон и толстых стен  
Слов и не разобрать совсем —  
Только сам полёт молитвенных голосов,  
Понятный без слов.

Подходили к порогу, тяжёлый ключ вставляли в замок,  
Слушали: звучит ли хор неведомый, или смолк?  
Тихо под сводами. На домотканых половиках  
Серебрится прах.

Выходили. Лязгала дверь. Не поют — молчат.  
В селе палили костры, лежал удушливый чад,  
Внизу в овраге молча журчал родник...  
И не у кого было спросить о них.

Как принять на веру вечный небесный труд?  
Дадут ли тебе на поруки поруганный этот сад?  
Мимо проходишь: Господи, как же светло поют!  
Дверь открываешь — пусто. Нет никого. Молчат.

Но прорезается в сердце лёгкий высокий звук  
И прорастает к небу через живую ткань:  
Сколько же здесь работать, не покладая рук,  
Не раскрывая тайн...

\* \* \*

Над теченьем илистым и мглистым  
Белый пар пронизан стрелолистом —  
Натянулся звонкой тетивой  
Берег под водою и травой.

И дрожит невыразимой мукой  
Лёгкий воздух над крутой излукой —  
Словно бы смертельная струна  
Из последних сил напряжена.

И, гремя пустыми колчанами,  
Чёрный миг уже стоит за нами.  
Только обернёшься — за спиной  
Гул идёт небесный ледяной.

Страшно по степи ходить дозором,  
Счёт забыв своим печальным зорям,  
Чувствуя, как дышит пустота  
Прямо от дорожного креста.

Тетива звенит невыносимо,  
Чёрный перемешивая с синим,

Словно на разрыв и на излом  
Пробуя небесный окоём.

Сколь прочна таинственная жила  
И крепка излука, где из ила  
Выйдя на дозорную версту,  
Стрелолисты целят в высоту?

\* \* \*

Была весна, из первых, неприкаянных,  
Покуда незнакома, но светла,  
Земля зазеленела на проталинах  
И в воздухе над ними зацвела,

Как будто колокольчик вверх подбросили,  
Высоким звоном сердце обожгли —  
И из семян, раскиданных по осени,  
Леса полупрозрачные взошли...

Но ступишь в их зелёную распутицу,  
Где мята, зверобой и череда, —  
Случится жизнь, и больше не забудется,  
Как прежняя забылась навсегда.

Мне было пять. Небесною громадою  
Стоял весенний день передо мной,  
И мне казалось — я лечу и падаю  
В какой-то золотисто-рыжий зной...

Светлела просыхающая улочка,  
Чернел, освобождаясь, палисад...  
И ни следа младенческого ужаса,  
Бессмысленно зовущего назад.

Мне было пять. Над буквами и числами  
Ещё довели крепкие замки.  
Но ясно было всё, чему учиться мне  
И чем душе спастись от тоски.

\* \* \*

Человек человеку — такая печаль  
Неизбывная, Господи!  
По лукавым речам, пересохшим ручьям,  
По мерцанию в голосе

Приближаемся к небу, где всё на просвет —  
Даже горы и крепости.  
Человек человеку... Печальнее нет  
Сей невидимый крест нести.

Занимается сердце: боли, но вмещай  
Всё, чем жили — да бросили...  
Человек человеку такая печаль  
Неизбежная, Господи!

Невозможная, Господи! Всюду темно —  
А иду как с лампадою.  
Что мне в этой пресветлой печали дано,  
Коль иду, а не падаю?

МИХАИЛ ПОПОВ



## ЗОЛОТАЯ ДОРОЖКА ПОПЕРЁК ЛЕТЕЙСКИХ ВОД

ПОВЕСТЬ

1

До репетиции оставалось полчаса. Родюшин решил наведаться в литературную часть. Сокращая путь, он пошёл не вкруговую, а через сцену, и — то ли потому, что ещё не освоился, то ли скудость освещения была причиной, — в закулисе малость заплутал и даже ударился головой о какой-то выступ.

— Неча голову-то задирать, — раздалось из дальних потёмков, голос был надсадный и скрипучий. — Тут те не триумфальная арка.

Потирая маковку — хорошо, не лоб, а то сверкал бы! — морщась от боли и досады, Родюшин стал медленно продвигаться на свет дальнего фонаря, но у середины кулис остановился и даже тихонько вернулся назад. Зачем? Ему послышалось два голоса, когда он шагнул за кулисы.

— ...Вот она и говорит той, мол, эти приглашённые режиссёры, что одноразовые шприцы: один укол — и в мусор. — Голос был молодой, озорватый, не иначе слегка захмелённый.

---

*ПОПОВ Михаил Константинович родился в 1947 году. Окончил Ленинградский государственный университет. Работал слесарем-монтажником и лаборантом-ультразвуковиком на военном судоремонтном заводе (Северодвинск), в геологоразведке на Северном Тимане, профессиональным рыбаком в Прибалтике. Последние двенадцать лет — редактор журнала “Двина”. Пишет прозу, публицистику, произведения для детей и юношества. Автор двух с половиной десятков книг. Отмечен рядом всероссийских премий, а также международными премиями имени М. А. Шолохова и “Полярная звезда”. Лауреат премии журнала “Наши современники” за 2012 год.*

— Э-э, — раздалось в ответ, не сразу так, а погодя, словно после театральной паузы. Впрочем, здесь нужды в ней не было. Пауза требовалась не по диалогу, а, скорее, чтобы дожевать закусь. — Неудачное сравнение, друг Горацио. Шприцы — тьфу! Что он впрыснет, тот шприц — вот вопрос. Ладно глюкозу. Для вящей бодрости. Или...

— Шило, — встрял “Горацио” и цокнул языком, видать, сопроводив этот звук щелчком под скулу.

— Во-во, аква-вита, — теперь уже с театральной значительностью ото-звался собеседник, он явно был старше. — Для увеселения, так сказать. Для ободрения Хомы сапиенса, а также брата его Брута. — Он снова помедлил, явно оценивая изречённое: — Это по содержанию. А и форма ведь бывает переменчива, даром что... А ну, как шприц обернётся шипом, а-а! Да не розы — анчара! Помнишь? “К нему и птица не летит...” Или клинком... Слышь, Гертруда? Герой труда... Ах, как бывалоча: “Лети, клинок, лети...” — Тут опять возникла пауза. На сей раз она была явно не преднамеренная, а по причине потери генеральной мысли. Но раздавшееся бульканье всё вернуло на свои места:

— Шприц — тьфу! Не шприц — клинок! И на тот клинок, аки на шампур, — всю трупшу с потрохами. Труп трупы. У них же там и так ладу нет, а развороши...

Не дослушав диалога, в котором речь шла о нём, Родюшин боком-боком, стараясь ничего не задеть, этакой тенью устремился к свету. Надо будет фонарик купить, чтобы не плутать в этом зазеркалье. Да и на улице пригодится — темнеет рано, как-никак осень на дворе.

На подходе к литчасти Родюшин глянул в стекло пожарного гидранта. Волосы торчали во все стороны. “Сено-солома”, — говаривала, бывало, тётя Маня, приглаживая его детскую шевелюру. Двумя пятернями он забрал волосы назад, попутно коснувшись места ушиба. Липко. Похоже, разбил. Взявшись за дверную ручку, Родюшин помедлил. В обычно тихой литчасти нынче слышались голоса. Чей был один из них, было понятно, — Ларисы, хозяйки этого заведения. А другие? Он постучал погромче, но ответа не дождался и вошёл.

Литчасть была разделена надвое, справа на рядах стеллажей стояли книги, слева — папки с пьесами, брошюрами, театральные журналы. А в конце просторного прохода как раз против окна стоял письменный стол. За ним, как обычно, сидела Лариса, крупная полнеющая брюнетка, а нынче — по сторонам стола — ещё две молодые особы. Они чаёвничали.

— “Три девицы под окном...” — вместо приветствия произнёс Родюшин.

— ...Рассуждали об одном... — подхватила та, что сидела справа, — востроглазая и миниатюрная, прямо-таки Дюймовочка.

— О ком или о чём? — неспешно подходя к столу, осведомился Родюшин.

— Да всё о том же, батюшка, — таким смиренным голосом, потупив очи долу, произнесла сидевшая слева девица. У неё были тонкие черты, а луч солнца так просвечивал её изящные пальцы, словно они были продолжением золотистой фарфоровой чашечки, такая золотая роза.

Последовала маленькая пауза, девицы обменялись взглядами и дружно по мановению той же смиренницы выпалили:

— “Я б для батюшки-царя родила богатыря!”

— Та-ак, — чуть растерянно протянул Родюшин, — в чём же дело?! — И, стараясь попасть в тон, но не перегнуть, усмехнулся: — Даёшь улучшение демографии!

— А кто же будет на телеграфе работать? — Это опять та, что слева: глаза зелёные, солнышко при повороте их насквозь просвечивает, а дна-то там, похоже, нет.

По-прежнему улыбаясь, Родюшин вопросительно взглянул на Ларису. Обычно тихая, предупредительная, явно стесняющаяся своей полноты, рядом с подругами она была раскованнее и даже подмигнула:

— Вот так, Денис Геннадьевич. Умище-то никуда не денешь. Филфак за плечами. Вместе учились. — И уже спохватившись, извиняющимся тоном предложила присесть.

Нет-нет, отказался жестом Родюшин, постучал пальцем по наручным часам, дескать, на минутку, и обвёл их взглядом:

— Стало быть, три сестры? — Но вопрос обратил к зеленоглазой, ведь это она обозначила чеховский сюжет. — В таком разе я вроде дяди Бани, который ведёт учёт всему и всем. — И без перехода обратил взгляд направо: — С телеграфисткой мы определились. Вы — Ирина. — Дюймовочка при этом даже встопорщила плечики. — А вы, — он снова повернулся к зеленоглазке, — выходит, преподаёте в женской гимназии.

— Преподаю, — чуть замедленнее, видимо дивясь отгадке, отозвалась она и тут же поправила: — Только не в гимназии, а в вечерней школе. И не математику, а английский язык.

— О, — слегка утрируя, лишь обозначив речь персонажа, оценил он, — мы ещё и вышивать умеем?..

— О да, — в тон подхватила она, — и крестом болгарским, и гладью...

— А “Чайку” вашу мы тоже проходили, — кокетливо по-женски, но простодушно по-школярски добавила Дюймовочка.

Зеленоглазая, кивнув на неё, вернула к началу:

— У Иры с одной из сестёр совпадение. А меня зовут Даша. Но Ира не на телеграфе... Хотя... стук там тот ещё. Не стук — пальба.

Родюшин вопросительно вскинул брови.

— Она заведует оружейной лавкой.

— О как! — искренне удивился Родюшин. — Женщина в сугубо мужском деле... — И почему-то обратился взглядом к Ларисе:

— Если ружьё у нас висит на стене, стало быть?..

— К концу пьесы обязательно выстрелит, — словно на экзамене, чуть удивлённо и озадаченно подхватила та.

— Вот! — Родюшин поднял палец и попутно глянул на часы. — То же относится и к последней фразе. Зачем нынче приходил Штирлиц? Разумеется, познакомиться с барышнями. Это главная цель. А повод — томик Чехова. Мне нужна переписка Антона Павловича. Есть в вашем царстве, Лариса?

— А вот сверху, — Лариса повела подбородком влево, отчего складки на шее разгладились. — Собрание сочинений, коричневый переплёт. Последний том, двенадцатый...

— А записные книжки?

— Рядом — одиннадцатый.

— Запишите на меня. — Родюшин извлёк с полки два тома и с поклоном, со словами “до встречи, до свидания, барышни” вышел.

Едва дверь закрылась, снова раздался голоса. Родюшин усмехнулся, но в отличие от царя Салтана не стал стоять “позади забора”, а скорым шагом направился в репетиционную.

## 2

Предыдущая читка не задалась. Выходила какая-то нескладница, словно это была не профессиональная труппа, а школяры-второклассники, забывшие за лето все навыки и с трудом читающие по слогам. Не попадали в тон даже опытные актёры. Но особенно эта девочка, которую определили на роль Заречной, — Горникова. Она то лепетала что-то невнятно, то вдруг вскрикивала, словно в экзальтации. Оно понятно — первая большая роль, ответственность, волнение. Но тут, похоже, было не только это. Вчерашняя выпускница, мамин-папин дочка. Много ли у неё за душой?! Не в этом ли главная причина?

Нынче была третья читка, не репетиция, а именно читка. Потому что Родюшин всё ещё не решил с исполнителями. Режиссёр сидел во главе длинного и просторного стола, за которым расположились двенадцать актёров. Открыв пьесу, он перелистал первые страницы.

— С чего начнём? — Взгляд его коснулся профиля Горниковой, она сидела второй слева. Снова слушать этот лепет? Эти всхлипы? Нет уж, увольте! Надо пропустить первые сцены, иначе опять будет сбой.

Родюшин не следил за текстом, он знал его почти наизусть. Он наблюдал и вслушивался. В этом блоке сцен у Луканиной реплик немного. Одна

про шляпу, которую она уговаривает Дорна надеть, а ещё про далёкую песню. Реплика важная. Сказанная в ответ на то, что где-то поют, и хорошо поют. — “Это на том берегу”. Как вздох, как вскрик о невозвратном. И он уже не сомневался, что Луканина произнесёт её точно, как надо, как заповедал Антон Павлович.

Пьеса — длинный монолог Заречной. Голос Горниковой, прерывистый и захлёбывающийся, словно она остерегается, что режиссёр снова прервёт её. Довела до конца. Вроде то, да совсем не то. Ведь пьеса эта — монолог об одиночестве и сиротстве. “Раз в сто лет я открываю уста, чтобы говорить...” К кому, девочка, ты обращаешься? Перед тобой пустыня, безлюдье. Это надо испытать, пережить... А ты благополучная девочка, после школы — да в актрисули. Ещё, похоже, и не любила. А талант-то с воробыный клювик. На мастерстве, опыте, как Стромилова, роль не прочирикаешь. “Вот приближается мой могучий противник, дьявол”. Разве так это надо произносить? С ощущением фейерверка? Но это же дьявол! С омерзением? Но...

Родюшин чувствовал, как в нём закипает раздражение. Здесь оно вызревает и у его персонажа — Треплев по ходу не воспринимаемой публикой пьесы гневается. Но для репетиционной оно нарочито, как нарочита отстранённость и холодность Стромиловой. Однако сдержаться себя он уже не мог, и реплики Треплева, настаивающего закрыть занавес, бросил резче, чем требовалось, отчего актёры даже повернули к нему головы, а Стромилова покосилась поверх очков. Но это не остановило Родюшина. Следующую реплику он бросил едва ли не как вызов: “Виноват! Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные. Я нарушил монополию!”

Директор заявил, что — кровь из носу — премьеру надо сыграть не в декабре, а в конце ноября. Таково требование дня. И точка. Тут бы Родюшину вскипеть, взвиться, в крайнем случае, просто возразить: можно ли за всего ничего что-то сделать, тем паче оговаривали-то в декабре? Нет, он даже улыбнулся, представив лоснящуюся физиономию господина импресарио. Его умилило, что едва ли не впервые за время знакомства директор правильно употребил фразеологический оборот. А то ведь до хохота доходило, правда, не явного. При первой же встрече в начале сентября директор, завершая отчитывать какого-то тщедушного мужичка — осветителя или декоратора, — погрозил тому пальцем: “Смотри у меня. Чтоб последний раз. А то буду с тобой разговаривать тетё с тетё”. А на днях, выражая несогласие актёру, чего-то требующему, насупил свои крашенные брови: “Ты понимаешь, что это анонс?!” Он имел в виду нонсенс. Ну, прямо-таки персонаж горьковской пьесы!

\* \* \*

После перерыва Родюшин сменил тональность, до того его умилил директор. И начал читку с вопроса:

— Сусанна Львовна, кем был ваш муж?

Стромилова вздрогнула, вскинула голову, взглянула на него — в глазах из-под очков было непонимание, лёгкое смятение и даже, кажется, растерянность.

— Извините. — Родюшин тряхнул головой, волосы растрепались, он обеими пятернями закинул их назад, обнажив просторный лоб. — Я хотел сказать, кем был муж Аркадиной, точнее, кем был отец Константина, а может, и дед.

Он обвёл актёров взглядом:

— Давайте порассуждаем... Сын — Константин Гаврилович. Отец его Гавриил или Гаврила. Скорее всего Гавриил. Хотя Державин, сын мелкопоместного дворянина, — Гаврила, Гаврила Романович. Родился отец Константина в Киеве. Киевский мещанин. И попал в театр, в актёры. Почему? Может быть, это от матушки — она актёркой была? Или от отца, любителя

цыганщины, скажем, военного, предметнее — гусара? Мог быть Гаврюша внебрачным сыном? Вполне. Кавалерийский полк. Летние лагеря. Рядом дачная местность. Юная девица, дочь киевского чиновничка, может, даже гимназистка на каникулах, влюбляется в юного поручика, любителя оперетки, и через определённый срок является на свет божий Гаврик. По святцам, собор Архангела Гавриила — в конце марта. Подходит? Вполне. А может, наоборот? Не летние лагеря, а зимние квартиры, это уже в самом Киеве? И тогда Гаврюша является на свет в июле, опять же по святцам. Я не случайно это говорю. Чья кровь в отце Константина и соответственно — в Константине. Красивый улан, гусар, казачий есаул... Может быть? Может. Или чиновник средней руки, гуляющий втихую. Закулисье, букетики цветов, адюльтер, обещание увезти за границу, а потом — как в воду... Или просто ловелас в обывательском смысле, Дон Жуан, возможно, из театральной среды, амплуа “первый любовник”. Кто бы он мог быть, дед Константина, как вы думаете, Сусанна Львовна?

Стромилова оделила его взглядом, в котором уже не было растерянности, и взгляд сей свидетельствовал об одном: она прикидывала, кто перед ней — мальчик-попрыгунчик, который бахвалится знаниями, осведомлённостью, интеллектом, или всего-навсего шиз?

И тут для того ли, чтобы нарушить молчание, или и впрямь имея что-то на уме, подала голос Луканина:

— Так далеко трудно заглянуть, Денис Геннадьевич. Сведений-то в пьесе особых нет. Не исключено, что Гавриил — сын какого-нибудь Счастливецца или Несчастливецца, которые кочевали по всей России, меняя театры. И тогда вырос он за кулисами. А может, он — актёр в первом поколении, Чехов устами Треплева характеризует, что он известный актёр, то есть, возможно, самородок, человек, наделённый талантом... Но тут... — Серафима Андреевна сделала паузу, это была не театральная пауза, а работа мысли, ума, она даже нетеатрально потёрла переносицу. — Тут, мне кажется, важнее, не кто он, а почему его нет. Умер от чахотки, как Чехов; трагически погиб, убит на дуэли?.. Всё может быть. Но мне думается, что ключ к этой загадке — реплика Аркадиной в конце пьесы. Раздаётся хлопок — это выстрел, которым обрывает свою жизнь Константин. Она устало роняет: “Это мне напомнило, как...” Что напомнило? Видимо, давний роковой выстрел — самоубийство мужа, отца Константина, по характеру сына — отчаянного ревнивца, а уж Аркадина поводов давала...

— Браво, Серафима Андреевна! — Родюшин даже привстал, прихлопнув в ладоши, потом быстро-быстро потёр ими и загребущими пятернями закинул волосы назад. — Логика есть, логика очевидна. Мне как Треплеву это нравится. — И тут же, без перехода, не делая паузы, предложил Стромиловой и Луканиной поменяться ролями. — Продолжим с момента, когда Треплев, что называется, хлопает дверью, бросаясь прочь после осмеянной постановки. — И повёл рукой в сторону Луканиной, и даже тихо напомнил реплику.

— “Что с ним?” — повторила Луканина, ещё машинально, ещё недоуменно, ещё косясь на Стромилову. Она оказалась меж двух огней, не зная, чью партию принять. Сцена, поистине достойная театра! Луканина косится на Стромилову. Стромилова из-под очков гневно взирает на режиссёра, дескать, что это там за существо такое. Не иначе это она сравнила залётного режиссёра с одноразовым шприцем. Но Родюшину некогда вдаваться в объяснения, тем паче какие-то обиды. Вздор!

— Это тренаж. Хочу уточнить рисунок, сравнить темпоритм. Ещё раз Аркадина, — он кивает Луканиной.

— “Что с ним?” — уже одолевая замешательство, вновь произносит Луканина фразу Аркадиной.

Эта сцена идёт без него, то есть без Треплева. Теперь не надо отвлекаться на собственные реплики и можно сосредоточиться на читке. Нет, минутную спустя поправляет Родюшин сам себя, это уже не читка — началась репетиция. Уже окрас фраз, интонация появились, явилась, наконец, Аркадина, и все остальные актёры, подчиняемые центростремительной силе, оживились.

Стромилова, конечно, разыгралась бы и взяла своё, одолев неприязнь к нему, неведомо чем вызванную, мастерством взяла бы, опытом. Но это когда ещё... А времени в обрез. Что там вождь-директор изрекал!

Родюшин не шевелясь, почти не дыша, следил за игрой. Стромилова, возможно, была бы убедительнее в роли Аркадиной. Но Луканина-то уже ведёт роль, уже рисует её. Уже и плечи в игре, и жесты, и мимика. Ещё чувствуется остаток скованности, вины перед Стромиловой, но она уже погружается в роль и даже ему, Родюшину, словно сигналы подаёт. “Капризный самолюбивый мальчик” — это ведь не только к его персонажу. И далее точно — то, что требуется. Тут и оправдание своего, аркадинского характера, и попытка объяснить, что права она, человек искусства, актриса с большим опытом, а не сын, ещё несмышлёныш. Однако не по-комиссарски, как сделала бы в меру уверенно Стромилова, а на тон мягче.

По ходу репетиции Родюшин делал пометки. На полях пьесы то появлялась галочка — это означало сместить акцент, то волнистая линия — уточнить тональность фразы. Но в целом ему нравилась работа актёров. Особенно Луканиной. Она так вдохновенно вела свою партию, что с какого-то момента он просто залюбовался, забыв про свой ревизорский карандаш. Больше того, именно её игра вдруг навела его на одну мысль. Это когда Аркадина вспоминает, как тут, у озера, кипела жизнь много лет назад: “Помню, смех, шум, стрельба, и всё романы, романы...” А дальше — о докторе Дорне, который был кумиром “всех этих шести усадеб” и в театральном смысле “героем-любовником”. Ба, вдруг озарило Родюшина, а ведь Дорн вполне мог принимать у неё роды, поскольку сам говорит, что “по всей губернии был единственным порядочным акушером”.

Догадка эта неожиданно аукнулась другой. На сей раз под занавес первого действия её подарил Родюшину Полежич.

Выбор Полежича на роль Дорна был безупречным. Ещё не увядшая мужская красота. Породистый нос. Благородная седина кудрей — никакого парика не надо! Близорукость? Так надо пенсне надеть, как у Антона Павловича, с круглыми стёклами.

По характеристикам Аркадиной и Полины Андреевны, Дорн — сердце-ед, тот ещё ходок, как говорят теперь в народе. И вот в концовке первого действия, когда Маша Шамраева бросается к Дорну, Родюшина и осенило, до того точно, ласково и мягко вёл партию Полежич. Да Маша-то, скорее всего, не дочь управляющего имением, а дочь доктора Дорна, тайно связанного с её матерью, Полиной Андреевной. Вон как она кидается к нему, словно чуя правду нутром: — “Я не люблю своего отца... но к вам лежит моё сердце... я всей душой чувствую, что вы мне близки...”

### 3

Репетиция закончилась. Актёры потянулись к выходу. Красноречиво гневный взгляд Стромиловой, брошенный напоследок, и испытующе озадаченный — Луканиной Родюшин воспринял спокойно. Более того, он не упустил случая глянуть примам вслед и сравнить их фигуры.

Аркадиной в пьесе сорок три года, к тому же следит за собой. “Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть”, — нахваливает она себя. А примы — старше. Причём намного. Но при этом Луканина, без сомнения, выигрывает. С пятнадцатилетней не сравнить, но форму держит. А Стромилова “поплыла”, раздалась — и конституция, и возраст. Реплика про пятнадцатилетнюю в её устах вызовет у зрителя ненужную усмешку. Ей уже матрон играть, нянюшек да бабушек. Тут уж и парик молодежавый не спасает, тем паче что он весьма траченный...

В коридоре неподалёку от репетиционной Родюшина остановила Горникова. В глазах смятение, обида, затаённый гнев.

— Почему вы меня обходите? Уже третью читку... Почему не даёте репетировать?

Лицо пятнами, губы дрожат. Сейчас, понял Родюшин, прозвучит заготовленная фраза.

— Как же “Чайка” без Нины? Это же как озеро без чайки!

Вроде даже и красиво. Почти из пьесы. Но... Неубедительно. Есть ведь озёра и без чаек, там, где среда неблагоприятная — большая глубина, следовательно, мало корма, либо донные сернистые испарения.

— Погодите, Оля. Разберёмся, — ответил Родюшин и сам почувствовал: не то, как и её реплика. Впрочем, как аукнется, так и откликнется. Она догадалась, ещё больше напряглась. Губки надуты, в глазах слёзы, вот-вот тушь потечёт.

— Я в выпуске нашем все первые роли играла, — вызывающе выпалила она, но поперхнулась и закончила совсем по-детски:

— А вы?! — И развернулась, неловко подвернув каблук, и метнулась прочь, совсем не по-театральному заламывая руки.

Глядя ей вслед, Родюшин досадливо поморщился. Но не на неё — на себя.

Тут из-за угла вышел Портнов. Сухощавый, высокий, глаз острый, с прищуром. Проводив взглядом Ольгу, он перевёл внимание на Родюшина.

— Ну, хотя бы и так, — в голосе ещё послевкусие роли, но ирония уже своя. — А то ведь как они нынче — с парты — да в училище театральное, да потом сразу на сцену. Ничегошеньки ведь тут... — он постукал ладонью по груди, — ан нет: надо под софиты, перед камерой, на красную дорожку...

Чего тут было больше — старческого брюзжания или личной обиды? Родюшин прищурился. Глаза их были на одном уровне. Сколько ему? Изрядно за пятьдесят. В отцы той же Оле, что называется, годится... Это Родюшин оценил мимоходом. А подумал о том, что реплика Портнова недостойна Тригорина, которого он играет. Мелковат Портнов для Тригорина. Он не опустил-ся бы до такого. “Всем места хватит”, — тригоринская реплика. А с другой стороны — Портнов на месте. И внешне, и по тембру голоса, и по пластике. Играет точно, отделяя своё. А реплика — что?! Может, действительно возраст сказывается — первые намёки старческого брюзжания. Но в любом случае, это не подобострастие, не желание потрафить режиссёру, хозяину сцены. Возможно, много играл героев-резонёров, которые режут правду-матку. Это ведь диффузия, как говорится в физике. Роли проникают и в плоть, и в кровь.

— Игорь Дмитриевич, — Родюшин тронул Портнова за локоть, — хочу с вами посоветоваться.

Портнов склонил голову, при этом на маковке открылась тонзурка, тщательно зачёсанная. Родюшин замешкался: иронизирует, варьирует роль или и впрямь демонстрирует учтивость? Учтивость — черта Тригорина. Тригорин — человек одержимый, его страсть — сочинительство, во всём остальном он безвольный. Почему? Потому что интеллигент? Но интеллигент — не французская булка, что сжимается под пальцами.

— Вы не будете возражать, Игорь Дмитрич, — Родюшин доверительно сократил отчество Портнова, — если в одном из спектаклей я вас заменю? Да, пожалуй, не в спектакле — на репетиции, ближе к генеральной...

— Кем же?.. — насторожился Портнов.

— А собой.

— Погодите, — Портнов пожал узкими плечами, — вы же Треплева играете...

— Вот в том-то и дело, — Родюшин сомкнул два указательных пальца. — Треплев и Тригорин — две ипостаси одного человека. Так мне видится. Хоть в чём-то и разные.

— Но как же голос, модуляции?..

— А я попробую, — Родюшин живо понизил голос, словно уже переходя к игре. — То своим, треплевским, то осанистым — тригоринским.

Портнов оценил это, но...

— А реквизит?

— Плащ накинута — это Тригорин, а под ним толстовка — это уже Треплев. — Жестами и мимикой Родюшин показал, что уже всё продумал.

— Это называется “посоветоваться”, — усмехнулся Портнов, в голосе появилась тягучесть воловьей жилы. — Что ж, извольте... Хозяин — барин.

— Только проба, Игорь Дмитрич, — сокращая дистанцию, улыбнулся Родюшин и ладонью припечатал свою грудь. — Вы же в спектакле на месте! Что вы!

Этим “что вы!” он вроде как сам обиделся, дескать, как вы и подумать могли, неужели вы так думаете?! А это уже почти “да как же вы смели?!”

То-то Портнов расслабился. Даже брылья, подтянутые волей и осанкой, словно вислые бакенбарды, появились. Возраст-возраст... Тут не только в отцы — кому-то и в деды уже годится.

Диалог, понял Родюшин, состоялся. Надо было достойно его завершить.

— Ну, вот и договорились, — сказал он, улыбаясь. — Разок только... Да и всем будет любопытно, как режиссёр вертится. “Фигаро здесь, Фигаро там...” Представьте сцену, как Тригорин передаёт Треплеву журнал. То-то смеху будет...

На этом они раскланялись, и Родюшин пошёл к себе, в “берлогу”. Проходя сценой, он увидел двух монтировщиков. Они ставили декорации к вечернему спектаклю — судя по шутейно-легковесному оформлению, какому-то водевилю. Один был молодой, длиннорукий и тонкошей. Другой старше, осанистее, на голове его, как шляпка гвоздя, сидел линялый берет. Он узнал их. Это были те, кого Родюшин слышал, но не видел утром. Конечно, те, хотя сейчас, сморённые долгими бражными заседаниями, они молчали. Чтобы привлечь их внимание, Родюшин мимоходом уронил часть декорации — садовую скамейку, стоящую на пути. Монтировщики подняли свои утомлённые взоры и глянули на него укоризненно и осуждающе. Но Родюшин не остановился, чтобы исправить содеянное. Более того, даже не удостоил их вниманием. Зато громко и чётко сказал:

— Клинок, конечно, лучше! Шприц, даже и с глюкозой, — так себе! А шампур и вовсе хренота!

Ответом было задумчивое — не меньше чем ещё на час — молчание. Но лицеизреть эту немую сцену Родюшин не стал. С режиссёрской точки зрения она не представляла ценности.

#### 4

Усталость навалилась сразу, едва Родюшин добрался до “берлоги”. Хотелось кинуться в кровать, забыться глубоким сном, чтобы не думать и не маяться, барахтаясь в водоворотах придуманных и реальных судеб. Однако первым делом, скинув светлый вельветовый пиджак, Родюшин завалился на пол — именно так он приспособился “рихтовать застарелую тыловую часть”, как выражался один прапор, имея в виду спину. И надо же было случиться — забыл запереть дверь! Не успел он немного прийти в себя — появился Луньков.

Будь на месте Лунькова кто-то другой, Родюшин не стал бы церемониться и если бы не выставил, то нашёл бы множество доводов и причин, чтобы тут же выпроводить незваного гостя. Но с Алексеем Ильичом так обходиться было нельзя. Во-первых, он был самым первым актёром из этой труппы, с кем познакомился Родюшин, — вот так же, без церемоний, он “нанёс визит”, едва приезжий режиссёр поселился в этом номере. Во-вторых, он без околичностей, в меру объективно, но, понятно, не без пристрастности набросал портреты актёров, с которыми режиссёру придётся работать, что оказалось весьма и весьма кстати. В-третьих, он стал первым из актёров, кого Родюшин определил на роль. “Шамраев”, — указал режиссёр на него пальцем, когда они уже о многом переговорили. “Правильно”, — без ложной скромности одобрил Луньков и в качестве дополнительного аргумента добавил, что ему доводилось и Ноздрёва играть. Каким он был Ноздрёвым, Родюшин выяснять не стал. Но в том своём первоначальном выборе ни разу не усомнился. Шамраев — управляющий имением, поручик в отставке, хамоватый, бесцеремонный, самоуверенный. Луньков в смысле внешнего лоска попроче — не поручик, а, скажем, Ванька-взводный, пропахший если не окопной махрой, то уж никак не “Герцеговиной флор”. Но характер, манеры, кураж, безусловно, те — шамраевские. Так увиделось Родюшину по первости. Потом

жизнь кое-что уточнила. Луньков оказался вполне душевным и покладистым человеком. В отличие от своего персонажа, который даже барыне, хозяйке имения, не даёт лошадей, Луньков сам предлагал свой “табун каурых” — старую “мазду”, когда режиссёру было нужно. Больше того, Луньков понимал толк и в режиссуре, и в актёрской органике, и в подборе актёров. Когда возникла проблема с ролью Сорина — никак не находился таковой среди артистов действующей труппы, — Луньков посоветовал обратиться к ветерану сцены Тулинскому. “У Юрия Глебовича худо с ногами, зато всё, что выше — будьте-нате!” — всхотнул Луньков и при этом постучал ладонью по лбу.

Застав режиссёра на полу, Луньков, похоже, ничуть не удивился.

— Я тоже так иногда отмякаю, — и попытку Родюшина переменить положение упредил:

— Ты лежи-лежи... А я тем временем чаёк сгоношу, если чего другого не желаешь, — добавил он по-свойски.

Другого Родюшин не желал. И Луньков не стал более докучать, тем паче что сам уже, похоже, “остограмился”.

Зачем он пожаловал, Родюшин догадывался. Ещё на репетиции режиссёр перехватил несколько поглядок актёров, в том числе и Лунькова. Речь он непременно заведёт о репетиции и о том, что там случилось. Так и оказалось. Человек открытый, бесхитростный и бесцеремонный, Луньков сразу взял быка за рога. Его крайне удивила сделанная “рокировка”, и особенно он был удручён тем, как режиссёр обошёлся со Стромилловой. Родюшин приподнялся и незаметно усмехнулся. Слышала бы Сусанна Львовна, кто за неё хлопочет. Но по мере разговора ирония его прошла, хотя недоумение и осталось. Луньков не просил — объяснял. А из его сбивчивого — с пятого на десятое — рассказа выяснилось нечто и вовсе неожиданное.

Стромиллову — фамилия своя, девичья — с будущим мужем свело студенчество, их вузы были по соседству. Очарование юности, фронда, эпатаж, запретные стихи, книги и прочее, и прочее... Потом началась жизнь. Неудобства, неустроенность. Но не столько быт, о который так часто *разбивается любовная лодка*, сколько несовпадение представлений о месте и назначении друг друга. А шло это от неё, Сусанны Стромилловой. Первая в театре, она и в семье должна быть первой!

— Муж-то, Пётр, он художник, уже после, когда давно не жили, в какой-то компании, подвыпивши, открылся. Представляешь, говорит, что она заявила: а почему бы тебе не посвятить всего себя мне, то есть оставь своё и служи моему величеству. Так он передал. Я-то такое перевёл бы в шутку. Дескать, что ты, милочка, я и так тебе служу... А он это как оскорбление воспринял, дескать, твоё — это пшик, вся эта мазня, картинки... Другое дело — моя сценка. Ну, какой мужик такое потерпит, ежели он мужик, конечно, и при деле!

Отчего Луньков тут же отошёл от своей ремарки, что лично он всё в шутку бы обратил? Да оттого, что тут он уже играл мужа Стромилловой, не иначе. И жесты, словно кистью, широким мазком по холсту, и прищур этот, оценивающий тот мазок, и вроде даже берёт над правой бровью навис.

Ох, уж эти актёры! Ни шагу без спектакля, ни жеста без игры! А само, осёк себя Родюшин, ведь то и дело ловишь себя на том, что играешь. И тут же успокоил себя: главное ведь не заигрываться, не заиграться.

Поднявшись с пола, Родюшин, морщась, свёл лопатки, поворачивал правым плечом, придерживая его рукой, потом сел за стол и устоялся на Лунькова.

История, которую представил Луньков, была до определённого момента банальной — сколько пар соединяются, сколько расходятся, — если бы не ребёнок, которого занесло в житейский круговорот.

— Малец занятный, подвижный, весёлый. Всё говорило за то, что станет незаурядной личностью, столько в нём непосредственности, любознательности было. Насмотрелся по телеку на Леонида Ильича, повесил значков до пупка: “У меня тоже вся футболка награждённая!” Или делает зарядку, да вяло всё, едва одной рукой шевелит. Чего так? “Эта рука ещё спросонья”. А как вцепился в бабкину ногу, когда тот уходил! Такое ведь ребёнку не внушишь, от сердечка шло. “Не уходи, папенька! Не уходи!” Это “не уходи!”, Пётр говорил, и удержало. Ведь, хотя они с Симой развелись, Лёвка

без отца не остался. Батяка всюду таскал его с собой. На пленэр, считай, в походы — то пешком, то на моторке. В дома творчества брал. А раз на Тянь-Шань махнули. Во как!

Луньков прицокнул языком и, словно представляя те далёкие хребты, даже запрокинул голову, обнажив тонкую шею и острый кадык.

— Лет через пять у Петра образовалась новая семья, детишки пошли мал мала — две девочки и мальчик. А он всё с Лёвкой возится. В поход, в библиотеку, на родительское собрание — везде Пётр. Симе бы это ценить, да не перечить, не гнуть своё. А она всё как упрямая коза. В новую семью Петра водить Лёву запрещает, с детишками — братиком да сестрицами — знакомить не велит. Отчего, спрашивается? Да ревнует баба. Злитися, что у Петра без неё всё в порядке. А сама при этом шапши демонстративно заводит. Представляешь? Петру-то это до лампочки. Но ведь в доме малец подрастает, его сын. Что же ты, курва, делаешь?! То один сосед — летун, то другой — мариман. А тут вдруг кителёк на вешалке в прихожей появился — майора милиции. Здравия желаю, товарищ подполковник!

Ёрничая, порицая, Луньков говорил со знанием дела и, похоже, больше, чем рассказывал Пётр. И обида, которая подчас мелькала в голосе, возникала, видимо, не только за Петра. А уж по глазам — на миг-другой масляным, и по жёстам — слегка фатоватым, выходило, как в той сказке: “И я там был, мёд-пиво пил...”

Впрочем, самое-то главное оказалось дальше.

— Ему, Лёве, было лет четырнадцать, когда Сима запихала его — куда бы ты думал? Ни за что не догадаешься! В эзотерическую школу! Тогда, в начале перестройки, чего только не открывалось на Русской земле, кажется, все навозные кучи и помойные ямы зацвели! Плати — и мы тебя научим тому, чем владеют только посвящённые! У кого не закружится голова от такого предложения! Вот и Симу это заворожило, благо самой не надо ломать голову, как и в каком духе воспитывать отпрыска. А уж решив это, не остановилась ни перед чем. Школа платная? Заплатим! Суммы немалые? Ничего, найдём! Пётр даёт ей деньги на сына, чтобы Лёвка был одет-обут, накормлен-обихожен — причём даёт без всяких исполнительных листов, — а она те деньги вбухивает в эту эзотерическую, точнее сказать, еретическую, школу и возражений его, Петра, не слушает, как всегда, не желает слышать.

Луньков помотал головой и застонал, как от зубной боли. Лицо его одутловатое побледнело, а нос ещё больше покраснел и стал как будто шире.

— Ну, скажите мне на милость, господа присяжные заседатели, был ли ум у этой бабы — маманька называется! — когда она запихала в ту школу отрока! Ведь от тех знаний, того двухлетнего курса и взрослый свихнётся!

Луньков тяжело вздохнул, видно, ему не хватало воздуха.

— Я заглянул раз в Лёвкину комнату. Так веришь, как в средневековый подвал попал — таким духом пахло. На полках — сплошь чёрные книги. Хиромантия, каббала, не говоря уж про сонники, про масонов. “Чёрная книга сатаны”, “Сокровища алхимиков”... Тут даже я, на что покладистый, — он слегка вопросительно глянул на Родиوشина, — и то вскипел. Ты соображаешь, куда ребёнка своего суёшь! Он ведь ещё дитя, подлётый, у него неокрепшая психика, детский рассудок, а ты его голову в притвор чёрного подвала запихиваешь! И что? Не слушает. Отца своего ребёнка не слышит, а меня и недавно.

Луньков перевёл дух и, казалось, надолго затих, переживая былое, но нет — неожиданно хлопнул тыльной стороной руки о ладонь и даже всхотнул, хотя и натужно.

— Ну, что ж! Глухая, бессердечная, глупая, так получай! Проходит время. Лёвка переводится в вечернюю школу — ему уже не с руки с ровесниками, Пётр почти каждый вечер встречается и провожает его до дому, а параллельно заканчивает ту самую эзотерическую бурсу. И вот к семнадцати годам возникает такая музыка. Сын начинает отворачиваться от матери! Как, спросишь, так? А вот так. По гороскопам, которые он стал составлять, — выучили на маманину голову! — выяснилось, что они с матерью совершенно чуждые друг другу люди. Мало того, звёзды показывают, что они друг для

друга — настоящие враги. Как тебе такое?! Чуешь, какая пьеса?! Классикам и не снилось!

Тут Луньков совсем не играл. Губы дрожат, глаза полны слёз. Смятение — как, наверное, тогда, давно, — было подлинное, не деланое. Другом Петра он не был, но приятельствовали. Пётр даже портрет написал и на выставке показал — “Актёр без грима” называется.

— Сколько с тех пор утекло воды! Сима — прима, прима Сима. И заслуженная, и лауреатша двух театральных премий, и орден на полтинник дали... А как мать — нуль. Сына родила, а его будто нет. Живут в трёхкомнатной квартире, не пересекаясь. Вон Луна к Земле ближе, — Луньков кивнул за окно, — чем они меж собой.

Луньков подошёл к окну, поглядел в небо, словно и впрямь измерил расстояние до небесного светила, почти полнотелого, потом снова повернулся к Родюшину.

— Ещё один штрих для полноты картины. Лёвка — на инвалидности. В пятнадцать лет, как раз в пору той самой учёбы, стало падать зрение. Что-то с сетчаткой. Кто знает, может, сама природа противилась чёрным знаниям. Так или иначе, зрение ухудшалось. Предлагали сделать операцию. В юности этот недуг устраняется хорошо. Опытные окулисты давали гарантию. Всё бы наладилось с глазами, если бы согласился. А он упёрся, отказался. В мистику уже впал. Добровольно ушёл в чёрный подвал и решил там остаться. В полумгле, почти в слепоте, с чёрными книгами...

Глаза Лунькова блестели, он отёр набежавшую слезу, смахнул другую, пожевал яростно губами, словно задавливая что-то в груди. Сейчас он был собой — немолодой, потёртый мужичонко, провинциальный актёр, пропахший дешёвым табаком, со своими сердечными болями, со своей житухой-не-складухой, явно без женского догляда, о чём свидетельствовали обвисший серый свитер грубой вязки, потёртые донельзя джинсы.

— И сколько сыну сейчас?.. — отозвался Родюшин.

Перебрав зачем-то пальцами, как подсчитывают возраст малых детей, Алексей Ильич скорбно поджал губы:

— Тридцать шесть. Тридцать седьмой.

Родюшин кивнул:

— Ровесник, выходит...

Он представил Стромилову в роли своей матери, при этом мысленно опеределил — в качестве матери — и задумался. Что лучше: такая мать или совсем никакой?

Луньков, глядя на Родюшина, видимо, что-то почувствовал. Он даже уже забурчал, вытягивая из себя какую-то мысль. Но Родюшин перебил его.

— А помнишь, как мы ездили к Тулинскому?

Лицо Лунькова, одутловатое и озабоченное, неожиданно осветилось слабой улыбкой. Он пожал плечами — дескать, чего спрашиваешь? — я ведь сам тебя к нему возил.

Тулинский жил далеко, почти за городом. Раньше это была деревня, которую постепенно всосал ненасытный город. Однако дух деревенский город так и не переварил, не смог переварить. Всё здесь осталось, как было: маленькие домики в три-четыре окна, палисадники, на задах огороды. Таким оказался и дом Тулинского. Родители построили его, когда Юрий Глебович родился, то есть дом и хозяин были ровесниками. Дом огруз, хозяин одрях. Так показалось Родюшину вначале, когда прошёл он по скрипучим полам и увидел сидящего в инвалидной каталке человека. Он даже укоризненно покосился на Лунькова, дескать, что же ты, братец, устроил-то. Но...

В комнату — по-деревенски, переднюю — вошла-впорхнула средних лет женщина, которую Родюшин по первому взгляду принял за дочь Тулинского, а это оказалась его жена. И сразу всё преобразилось.словно это помещение было некой застывшей музыкальной шкатулкой, у которой кончился завод, но вдруг явилась фея, завела заветную пружинку, и сразу всё чудесным образом оживилось. Забили старинные, видать, швейцарские, напольные часы. Кажется, сам собой заиграл рояль. Запела канарейка, отозвался волнистый попугайчик. Следом затрепетали занавески и шторы...

И тут у Родюшина помимо воли вырвались слова:

— Вот тебе и театр. Занавес, потом первая кулиса, потом вторая и дальше пустое пространство. Декораций никаких. Открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдёт луна.

Это были слова Треплева из “Чайки”.

— Великолепно! — воскликнул Юрий Глебович.

Старый актёр с ходу подхватил диалог, отозвавшись репликой Сорина. Он улыбался, глаза его лучились и были обращены на жену, словно она и была той картиной, нарисованной драматургом.

Родюшина подхватила сценическая волна:

— Если Заречная опоздает, то, конечно, пропадёт весь эффект. Пора бы уж ей быть. Отец и мачеха стерегут её, и вырваться ей из дому так же трудно, как из тюрьмы.

Тут Родюшин подошёл к креслу и коснулся седой головы Юрия Глебовича. Мог ли он такое представить себе ещё десять минут назад! Но теперь, когда явилась сцена, это было естественно и органично.

— Голова и борода у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли...

И как натурально отозвался Тулинский на эти жесты и реплики. Расчёсывая незримую бороду, он кротко вздохнул:

— Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил, и всё. Меня никогда не любили женщины...

В дверях передней стоял высокий бледный юноша. Это был пятнадцатилетний сын Тулинских, плод их поздней любви. Лицо его выражало недоумение и даже гнев. Дескать, что же ты такое несёшь, папа! И только сообразив, что тут разыгрывается сцена из спектакля, вспыхнул, покраснел и в смнении кинулся к отцу, обнимая его и пряча в его седины своё юное лицо.

До чего это была душевная сцена — кто бы видел! У Родюшина при воспоминании её подкатил к горлу ком, а глаза завлажнели.

Луньков, понятно, заметил это и, хоть догадывался, почему именно так Родюшин повернул разговор, от своего не отступил.

— Роль Аркадиной — Сусина роль. По её размеру... Сусанниному.

Родюшин не ответил. Но внутренне усмехнулся. “Роль по размеру”. Это что — перчатка, которая как раз по руке? И уже вслух, но словно “реплику в сторону”, обронил:

— “Я на левую руку надела перчатку с правой руки”.

Нет, заключил про себя Родюшин, с переменной ролью он поступил правильно.

## 5

Зарождающиеся мысли Родюшин привык “выхаживать”. Он с трудом удерживался на месте во время читки. Почти совсем не сидел на репетициях, то и дело вскакивая из-за режиссёрского столика, и ходил взад-вперёд по проходу либо метался туда-сюда перед сценой. И даже в театральном номере, своей тесной “берлоге”, он умудрялся устроить “беговую дорожку”. Треть помещения занимали кровать и — впритык к ней — письменный стол возле окна. Остальное место принадлежало журнальному столику с двумя креслищами. Вот вокруг этого “острова Буяна” Родюшин и кружил: пять шагов вдоль, три поперёк, снова пять вдоль и три поперёк.

Что сегодня привело Родюшина к коловращению? Перелистывая чеховские страницы, он в одном письме наткнулся на такую фразу: “Когда на какое-нибудь определённое действие человек затрачивает наименьшее количество движений, то это грация”. “Грация”, — покатал на языке. Это же врождённое качество Нины Заречной. Вначале она ещё не актриса, но грация в ней есть. Она, эта юная грация, покоряет Треплева, она увлекает Тригорина, пусть и на время, — в силу того, что он уже искушён и устал от жизни.

Грация. Ему представилась Даша. Её рука с чайной чашечкой в солнечном луче, будто раскрытая чайная роза; точные, оттого изящные движения,

затаённая загадочность. Вот! Вот то, что надо. И словно эхом — то, что надо.

Это ощущение или предчувствие давно бродило в его сердце, можно сказать — первоначально знакомства, но впервые столь остро оно коснулось сознания. Номер мобильного можно взять у Ларисы. Зайти в литчасть, вернуть том Чехова, а потом и телефон попросить. Дескать, есть интервью с Питером Устиновым, где речь об Антоне Павловиче. Журнал британский. Даша — переводчица, преподаватель английского. Ей и карты в руки, то бишь перевод... Убедительно? Вполне. И с этим намерением, уже не мешкая, Родюшин отправился проторённым путём — проторённым собственным челом, усмехнулся он, — на другую половину театра.

В литчасти, кроме Ларисы, никого не было. Так Родюшин подумал вначале и, входя, громко поздоровался. Но её скошенный влево взгляд остерёг его. Он молча прошёл к столу и в проходе меж стеллажами, где стояло кресло, увидел молодого человека. Тот сидел развалясь и, казалось, спал, но глаза его были приоткрыты. В руке, безвольно свисавшей, дымилась сигарета, пепел падал на палас, рядом валялась небольшая плоская баночка. Родюшин мельком глянул в его мутноватые глаза и перевёл взгляд ему под ноги. Нормальному человеку вполне достаточно, чтобы заозираться в поисках пепельницы или на худой конец подставить под пепел ладонь. Этот — нет, этот даже не пошевелился, пребывая в одному ему ведомым эмпиреях. Левая щека Родюшина непроизвольно дёрнулась. Он подошёл к столу и демонстративно отвернулся от сидельца. Лариса была сама не своя, даже с лица, кажется, спала, словно вмиг потеряла свою формирующуюся дородность. Она смотрела на Родюшина виновато, а в глазах её, карих и глубоких, сквозила затаённая боль. Он не стал ни о чём расспрашивать, ничего объяснять, положил книгу на стол и прямо попросил номер телефона, назвав имя. Тут Лариса и вовсе удивила: она метнула настороженный взгляд и приложила палец к губам. Всё это озадачило Родюшина, однако не настолько, чтобы пуститься в расспросы. Взяв листок с написанным номером, он коротко кивнул, не попытавшись при этом хотя бы улыбнуться, и вышел.

\* \* \*

Был понедельник — у актёров выходной. Дашу он встретил на служебном входе. Вахтёры её знали и пропустили бы без него. Но он намеренно это сделал, чтобы избежать ненужных домыслов, и попросил ключ от репетиционной. Мысль пригласить её в свою “берлогу” он отверг с самого начала, дабы не вносить лишних сложностей.

В репетиционной было свежо — отопление ещё не включали. Он пожалел, что нет солнышка, в луче которого так трепетно выглядела тогда Даша. Но подумал, что и это знак, ведь именно без солнца, в сумраке должно происходить действие. Держалась Даша независимо и чуть настороженно. Пальто сняла сама, жестом отведя его услуги. А шапочку ажурную не сняла, укрыв от его глаз свои озорные — как тогда увиделось — кудряшки, оттого выглядела сейчас по-другому — деловитее и отчуждённее. Он и это воспринял как знак. И даже глаза свои зелёные она умудрилась как-то пригасить, не распахивая их, а словно прикрывая.

Родюшин попросил её прочитать текст — пьесу Трехлева, то есть монолог Заречной.

— Мне надо уточнить тональность, провести сравнительный анализ. Я пробую разные женские голоса, чтобы найти золотую середину.

Он говорил несколько туманно, сам сознавая это, но поправлять себя, уточнять что-то не стал. Зато набросал некую экспозицию — это он сам так назвал.

— Трехлев сочинил пьесу о том, что будет через двести тысяч лет. Уму это непостижимо. Но сердцу — возможно. Перед нами пространство. Бога в нём нет. Восходит луна. Солнца тоже нет. Оно погасло вслед за Богом. Бог оставил землю, и солнце погасло. Лишь привидения — тени героев и мерзавцев — блуждают над землёй. Тени героев — в мировой душе, которую

представляет актриса, а тени отребья — в болотных гнилушках. Над всем этим царит дьявол. Он беспрестанно создаёт хаос, в котором нет места разуму и подлинному чувству — одни животные инстинкты. Таков удел человечества, которое, похоже, стремительно к этому катится.

Даша, конечно, была удивлена. И его предложению, и его монологу, однако выразила это только взглядом, на миг вскинув ресницы. Она отозвалась, взяла в руки листы и стала читать. Сначала медленно, размеренно, школьному, тщательно выговаривая каждое слово, и чуть отстранённо, как читают, скажем, сводку погоды: “Люди, львы, орлы и куропатки...” Но лексика, образы и картины постепенно увлекли её, голос стал обретать окраску, в нём появились взлёты и снижения, как прилив и отлив, которыми ворожит-колдует та самая луна. И жесты появились, и мимика, и рука плавно следовала за фразой, точно чайка над гладью озера. И трепетали пальцы, которые так очаровали с первого раза, но теперь жили иначе, словно перебирали утраченные солнечные струны, словно зывали и молили, дабы Господь смилостивился, вернулся и вновь обогрел Своей любовью несчастную землю.

Родюшин не ошибся — профессиональное чутьё его не подвело. Но сейчас он сознавал, что оценивает происходящее не только как знающий толк в искусстве режиссёр. Перед ним сидела молодая женщина. Ещё недавно настороженная, отчуждённая, она, неожиданно даже для самой себя, на глазах преобразилась, по воле слова открывая ему потаённую суть, не мировую — абстрактную, а собственную свою душу. В этих словах таилась какая-то загадка. И не столько смысл, сколько сочетание этих гласных и согласных, зарождавшихся сейчас и здесь в её трепетном горле, создавали осязаемую энергию и — не то вопреки смыслу пьесы, не то благодаря ему — источали тепло. Родюшину явственно представилась сцена чаепития. Солнце в чайной чашечке, её рука и словно сами по себе живущие пальцы. Вот они, указательный и средний, тянутся к продолговатой тартинке, или тарталетке, как они там называются, проникают внутрь мягкой обёртки, осторожно раздвигают перламутровые лепестки и отворяют...

Его обдало жаром. В этот момент Даша закончила чтение и слегка подняла голову. Её губы ещё трепетали. Так бабочка-пестрянка, поводя крыльцами, ищет, куда бы ещё направить свой полёт. А взгляд замер, кажется, не в силах преодолеть невидимую преграду.

Такое бывает. Внезапное наваждение охватывает тебя и, помимо воли, погружает в долгое оцепенение, которое не хочется прерывать, а хочется длить и длить, не считаясь ни со временем, ни с обстоятельствами. Даша глядела перед собой поверх листов, не поднимая головы. А Родюшин во все глаза глядел на Дашу, любуясь её чертами. Эта смуглая кожа, под которой тихо остывает румянец, ресницы, прикрывающие глаза, эта правильная линия носа, чётко очерченные и такие трепетные губы...

Пауза затягивалась. Нарушать её Родюшину не хотелось. Но пришлось. Ведь слово-то было за ним.

— Спасибо, Даша! — сказал он. — Хорошо. Читали вы замечательно.

Она, наконец, подняла глаза. В них ещё, похоже, мерцали отсветы той, возможно, грядущей трагедии, что разворачивалась в пьесе, но было ещё что-то! Прислушивается к себе? Оценивает его слова? Сомневается?

— Правда-правда, — добавил Родюшин. Как убедить её? А что если обернуть шуткой? — И почему это современные барышни не сидят на скамеечках в парках и на бульварах и не читают вслух классические романы?! Ведь все женихи слетались бы, как воробьи, на погляденье. Вы посоветуйте это своей подруге, Дюймовочке.

— Ире? — откликнулась Даша. — Неужели она звонила? — Смахнула с головы шапочку и встряхнула волосами.

— Да, пару раз. Слегка кокетничала.

— Ой, Иринка. — Даша снова тряхнула головой, распушив кудряшки и становясь сама собой. — Вы не подумайте... Она хорошая. Правда, правда... Она всё отдаст, когда надо. Она ведь в лавку эту оружейную пошла, спасая родственника. Вытянула, несмотря на конкуренцию. Годами себе гроши начисляла, чтобы чужие долги оплатить.

Складочка на её переносице была искренняя. Ни капли кокетства, всё естественное и непосредственное. Редкая органика, как в таких случаях говорят в артистических кругах.

— Даша, — как можно убедительнее сказал Родюшин, — у вас актёрский дар. Поверьте! Природный. Предлагаю вам роль Нины Заречной.

Он смотрел на неё выжидающе. Что она скажет? А на её лице ничего не изменилось. Не было ни радости, ни удивления, ни растерянности. Ничего. Только тихая, грустная улыбка.

— Что в таких случаях надо говорить? Спасибо за доверие? Спасибо, Денис Геннадьевич!

— Просто Денис...

— Спасибо, Денис, но...

— А может, это ваша судьба, Даша?! — он сделал ударение на последних словах.

— Судьба, — усмехнулась она. — А что такое судьба? Вот мы, например, трое подружек, должны были после университета идти примерно по одному пути. А в действительности? Иру что определило в её оружейную лавку — судьба или случай? Я бы ни за что не взялась за это дело. И Лариса — тоже. А Ира тянет... На моём месте они тоже не могли бы оказаться, я ведь параллельно ещё иняз окончила. Но в принципе преподавать могли, нас ведь на педагогов и учили. Зато на месте Ларки не могли оказаться ни я, ни Ира.

— Почему?

— Потому что у нас другие мамы.

— А у Ларисы чем особенная?

— Тем, что она заслуженная артистка и почти звезда сериалов.

— Луканина? Мать Лары — Серафима Андреевна? Вот как! А я и не знал!

— А вы ещё многого не знаете, уважаемый режиссёр, — в голосе Даши появилась ирония.

— Так просветите, — он хотел взять её за руку, но она убрала. — Вы с Ирой не замужем. А у Ларисы семья, правильно?

— Ребёнок есть, дочка. Но она не замужем.

— А кого же я на днях видал у неё? Развалился в кресле и курил?

— А, — Даша как-то сразу погасла. — Это братец её. — В голосе слышались брезгливые нотки, и после этого она сразу засобиралась.

## 6

Репетиции шли уже на сцене, и тут особенно было важно, чтобы все актёры были в сборе, а главное — вовремя. На очередную “слётку” Стромилова опоздала. Не то чтобы намного — на полчаса. Но замечание сделать было необходимо, что Родюшин и сделал. Причём мягко, даже деликатно. Он строго посмотрел на Сусанну Львовну, потом на наручные часы и снова — на неё. Только и всего. А Стромилова? А она взвилась, как фурия. Её реакция, как сказал бы невропатолог, а может, и психиатр, была явно неадекватной. Если, разумеется, она, эта реакция, была заранее не срепетирована и не срежиссирована — этакий театр в театре, чудеса в решете или в табакерке, — потому что выплилась в полновесный монолог:

— Мы тут — не в столицах. Ни в белокаменных, ни в закованных в гранит. Тут бонн, гувернёров нет, — последнее явно предназначалось персонально ему и следовало принимать на свой счёт. — Мы в хрущобах обитаем. То воды нет, то света, то газа. А из всего общественного транспорта — задрипанный “пазик”. Вот и крутись. И хоть вовсе не ложись, чтобы на репетицию не опоздать.

— Вы закончили? — уловив паузу, тихо спросил Родюшин и уже громче добавил: — Тогда приступаем.

Несмотря на такое вздорное начало, свою роль Сусанна Львовна Стромилова провела на удивление хорошо. Родюшин даже похвалил её, оценив интонацию, когда Полина Андреевна просит Дорна надеть шляпу. Интонация была тёплая, скорее материнская, словно обращённая к собственному чаду.

Треплев вспылил следом за репликой своей матери — Аркадиной, но прелюдия-то его гнева — эта материнская нежность, которой он обделён. Вот в чём дело.

“Удивительное существо — эта Стромиллова, — размышлял Родюшин после репетиции. — У неё две маски — комиссарши и душечки, и для жизни ей, видимо, вполне хватает этого реквизита. На сцене — сто личин, а в жизни только две. При этом не скажешь, что она — двулична...”

— Учите роли, — сказал он напоследок. — Отчего провалилась премьера “Чайки” в МХТ, и бедный Антон Павлович со стыда сгорел? Оттого, что актёры не знали текста. Даже Комиссаржевская.

При этом по логике вещей надо было глянуть на Горникову, которая вслед великой актрисе репетирует роль Заречной, но он посмотрел на Луканину. Почему? Скорее всего, потому, что в её взгляде застыл какой-то вопрос. Как возник с начала репетиции, так, кажется, и не исчез. Он было подумал, что это недоумение. Ей, Луканиной, он, режиссёр, сделал выговор всего за пять минут опоздания, а Стромилловой за её полчаса даже слова не сказал. Но теперь, когда все разошлись, призадумался.

Отпустив актёров, Родюшин устало сел в кресло. Спина болела, он свёл лопатки, снова развёл, прогнулся несколько раз, вытянул ноги. Нет, тут дело не в Стромилловой, не в обиде Луканиной. Тут что-то другое.

Репетировать в тот день он собирался четвёртый, заключительный акт. Без Стромилловой — Полины Андреевны — начинать было никак нельзя. Но и время терять не хотелось. Он потоптался возле режиссёрского столика, походил по театральному проходу, встал перед сценой, на которой располагались ожидавшие работы актёры, и заговорил. Говорил, как думал, не лукавя, не скрывая горечи и озабоченности. До конца неясна сценография, нет многих мизансцен, всё ещё не найден убедительный ракурс, что на военном языке называется углом атаки. И вот тут ему припомнилось старое полотно — картина Александра Иванова “Явление Христа народу”.

— Художник писал эту работу больше двадцати лет. Сделал сотни этюдов. Типы людей, изображённых на полотне, искал повсюду и передал их с живописной точностью. Но есть ли на полотне Христос? Есть знак — маленькая фигурка на заднем плане, есть название картины, но Бога, по-моему, там нет. Это ведь не каждому дано — узреть Господа. Иной на икону смотрит, даже намоленную, а ничего не чувствует. Отчего? Сердце не раскрыто. Возможно, гордыня затворила его. Благодать и не сходит. Нет места ей в сердце.

Вот в этот момент он, кажется, и увидел взгляд Луканиной — напряжённый, острый, вопрошающий.

— Так и в искусстве, в передаче Божественного огня. Не нашёл художник нужного ракурса, не постиг Бога, вот и не случилось чуда. Что мы видим на том полотне? Спины, блестящие от воды, лица, по большей части профили. А глаз почти нет. Нужны глаза, чтобы в них отражался Христос. Но как этого добиться? Может быть, всех этих людей, стоящих на берегу, надо развернуть на сто восемьдесят градусов, то есть зеркально. Вот тогда и явятся их глаза, а в них — Христос, идущий по водам. По водам, аки по суху. Самого Его нет, потому что Он повсюду. Есть только золотая дорожка, как от солнца, по которой Он приближается.

\* \* \*

Церковь стояла напротив театра. “Храм искусства” и просто храм, то есть искусственный храм и храм Божий. Из одного Родюшин плавно перешёл в другой, и здесь ему было теплее.

Завершающая служба, как всегда, началась с чтения вечернего псалма: “Солнце позна запад свой. Положил еси тьму и бысть ночь...” Так уже сотни лет христиане прославляют начало Творения, когда Господь премудростью Своей сотворил землю, наполнив её различными тварями — творениями Своими.

Родюшин поставил две свечи — на помин рабы Божьей Марии и во здравие — себе и смиренно замер с краю небольшой горстки прихожан. Его душа благодатно наполнялась теплом и тихим, лучистым светом. В храме иной раз он так отрешался, весь отдаваясь на волю Божию, что, когда заканчивалась служба, не сразу приходил в себя. На сей раз мирское, пережитое за день довлело, и, чтобы отрешиться, он обратился слухом к хору. Певчие вступили без видимой подготовки, но ладно. Профессиональный слух, наверное, выделил бы отдельные голоса, но для него они сливались воедино. Был ли тут ансамбль? Разумеется. Ведь храм Божий держится близкими по духу людьми и церковным каноном. А в храме мирском, где он провёл день, все — наособицу, все норовят про своё сказать и себя прежде показать, не заботясь об ансамбле, о гармонии. И создать это — задача его, режиссёра Родюшина.

Служба шла заповеданным чередом. Творились молитвы, читались псалмы, следовали правила. Голоса священников — людей в годах — почти не отличались один от другого. А голос псаломщика, молодой и ещё не устоявшийся в службе, чем-то привлёк. Родюшин прислушался. Вместо “помилуй” звучало “омилуй”. Волнуется, весь сосредоточившись на счёте, для чего тайком загибает пальцы? Или это особенность речи? В армии, приветствуя старшего, сокращают слоги: “здра... жела...” А здесь — “омилуй”. В армейском усечении суть остаётся, а тут возникает что-то новое. Нет, наоборот — что-то будто более древнее, ещё до преданий и молитв, до появления старославянского языка.

Вот с этим “омилуй” Родюшин и вышел со службы. И всю дорогу катал на языке подобия: омой, окорми, овей, оборони, оголубь, обогрей, одушеви, ободри, обойми...

К себе в “берлогу” Родюшин пробирался задворками, потому что шёл вечерний спектакль, а ему ни с кем не хотелось встречаться, даже с билетёрами. Мимо директорского кабинета он крался едва не на цыпочках — цепenea от ужаса, как он шутил про себя и вслух, подыгрывая самолюбию “господина импресарио”. Но тут случилось непредвиденное. Как раз в эту самую минуту из кабинета директора выскочила Оля Горникова.

В текущем спектакле она была занята, судя по белому фартучку и наклёке, в эпизодической роли официантки. О чём шёл у неё разговор с директором, можно было догадаться. Скорее всего о том, что её, выпускницу театрального училища, никак не устраивают такие — “кушать подано” — роли. И то, что Оля недоизлила на директора, в прямом и в переносном смысле обрушилось на Родюшина. Растрёпанная, зарёванная, она налетела на Родюшина и только что кулаками ему в грудь не застучала.

— Что вы все знаете обо мне? Что вы все знаете?! — Из груди её рвались рыдания, по лицу текла тушь.

Сцена была нелепая, прямо-таки театральная. Но что тут можно было сделать? Цыкнуть? Или наоборот — пожалеть? Или взять за плечи, встряхнуть и обтять, как формируют расплывающееся тесто?

Родюшин взял Ольгу под локоть и молча повёл в фойе, где стояли банкетки. Усадил на ближнюю, сел рядом и — надо же такому случиться! — попал под перекрёстный огонь примадонн. Со стены, где были развешены портреты артистов, на него взирали Стромиллова и Луканина. Одна — сурово и мужественно, словно комиссарша из “Оптимистической трагедии”, только что вышедшая из боя, отчего взгляд её напоминал зрачки маузера и нагана; другая пронизывала ехидным взглядом и всё понимающей усмешкой. Стромиллову он ещё бы стерпел, как стерпел её “бонн да гувернёров”, но затаённого сарказма Луканиной вынести не смог. Куда пойти? В гримёрку, в буфет, в репетиционную? Везде там или по пути можно наткнуться на посторонние взгляды. А зачем это? Делать нечего, повёл к себе, хотя и не хотелось: лишние разговоры, домыслы, сплетни — что тут хорошего?! Да и Оля эта настаивала своим состоянием — неизвестно, какой фортель может выкинуть. Но главное — Даша. В репетиционной, как чудилось ему, всё ещё сохранялся аромат её волос, этих вольных кудряшек, и так не хотелось, чтобы он исчезал.

Оля в “берлогу” зашла покорно, по-прежнему всхлипывая, утирая ладонью глаза, и всё твердила, как заклинание, только уже шёпотом: “Что вы все про меня знаете?..”

— Ну, так расскажи. — Родюшин посадил её в креслице, налил в стакан воды и вытер со щёк тушь. — У тебя всё там? — он имел в виду сцену, сам не заметив, как перешёл на “ты”.

Она кивнула — в жестах ещё недоверчивость, — но уже благодарно, с тихой надеждой посмотрела на него снизу вверх. А взгляд-то глубокий, отметил Родюшин, даром что глаза воспалены. Никакого лукавства, спеси, тем паче надменности и вздорности. И вовсе не Мальвина — с чего ты, братец, взял?!

— Живёшь далеко. — Она кивнула. — Дальше Стромиловой. — Снова кивнула. — Но не опаздываешь, — он так поощрил её. Она улыбнулась, но через силу.

— Окраина самая, — вздохнула тихо. — Далеко. Ехать долго. На двух автобусах. Просила у директора общежитие, да не даёт — нету. А сам, говорят, чеченцев селит. — Она отпила воды, губы мелко-мелко задрожали. — Сюда-то ладно... А вот возвращаться... Бандиты там...

— И некому встретить!

— Раньше Владик встречал, братец. Теперь он в армии — некому.

— А отец — мать?

— Папка пьёт. Как сократили, так запил и не просыхает. Ругает власть, а больше нам с мамой достается. Она такая у меня была, а сейчас что-то выжата. Так о себе говорит. Боюсь за неё и за папку боюсь. И за братика. — Она вскинулась:

— Девчонка у него была. В армию провожала, клялась ждать, а тут замуж заходила. Жених, говорят, богатый подвернулся. Владик узнал — сам не свой. Такие отчаянные письма пишет. Я маме не показываю — и так за сердце хватается. А Владик — беда. Приеду, пишет, всех порешу. Сколько сейчас таких! Автомат схватил и очертя голову домой! Не дай бог! Пишу, уговариваю, успокаиваю. Может, думаю, командиру написать, чтоб приглядывали. А вдруг хуже будет? Озлится на весь белый свет — что тогда?.. Боюсь даже и думать.

Оля говорила взахлёб, опять давясь слезами, которые едва сдерживала. Отчаянно трянула головой, сронив эту нелепую здесь наколку и скомкав свой сценический передник.

— Я же как думала, когда в театральное пошла... Буду играть, зарабатывать. Вывусь оттуда, с окраины этой, и их вырву, моих родных. Чего бы мне это ни стоило. А вот, выходит, мой удел — “Чего изволите?” да “Купать подано”, — и она брезгливо отшвырнула передник. Передник упал на пол, как та самая убитая Треплевым чайка. Родюшин отметил это вскользь, а сказал так:

— Ну что ты, Оля! Тебя воспринимают, — он не нашёл другого слова, зато нашёл довесок: — Портнов хвалил.

Ольга взглянула недоверчиво.

— Мне кажется, он ругал меня.

— Да нет, уверяю. Третьего дня с ним беседовали. Будет, говорит, толк из этой девочки. Так и сказал.

— А вы?

— А что я? — не понял Родюшин.

— Вы же ищите другую на роль.

— Кто тебе сказал?

— Говорят, — уклончиво отозвалась она.

Пускаться в объяснения Родюшин не стал — это могло завести неведомо куда.

— Мы с тобой репетируем? Репетируем. Продвижения есть? Есть. Так какого лешего?

Родюшин намеренно подпустил грубости, полагая, что в такой ситуации это уместно. И попал в точку. Ольга тихо вздохнула, словно ребёнок, который одолевает последний всхлип, и уже смелее улыбнулась.

— Ну вот, — ответно улыбнулся Родюшин. — Так-то лучше. Не надо распускаться, Оля. Надо держать себя в руках. Я понимаю, если бы крах... А то ведь так — текущий кризис. — Он сам удивился этой формулировке, но поправляться и уточнять не стал, а перевёл на домашних: — Ты папку любишь?

— Папка мой хороший, — в голосе её возникли мягкие нотки. — Слабый только. Работы лишился — как неприкаянный стал. Однажды нашёл место и работал. Да там обманули, да ещё избили. — Губы у неё задрожали.

— Ну-ну, — остановил её Родюшин — не хватало только по новому кругу! — А коли любишь, так подойди, да обними, да сделай для него что-нибудь, рубаху хоть погладь, да возьми за руку да скажи, что боюсь вечером одна, встречай, а то без тебя пропаду. Ну, какой отец после этого не отзовётся?! Даже последний забуддыга. А твой-то ещё боец, небось пятидесяти нет.

Оля кивнула.

— И маму чем-нибудь порадуй, в парикмахерскую сведи или сама причеши-постриги... А брату позвони, да скажи, что девицы одна за одной о нём справляются, отвлеку от дурных мыслей, а то все вместе позвоните. А потом всей семьёй — на премьеру. Ты — на сцене, а мама с папой — в зале. Или лучше на второй-третий спектакль. Когда уже дыхание появится, сбой пройдут.

Родюшин перевёл дух, зачесал обеими пятернями волосы. Завершить разговор надо было чем-то традиционным, то есть добавить про репетиции, про работу, чтобы девочка мобилизовалась. У него на языке уже вертелась подходящая концовка. Связать сцену чтения пьесы Треплева с её, Олиным, возвращением на свою окраину. “Ты представь, что возвращаешься домой. Идёшь по глухому, тёмному пустырю. Сиротливо, одиноко. Только дьявол на тебя целит красные зрачки...” Слава богу, хватило ума воздержаться. А то ведь напугал бы девчонку, да и порушил то, что чуть слепилось да сшилось на живую нитку.

## 7

По утрам — в начале и в конце недели — Родюшин приноровился ходить в баню. Оно, конечно, было не совсем удобно — поджимало время репетиции. К тому же пар в коммунальной бане настояться не успевал. Зато в ранние часы здесь было тихо, народ приходил не праздный, в меру озабоченный. Не то что под вечер, когда сюда слетались всякие бражники, говоруны, ночные гулеваны, у которых как раз начинался “трудовой день”. Завалятся, телик — на полную громкость, голоса — поперёк, пиво — пятилитровыми “бомбами”, вобла — связками, вонь от неё достигает даже мыльной и парилки. Ну, какое тут омовение, какое отдохновение?! По первому разу Родюшин попал в баню именно в такую пору — затащил Луньков, любитель не столько пара, сколько пивных посиделок. Но в дальнейшем он отправлялся в баню только с утра.

Так было и на сей раз. После двух заходов в парную Родюшин сделал продолжительную передышку. Он сидел за одним из двух столиков, расположенных против очереди кабинок, и попивал квас. Длинные волосы его были забраны под шерстяную, серого цвета шапочку. Он в ней парился, но не снимал её и в предбаннике. Это был его секрет. Где-то он прочитал, что одна старая писательница обматывала голову чулками, чем слегка шокировала гостей, но при этом ничуть не смущалась, объясняя, что в тёплой голове, как в кашеварке, начинают бурлить мысли. Смех смехом, а Родюшин верил этому, и больше того — сам испытал. Вот и сегодня его озарило. Да ещё как! Пробежав взглядом по очереди кабинок с задёрнутыми занавесками, Родюшин вдруг отчётливо увидел решение сцены. Вот уж поистине: “Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда!..” Фасад усадьбы, барского дома и театрик-балаган надо выстроить в одну линию, подчеркнув тем самым их тождество. И далее объединить их одним, общим занавесом, который до финала будет сдвинут в место стыка двух сооружений.

Эта идея захватила Родюшина. Она не давала ему покоя всю репетицию, и он с трудом удержался, чтобы не вызвать на сцену художника-постановщика.

Останавливало его лишь то, что тут, на сцене, могла возникнуть непредвиденная ситуация — он предполагал, как будет реагировать художник.

Павел Гурьевич Ломанцев в молодости блеснул сценографией “Гамлета”, сумев создать атмосферу королевства Датского декором из цепей. Из гирлянд и связок цепей был шит даже занавес. Сорок лет назад это казалось смело и оригинально! Но с тех пор ничего похожего, то есть оригинального, он не рождал. То ли давний успех вскружил голову, то ли он был “автором одной песни”, но в дальнейшем Павел Гурьевич только компилировал, создавая из двух-трёх заёмных элементов нечто среднее. Вот на этом среднем уровне он и держался. Однако достоинство своё держал гораздо выше означенного уровня. А к окружающим и коллегам был строг, ироничен и изрекал истины, которые не подлежали не то что обсуждению, но даже сомнению.

Если бы Родюшин выложил свою идею при актёрах, при всех занятых в спектакле, Павел Гурьевич, скорее всего, принял бы её в штыки. Кто смеет совать нос в его вотчину! Он нашёл бы десяток контраргументов и, даже если удалось бы его уломать, проволынил бы задание и сделал бы всё не так. Это Родюшин понял ещё при знакомстве, когда почувствовал холодность и вялость протянутой ему руки и увидел тяжёлую нижнюю челюсть, которая с годами набрякла непропорциональным самодовольством.

Потому Родюшин поступил как дипломат. Он удержался от соблазна тотчас вызвать художника на сцену, а сам пошёл в мастерскую Ломанцева, перед этим хорошенько размяв лицевые мышцы. Как иначе было добиться намеченного?! Улыбаясь, прищипывая губами, охая и ахая, Родюшин долго восхищался какими-то пейзажными этюдиками, карандашными почеркушками, представленными на паспарту, портретными зарисовками. Потом хвалил предложенный чай и тут почти не лукавил. И даже казённые сушки оценил по достоинству, словно они тоже были произведением искусства, вышедшими из-под руки мастера. И только после этого стал подводить разговор к постановке, к декорациям, к оформлению. Издалека, медленно, но упорно он гнул своё и просто-таки внушил Ломанцеву, что именно ему, художнику, явилась эта идея, и тот, выпячивая надменно губу, наконец изрёк:

— В сущности, решение декорации — две рамы. Одна пятиугольная, большая — это дом, усадьба. Другая прямоугольная, маленькая — это балаганчик. И соединяет их единый занавес. Всё остальное — декор, детали.

Родюшин облегчённо вздохнул. Победа! Теперь предстояло определить материал занавеса декорации, а главное — его добыть. Рассчитывать, что этим займётся художник, было наивно. Путём тех же наводок-уступок Родюшин подвёл Ломанцева к мысли, что лучшим материалом для задуманного будет парусина — ткань плотная, которая хорошо держит форму. Парусины понадобится много, следовательно, надо идти к директору. Тут уж впрягусь я, заключил Родюшин, тем самым окончательно и целиком передав лавры автора Ломанцеву. Какая разница, что в промежутке; главное — в конце, незаметно усмехнулся Родюшин и со словами, что он идёт бить челом к “маэстро импресарио”, взялся за дверную ручку. Нет, не так — Родюшин ещё раз остановился возле стены, где были выставлены на обозрение работы. Ведь один этюд его и впрямь покори́л.

Это была рука. Пясть человеческая, выполненная грифелем, со всеми сухожилиями, вздутыми венами и рельефными суставами, застывшая в некоем незавершённом действии. То ли через миг вспучится кулак, то ли пальцы сомкнутся в троеперстие. Это было настолько близко, что Родюшин ещё раз вернулся к карандашному этюду, пытаясь разгадать итог. Этим он окончательно покори́л художника, и тот сам, не ожидая пожеланий, обещал уже днями сделать макет.

\* \* \*

Директор был занят. Секретарша, Марина Юрьевна, моложавая неопределённого возраста особа, почти извиняясь, сообщила, что пускать никого не велено. Родюшин досадливо поморщился и хлопнул тыльной стороной руки

о ладонь. Марина Юрьевна, явно симпатизировавшая ему, восприняла этот жест не иначе как сигнал к инициативе. Она тотчас включила селектор и положила, что в приёмной находится режиссёр Денис Геннадьевич, у которого весьма срочное дело. “Срочное, срочное”, — донеслось из недр директорского кабинета, прошаркали колёсики кресла, а потом послышалось утвердительное бурчание. Марина Юрьевна победно улыбнулась, сразу помолодев на десять лет, и, как регулировщица перед Бранденбургскими воротами, дала отмашку.

Директор стоял за столом. То ли второпях он забыл запихать ноги в специальные служебные башмаки на толстенных каблуках, то ли встал мимо специальной подставки, только казалось, что он сидит, потому что столешница почти упиралась ему в грудь. Волосы директора, собранные со всей головной периферии, были растрёпаны и открывали потаённую лысину. Вся фигурка его была напряжена, рыхлое лицо полыхало пятнами, ноздри раздувались. Крепко, видать, досадил ему собеседник, который обосновался за приставным совещательным столом.

Это был плотно сбитый средних лет мужчина, облачённый в дорогой серый костюм и благоухавший тонким парфюмом, аромат которого тихой сапой заполнял пространство. Он сидел прямо, не поворачивая головы, и лишь поводил глазами, точно кот на часах-ходиках — тик-так, туда-сюда. Вот только глаза у этого кота были рысы. Да и повадки — тоже. На приветствие Родюшина он даже не кивнул, а лишь прикрыл глаза, словно экономил какую-то драгоценную внутреннюю энергию, необходимую для будущего прыжка.

Родюшин сделал несколько шагов и остановился посередине кабинета. В жизни он не выстраивал мизансцен — всё получалось само собой. Так и здесь. Незнакомца практичнее держать в поле зрения. А “господина импресарио” лучше не раздражать своим ростом, поскольку тот, бедолага, и так уже не в себе.

— Леон Маркович, — мягко, но убедительно сказал Родюшин. — Найдено сценическое решение. Мы обсудили его с художником-постановщиком. Для воплощения задуманного требуется парусина. И довольно много. Ширина три метра, длина пятнадцать метров.

— С Ломанцевым обсуждали? — машинально переспросил директор и почти по-бабьи запричитал: — Это ж с ума сойти сколько материала! — Захлопал себя по бокам, точнее по карманам. — Это ж “Варяг” можно оснастить!

— “Крузенштерн”, — поправил его Родюшин. — Вы хотели сказать — “Крузенштерн”.

Директор тоскливо закивал.

— Нет, поменее будет, — спокойно продолжил Родюшин. — Четверть фок-мачты — не более.

— Четверть, — повторил плаксиво директор. — А расходы? — При этом глянул на того самого лощёного мэна, словно ища у него сочувствия, но тот даже глазом не повёл, внимательно рассматривая свои холёные ногти. — Бьёшься, бьёшься как рыба об лёд, а всё коту на смех!

В другой раз Родюшин наверняка отозвался бы на очередной шедевр красноречия “господина импресарио” — это надо же какой талант пропадает! — но тут даже и мысленно не хмыкнул. Почему? Да потому, что перед ним стояла ещё одна задача, и тут важно было не переиграть, не перегнуть, не ошибиться ни в тональности, ни в жесте.

Родюшин сделал шаг назад, одновременно повернувшись вполоборота. Тем самым он показал, что всё изложил, что более ничего добавлять не собирается, что директору — кровь из носу, как он сказал о премьере, — придётся добыть необходимую парусину. Но в последний момент перед поворотом замер, вернулся в прежнее положение и так это между прочим добавил, что тут появлялся какой-то человек — в штатском, но по виду службист — и всё осведомлялся насчёт театрального общежития.

Пятна на лице “господина импресарио”, слегка угасшие, как уголья под рыхлым пеплом, вспыхнули с новой силой.

— Вот! — Он почему-то метнул взгляд в сторону холёного мэна. — Я говорил!

Тот осёк его встречным взглядом. Директор умолк, засучил ножками, видимо ища обувку, закивал Родюшину, мол, хорошо-хорошо, — будет тебе и дудка, будет и свисток — и, выходя из-за стола, но не приближаясь, стал всем своим видом — жестами и мимикой выпроваживать режиссёра.

То, что разыграл Родюшин, в карточной игре называется блеф. Никакого ревизорствующего службиста он не видел. Таковые, похоже, перевелись на Руси. И ежели по служебной надобе и поручению где и появляются, то результат их деятельности обыкновенно равен нулю, ибо рука руку моет. Подлинные ревнители закона, видимо, остались в истории да в отечественной драматургии. Вот Родюшин как режиссёр и разыграл начальную сцену классической пьесы, в одном лице представив и Бобчинского, и Добчинского. А что? Старое ружьё стреляет. Причём бьёт без промаха. И в этом он вскоре убедился.

Дня через два после репетиции к нему подошла Оля Горникова. Улыбается. Директор подписал заявление на общежитие, и она в случае задержки теперь может заночевать в городе. Как было не порадоваться за девочку?! Одной проблемой стало меньше. А тут оказалось, что и в семье стало спокойнее. Поговорила с панкой по душам, так тот даже расплакался, поклялся завязать и больше не пить.

Оля вся прямо-таки светилась. Как? А как и впрямь Нина Заречная в начале пьесы.

## 8

С городом Родюшин не знакомился. Не видел надобности. Старинный, имевший несколько веков истории, за последние полвека он напрочь утратил былое своеобразие, если сличать со старыми фотографиями или сравнивать с другими городами — его ровесниками. Сначала по нему прошла хрущёвская волна, потом — не менее ураганная брежневская, а на исходе века обрушилось архитектурное цунами новобуржуазной застройки, и от былого своеобразия остались жалкие островки, не сметённые железобетонной стихией, да и то по закрайкам. А центральные улицы и проспекты превратились в нагромождение геометрических скал и утёсов, где обосновались торговые лавки, напоминавшие птичьи базары, такой там стоял “галдёж” вывесок, дешёвого шмотья и музона.

Потому, если выпадала пауза, Родюшин отправлялся к реке. Берег хоть и пучился от торгашеской пены — шашлычных и пивных балаганов, дебаркадеров с кофейнями и ресторациями, — первозданного величия и простора река, по счастью, не утратила. Он гулял по бетонной набережной, на открытых местах спускался к урезу воды, наблюдая за накатами волн, а то опять поднимался вверх, дыша во всю грудь волглым воздухом, пропитанным духом недалёкого моря.

Остановившись возле бетонного мола — причального ковша, — Родюшин опёрся о чугунный парапет, отлитый в виде растительного орнамента, и склонился к воде. Волнение здесь было меньше. Однако палая листва, кружившаяся возле бетонной стенки, никак не могла оторваться от неё, вырваться из какого-то заколдованного круга, точнее квадрата, словно здесь, в ковше, на неё совсем не действовали ни течение, ни свежий осенний ветер, ни само земное притяжение. Неотрывно наблюдая за этим неведомо кем управляемо-неуправляемым хаосом, Родюшин меж тем думал о своём. А ведь здесь, в речной заводи, при всех видимых и невидимых завихрениях, пожалуй, больше порядка, чем в его жизни, в судьбе, и тем более в его режиссёрских попытках сделать человеческий хаос управляемым, добиться слаженности актёров, создать творческий ансамбль, привести к стройности замысел драматурга.

Неожиданно в ковше-закуте появился утиный выводок. Странно было видеть пернатых в начале октября. Сезонные птицы, похоже, уже отлетели, а эти как будто и не помышляют. Кормёжка, понятно, тут пока есть, да и подбрасывают им — те, кто приходят сюда, крошат хлеб, сушку. Но зима-то не за горами. А о том не думают ни птицы, ни люди, подкармливающие их.

— Ага, — раздалось за спиной, — а у них, видать, тоже режиссёрские заботы.

Родюшин обернулся, оторвавшись от парапета, хотя по голосу — слегка наседающему, силловатому — уже понял, кто это. Однако, увидев, несколько удивился. Если бы не голос да, скажем, в толпе, может, и не узнал бы, пройдя мимо. В театре Портнов казался проще, провинциальнее — нашёл Родюшин верное определение. Здесь же и сейчас выглядел этаким богемистым фатом: чёрный добротный берет, синий плащ-реглан, чёрные брюки, а довершал ансамбль красно-чёрный клетчатый шарф, завязанный модным артистическим узлом. Чем не столичная штучка! Родюшин, облачённый в серую двубортную куртку с кашпоном, в серую сванскую шапочку и потёртые джинсы, почувствовал себе не иначе как провинциальным родственником. Впрочем, длилось это недолго — он никогда не придавал большого значения внешней стороне, тем более одежде.

— Почему режиссёрские? — переспросил Родюшин, мотнув головой.

— А тоже ведь театр, — ответил с усмешкой Портнов, его сухощавое лицо оживлял лёгкий румянец. — Распределяют роли — решают, кому быть Серой Шейкой. — И без перехода заключил: — Воистину весь мир театр.

— Не любите?

— Иногда ненавижу.

— Отчего же? Разве он не облагораживает, не будит чувства?

— Вопрос — какие? Наталья Кирилловна, вторая жена Алексея Михайловича, любителя позорищ — сиречь зрелищ, глядела лицедейские забавы, сидя за ширмой. На ту самую пору в утробе её пёкса-изготавливался отпрыск Петруша, потом возведённый на престол под номером один. Насмотрелся будущий император, лихоимец всероссийский, как кувыркаются скоморохи да паяцы, а потом так же с ног на голову поставил державу. А ненастоящие слёзы да клоквенную кровь заменил натуральными.

Родюшин посмотрел на Портнова с пристальным интересом — недооценил. Однако поддерживать исторический пассаж не стал, зная, куда это может завести. Вместо этого спросил, почему же он не уходит. На это Портнов поджал губы:

— Куда? Мне пятьдесят пять, как говорит доктор Дорн. Поздно.

— А раньше?

— А раньше бабы мешали. Жёны.

— И много было?

— Третью прогнал.

Родюшин перевёл взгляд на уток. В поисках неведомо чего они пересекли кольцо палой листвы, что бесконечно кружилась под бетонной стеной, и вдруг часть листьев вырвалась из замкнутого круга и, подхваченная течением, устремилась прочь. Что-то мелькнуло в сознании Родюшина, но тут же пропало. Мелкая философия на глубоких местах, усмехнулся про себя. Но Портнов его неожиданную миимику принял на свой счёт.

— Думаете, женоненавистник? — Родюшин уловил запах спиртного. — Отнюдь, сказал граф и густо покраснел. — Избитая шутка ему самому не глянулась, он прикусил верхнюю губу, отчего нос заострился ещё больше, и резко перевёл разговор на другое.

— Я видел, Денис Геннадьевич, как вы восприняли мою реплику насчёт этой девочки. Нет, девочка-то ничего, толк будет...

Родюшин почти не удивился, что об Оле Горниковой Портнов сказал теми же словами, какие ему были приписаны. Стало быть, он, Родюшин, упокаявая Олю третьего дня, совсем не слукавил.

— Я не о том, — продолжал Портнов. — Знаете, Денис Геннадьевич, будь я и впрямь Тригориным, то есть писателем, я написал бы историю беды. А беда эта — женщина. Современная женщина, у которой никаких корней, никаких заповедей и заветов. Еву Господь создал из Адамова ребра. Евины дочери закончились на исходе двадцатого века и теперь рождаются из иной природы. Своё ребро им подкинул дьявол, подзреваю, даже не одно. Вот в пьесе-то треплевской он и царит, уже завершив зачистку человечества с помощью своего агента — женщины. Или точнее сказать — “пятой колонны” дьявола.

Тут налетел порыв ветра, студёного да хлёсткого, всё всклокочилось, вспучилось, утки захлопали крыльями, снялись с прикормленного места, через минуту пошёл дождь, а следом стало кидать горсти мокрого снега.

— Похоже, мать-природа не соглашается с вашими выводами, — хмыкнул Родюшин, уворачиваясь от ветра и накидывая кашпоном куртки.

— Пойдёмте под крышу, — показал Портнов на ближний дебаркадер. — Тут барчик есть, мой сосед служит. — Он ухватил Родюшина под локоть. — Пойдёмте. — И, видать, уже давно проторённым путём потащил Родюшина к широкому трапу.

Бар — он располагался, видимо, на уровне нижней палубы — был небольшой, вполне приличный и почти пустой. За одним столиком сидела юная пара. Остальные места были свободны. Выбирай — не хочу. Они устроились возле окна, за которым мглился в ненастье речной простор.

— По коньячку? — осведомился Портнов, развязывая шарф и расстегивая плащ.

— Я — пас, — отозвался Родюшин. — Разве, кофе.

— Костя, — направляясь к стойке, сказал Портнов, — соточку моего и “Ямайку” для гостя.

Костя, здоровенный, широкоплечий малый, стоявший за стойкой, жонглировал, протирая, фужерами да рюмашками. Во работка! Ему бы на бульдозере или на подъёмном кране мантулить, или на бетонной эстакаде, а он с мелкой посудой возится. Родюшин не то чтобы осудил парня, нет, но, глядя на него, тихо вздохнул. В чём-то прав Портнов, когда бурчит о всеобщем театре. Всё смешалось на нынешней житейской сцене, временами напоминающая затянувшийся фарс. Вот по таким замечам и сознаёшь несуряницу нынешней жизни.

Портнов доставил на подносике свой заказ, не пытаясь даже в шутку изобразить официанта. Чувствовалось, что он был настроен на разговор, на продолжение начатого разговора, ему хотелось высказаться, и рюмку коньяка, и чашечку кофе он снял совершенно машинально.

— Вы правильно сделали, что передали роль Луканиной. Сусанна давно перегорела, Стромилова-то. И памяти от бывшего не осталось. Вернее, одна память и осталась. А у Симы всё ещё живо, всё ещё на нерве. Аркадина — это Луканина. Правильная рокировка. Хотя, — тут Портнов пригубил коньячку, — сейчас и Сима далеко не в лучшей форме. Проблемы. И не только житейские. Эва как она с репетиции-то сиганула!

Родюшин вопрошающе поджал губы. Да, бегство Луканиной со сцены посреди какой-то фразы, всхлипы, переходящие в истерику, его озадачили, что и говорить. Бежать следом было бы глупо, выяснять причины он тогда не стал, перешёл к другому действию, но озабоченность, конечно, осталась. Вот её и заметил Портнов.

— А хотите, Денис Геннадьевич, — предложил он, — я на правах Тригорина, писателя Тригорина, разовью одну историю или, сказать скромнее, опять же по Чехову — сюжет для небольшого рассказа?

— Сделайте одолжение, Игорь Дмитриевич, — прищурился Родюшин. Портнов оказался не так прост, каким показался вначале, и ему было любопытно услышать и мнение актёра, и одновременно понаблюдать за ним, вдруг что-то пригодится для его роли.

Портнов отхлебнул коньячка, сделал жест рукой, будто быстро-быстро пишет, но заговорил не в такт скорописи, а медленно и раздумчиво.

— Серафима Андреевна возвращалась из театра полная смятения и тайного, даже, кажется, от себя, ликования. Свершилось то, чего она давно жаждала, хотя, видит Бог, и не прилагала серьёзных усилий. Она получила главную роль, сместив с трона свою основную соперницу. Это негласное состязание длилось долгие годы. Другая актриса с характером и задатками лидера, возможно, не выдержала бы ожидания и стала бы всячески отстаивать свои права. А она — нет. Не довольствуясь вторыми ролями, она всё же преодолела искушение затеять свару, интриги, вступить в тайную и явную борьбу.

Портнов говорил охотно и увлечённо, куда-то делась всегдашняя сипловатость, но речь его то и дело замедлялась. Тригоринские нотки сменялись

“отсебятиной”, слова “роли” — импровизацией. Так это казалось. Он будто на ходу сочинял, а то опять возвращался к некоему внутреннему монологу, видимо давно и не раз произнесённому. Но одно явилось тут и сейчас, вне всякого сомнения. Это когда он обыграл бутылочное стекло, придав чеховскому штриху новое звучание.

Родюшин слушал Портнова не перебивая. Только иногда жестом или взглядом просил что-нибудь уточнить. И Портнов, как опытный актёр, чувствующий партнёра, охотно отзывался на эти негласные реплики.

Что же открылось Родюшину в этом “тригоринском рассказе”? То, что у Серафимы Андреевны есть дочь и внучка, он уже знал. И о её непутёвом сыне был наслышан. Но, так или иначе, как женщина Луканина состоялась. А вот реализовалась ли она как актриса? Вот что, по мнению Портнова, должно было заинтересовать писателя Тригорина. К этому он и клонил, похоже отказавшись на время от убеждений сторонника Домостроя и приняв сторону писателя Тригорина.

— Могло ли её удовлетворить кино, те коротенькие сериальцы, в которых она в последние годы засветилась? Едва ли. Роли на одно лицо, вернее, для волевой особы, этакой Вассы Железновой современного разлива или матери обширного семейства, в котором отличное борется с превосходным, как в рекламе один порошок с другим... Нет и ещё раз нет.

Тут Портнов сделал паузу, как полагается по театральному канону, прежде чем изречь что-то значительное. И это во всех смыслах ему удалось.

— Её главной сценой стала церковь, — изрёк он.

— Та-ак... — озадаченно протянул Родюшин. Он даже подался вперёд, словно побуждая: а вот с этого места, господин Тригорин, пожалуйста, подробнее. Но, услышав дальнейшее, даже растерялся и был не рад, что и напросился.

— В той церкви, в том приходе служили наособицу. Там образовался свой клир — свой союз. Собирались почтенные люди — коммерсанты, вины, элита интеллигенции, то есть самые посвящённые лица. И у неё, Серафимы Андреевны, там было своё место, причём одно из самых близких, самых почётных, у самых-самых риз. И это место, эта её роль казалась выше всех тех, которые мог ей предложить театр, не говоря уж о кино.

Родюшина покорило это сравнение. Он даже повёл протестующе рукой, словно норовя остановить собеседника, но жеста не закончил, заинтересованный открывшимся. Только в очередной раз укорил себя, что иногда перестаёт понимать, где кончается доверительный разговор и начинается сплетня.

Меж тем Портнов, не оставляя “тригоринского” тона, продолжал:

— В этом приходе служили не по старинке, а по-новому, то есть не на старославянском, как уже тысячу лет, а на современном обиходном языке. Тут всё было понятно и легко входило в сознание. Душа Серафимы, правда, поначалу слегка противилась: а правильно ли это? Но когда в храме стали появляться именитые особы, сомнения истаяли. Европейского уровня филолог-славист с русской родословной. Поэтесса, стихи которой похожи на молитвы и которую принимал сам Папа Римский, внимая её декламации. Народный артист, кумир истинных поклонников театра, который замечательно читает Пушкина и сам пишет оригинальную прозу... Соприкоснуться с такими людьми даже взглядами, а тем более разделять их взгляды, соприкоснуться одеждами, причащаться из одной чаши — это было сродни избранничеству, возведению в некую степень, посвящению в избранные.

Портнов повёл подбородком, видимо демонстрируя, как выглядит превосходство.

— Они даже нашли определение для своего избранничества. Стали называть себя братчиками. Один вспорх чирикающего суффика — и ты уже выше скворечника. Как вам это?

При этих словах, явно выйдя из роли, Портнов усмехнулся, но улыбка получилась кривой, и он стёр её тыльной стороной ладони.

— Братчики эти, в том числе, стало быть, и Серафима Андреевна, до того отделили себя от прочих, что не пускали “посторонних” на Божественную литургию.

Тут Родюшин не выдержал:

— Не может быть. Если это православный храм — не может быть. Церковь для всех открыта.

— Не верите? — усмехнулся Портнов. — Понимаю. А что скажет Тригорин? Читатели, скажет Борис Алексеевич, могут не поверить такому повороту сюжета, но воистину нет предела человеческой гордыне! Она отражается в душе грешника, как в бутылочном стекле на плотине отражается мрак ночи.

Тут Портнов вскинул руки:

— О как сказано! — Он был искренен в этот миг. — Ай да Тригорин! Ай да сукин сын! — Тут же сам себя поправил: — Почему Тригорин? Ай да я! Он бы ни в жизнь такого не придумал. — И тут же полушутя-полусерьёзно себя осадил: — Во! Тоже гордыня. Теперь уже моя. Это же как зараза.

Они помолчали. Портнов допил коньяк, пристально посмотрел на Родюшина и прищурился.

— Не верите?! А загляните на епархиальный сайт. Там сейчас такая буря! Вы думаете, отчего Луканина тогда в истерику впала и кинулась со сцены, — он уловил вспорх бровей Родюшина, — да-да, из-за этого... Можете не сомневаться. Попа тамошнего уличили в ереси и отстранили или как там у них? — отрешили от храма... — И через плечо кинул бармену: — Костя, у тебя бук на ходу? Открой, будь любезен, сайт епархии.

— Ёресь в двадцать первом веке?! — не столько собеседнику, сколько себе сказал Родюшин. — Я понимаю, в четырнадцатом, в шестнадцатом... Но теперь?

Ноутбук переключался на их столик. Портнов, чтобы не мешать, отправился курить, а Родюшин принялся читать.

То, что говорилось на сайте о “зароостровцах”, как сказал Портнов, подразумевая нечто большее, чем просто географию прихода, поразило Родюшина. Лукавство, прямой обман, шельмование неугодных — вот что, оказывается, творят эти “избранные”. Хуже того, они втягивают в расприю с епархией ребятишек, с помощью их устраивая шоу: дети на сцене разыгрывают акт инквизиции, бросая в костёр “неправильные” старые буквы, не ведая, что буквы эти освящены именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

А вот что изрекает глава этого “зароостровского” прихода: души грешников после кончины распадутся на молекулы. Ни больше ни меньше — на молекулы. Не в геенне огненной будут гореть, как предупреждает Христос, а безболезненно исчезнут. Стало быть, коли ты грешник, даже большой, — греши и дальше. Чего тебе в таком разе остерегаться Божьего суда!

Ему вторит уже упомянутый актёр. Больше того, этот актёр, по сути дела, выражает сомнение в Божественной сущности Христа: “Когда приводят к Нему грешницу Марию-Магдалину, Он сидит и чертит на песке, Он же в это время думает, Он не знает ответа”.

Кого ты, господин артист, играл, когда ещё не был народным? Остапа Бендера. “Великий комбинатор”, вспарывая ножом обивку стульев, действительно не знает, в котором из них бриллианты. Но почему ты уподобляешь его Христу? Иисус Христос — Сын Божий, “Единосущный Отцу, Творцу неба и земли, видимым же всем и невидимым”. Это из Символа веры, который для православного христианина есть истина. Для Христа нет неведомого и необъяснимого. Чертя хворостиной на песке, Он не расписывается в Собственных сомнениях, тем паче — в незнании. Ведая всё и вся, Он чертит по песку хворостиной, а на самом деле листает страницы невидимых миру скрижалей.

Вернулся Портнов.

— Поразительное самомнение, — сказал Родюшин. — Лицедей в роли пророка — это понятно. Но лицедей-пророк?!

Портнов склонился к ноутбуку.

— А-а, — поняв, о ком речь, откликнулся он. — А для Симы это второй кумир после тамошнего попа. Скорее всего, через него, этого мэтра, она и получила свои сериальчики.

— Да, — вздохнул Родюшин, словно переводя дух. — Густо замешано. Жаль, мало прочитал.

Тут откликнулся бармен:

— Давайте распечатаю.

— Давай, Костя, — отозвался Портнов, — но прежде распечатай мне коньячок. Ещё соточку. — Он посмотрел выжидательно на Родюшина и, оставив сомнения, заключил: — И на этом будя!

Какой вопрос возник у Родюшина, когда он попытался разгрести мусор, тину и добраться до чистой воды?

— А что же муж Луканиной? “Жена да прилепится к мужу”. Что он?

— А что он? — Пожал плечами Портнов, он, похоже, уже окончательно вышел из образа Тригорина. — Он учёный. Историк. Доктор наук. Естественно, исторических. Поначалу, погружённый в свою науку, видать, ничего не понял, когда супружница запоезживала на острова в дальний храм. Ведь храм — не вертеп, опять же — персоны там видные. Какие могут быть сомнения! А потом, видать, уже и поздно стало. Одно дело гордыня явная, другое — когда скрытая, тайная... Как у Луканиной. Что ведь получается... Если можно подменять язык на молитве, можно подменять и понятия, и саму молитву, и сами заповеди Христовы. Например, “чти отца своего”. Отец суров, требователен? А мы чуть сгладим его наставления и требования, чуть смикшируем; через фотошоп пропустим, чтобы картинка на выходе лучше выглядела; чуть поправим, чтобы дитяtko не занедужило.

— Так отпрыск-то Луканиной оттого такой?.. — Родюшин покрутил пальцем, правда, не у виска.

— А то отчего же? — пожал плечами Портнов. — Сыночек дуется на учителей — мама переводит его в другую школу. В другой школе тоже свои требования — в третью... А что? Мама — известная здесь личность, она в сериалах, пусть и в мыльняках. С нею считаются... Посчитались в военкомате, когда пришла пора отпрыску служить. И в ментовке, когда первый раз его загребли...

— А отец? Отец-то что?

— А что отец? Вмазать, чтобы она в стенку влипла с её поправками? — так он же интеллигент, не чета нам, — Портнов похлопал себя по груди. — Выдрать отпрыска — поздно. Надо было это раньше делать, когда тот впервые нашкодил. Теперь уже сам размахивает кулаками.

— Ну и?..

— Посмотрел Степан Авенирович на этот домашний театр, плюнул да и уехал. Сейчас, слышно, где-то в школе преподаёт, сельской.

— Сбежал?!

— Это как посмотреть! Может быть, из кучи зол, возможных последствий выбрал меньшее...

## 9

Неожиданно подошла Маша, то есть Вера Нелюбова, которая играет Машу.

— Вы обходите меня...

Голос грудной, напряжённый.

— Обхожу? — переспросил Родюшин, наклоняясь к ней. Волосы светлые, а глаза тёмные. Редкое сочетание. Он сразу это заметил. Лицом не вышла — черты крупноваты, но глаза притягивают, даже, пожалуй, завораживают, как завораживает омутовая глубина.

— Мне кажется, я не так играю... — Руки в движении, словно что-то лепит.

— Почему?

— Внутреннее несовпадение, — голос осёкся и совсем тихо: — И даже неприятие.

Они стояли в закулисье, куда Родюшин ушёл после своей сцены. До конца действия у него выходов не было. Вера ушла со сцены ещё раньше,

и у неё тоже реплик не оставалось. Стало быть, она поджидала его, словно зная, что он уйдёт в эту кулису, а не спустится в зал. Впрочем, тут-то никаких загадок не было. На последних репетициях он так и делал, входя, как пояснял, в роль актёра и отходя временами от режиссуры, дабы не навредить собственной игре — за двумя зайцами ведь не угонишься. А то, не ровён час, на премьере вдруг возобладают режиссёрские привычки и взгляд пойдёт искать режиссёрский столик.

Сейчас, по правде говоря, Родюшин предпочёл бы столик и даже собственную “берлогу”, чтобы утишить сердце. Последние дни его лихорадило. Он непрерывно думал о Даше и в мыслях постоянно с ней говорил. Он даже поймал себя на том, что диалог с Ниной Заречной — это первое действие — у него изменился, словно перед ним была Даша. Иначе отчего бы так вспыхнула Оля Горникова и как-то не по пьесе потянулась к нему, хотя “ловцом” её был Тригорин, любитель рыбалки.

Родюшин кинул взгляд на сцену, снова перевёл на Веру, потом взял её под руку и повлёк к садовой скамейке, оставшейся от предыдущего спектакля. Чего мешкать, рассудил он, они не в пьесе, где надо выстраивать мизансцену. С Верой Нелюбовой он как режиссёр действительно ни разу не поговорил, стало быть, надо.

После Родюшин даже похвалил себя, что не уклонился от разговора, не сослался на занятость, на то, что идёт прогон. Ведь в другой раз Вера, может, так и не открылась бы, и он не узнал того, что знал теперь.

Что же мучило Веру Нелюбову, тридцатилетнюю актрису, игравшую в спектакле дочь Полины Андреевны и управляющего именем Шамраева? В чём же выражалось это “несовпадение и даже неприятие”?

Вера говорила тихо, словно гася свой низкий голос, но на самом деле подавляла волнение, которое её переполняло. Это не её роль. Маша ей глубоко чужда. А в последнем действии просто ненавистна. Как можно так относиться к собственному ребёнку, малой крохе, ему ведь по пьесе едва год?! “Третью ночь без матери”, — вздыхает Медведенко, муж её, и зовёт домой, а она равнодушно отмахивается.

— Вы знаете, — глаза Веры наполнились гневом, а голос упал до шёпота, — когда мне надо произносить эти слова, у меня сердце обрывается, будто это я предаю своего ребёнка.

Тут открылось, что у Веры трёхлетняя дочурка, и она в ней души не чает. Муж её бросил, погнавшись за какой-то столичной жар-птицей, но она не винит его, не клянёт. Напротив, благодарит Бога, что всё так устроилось. Она и не чаяла, что может быть такое счастье. Не счастье — чудо, явленное свыше, — вот что такое дитя её.

Как она преобразилась, Вера Нелюбова, кто бы это видел! Просто похорошела, явив, кажется, образ женщины в самом расцвете душевных и физических сил. Из глаз её ушла темнота, смятение, они лучились, сияли тихим, ласковым светом.

Родюшин кивнул, благодарно улыбнулся, взял руки Веры в свои. Что тут было говорить?! Дураки мужики, что такого не видят, не замечают, а замечая — не ценят. И Лунькова представил, и Портнова вспомнил... А о роли Вериной сказал так:

— Менять ничего не будем. Может, в этом вашем внутреннем сопротивлении — некое оправдание Маши. Ваше неприятие — это её борение со своей страстью-наваждением. Вашим голосом, Вера, говорит её не до конца размызанная алкоголем совесть, её материнское начало, её природная суть, понимаете...

А завершил тем, чтобы она не меняла ни рисунка роли, ни тембра голоса, другими словами — помнила о своей дочери, произнося слова Маши.

\* \* \*

И тут невольно возник вопрос к Горниковой. В перерыве для смены декораций Родюшин увлёк её в зал и повёл по проходу.

— Оля, — спросил он, — как ты относишься к своей героине? Ты одобряешь Нину? Прицаешь или завидуешь? Или хотела бы остеречь? Вот с первого появления Заречной на сцене — кто она, по-твоему? Душа чистая? Или уже грешная?

Оля остановилась, повернулась к Родюшину. Улыбка смущённая и, кажется, чуть кокетливая.

— Нина — моя ровесница. Ещё молода, нагрешить не успела. По крайней мере вначале.

Родюшин внимательно на неё посмотрел, словно впервые увидел. Круглое лицо, синие глаза, чуть вздёрнутый нос. Русые волосы, забранные на затылке в деловой пучок, делают её старше, точнее, строже. А может, складка на переносице тому причиной?

— Скажи, как у тебя сейчас с отцом? Встречает?

— Встречает, — благодарно улыбнулась Оля, глаза чуть завлажнели.

— А не пьёт?

— Сорвался как-то, — она понурилась.

— Отчего?

— Да как сказать, — пожала плечами. — Я первый раз в общежитии переночевала. Спектакль закончился в одиннадцатом часу... Ехать поздно... А он... Ведь и предупреждала накануне, и звонила... А он всё равно...

— Но ты ведь понимаешь, почему?

Оля промолчала.

— Любящее сердце переживает, — мягко сказал Родюшин. — А как же иначе. Дочка, не мужняя жена — и не дома. Чужой, казённый дом, общага. Мало ли что? — Он коснулся её плеча. — А теперь поставь на место своего папы отца Заречной. Вроде он домостровец, стародум. А если взглядеться? Ведь отец мудрее дочери, это очевидно. Она вся — порыв, а он — смирение, рассудок, дальновидность. Отец не велит Нине бывать в усадьбе Аркадиной. Здесь богема, а значит, нечисто и чревато... Удел женщины, святая её доля — материнство, семья. Отец в этом убеждён и следует этому святоотеческому завету. А потому и к Нине так — строго, наставительно, по-отечески. Остергая дочь, удерживая дома, он словно предвидит, что с нею стрясётся: греховная связь с Тригориным, ребёнок, рождённый в сиротстве, его гибель... И всё ради чего?! Ради удела актрисы в заштатном театрике, ради жиденьких аплодисментов залётных купчишек, ради чего-то эфемерного, сиюминутного. Не слишком ли велика цена?!

Родюшин перевёл дух, оглянулся на сцену — там шла перестановка: декорациями “перелистывались” два года, прошедшие с начала пьесы.

— Нина грешна, — повернувшись снова к Горниковой, сказал тихо Родюшин. — Одержимая страстью славы, поклонения, она коверкает свою жизнь. Мало того, она губит Костю, который горячо любит её, ввергая его в грех самоубийства. Как же не грешна?!

Родюшин помолчал. А заключил так:

— Вот об этом, Оля, надо помнить. Переступая через наставления отца, Заречная совершает грех. Всё дальнейшее — следствие начального греха. А беды, которые почти довели её до безумия, — это неминуемое и закономерное наказание.

Оля слушала его внимательно и напряжённо. При этом всё время мяла ладони, словно что-то лепила.

— Что же мне помнить, Денис Геннадьевич? Как вести себя?

— Думай об отце. О собственном отце. По крайней мере в первом действии, когда Нина — ещё относительно послушная дочь. — Родюшин коснулся ладонью её строгой причёски. — Но ведь уже в первом действии сделан шаг к отступничеству. Верно? — Оля кивнула. — И обозначить бы это какой-то деталью. Может быть, косу расплести да заплести...

Оля подняла взгляд:

— А если ленту, — она коснулась пока не существующей косы. — Извлечь из косы бант и распустить. Не расплетая косы...

— А что, — подхватил Родюшин, — это мысль! Распущенная лента как знак того рокового шага. Заречная накручивает её на палец или на запястье.

Может быть, при первом появлении Тригорина. И ещё. — Он помешкал, — важен цвет. Какого цвета будет лента — белая или красная?

— Белая, — уверенно отозвалась Оля.

— Пожалуй, — прищурился Родюшин. — Юность, чистота. И ауканье с белой чайкой. — Он помешкал. — Ещё раз эта лента появляется при расставании Заречной и Тригорина в третьем действии, когда она дарит ему медальон. Лентой обвязана коробочка. Заречная развязывает ленту, показывает ему медальон, поясняя, что на нём написано, и опускает его вместе с лентой обратно в коробочку. Когда Тригорин наедине открывает коробочку, то медальон достаёт, а ленту небрежно откидывает, и она падает на пол, как тень убитой чайки.

## 10

Ах, как порадовали Родюшина разговоры с Верой и Олей — сам не ожидал. Вот уж действительно — нечаянная радость. После Портнова с его “тригоринским рассказом” это было как тот самый бальзам на душу. Есть, есть здесь здоровые начала — и в персонажах есть, и в актёрах. Не потому ли — для подкрепления, что ли? — аукнулось первое посещение Тулинского. И жёнушка его вспомнилась, одухотворённое сияние дома, и сынок его пятнадцатилетний, который вопреки сумрачному возрасту кинулся на шею своему любимому батюшке.

Тихая радость и даже умиление долго не отпускали Родюшина. Хотелось длить и длить их. Однако разговор с Портновым из памяти не вышел. О том постоянно напоминала Луканина. Служащая её реплики и следя за её мизансценами, режиссёр полнился тревогой. Не поторопился ли он, передав центральную роль Луканиной? Смятение её затаённо, но оно чувствуется и явно мешает работе. Не сорвётся ли она, не надломится ли, испортив премьеру? Не убежит ли со сцены прочь, как это уже было на репетиции?

Надо было с кем-то посоветоваться. Но с кем? Первый, кто пришёл на ум, — Портнов. Сам заварил кашу, пусть сам и расхлёбывает.

Портнова Родюшин задержал после репетиции и, взяв под локоть, предложил спуститься в зал. Они устроились на первом ряду.

— Игорь Дмитриевич, — закинув ногу на ногу и склонившись к собеседнику, улыбнулся Родюшин, — признайтесь, что вам не дают покоя лавры писателя Тригорина. Вы так живописно — безотносительно к теме — симпровизировали текст, что я заключил: вы пишете.

Портнов слегка ступснулся, словно его уличили в чём-то запретном.

— Да вы не смущайтесь, Игорь Дмитриевич, — Родюшин чуть было не хлопнул Портнова по колену. — Я, признаться, тоже пытаюсь... Как там говорит ваш Тригорин — “сюжет для небольшого рассказа...”.

Тут бы Родюшину уже перейти к главному, но его опять повело.

— Вот, кстати, на набережной... Хотел тогда спросить, да не с руки было. Дебаркадер там или пароход под старину — мачты, труба, балясины... “Паратов” называется. Хозяин что — поклонник Островского?

Портнов пожал плечами, выпятил нижнюю губу:

— Насчёт драмы не знаю. А хозяин — Панкратов Наум Казимирович, — ударение в имени он сделал на первом слоге.

— Редкий букет, — отозвался Родюшин.

— В смысле ФИО? Да, — поддержал Портнов. — И смотрите, как изящно замаскировал всё, исключив две буквы — собственные инициалы.

— И концы в воду...

— Да не совсем. Кто знает — прочитывает.

— Это называется: и хочется, и колется...

— Возможно, — уклончиво отозвался Портнов.

Пора было, наконец, переходить к поставленной задаче, но Родюшин опять выбрал окольный путь.

— Почему же вы меня туда не пригласили, Игорь Дмитриевич? А повели в соседнее заведение, по виду совсем простенькую таверну. Если продолжать коллизии пьесы, форменная “Бесприданница” или уже, если по именам, — “Лариса Огудалова”.

— Не скажите, — вдруг оживился Портнов. — Это и впрямь одна связка. Хозяин один. Но не всё то золото, что блестит! — Он поднял назидательно палец. — Главное-то тут в этой безымянной, как вы сказали, “Ларисе Огудаловой”! — При этом Портнов показал пальцем вверх, потом тем же пальцем покрутил, как крутят дорогой ключ, то ли имея в виду верхнюю палубу, то ли ещё выше, и вдруг осёкся, словно дошло, что проговорился, сказал что-то лишнее, и нахмурился, и закричал, будто Тригорин перед Аркадиной в момент размолвки, а потом вдруг тихо оборонил:

— Оставьте этот сюжет, Денис Геннадьевич. Он не стоит того.

С этими словами Портнов встал и, сославшись на визит к врачу, удалился. Что оставалось Родюшину? Ругать себя за неуклюжесть, за непонятную подчас сумбурность собственных чувств да дивиться, почему с одним и тем же собеседником разговор иногда выстраивается, а иногда нет.

Мало-помалу досада отступила, а когда он поднялся к себе в “берлогу”, и вовсе прошла. Больше того, он вдруг подумал: да ведь это хорошо, что разговор не состоялся, что он не открылся Портнову. С актёрами говорить о своих сомнениях нельзя. Ни с кем. Ни с Портновым, ни с Луньковым, ни с Олей Горниковой, ни, тем паче, со Стромилловой. Иначе баццлла сомнения мигом поразит весь коллектив. И с Ларисой, дочерью Луканиной, тоже нельзя — родная кровь слишком субъективна. И вот тут возникла мысль о подруге Ларисы — Даше.

Годится ли Даша на эту роль? От роли в спектакле она отказалась, но, может, согласится на роль советчика. Даша — самая близкая подруга Ларисы, она, как он уже убедился, в курсе и театральных, и семейных дел Луканиной. Неужели не поможет? Ведь дело не просто в Луканиной. Ему, режиссёру Родюшину, важно понять, есть ли запас прочности у того домашнего спектакля, который он строит, крепки ли в нём связи и стропила, надёжен ли материал.

## 11

Даша пришла часа за два до занятий в вечерней школе, где преподавала. Школа эта находилась неподалёку от театра, стало быть, времени для разговора хватало. Вот только расположена ли к этому Даша? Ему показалось, что она была не то рассеянна, не то чем-то озабочена.

Первым делом Родюшин разлил чай, заметив при этом, что предпочитает чёрный цейлонский без всяких примесей, или, как говорят титестеры, осведомлённые в чайном деле люди, — купажа. Он сам отмечал, что бравирует специальными знаниями, но не приструнивал себя, когда такое было уместно.

Разговор он начал не то чтобы издалека, возможно, памятуя осечку с Портновым, но с некоторых подступов. Во-первых, помянул Дюймовочку, ту маленькую подружку Дашы, что заведует охотничьим магазином, назвав её Трёхдюймовочкой, а потом Ирочкой-мортирочкой. Она по-прежнему звонит, приглашая в оружейную лавку то запастись дробью №2, а также “бекасинником”, то ягдташ приобрести — вместилище для трофеев, то бишь дипломов и медалей. Правда, гаубицу и мортиру пока всё же не предлагает.

Родюшин не особо вдумывался, где шутит, а где повторяет слова Дюймовочки, потому что здесь это было не особенно важно, он догадывался об этом по слегка отстранённой улыбке Дашы.

Потом разговор перешёл на Ларису. Её имя, упомянутое Дашей в связке с Ириной, Родюшин повторил, ожидая какого-то продолжения, но Даша неожиданно заговорила об её дочке. Что ему оставалось делать? Слушать да поддакивать-подхватывать, понимая, что наступил на те же самые грабли, ибо зачин, подводки к теме надо готовить самому.

Что удивительно в Лариной дочке? Всё. Ей шесть лет, а она уже пишет стихи, да какие-то всё серьёзные, не детские. Про птиц, улетающих навсегда, про листья, которые несутся им вслед, но догнать не могут.

Родюшин оживился. Аукнулись недавние наблюдения: водоворот на реке, поглощающий палые листья; утки, которые заблудились в осени. Он стал размышлять: отчего же это у девочки происходит, почему иные дети

отличаются от сверстников, и, сам того не заметив, так далеко отошёл от намеченной темы, что уже, казалось, и забыл о ней. Больше того, по прихоти памяти или свойству характера, погрузился в своё собственное детство и так увлёкся, что не замечал нескладницы, не задумывался о последовательности, как это и бывает в рассказах детей. Глядя в зелёные глаза, которые в слабом свете торшера мерцали загадочно и маняще, он словно выпал из времени, погрузившись в давнее детское состояние, где всё на эмоциях, вспышках, а не на рассудке. Так бывало “на картохах”, когда сжигал с ровесниками у ночного костра. Так бывало с тётей Маней, когда он прибежал от зелёного омутка, над которым просиживал тихими сентябрьскими вечерами, и утыкался со слезами в её передник.

— Как ни очнусь, она молится. Иконка на тумбочке, она — на коленях: “Царица Небесная Матушка...” Потом тайком меня окрестила. Крестик, говорит, будет у меня. Носила два. А то ведь засмеют или поглумятся. Там же разная была публика — и шпана, и гопники.

Даша не перебивала. Смотрела внимательно, широко раскрыв глаза. Тут она была собой, не то что при чтении пьесы. И видимо, чувствовала и понимала больше, чем слышала.

— До десяти лет ничего не помню. Будто свет выключили и звук убрали. Хотя и не слепой. И слышал, и видел. Аберрация памяти, если есть такое. Или ещё как... Не помню, ни как учился, ни как отвечал, ни где был, куда возили. Ничегошеньки. Ровным счётом.

— Ну как — ничего? — встрепенулась Даша. — А родителей? Бабушек-дедушек?

— Ах да! — Он слегка хлопнул себя по лбу. — Я же не сказал. Я вырос в детдоме. История обычная — подкидыш.

Глаза у Даши округлились и сразу переполнились, она глядела не моргая, чтобы не пролить их. Родюшин прикусил губу. Опустив голову, так что волосы упали на лицо, он мял под ними лоб и говорил в пол:

— Понимает ли несмышлёныш, что с ним стряслось? Наверняка ведь понимает, как всякое живое существо. Может, ужас положения и вышиб память, зажал тот канал, опередив инстинкт самосохранения. Чувства остались, но, возможно, не фиксировались. Ведь рассудок и память — не одно и то же. А может, причина в душе. Может, она обмерла. Скукожилась от ужаса, высохла, как горошина без почвы и воды. Не пело во мне ничего, не насвистывало. Или мамка забрала мою душу вместе с той клеёнчатой биркой, которой метят новорождённых. Сознание, похоже, работало, раз переходил из класса в класс, а душа... Странно, конечно. Вроде малец не олигофрен, иначе списали бы. Во вспомогательную школу, в дурдом, наконец... Нет. Что-то теплилось, видать, жило тут. — Он слегка хлопнул по груди. — Или существовало.

Переводя дух, Родюшин подлил себе и Даше чаю, жадно отпил, не заметив, что чай остыл.

— В десять лет я заболел. Так говорила тётя Маня, единственная близкая душа, она у нас кастеляншей была. Сначала будто грипп, потом сыпь пошла, потом всё стало неметь. Врача нет. Детдом наш за тридевять земель. К тому же межсезонье — весна, распутица. Какой тут врач, какая тут скорая!.. Лежал в изоляторе. Никого ко мне не пускали. Только тётя Маня... Принесёт обед в судках, а я не ем. Мне уже не до еды, ни до чего... Беспомощность. Сплю — не сплю. Или не сплю, как сплю. Но как всё же очнусь — она, тётя Маня. Ей было лет под семьдесят. Сынка её убили в пятьдесят третьем, когда из тюрем выпустили бандитов. Он ещё мальцом, подростком был, “чуть старше тебя”, говорила она. Доживала одна. Родни у неё не было. Вот меня чем-то заприметила. И я тянулся к ней...

Родюшин откинул с лица волосы, зачесал их назад обеими пятернями и тяжело, облегчая грудь, вздохнул.

— И вот однажды — помню ясно, отчётливо, как сейчас. Лежу, не могу пошевелиться. Слышу — тихая музыка, будто свирелька, и в ней горошинка. А сам я будто дудочка, в которую ветер не ветер, но будто кто дышит. И горошинка та будто трепещет. И звук такой раздаётся — ласковый,

протяжный, тонкий, точно ниточка, тоньше, кажется, младенческого волоса... А издалека доносится тихий голос: “Царица Небесная Матушка, Заступница Преблагая, моли Господа о чаде малом. Вызови из беды...”

Давнее воспоминание обдало Родюшина тёплой щемящей грустью. Глаза его отуманились, и он прикрыл их ладонью. Затянувшуюся тишину нарушила Даша.

— А что болезнь-то? — прошептала она. Глаза её уже пролились, как тот переполненный омут по весне, и сейчас блистали.

Родюшин отёр с лица хмарь и тихо улынулся.

— А веришь — чудо, — он, сам того не заметив, перешёл на “ты”. — Сколько я ещё лежал — не знаю. Но однажды поднялся. Солнышко. Река в берега уже вошла. Всё цветёт, ликует. Я встал и запел. Откуда только что и взялось. “Цену сам платил не малую, не торгуйся, не скупись, подставляй-ка губки алые, ближе к молодцу садись”. Это в десять-то лет!

Родюшин до того погрузился в прошлое, что, кажется, напрочь забыл о своих намерениях. Надо же как повернулось! Он собирался разузнать побольше о Луканиной, а его унесло вон куда. Но неожиданно Даша сама повернула в эту сторону, отозвавшись на его рассказ.

— Лариса на втором курсе забеременела. Особа она романтическая, увлекающаяся. Тут первая любовь. Ну, и случилось. Избранник оказался увя и ах. Слинял, не оставив следов, точнее наследив. Лариска ревит. Мы с Иришкой трясемься над ней, боясь, как бы чего не сотворила с собой. Что делать? А время идёт, второй месяц. Лариска хочет сделать аборт. Мы в панике. Как верные подруги, кинулись к матери, выложили, что и как. У Серафимы Андреевны — криз, увезли на “скорой”. Через день-два она сбежала из больницы и — к Лариске. А у той завтра операция. И вот тут мать, Серафима Андреевна, выложила последний довод.

Лицо Даши горело. Оно вспыхнуло раньше, когда она слушала Родюшина, но сейчас её лихорадило, словно она вновь и уже за всех них — и Ларису, и Серафиму Андреевну, и Иришку, и за себя — переживала ту давнюю историю.

— Убедила Серафима Андреевна. Лариса выносила ребёнка и благополучно родила. Девочка у неё на загляденье. И ведь с учёбой не отстала. Окончила универ вместе с нами. Диплом, кстати, писала по Чехову. И вы знаете, Денис...

Даша, похоже, собиралась развивать чеховскую тему. Родюшин остановил её.

— А что за довод-то выложила Серафима Андреевна?

Даша замялась.

— Тайна не своя, — вздохнула она. — Наверное, грешно, — покусала губы, вскинула взгляд, прищурилась, — но так и быть... Только ни-ни...

Родюшин закрыл рот ладонью.

— Когда Лариске исполнился год, мать вновь понесла. А время трудное начиналось... Вот они с отцом и решили... Решает-то, конечно, мать, — задумчиво добавила Даша. — Вина и грех прежде всего её. Да. А ровно через год после аборта родился другой ребёнок.

— Тот? — На сей раз Родюшин покрутил возле виска.

— Да, — кивнула Даша. — К сожалению. Вот это и остановило Лариску. А ну как и у неё так? Откажется от ангелочка, а потом бесёнок проклянется. Там ведь, это сказала Лариса, у матери мальчик завязался. Первый-то.

Они помолчали, потушив взгляды, а потом, как по команде, снова вскинули.

— И было это двадцать пять лет назад, — Даша выразительно посмотрела на Родюшина.

В этот момент они подумали об одном. Но по-разному. Она напрямую связывала его историю с тем, что рассказала сама. А он не то чтобы усомнился в этом, но словно растворил озарение во времени и пространстве.

Родюшину припомнились листья, что кружили в речной заводи. Возможно, их намело с ближнего бульвара, а возможно, принесло с верховий, и они были явлены ему на какое-то погляденье, а потом их волею течения понесло

дальше. И уток он вспомнил, что не улетают, а чего-то ждут — милости или сигнала. А те, что улетели, — вернутся. Одни на старые гнездовья, в которых сберёгся-сохранился прошлогодний пух, а иные новые совыют, где им глянется и куда их определит Вышняя воля.

## 12

После первого пара Родюшин решил навеститься к массажисту. Боль в спине опять обострилась, и надо было как-то одолевать эту напасть, которая особенно донимала по осени.

Массажная находилась в другом крыле бани. Так пояснила старуха-постранница, добавив, что это рядом с вип-сауной, при этом чужое новоманерное слово произнесла как “вып”. Найти искомое не составило труда. В том конце было всего две двери. Одна — железная — на кодовом замке, другая — деревянная — как раз напротив, она была приоткрыта. Родюшин заглянул в притвор. Стол был занят. Массажистка — крупная ядрёная баба, — подняв голову, кивнула, дескать, вижу-вижу, но придётся подождать.

Родюшин огляделся. Возле железной двери стояли два стула, а между ними небольшой столик, на котором в беспорядке лежали гламурные журналы. Он сел на стул, что стоял дальше от двери. Печатный мусор его не заинтересовал. Зато обратил внимание на металлическую баночку, которая, видимо, служила вместо пепельницы. Неужели же господа випы не могли поставить чего-нибудь поприличнее? Посудина напоминала баночку из-под обувного крема, но была чистая, если не считать пепла. Дно её почему-то оказалось пробито. Где-то он такую уже видел. Но где? Из-под верхнего журнала что-то выглядывало. Не крышка ли? Он приподнял журнал. Так и есть — крышечка от этой самой баночки. В неё, похоже, тоже трусили пепел, и она тоже оказалась пробита. Странно, какая в этих дырках нужда? Не на стенку же их вешают. С лёгкой брезгливостью Родюшин перевернул крышечку. И что же открылось? Это оказалась баночка и крышка из-под пуль для пневматической винтовки. Внизу на чёрном фоне выделялись красные буквы названия фирмы — CAMO. Выше на голубом фоне калибр — 4,5. Ещё выше, на фоне мелкой мишени, — Round bola, то есть круглая пуля. Пуля-дура, а эта к тому же круглая да в круглой баночке. Занятно! Родюшин стиснул края. Жесть была жёсткой. Вряд ли её пробивали таким свинцовым кругляшом, что изображён на фоне мишени, к тому же двойную, в закрытом виде, что ясно по одинаково рваным краям. Стреляли явно из нарезного ствола, и гораздо большего калибра.

Из массажной вышел молодой — лет двадцати пяти — парень. Плечи его были расписаны какими-то диковинными — не то тропическими, не то райскими — птицами, поющими в орнаменте цветов и листвы, а на груди во всю ширь распахнулся орёл. Ишь ты, какая птица, хмыкнул про себя Родюшин. В клетке этот петушок ещё не сидел, но антураж соответствующий уже обрёл. Дурачок! Заметил ли парень что-то в чужом взгляде или его собственный вид всегда был таким, но он, набычась, глянул на Родюшина и прошёл к железной двери. Дверь тотчас открылась, словно пещера Али-Бабы, оттуда донеслись хриплые голоса, какие-то хлопки, пахнуло дымком — не то кальяном, не то ещё чем-то, и снова затворилась.

— Входите, — раздалось из массажной. Родюшин оправил трусы, на ходу скинул с плеч махровую простыню и, подойдя к массажному столу, одним махом накрыл его.

— Ишь ты! — одобрительно хмыкнула массажистка. Это была дородная тётка, и в свои пятьдесят не потерявшая природного румянца, — таких улыбающихся когда-то изображали на плакатах в виде передовых доярок или ткачих. Однако, когда Родюшин улёгся и подставил ей свою спину — поле для трудовой деятельности, — то не только румянец, но и улыбка явно сошли с её лица.

— Эх тебя! — она даже присвистнула. — Как тогда прикажешь-то?..

— А как всех, — сцепив руки в замок, буркнул Родюшин. — Вдоль и поперёк. Не чинясь, — и добавил, чтобы снять сомнения: — Один дедок —

травник, знахарь — говорил, что протоки сужены. Дал настоев, мазей, а ещё, говорит, мять надо периодически, чтобы застоя не было.

— Ну, мять-то я помну, — она положила на его спину тяжёлую руку, но всё ещё мешкая.

— Смелее, — подбодрил Родюшин и, чтобы отвлечь внимание, осведомился, откуда у неё такая татуировка — на тыльной стороне левой руки он заметил синий вензелёк.

— А-а, дракоша-то, — она явно смутилась. — Да так, детские глупости, — немного помешкала, — ошибки молодости.

Родюшин пояснил, что любопытство его не праздное. Похожий вензель он видел у одного прапорщика, бывшего моряка.

— Во-во, — отозвалась она. — Тот тоже был моряком. Морякуха — два уха, — и с пятого на десятое поведала, как всё было. Восточный дракон — символ счастья, знак вечной любви. Так пояснял дружок-моряк, когда накалывал ей, пэтэушнице, эту картинку, сверяя с той, что синела на его руке.

— Осчастливил?

— Стопудово, — всхохотнула массажистка. Выражение из молодёжного сленга оказалось вполне уместно. — Двойню залудил. — При этом так яростно вонзила пальцы в плоть Родюшина, что он аж застонал.

— Ошалела жёнка, — попрекнула себя массажистка и, чтобы не заводить, от темы отступилась. У неё всё хорошо, всё путём, не хуже, чем у других. Однако память, как сунутая в костёр головешка, уже, похоже, пыхала помимо её воли.

Трудилась на ближней верфи, была варилой — сварщицей. Как матери-одиночке, дали комнату, детишек — сына и дочку — без очереди в садик устроили. Чего ещё надо?!

Нетрудно было представить её, здоровую, крепкую бабу в брезентовой робе со щитком, с пучком электродов за голенищем, в сверкании магниевых вспышек. Эдакий “швой парень” в мужицкой артели. Но и с детишками на руках — одна за папку и за мамку — тоже представить не составляло труда.

Тогда, понятно, не думалось о счастье. Жила себе и жила. Как все, не лучше и не хуже. А теперь-то дошло: это и было счастье. Всё ведь в сравнении познаётся. Когда начался в стране развал, верфь закрыли. Мыкалась в поисках заработка где придётся — и билетёром, и на станции грузчиком, и почтальоном, и дворником. В торговле попробовала — не смогла, мешки разве таскать, а мухлевать не научилась, в их родове в заводе такого не было. Вот пошла в массажистки, пока сила есть. А куда денешься? Надо помогать. У дочки тоже двойня. Мужа-то нет. Был милиционером, отправили на полгода в Чечню, подорвался на mine.

— А сын? — после паузы спросил Родюшин.

Она вздохнула, этак тяжко, всем большим нутром. Оказалось, и сын в земле. Зарезали. Связался с такими вот — она, видать, кивнула в сторону железной двери...

Родюшин промолчал. Что тут говорить, когда вся держава разделилась на две неравные части — обездоленных и головорезов.

Массаж пронял Родюшина. Он так и сказал массажистке, кладя на столик деньги. И, выйдя в коридор, захотел немного передохнуть.

Он сидел на том же стуле, что и в ожидании массажа. На столике всё оставалось по-прежнему. Нет. Крышка лежала поверх журналов, а баночка сбоку, на поверхности столика, и из неё торчал свежий окурок, он уже не точился табачной вонью. Родюшин таки вспомнил, где видел такую же баночку или крышку от неё. Память его не подвела. Это было в литчасти. Он пришёл к Ларисе узнать номер Дашиного мобильного и увидел в кресле хамовато развалившегося парня, как потом оказалось, Ларисино брата. В пальцах его была зажата погасшая сигарета, а возле ног валялась такая вот баночка.

По давней привычке тащить всякое лыко в строку Родюшин мысленно повертел так и сяк эту деталь, прикидывая, нельзя ли пристроить её в какую-нибудь сцену. Но ничего путного не нашёл. Занавески банные образ по-

родили. А эта деталь никуда не вписывалась — она была чужеродна, хотя оружие в пьесе и фигурировало.

Зато водная стихия бани дала повод обратиться к звукам. Надо в последнем действии передать звуки ненастья — шум дождя, раскаты грома. А в первом какие звуки просятся? Лето, начало лета. Кукушка. В июне ещё кукует. А чайки? В “Чайке” должна быть чайка. Далёкие крики озёрных чаек. А ещё ласточки, обязательно ласточки. И... ангел.

“Тихий ангел пролетел”, — отмечает Дорн. Это в душе его или снаружи? Снаружи, в воздухе, в ближнем пространстве. Но как это передать? Ведь не звуком, не шелестом даже. Может быть, светом? Явить светлую зарницу, светлую тень, отражённый блик белой материи. Треплев перечисляет: “Первая кулиса, вторая...” Может быть, марля, лёгкий шифон, подсвеченный луной... Нет, всё это слишком нарочито, материально, натуралистично даже. Лучше никак, чем так. Это состояние, это явление отмечено одним Дорном. Вот его голос и должен явить тихого ангела. Надо будет сказать об этом Полежичу.

### 13

Разрешил ли разговор с Дашей озабоченность Родюшина? Едва ли. Открылось нечто новое в судьбе Луканиной. Оно не убавило сомнений, однако выявило некую логическую закономерность.

Женщина, которая называет себя поэтессой, хотя пишет средние стихи, убивает истинного поэта и получает за это срок. Не за убийство поэта, хотя следовало бы увеличивать срок за поругание Дара Божия, а за убийство человека. Женщина, которая в зародыше убивает своего ребёнка — не поэта, но уже человека, — срока не получает. Однако значит ли это, что она остаётся безнаказанной?

Вот Луканина. После аборта ей почти тотчас же был дан другой ребёнок. Дан зачем? — на исправление “ошибки” или на будущее наказание? Как знать. Совершив тот грех, она добросовестно выносила другого ребёнка, то есть прошла назначенный путь. Однако, когда чадо её достигло подросткового возраста, она опять поступила самоуправно. Потому что скрывала и покрывала его выходки, введя в семейный обиход лукавство, недомолвки, а по сути — обман, то есть совершила новый грех. Итогом стал семейный крах. Стало быть, прежний грех породил другой, и затем последовало наказание.

Сколько их, таких волевых и решительных женщин, сейчас обретается на свете? Распутное общество навязало им вольницу. Нет ни морали, ни совести, ни Божьего назначения — всё позволено. Вот у них и закружилась голова, когда дорвались до самостоятельности и упились волей. Ориентиров нет, они отринуты, во всём сплошная путаница. Где лево, где право — не поймёшь. А потому вали туда, куда кривая выведет. А куда она выводит? Теряя женское, не обретая мужского, они всё больше запутываются, множа свои грехи. А потом в одиночестве воют по ночам, кляня судьбу и весь белый свет.

Вот так, возможно, и Луканина. Побила её жизнь, поваляла, но так ведь и не научила. Грехи прежние усугубились бабьей гордыней, а гордыня привела к ереси, в ту самую, как говорит Портнов, “зароостровскую” секту.

Размышляя так, Родюшин никого не обличал и не клеймил. Не в его это было правили. Даже за режиссёрским столиком — со своей законной кафедрой — он не позволял себе гнева, осуждения или порицания. А в таких случаях и подавно. Размышляя, он остерегал и себя: не судите да не судимы будете. И то и дело обращался в мыслях к собственной матери.

Мать бросила его, совершив грех. Но ведь не умертвила в своём чреве, выносила, дала жизнь, вывела на свет и вверила милости Божьей. Как же он мог осуждать её, тем паче ненавидеть! Он жалел свою неведомую мать, молился за неё, дабы Господь не оставил её, хотя она и оставила дитя. Больше того, эта его жалость распространялась и на Луканину, и на Стромилову, и на всех других женщин в театре, которые выбрали эту странную профессию. И ещё больше — она простиралась и на персонажей чеховской пьесы, заблудших и одиноких женщин.

Тихая нежность охватила Родюшина. Днём, в рабочую пору — во время репетиций, прогонов, уточнения декораций, звука и света, деталей костюмов — она отступала, хоронила где-то в потайках души. Но к вечеру, когда он возвращался в свою “берлогу”, она начинала теплиться, словно лампадка. Кто же являл этот свет в его душе? Даша.

С того разговора прошло уже несколько дней, а он по-прежнему очень явственно чувствовал её присутствие. Вот тут сидел он, здесь — она. И стоило сесть за столик, как вокруг занималось незримое силовое поле, от которого начинало быстро колотиться сердце, а в горле трепетало не то ликование, не то та самая песня, о которой он поминал.

Как же он открылся, как разоткровенничался! Да было ли вообще когда-нибудь такое?! Разве только в детстве и ранней юности, когда была жива тётя Маня. Только с ней он мог говорить обо всём на свете.

Даша сказала, что он хорошо слушает. Да нет! Это она замечательно слушает. Иначе разве он доверился бы так? Временами он забывал о её присутствии — так, во всяком случае, казалось теперь, — обращаясь своим внутренним зрением туда, куда, говорят, нет пути. Нет, он воочию увидел ту минуту, когда одолел болезнь — эту долгую напасть — и словно обрёл крылья, не зная ещё того, что это душа.

Это она, Даша, своим внимающим молчанием, своим сердечным отзывом привела его память к давним событиям, а потом попыталась дать и определение тому, что он таил даже от себя.

Уже под конец разговора, когда, кажется, он открыл всё из своего детства, она спросила о фамилии. Откуда же она появилась, кто дал и почему? Тут Родюшин уподобился ученику, который, сдав серьёзный экзамен, напустил загадочный вид, тем паче что сам-то, “впав в детство”, кажется, всё ещё обретался там. О, сказал он с таинственным видом — это наследие предков, сакральный знак, древнейший символ, но тут же прыснул, не выдержав собственной игры, и рассказал, как было дело.

Большинство сирот поступали в приют со своими именами, а в доме малютки, который находился под одной крышей с детдомом, имя-отчество давали как придётся — чаще по первой букве текущего месяца или по букве, которая соответствовала порядковому номеру месяца. А фамилию подкидышам давали всем одну — Родюшин. Так назывался ручей, который протекал подле детдома. Но тётя Маня, когда он уже повзрослел, “пришёл в ум”, поведала, что эту фамилию носили те, кто этот большой двухэтажный дом — их сиротскую обитель — выстроили и жили здесь до коллективизации. Это было большое зажиточное семейство: отец с матерью, с ними четверо сыновей со своими семьями, а всего обитало тут двадцать восемь душ. “Вот какая коммуна была!” Здесь, на выселках, в стороне от деревни, у них были заведены пашни, огороды, сенокосы, стояла ферма — коров держали, — на ручье была поставлена мельница, а на реке, в которую впадал ручей, заведено было рыбное становище. Богато жили, что и говорить. Но не кичились достатком, нрава были кроткого, христианского. Жертвовали на церковь, каликам перехожим, побирuşкам. Она сама, девчушка-сиротёя, не раз бежала сюда, когда у маменьки-горюхи корки ржаной не оставалось. Но в тридцатом году жизнь в доме порушилась. Всё семейство арестовали как кулаков и куда-то выслали. С тех пор о них не было ни слуху, ни духу.

Даша позвонила через четыре дня и, словно продолжая прерванный разговор, сказала:

— А ведь ваша фамилия, Денис, возможно, толкуется как род кровников.

Родюшин до того обрадовался звонку, что не нашёл, что и сказать.

— Не знаю, — уклончиво ответил он. — Филологам виднее. — На “вы” говорить не хотелось, а на “ты” почему-то не решился.

— Юшка — по-старому “кровь”, — авторитетно пояснила Даша. — Одна буква утратилась. Вот и получается, кровное родство или род кровников, — и почему-то вздохнула. — Завидная фамилия.

Вот об этом она и повела речь, когда они снова встретились. Фамилия, род, родова — это было важно для неё. Но начала она с того, что он хороший собеседник, умеет слушать, что теперь большая редкость.

— Про себя что-то крутишь-крутишь, а всё получается одно, точно ролик про погоду: температура плюс два, осадки в виде дождя и снега, — она кивнула за окно. — Хотя на самом деле слёзы.

Ещё в тот раз Родюшин обратил внимание на её задумчивый вид и даже спросил об этом. Но Даша уклонилась от ответа: “Потом разве...” В разговоре том она оживилась, и хмарь сошла с её лица. А вот сейчас Родюшин почувствовал острую вину, коря себя, что поступил тогда, как эгоист, всё внимание сосредоточив на себе.

Даше надо высказаться, чем-то поделиться. Он это понял ещё по предварительному звонку, разговору по телефону, по тому затаённому вздоху. А сейчас это было очевидно. О том зывали глаза, на которые словно пала какая-то паутина. Подруги подругами, а выходит, и они не всегда выручат.

Родюшин усадил гостью на то же самое место, налил в высокие стаканы янтарного соку — “Немного солнца в холодной воде!” — сел сам, взял её за руки, а потом укрыл их в своих ладонях.

— Вот так. И давай на “ты”.

Кое-что о Даше Родюшин уже знал. С её собственных слов, из коротких разговоров с Ларисой, из телефонных звонков Дюймовочки.

Отец с матерью развелись, когда ей не было десяти. Отец уехал в соседнюю область, завёл новую семью. Мать вышла замуж за другого, но отчим вскоре умер. Запилила, как пилила и отца.

— Папка с пилорамы той убёг. Однако и он не зажился. Пилорама так сказала. Умер четыре года назад. Остался у него сын, мой единокровный брат. А отец оставил деньги и завещание, в котором наказал, чтобы нам, детям его, была куплена большая квартира и мы жили бы вместе, брат и сестра.

Живут Даша с братом в трёхкомнатной квартире, правда, хрущёвке. По духу они совершенно разные. Он работает в скобяной лавке. Из интересов — телик и кока-кола. Но что делать — завет отца. Покойный, видать, понимал, что парню понадобится опека, иначе пропадёт — мать больна, других родичей нет, — вот и свёл их своей последней волей, надеясь на общность крови. Даша пытается его растормошить, с собой таскает. Но будет ли прок, кто знает — парень-то инфантильный, каких сейчас много.

Об инфантильности Дашиного брата сказала Лариса. Сказала и вздохнула. Лучше, дескать, такой, чем... Она имела в виду, конечно, своего братца, который теликом да кока-колой не ограничивается... Кстати, подумал тогда Родюшин, про одноразовые шприцы вполне могла сказать и Луканина, более осведомлённая по этой части...

И что же открылось теперь из разговора с Дашей, о чём она тревожилась в последнее время, о чём болело её сердце? Держа руки Даши в своих, Родюшин чувствовал её учащённый, прерывистый пульс и понимал, что оно буквально болит, её сердце.

— Мать — женщина железная, — тяжело вздохнула Даша. — Характер нордический — волевой, железный. Де Сталь. Только легированная, закалённая. У неё третий муж. Моложе её на десять лет. Взяла, видимо, с запасом, из расчёта, что ровесник опять скоро износится.

Даша не явила, такой горечью исходило её сердце. Она объясняла и пыталась понять, как такое может быть. Старшая сестра в мать. Она, Даша, в отца. Отец пел, играл на гитаре, был компанейским, открытым. Мать — домоседка, домоправительница и домосамодержавица.

— Как они сошлись — загадка. Единственное объяснение: папка молодой был, ослеп от красоты. Там же блеск сибирского алмаза. Вот и ослеп, не увидев за внешностью характера. А когда одумался, прозрел — было поздно.

На исходе жизни отец решил поддержать детей. У сына мать слабая, попивающая, у дочери, наоборот, волевая, узурпаторша. Вот он и решил сделать их более или менее самостоятельными, оставив деньги на жильё.

Жильё есть. Но ведь от матери-то за ним не укроешься, не спрячешься. Даже если бы это была крепость. Она мать, у неё на дочь права. Да и она, дочь, не может ограться, отрешиться от матери, иначе что тогда за дочь. Это же грех, большой грех.

Меж тем положение Даши всё более обостряется. Мать и старшая сестра, заединицы, решили её облагодетельствовать и выдать замуж.

— Пора, дескать! А то в девках засижусь. И то сказать — почти двадцать восемь. А жених видный. Подыскали по своему вкусу. Богатый, и не старый, и не глупый, и вполне... Я упираюсь. Они — ноль внимания. Устроили вечеринку. Нас усадили рядом. А потом оказалось, что это помолвка — ни больше, ни меньше. Вот и кольцо уже. Регулярно проверяют, носу ли... “Ты распишись, а там видно будет...” — Это сестра, у неё тоже уже третий брак. Я пытаюсь симулировать: то проносит, то, мол, сама не своя, дурочку играю. Они — в консультацию. Все органы на ревизию. Проверили. И томография, и УЗИ, и у психотерапевта... Отклонений нет, всё в норме. Гуляй, Вася!

Голос Даши сорвался. В глазах стояли слёзы. Она усилием воли сдержала их. И, чтобы ослабить спазмы, глотнула соку.

— А недавно выяснилось, — голос её ослаб, — что мать взяла у жениха изрядный кредит... Я-то думала, откуда у неё эти меха, новая мебель, новая дача... А вот откуда. Продала доченьку и обзавелась.

Тут Даша уже не сдерживалась. Слёзы потекли ручьём, она сглатывала их, давилась и, уткнувшись в ладони Родюшина, просто залила их. Потом, уже оставшись один, он касался ладоней языком и слизывал эту соль, всем своим существом испытывая горечь.

Наплакавшись и переведя дух, отшмыгав носом, по-детски вздыхая, Даша, наконец, подняла голову. Глаза её зелёные, такие летние, совсем потемнели, как река, что текла за окном.

— А что, — словно рассуждая сама с собой, с лёгким вызовом обронила Даша. — Успешный мужчина. Он называет себя бизнесменом широкого профиля, не конкретизируя этот самый профиль. Деловой, волевой, пробивной. Чего ещё надо, говорят мои кровники, — Даша выразительно посмотрела на Родюшина, видимо, поминая свой звонок. — Иной раз проснусь среди ночи и думаю: а может, и впрямь?!

— Даша, — воскликнул Родюшин, тряхнув взлохмаченной головой. — Заклинаю тебя! Не спеши! Не делай опрометчивого шага!

## 15

На сцене уже стояли каркасы декораций, те самые две рамы, очертания усадьбы и театра. Уже обживалось пространство, уже основные мизансцены были решены. Однако режиссёр не успокоился и всё искал и искал.

Очередную репетицию Родюшин надумал начать с концовки третьего акта — сцены Тригорина и Аркадиной. Сам же решил не выходить сегодня на сцену. Какая-то сила удерживала его на расстоянии. Он сидел в глубине зала за режиссёрским столиком и был задумчив и сосредоточен.

После того, как Луканина-Аркадина, посмотрев на часы, произнесла: “Скоро лошадей подадут”, действие покатило по намеченной колее. Родюшин смотрел на сцену, но сегодня действие то и дело ускользало от его внимания.

Ему вспомнилось, как месяц назад вот здесь, перед сценой, он говорил о художнике Иванове и о его картине “Явление Христа народу”. Всё ли он тогда сказал, что хотелось и что надо было? Незримая золотая дорожка, соединяющая Христа и сотворца-человека, в данном случае актёра, — это путь к сердцу. Сердце человеческое наполняется христианской любовью, и свет со сцены, отражаясь от живоносного сердца-зеркала, нисходит в зал. Вот та формула, которую Родюшин пытался донести до актёров. Но сейчас он подумал, что следовало развить это, по крайней мере, для себя.

Глубинная причина, отчего художник Иванов не достиг задуманного, давно исследована — отступничество. Крещённый во младенчестве и верую-

щий, он не случайно взялся за эту тему. Но, оторвавшись от родины, проживший четверть века за границей, художник потерял связь с Православием. Мало того, он даже стал утверждать, что православные иконы пишутся неправильно, в них нет световоздушной среды, чем наполнены католические. Итог очевиден. Утрата святоотеческой веры лишила его сотворчества с Богом, отступление от Православия затворило его внутреннее зрение.

Пример с Александром Ивановым показателен. Однако это вовсе не аксиома. Многие соотечественники, оказавшись за кордоном — кто волей, кто неволей — вполне успешно работали там. Современник Иванова Гоголь писал в Италии “Мёртвые души”. Тургенев, подолгу живший во Франции, создал замечательные “Записки охотника”. А сколько произведений литературы и искусства дала эмиграция XX века — Бунин, Галина Серебрякова, Шмелёв, Михаил Чехов, Куприн... Все они долгие годы находились вдали от Родины, но их сердечные лампы не гасли, источая свет любви. И напротив — те, кто не покидает пределов Отечества, а живёт в среде, казалось бы, намоленной поколениями пращуров, от заветов отступают, становятся холоднокровными и лишаются добровольно вящего зрения. Почему?

Вот персонажи пьесы, которая сейчас ставится. Это же чистые безбожники. Разве что все произнесут: “Господи...”, а сами холоднокровны и равнодушны. Не равнодушны они только к предмету своего обожания — такому же грешнику. А актёры? Разве они не чета персонажам? Та же Луканина. После того как открылось столько всего потаённого, Родюшин порой чувствовал растерянность. Где концы? Где начала? С чего началось её падение? С лукавства, с ереси в том “зароостровском” приходе, с подмены основ, когда попирается место земного отца, место духовного пастыря, когда сомнению подвергается сама Божественная суть?.. Или приход тот для “избранных” был уже продолжением, а началом стало то, что она самоуправно исторгала из себя живую плоть, душу живу вырвала, которая укоренилась в ней по Вышнему промыслу?..

Родюшин пристально глядел на актрису, которая играла на сцене чужую судьбу и так же, как её персонаж, запуталась во взаимоотношениях, главное подменив вторичным.

“И этот лоб мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои... Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный... У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора... Ты думаешь, это фимиам? Я лыщу? Ну, посмотри мне в глаза... посмотри... Похожа я на лгунью?”

Тут голос Луканиной сорвался. Она тряхнула головой и обернулась к залу, где в тусклом свете настольной лампы мглилось лицо режиссёра. Родюшин молчал. Молчал и Портнов, теребя тригоринскую шляпу. Молчали все, кто был не занят в этом действии и находился по закрайкам или в закулисье. Луканина обхватила себя за плечи и опустила голову.

— Стоп-стоп! — наконец поднялся Родюшин, хотя останавливать никого уже не требовалось, он вышел в проход и негромко хлопнул в ладоши. — Давайте ещё раз пройдемся по пьесе.

Окинув сцену взглядом, он широкими охватами рук предложил всем сплотиться, собраться кучнее, а тех, кто топтался в закулисье, поманил. Сам же остался внизу, в зале, но вышел к сцене и то стоял, повернувшись к актёрам, то прохаживался по узкому проходу.

— Приезжают в родовое гнездо хозяева, Аркадина и Сорин. Кстати, — тут он вспомнил Дашу и её брата, — не исключено, что единокровные. Отец один, а матери разные. Ведь разница у них семнадцать лет. Но разные они не только по возрасту, но и по характеру, по взглядам и образу жизни. Что их объединяет, так это родовое гнездо. Но это гнездо по сути уже не принадлежит им, оно заложено. Тут правит бал новый русский тогдашнего разлива, Шамраев. Чем не проекция на сегодняшнюю Россию?! Шамраев с ними, якобы хозяевами, почти не считается, и все доходы, как это понятно из пьесы, текут в его карман.

Родюшину вспомнился холёный мэн, которого он застал у директора, вернее, то, как тот время от времени дышал на свой перстень.

— Кстати, — отыскал он глазами Лунькова. — Алексей Ильич, заведите-ка для своего Шамраева перстень, может быть, с печаткой, и дышите на него. Это и довольство, и одновременно жест власти, который подчёркивает, что все окружающие его — приживалы. И психология приживал на них — как эта самая печать.

— Далее, — Родюшин снова двинулся вдоль просцениума. — Все они, по большому счёту, обыватели. Жизнь для них — лото, что их сводит за столом. А лото, стало быть, — подлинная жизнь. Я, понятно, немного утрирую. Но по сути-то верно. Из мешочка с лотошными бочечками судьба выкликает номера, сиречь годы человеческой жизни. Кому выпадает шестьдесят, кому восемьдесят, а кому всего двадцать пять. Но все они тратят свои ресурсы до удивления одинаково — в праздности, безделье и болтовне.

Дойдя до стены, Родюшин повернулся.

— Чем нынешние обыватели от них отличаются? Абсолютно ничем. Так называемый прогресс не влияет на образ мыслей, чувства и мироощущение. У тех свечи, керосиновые лампы — у этих энергосберегающие лампочки. А жизнь — подлинный светильник, дарованный Богом, — они сжигают одинаково бездумно. В итоге что от большинства остаётся? Чёрточка на памятнике меж датой рождения и датой смерти. Это и есть жизнь — жизнь большинства.

Он чувствовал, что говорит чрезмерно жёстко, и здесь это, может быть, неуместно, но остановиться не мог.

— Все они, наши персонажи, — обвёл взглядом актёров, — запутавшиеся в жизни люди. Их устремления, желания, усилия напоминают сказку о репке, только наоборот. В сказке к старику, который тянет репку, примыкают бабка, внучка и так далее, и сообща они таки вытягивают этот корень квадратный, то бишь округлый. А эти что? Они ведь тоже хватаются друг за друга: Медведенко за Машу, Маша за Треплева, Треплев за Нину, Нина за Тригорина, Тригорин за Аркадину, а по сути за... пустоту. Тянут-потянут, вытянуть не могут. И не вытянут. Потому что не слышат друг друга. “Э-эй, ухнем!” — они не спуют. Они слушают только себя.

Тут Родюшин остановился и свернул в проход. Казалось, он возвращается на режиссёрское место, но нет — он не остановился, а пошёл дальше, вглубь, в сумрак зала.

— Самое страшное, — раздалось оттуда, — что в эгоизме погрязли женщины. Все они матери. Одни изначально, другие в процессе. Но какие это матери! Аркадина отторгает Константина, своего сына. У неё что, маленькое сердце? Вроде нет. Оно вмещает Тригорина, массу вымышленных персонажей, включая шекспировских Джульетту и Гертруду, а сына — нет... Полина Андреевна — несчастная жена, неудовлетворённая любовница, более чем странная мать. Она вызывает к Треплеву, чтобы тот пожалел, приголубил её дочь Машу, вызывает при живом муже Маши Медведенко, по сути — у него на глазах, как сводня. Маша, родившая от Медведенко сына, сутками не видит ребёнка, точнее, не желает его видеть, хотя чаду этому всего год, и он, естественно, нуждается в матери.

Тут у Родюшина перехватило горло, дыхание сбилось, он закашлялся и с трудом справился с этим внезапным приступом. Хорошо, что в этот момент он, меряя шагами проход, находился в самой глубине зала и актёры не видели его муки.

— И, наконец, Нина, — справившись с кашлем, продолжил Родюшин. — Она теряет ребёнка за пределами пьесы, об этом есть упоминание. Но теряет. Отчего? Да оттого же — от эгоизма, от одержимости страстью. Она возмнила, что главное для неё — сцена, хотя по пьесе неведомо, насколько она хорошая актриса.

Родюшин подошёл к сцене, оглядел актёров. Взгляд его задержался на Вере Нелобовой, тихой и незаметной актрисе, которая недавно порадовала Родюшина глубиной и чистотой своих взглядов и чувств.

— Давайте представим вектор их судеб, персонажей “Чайки”. Пьеса написана в 1896 году. До революции ещё два десятка лет. Большинство персонажей и реальных ровесников персонажей к той поре со сцены сойдут. Доживут до нее Нина Заречная и Маша. Им будет за сорок. Как вы думаете,

кем они станут, скажем, в 1918 году? Вера, кем станет ваша Маша? По какую сторону баррикад она окажется — за белых или за красных?

Вера от неожиданности вспыхнула, немного помялась, однако ответила громко и решительно.

— Если не сопьётся, станет управительницей имения. У белых или у красных? Скорее всего, у зелёных, где нет дисциплины и можно тешить своё самолюбие. Вполне могу представить её этаким атаманшей, которая палит из маузера направо и налево. Или же комиссаршей, которая ставит к стенке белых офицеров...

— Интересно, — оценил Родюшин и перевёл взгляд на Олю Горникову. — А что с Ниной станется?

Оля взглянула на Веру.

— Нина до такого не дойдёт, — и тут же перевела взгляд на Родюшина. — Она всё-таки станет большой актрисой. — Тут слышался явный вызов. — Не такой, как Комиссаржевская. Но тоже большой. Пройдя через страдания, она обретёт мастерство и раскроется в полную силу. После революции, возможно, покинет Россию и окажется где-нибудь в Париже, но скорее всего, останется и, как вы недавно говорили об Айседоре Дункан, станет, может быть, валькирией революции.

Родюшин кивнул, ничего не сказал, но, глянув ещё раз поочерёдно на Олю и Веру, вдруг ясно осознал, что ищет выхода. И долгий монолог с резкими, подчас несправедливыми оценками персонажей, и блуждания по залу, и сердечный накат, и вопросы к актёрам — это всё поиски выхода. Он неотрывно думал о Даше, весь охваченный тревогой за её судьбу, потому и ворочал эти житейские и театральные глыбы, бросая обвинения и обществу, и времени, и, кажется, самой судьбе. И, осознав, наконец, это, он поспешно завершил репетицию и тотчас устремился в церковь.

## 16

Как всего за сто лет разительно изменились человеческие нравы! Раньше, приглашая в гости, усаживали за ломберный столик, предлагая сыграть в шпос или раскинуть пасьянс. Либо, как в “Чайке”, в ожидании ужина играли в лото, выкликая: 90 — дедушка, 44 — стульчики, 11 — барабанные палочки... Или выходили в сад, дабы заняться подвижными играми — крокет, лаун-теннис, серсо...

А теперь? Нынче гостей увлекают коллективным экстримом: одни — на горные трассы, другие — на криминальную охоту с вертолёта, третьи предлагают гонки на “буранах”, четвертые зазывают в тир, где на выбор все виды оружия, включая, кажется, и гранатомёты.

В тир Родюшина пригласила Дюймовочка, хозяйка оружейной лавки. Предстоит годовщина “Борошиловского стрелка” — её нового детища, и она хочет собрать друзей. “Нет!” — решительно отказался Родюшин: на носу премьера, дел непочатый край. Но Ирочка-мортирочка была настойчива. Она звонила каждый день, да не по одному разу. Пришлось согласиться. Хотя главным доводом стало то, что на приёме будет Даша.

Дашу Родюшин увидел сразу, прямо в вестибюле возле зеркала. Одета во всё чёрное — чёрную юбку, чёрный джемпер под горло, — она казалась бледной. Возможно, причиной был этот контраст. А может, мертвенный матовый свет распорядился её обликом и отражением. Рядом с Дашей стояла Лариса, она взбивала свою стрижку и нагоняла пряди на полные щёки. Её телесную полноту скрывала просторная пёстрая кофта.

Родюшин поздоровался, скинул куртку и присоединился к барышням. Тут откуда-то из стрелковых недр выпорхнула Дюймовочка. Маленькая, немногим выше охотничьего ружья — такое сравнение пришло помимо воли, поскольку было органично месту. Высокие каблукы её приподняли, но роста не добавили. Впрочем, этим она и была привлекательна, словно бабочка, что порхает с цветка на цветок. Конечно, ей уместнее было бы стать воспитательницей в детском саду, о чём она, по словам Даши, мечтала, однако судьба или чья-то воля распорядились иначе, приставив её к оружию.

На вопрос Родюшина, что раньше было в этом здании, Ирочка взмахнула ручкой. Здесь была ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа. Лет пятнадцать назад её закрыли, стало невыгодно. Здание долго пустовало. А потом его выставили на аукцион, и мы, гордо добавила она, торги выиграла. После этого Дюймовочка глянула на часы, — кажется, время, почти все в сборе — и пригласила гостей за собой. Двери, которые она распахнула, были украшены большой — на всю ширину — кованой мишенью.

Тир больше напоминал клуб. По крайней мере, ближняя его часть: мягкая мебель, столики, барная стойка, приглушённый свет. И только когда взгляд охватывал всё пространство, в глубине, на расстоянии, замечались мишени.

Мишени были неподвижны. Потому, вероятно, прежде Родюшин заметил человеческую фигуру, почти тень, которая скрылась за боковой дверью. Что-то знакомое увиделось Родюшину в этой фигуре. Хотя, может, и обозначался.

Дюймовочка подвела друзей к барной стойке. Бармен, крепкий парень, под стать тому, что в “Бесприданнице”, разлил безалкогольное шампанское. Их таких, похоже, специально калибруют, чтобы в случае чего и укорот могли дать: там — в качестве вышибалы, тут — в качестве хоховца.

Дюймовочка с воодушевлением рассказывала, как всё удачно сложилось с “Ворошиловским стрелком” — и проект, и смета были выполнены в кратчайшие сроки, потом они получили кредит, и всё завертелось. Родюшин делал вид, что внимательно слушает её, даже кивал — театр всему научит, в том числе такому отстранённому вниманию, — а сам между тем всё время держал в поле зрения Дашу.

Шампанское в Дашином бокале бурлило, а глаза её словно остекленели, они напоминали два застывших в льдинке листочка, которые он давеча увидел, выходя из театра. Вдруг Даша встрепенулась, глаза её распахнулись, потом сощурились и как-то разом затемнели. Она явно кого-то увидела. Родюшин медленно обернулся. От центральных дверей шёл высокий крепкий мужчина. На нём был синий спортивный костюм и распахнутая белая куртка, а в руке дымилась дорогая сигара. Всем своим видом он демонстрировал довольство и благодушие. Родюшин не был знаком с ним, но узнал его — именно этого человека он видел недавно у директора.

Поздоровавшись со всеми разом, мужчина слегка приобнял дам, а потом протянул руку Родюшину.

— Панкратов. Николай Кириллович. — На губах его играла улыбка.

Родюшин представился, а затем осведомился:

— Панкратов Наум Казимирович — просто однофамилец?

Ничто не дрогнуло в лице Панкратова.

— Вы ведь тоже в разных ролях — то Константин Гаврилович, то Денис Геннадьевич, то режиссёр, то Треплев, а то, слышал, и на Тригорина метите.

Информация исходила явно от Портнова, при том разговоре никого не было. Неужели Игорь Дмитриевич опустил до... А ведь не исключено. Пьющего человека нетрудно охотутать.

Панкратов развернулся, окинул широким хозяйским взглядом тир.

— Ну что, Ирина Алексеевна, не пора ли к делу? Шампанское — пузыри, шелест зефира, как рекут поэты. А в тире должны свистеть пули. Да и завели бы что-нибудь соответствующее.

Дюймовочка не мешкая сделала знак бармену. И тотчас же зазвучала музыка. Да какая! “Мы красные кавалеристы, и про нас...” Потом “Полушко-поле”, потом “Там вдали за рекой...”

Не первый раз Родюшин сталкивался с подобным. Бывшие комсомольцы, секретарьки райкомов, горкомов, а ныне крутые бизнесмены, на своих сходнях белугами режут, завывая “Не расстанусь с комсомолом” или “И вновь продолжается бой”. У этого, Родюшин покосился на Панкратова, свой бзик — песни гражданской войны: здесь, похоже, весь репертуар такой — он уже догадался, кто тут заказывает музыку.

Меж тем Дюймовочка открыла сейф и стала доставать из его чрева пневматические пистолеты, выкладывая их на специальный передвижной столик.

До чего же нелепо эти железные изделия выглядели в её маленьких руках. Просто не к лицу были.

Момент, когда Панкратов подхватил Дашу под локоть и повёл в сторону, Родюшин не заметил. Его охватила досада — и на себя, что проворонил, и на Панкратова, что так бесцеремонно тут распоряжается. Он заметил, как заострились под чёрным облачением Дашины лопатки, а сама она напряглась, как струна. И может быть, продлись дефиле ещё миг, Родюшин вмешался бы, окликнул бы, что ли. Но Панкратов неожиданно развернулся, увлекая за собой Дашу, и они вернулись к стойке.

Осушив махом бокал шампанского, Панкратов бросил взгляд на столик.

— Не, Ирочка! — помотал он головой. — Эти пукалки оставьте для пионэров. Дайте-ка ключи! — Он по-хозяйски забрал связку и пошёл к вмурованному в стену бронированному шкафу.

Родюшин мельком глянул на растерянную Дюймовочку, а потом перевёл взгляд на Дашу. Так вот откуда благополучие подружки. Дело не в счётке её и оборотистости. Да, одними глазами согласилась Даша и через силу выдавила:

— Это он.

“Он!” Вот оно что! Значит, это и есть тот самый “бизнесмен широкого профиля”. Мигом выстроилась цепочка: дебаркадеры с рулеткой и ещё чем-то потаённым, театр с общежитием, сауна, а может, и вся баня, этот тир... Что-то, возможно, ещё. А главное — подчинённые ему люди. Эти бармены, внешне добродушные, как псы-боксёры, но даст хозяин команду “фас” — горло перегрызут. И тот набыченный парень, что прошёл из массажной в сауну, и та вип-сауна, наполненная резкими мужскими голосами и какими-то хлопками. И понятно, что директор, этот купленный на время зиц. И возможно, Портнов... А главное — Даша!

“Даша — Дарья. Дарья — дар. Дар Божий нельзя продавать!” — твердил Родюшин всю бессонную ночь, когда Даша открылась ему. Он собирался утром же отправиться к её матери, чтобы воззвать к совести, — это же тяжкий грех торговать чужой душой, тем более душой собственной дочери, а потом намечил встретиться и с покупателем душ — “бизнесменом широкого профиля”. Но... К матери Дашиной он тогда не поехал, трезво осознав всю тщету такого шага, — утро вечера мудренее! — там всё слишком далеко зашло. А встреча с тем, кто собирается купить душу Даши, завладеть ею, как он завладевает, очевидно, всем, что попадает ему на глаза, Родюшину — волею случая, а может быть, промысла — представилась.

Панкратов извлёк из чрева бронированного арсенала два короткоствольных автомата. Это были АКС или, скорее всего, их модификация — ничто так не совершенствуется в мире, как оружие. Один автомат, вернувшись к стойке, Панкратов протянул Родюшину, а с другим, скинув белую куртку на руки бармена, тотчас вышел на линию огня.

Стрелок он был опытный. О том свидетельствовали его повадки и манеры — короткие, чёткие и даже грациозные движения. В театре у директора Родюшину увиделись его рысьи глаза, теперь он поправил себя — это леопард, который уже выбрал жертву, напряжился и сейчас метнёт на цель свои когти.

Специальные ниши в стенах гасили звук, и всё-таки автоматный бой застал всех врасплох. Лариса ойкнула, зажала уши. Даша съёжилась и пригнулась, словно пули свистели над головой. Лишь одна Дюймовочка, привычная уже к пальбе, сохраняла спокойствие и даже хлопала в ладоши, словно рифмовала аплодисменты с выстрелами.

Панкратов стрелял короткими очередями, время от времени заглядывая в стереотрубу, что стояла возле стендового столика, и, сделав, видимо, поправку, вновь бил по мишени. Рожок закончился. Не выпуская из рук автомата, Панкратов вернулся к стойке бара. Улыбка победителя свидетельствовала, что результатом он доволен.

— Ваша очередь, сударь! — повёл он стволом.

Родюшин мешкал. Не было никакого желания участвовать в этом состязании. Но тут он перехватил взгляд Даши. Что-то было в её глазах такое, что заставило его согласиться, словно от этого нечто зависело.

Выйдя на линию огня, Родюшин примерился. До мишени пятьдесят метров. Для автомата не мало. Но и не много. В самый раз. Он откинул приклад, упер его в плечо, стараясь не думать о предстоящей отдаче, перебрал пальцами, ощущивая рабочие поверхности автомата. Всё было по руке. Сняв предохранитель, он уже стал было поднимать ствол, но боковым зрением отметил какой-то тусклый блеск. Покосился. На ближнем столике лежала круглая баночка, она была пуста, а в перевёрнутой крышке от неё торчал свежий окурок. И крышка, и баночка были пробиты. Нет, он не ошибся, когда увидел спину уходящего человека, — это был тот самый парень, которого он видел в литчасти, брат Ларисы и сын Серафимы Андреевны.

Затянувшаяся пауза вызвала иронию:

— Давно не брал я в руки шашки, давно не целил из мелкашки.

— Да, — ответил, не оборачиваясь, на реплику Панкраторова Родюшин. — Давно.

Сердце билось ровно. Руки были сухие. Он поднял автомат и, почти не целясь, всадил в мишень несколько коротких очередей.

Вскинул бинокль, услужливо поданный барменом, Панкраторов. Но его неожиданно опередила Дюймовочка, выведя мишень на монитор.

— Вау! — воскликнула она. — Как гвозди!

Центр родюшинской мишени превратился в сплошное чёрное пятно, размежёванное небольшими просветами.

— Как гвозди, — повторила Дюймовочка, сверкая восторженными глазами. Панкраторов осадил её взглядом и обратил лицо к подошедшему Родюшину, дескать, колитесь, сударь, откуда такие навыки.

Родюшин поморщился. Окружающие, верно, думали — от смущения, на самом деле — от боли, что пронизала всю правую половину туловища.

— Стрелковая рота, — нехотя пояснил он, откладывая автомат. — Каждый день на полигоне. Плюс полгода в Чечне.

Как смотрела на него Даша! Почти как тогда, когда он поведал ей о детстве. Но как-то и иначе. Совсем другим было выражение у Панкраторова, особенно когда он перехватил взгляд Дашы. Родюшин увидел его висок и синюю пульсирующую жилку. Вот таким же свинцом пульсировала жилка на виске чеченца, который стоял к нему вполоборота, и моргни Родюшин, командир блокпоста, этот гяур прошёл бы очередью и его, и его товарищей. Но он, старший сержант ВДВ Денис Родюшин, оказался тогда проворней, хотя до конца и не уберёгся.

Приметив пульсирующую, похожую на свинец, жилку на виске у Панкраторова, Родюшин догадался, что спутал тому все карты. Ведь это он, Панкраторов, подлинный хозяин “Ворошиловского стрелка” и всего прочего, собрал их сюда, чтобы продемонстрировать им всем, а прежде всего Даше свою волю, богатство, свою блестящую физическую форму. А вышло что?!

Топтаться дальше не имело смысла. Такие мизансцены Родюшин решал махом.

— Мне пора, — сказал он. Главное сейчас было не показать, что он едва стоит на ногах.

Засобиравлась тут же Лариса — надо за дочкой в садик. А секундой раньше — Даша. Она не стала долго объясняться, сказала, что от грохота у неё разболелась голова, и первой направилась к выходу.

— Я отвезу тебя, — бросил вслед Панкраторов.

— Не надо, — не оборачиваясь, ответила Даша, выставив на ходу локоть. — Я прогуляюсь с Ларой.

И никто из уходящих не видел, как сжалась от обиды и страха Дюймовочка.

## 17

Тот день начался наперекосяк. Это было третьего ноября — канун Дня народного единства. Кто придумывает эти новые праздники и для чего? Охмурить народ? А он что, слепой, ничего не видит? Какое, к чёрту, единство, если кто в лес, кто по дрова? И в стране, и в театре. Нужно работать,

вкалывать, а они праздники устраивают! И всякий раз эти праздники выскакивают совершенно неожиданно, как чёртик из табакерки. Вот и нынешний. Опять выпадает целый день, а там выходные. Когда репетировать? До премьеры по боевой трубе “господина импресарио” — три недели. А дел ещё — выше колосников.

С этими невесёлыми мыслями Родюшин появился на сцене, а там — извольте полюбопытствовать — пьяный Тригорин, то бишь артист Портнов. Размахивает длинными руками, что-то бормочет, острый нос покраснел. То ли ещё со вчерашнего не протрезвился, то ли по утрунке хватил, решив досрочно отпраздновать народное единение.

Что оставалось режиссёру? Прогнать. Прогнал да велел ещё объяснительную написать. Портнов вяло заругался, отмахиваясь обеими руками, но пошёл, бормоча, что он и вообще может уйти. Уйдёт, а пропасть не пропадёт. Такие, как он, на дороге не валяются, даже если и падают. Скоро Новый год, он в Деда Морозы пойдёт. Там платят будьте-нате, не то что в театре. Последнюю реплику труша, в целом не одобрявшая явление Портнова в нетрезвом состоянии, поддержала, кто-то кивнул; а Луньков что-то и добавил.

Родюшин поманил Лунькова к себе. Нет, не реплика его заинтересовала. Он Портновым озадачился. Не знаешь, откуда чего и ждать. Успокоился немного с Луканиной — играет, срывов вроде нет, — так теперь этот — он с неприязнью посмотрел в темноту зала, куда скрылся Портнов.

— Алексей Ильич, — шепнул Родюшин, — вы навестите его. Канун премьеры. Коней на переправе не меняют. Вы поняли меня?

— Схожу, Геннадич, — по-свойски отозвался Луньков. — Только давай без докладных. Меж собой. Отгул, прихворнул, мало ли...

— Хорошо, — кивнул Родюшин и тут же пристрожил: — Но завтра чтобы как штык!..

Утро Родюшин предполагал начать сценой с балаганчиком — театром Треплева. Теперь, с уходом Портнова, реплики Тригорина придётся взять на себя, тем паче что сам когда-то просил об этом. Но тут возникла новая задача.

Зрителей треплевской пьесы Родюшин задумал поместить в зал. То есть актёры-зрители и зрители в зале на это время должны соединиться, дабы вместе заглянуть в неведомое будущее. Это был не просто режиссёрский ход, некий дерзкий поворот, оригинальное решение, как обычно пишут в театральных рецензиях, — это была попытка достучаться до сердец. Ведь люди, все они, актёры и зрители, будут сообща смотреть пьесу, в которой предстаёт обезлюдевший мир, Земля без людей.

Чтобы опробовать задуманное, Родюшин заранее подал заявку на монтажников сцены. Ему требовалось, чтобы на это утро из зала убрали первый ряд кресел, а вместо них поставили бы скамейки и разнокалиберные стулья, на которые актёры сядут. И что же? Его заявка оказалась не выполнена. Первый ряд кресел стоял на прежнем месте.

Родюшин вскипел.

— Роза Степановна, — окликнул Родюшин свою ассистентку. Дородная и неряшливо одетая особа довольно быстро предстала перед ним. — В чём дело? — Родюшин ткнул пальцем на кресла.

Розовощёкая Роза побледнела и прочмокала разблямканными губами:

— Леон Маркович не велели убирать ряд. У них план.

— Что-о? — протянул Родюшин. Этот зипс с камуфляжной плешью обещал ему полную свободу, по привычке путая понятия и назвав плацкартой карт-бланш, а теперь в самом элементарном отказывает! — План, говорите? Хорошо! Пусть тогда сцену опиливает. Мне требуется перед первым рядом полтора-два метра. Если ваш обожаемый директор возьмётся за ножовку сегодня, к премьере управится. Однако мне ждать некогда. Звоните в столярку и вызывайте пару мужиков с бензопилами. Всё!

Через пять минут в зал на рысях прибежали два рабочих сцены — это были старые знакомые Родюшина, причём совершенно трезвые. За несколько минут они отвинтили скобы креплений, убрали секции кресел, а на освободившееся место поставили деревянные скамейки. Актёры, явно озадаченные

крутыми мерами режиссёра и подстёгнутые быстрым результатом его действий, живо устроились по местам, словно стайка воробьёв на заборе. А Юрий Глебович Тулинский, широко улыбаясь, подкатил к ним на коляске.

Все, кроме Портнова, были в сборе — и Луканина, и Стромиллова, и Тулинский, и Луньков, и Полежич, и Вера Нелюбова, и Евгений Спирин, игравший Медведенко, — они находились в зале перед сценой. А на сцене за занавесом балаганчика дожидались знака актёры, игравшие работников, и Оля Горникова.

Родюшин дал отмашку и направился к балаганчику. Сейчас он должен был сказать слова Треплева, а потом спуститься вниз и играть Тригорина. Однако не успел он сделать по сцене и шага, как раздалась музыка. Элегия Массне предполагалась в самом начале как прелюдия к спектаклю, но заведующая музыкальной частью, видимо, что-то перепутала и включила её сейчас. Уже погружавшийся в сцену Родюшин, где ему предстояли две роли, ухом режиссёра вдруг почувствовал: не то. Не ту музыку они выбрали. Вообще не ту.

— Стоп-стоп! — оборвал он сцену. — Рита Васильевна!

Сию минуту явилась запыхавшаяся заведующая музыкальной частью — сухонькая и звонкая, как скрипочка. Музыка ещё звучала, а Родюшин, вторя ей, поводил пальцем, будто стрелкой метронома, но это означало одно — не то, не то, не то!

Рита Васильевна развела руками: он же соглашался, чтобы был Массне, хотя бы в начале. Родюшин кивал, подтверждая, что так оно и было, а сам уже находился в поиске. Проходя по сцене туда-сюда и вглядываясь в лица актёров, он вдруг остановил взгляд на Луканиной.

— Аркадина обожает Некрасова. Так, Серафима Андреевна?

Луканина кивнула: так говорит Треплев — его, Родюшина, персонаж.

— Да-да, — подхватил Родюшин. — “...Способна рыдать над книжкой, отхватит тебе всего Некрасова наизусть”. Что из Некрасова положено на музыку и близко к теме? — Он вновь перевёл взгляд на музыкантшу, однако ждать не стал. — “Меж высоких хлебов...” Вот! — поднял он палец. — Вот тема. — И без перехода: — Кому это дать? В чьи уста? — Оглядел ряд актёров на скамьях. — Нет, не главным. — Обернулся к балаганчику. — Якову. Ну-ка, — кивнул Володе Лукину, сокурснику Горниковой, — знаешь?!

Тот не мешкая затянул, да так хорошо и ладно, что Оля Горникова, стоявшая рядом, подняла большой палец.

*Меж высоких хлебов затерялся  
Небогатое наше село...*

— Вот, — жестом остановил его Родюшин, — до сих пор. Это в первом акте, когда работники просят у Треплева сбегать искупаться, пока не начался спектакль. Уходя, Яков и заводит эту песню.

Новое рождалось на глазах, и все актёры, — стоявшие на сцене и сидевшие внизу, — замерли. И музыкантша стояла, словно обомлев. И рабочие сцены не шевелились.

— Потом, — продолжал Родюшин, — эта песня возникает ещё раз, скажем, во втором действии, но уже пространней, куплета два. Может быть, в сцене с убитой Треплевым чайкой или в третьем — после попытки Треплева застрелиться. В четвёртом действии звучит одна музыкальная тема. В прелюдии к спектаклю — мандолина или домра в единственном числе. А в завершение — большая струнная группа.

Не перевода дыхания, Родюшин обратился к “скрипочке”:

— Найдёте запись? — Возражений принимать не стал. — Поищите — найдёте. Лучше в фонотеке пятидесятых годов. Тогда любили русское. Много было струнного. — И опять без перехода: — И звучит эта тема до конца спектакля, может быть, сквозь шум дождя, обвал грозы, едва слышимая. Как предчувствие и как неизбежность. — И вдруг запел сам:

*Меж двумя хлебородными нивами,  
Где прошёл неширокий долок,*

Пел Родюшин негромко, но с чувством, от души, и все актёры, сидящие перед сценой и стоящие на сцене, вдруг зааплодировали. И музыкантша, и рабочие сцены, и осветители, что обретались где-то чуть не под колосниками. Пусть на миг-другой, но это и было подлинное народное единение.

18

Последнюю сцену Родюшин поверял, отмеряя если не секундомером, то собственным сердечным метрономом. Он сидел на высоком табурете в центральном проходе и ронял в микрофон отрывистые команды. Со стороны эти команды могли быть непонятны, как невняты подчас движения рук скульптора, отсекающего кусочки мрамора или наплёпывающего опшётки глины, но именно из подобных движений явился однажды Пигмалион, создавший Галатею.

— Итак, коллеги, повторим. Нина после рокового объяснения с Костей мелькает, освещённая зарницей, на сцене полуразрушенного балаганчика. Там темнота, которую будоражат отдаляющиеся сполохи. Чуть светится лицо Нины. Так, почти так. Софит — отсвет от дома немного прибавить. Хорошо. Тем временем в гостиной — Алексей Ильич, тут живее! — Шамраев достаёт из шкафа чучело чайки, чтобы напомнить Тригорину позапрошрое лето и начало его романа с Ниной. Так. Именно в этот момент лицо Нины освещается вспыхнувшей спичкой — она закуривает папиросу. Оля, скрип дверцы шкафа — тебе сигнал, через секунду ты чиркаешь спичкой.

Одним взглядом Родюшин коснулся страницы пьесы, хотя помнил её наизусть: “Тригорин (глядя на чайку). Не помню. (Подумав.) Не помню”. Отведя микрофон, Родюшин повторил слова Тригорина следом за Портновым и далее опять возвысил голос:

— Тут занавес от театрала начинает передвигаться и постепенно закрывать дом. А со сцены, как эхо недавних голосов, звучат слова Нины Заречной и Маши, сливаясь в одно. Фонограмму!

Зал заполняют два голоса:

— Люди... Двенадцать... Львы... Двадцать пять... Орлы и куропатки... Восемьдесят один... Рогатые олени... Четыре... Гуси... Четырнадцать... Пауки... Семнадцать... Молчаливые рыбы, обитавшие в воде... Тридцать семь... Морские звёзды... Сорок один... И те, которых нельзя было видеть глазом... Пятьдесят три... Словом, все жизни... Восемьдесят пять... Все жизни... Девяносто один... Все жизни... Девяносто три...

При последних звуках фонограммы Родюшин вскинул руку и резко опустил её:

— Зарница. Она высвечивает разрушенный балаганчик, на сцене которого уже никого нет. На столбе висит ружьё, опущенное дулом вниз. А занавес тем временем закрывает почти весь дом.

Дальше команд уже не требовалось. Всё шло своим чередом и в уточнениях не нуждалось. Он только фиксировал действие.

За сценой раздаётся выстрел. Дико, как по покойнику, воеет собака. Доктор Дорн спешит успокоить всех, плетя про свою походную аптечку, в которой, вероятно, что-то лопнуло. Испуганная Аркадина, которой выстрел напомнил нечто давнее, закрывает лицо руками. Последнюю фразу: “Даже в глазах потемнело...” она произносит уже за занавесом. В оставшемся световом уголке — Тригорин и доктор Дорн, который, листая журнал, тихо говорит, что Константин Гаврилович застрелился.

Было это за день до генеральной репетиции. Очередной прогон затянулся до самого вечера. Сил ни у кого уже не было. Отпуская актёров, Родюшин приложил руку к груди и попросил всех завтра хорошенько отдохнуть, чтобы со свежими силами одолеть очередной этап, при этом дольше свой взгляд задержал на мужчинах. Сам же поднялся к себе в “берлогу” с намерением немедленно лечь спать. Однако, как ни пытался, как ни умирал

себя, сон не шёл. Потому что всё время думал о Даше. Как она? Где? Почему не отзывается на звонки?

\* \* \*

К вечеру повалил снег. Шёл он густо и непреклонно, словно упреждая всякие сомнения, что это надолго. И всё валил и валил.

В десятом часу, наконец, позвонила Даша. Попросила выйти к служебному входу. Едва он спустился, двери открылись, и вошла не иначе Снегурочка, до того Даша оказалась облеплена снегом. Вошла, отряхнулась, обтопталась, словно русского сплясала.

— Всё! — она подняла руку и повертела пальцами: кольца на руке не было. — Сронила-а колечко со правой руки.

То ли выпила, то ли душа трепетала, освобождаясь от тяжести.

Родюшин приобнял её, взял за руку и поцеловал в ладонь. Дашина ладонь пахла свежим морозцем, снегом и яблоком.

Генеральную репетицию провели за день до премьеры. Прошла она, к удивлению актёров, без сбоев. Те накладки, которые возникали по ходу спектакля, к игре труппы не относились. Куда-то запропастилось чучело чайки, потом его нашли почему-то в гримёрке Лунькова, но сам он клятвенно заверял, что и “руками к птичке не прикасался”. Чуть подвела фонограмма — не вовремя взвыла собака, да громче, чем следовало, в четвёртом акте зазвучала музыка. А у актёров всё удалось. Они просто сами дивились этому, памятуя другие генеральные, и — тыфу-тыфу — оборачивались через левое плечо.

## 19

В день премьеры Родюшин проснулся спозаранку. Рана болела. Сердце было не на месте. Прислушиваясь к своим ощущениям, он быстро оделся и поспешил в церковь.

Стоял свежий морозец. Снег под ногами скрипел и пахнул арбузом. Тут бы радоваться, что наконец сковало слякоть и не пахнет гниющей листвой. А его пронизывал озноб. Вспомнилась чеченская осень, подорвавшаяся машина с разбитыми арбузами и двое ребят из его взвода среди этой каши. Вот так же пахло арбузами, а ещё тротилом и кровью. Кровь смешалась с арбузной мякотью, и в сумраке было не разобрать, где мякоть, а где человеческая плоть.

Была среда — первый день Рождественского поста. Родюшин отстоял службу, исповедался, причастился. А ещё поставил три свечи: одну на помин души рабы Божьей Марии — тёти Маши, а две другие во здравие — Дашино и своё.

Из храма Родюшин вышел, когда стало светать. Дыхание мало-помалу выравнилось. Рана поутихла. Тревога до конца не прошла, но обрела иную тональность, став повседневной озабоченностью.

С утра Родюшин проверил технические службы, заглянул к осветителям и в музыкальную часть. А сцену лишь окинул взглядом — там только-только начали монтировать декорации.

Премьера собрала полный зал. Публика давно не видела классику, соскучилась по добротному русскому языку и раскупила билеты на несколько спектаклей вперёд. Директор потирал пухлые руки и хлопал себя по бокам, словно проверял потайные карманы: “Вот это да! Полный аншлаг!” Последнее слово он знал твёрдо, поскольку оно аукалось с доходностью.

Перед спектаклем Родюшину хотелось увидеть Дашу, может быть, услышать от неё что-то ласковое, обещающее, самому что-то сказать. Но приказал себе не делать этого. Как свою боль не передать другому, так и свой крест надо нести самому. Эта мысль остерегла его и от каких-то напутствий и наставлений актёрам. Они профессионалы, сами всё сознают. Излишняя опека приводит к безответственности. Однако обошёл их всех — кого в гримёрке,

кого уже за кулисами, при этом о грядущем спектакле ни с кем не заговаривал. У Стромилевой на пышном рукаве её блузы поправил складки, подумал — как ленты у венка, и тут же одёрнул себя: эх тебя! Луканиной поцеловал руку, она вскинула удивлённо брови, и он подумал, что этого делать не следовало, ведь Аркадина держит сына Костю на расстоянии. Олю Горникову приобнял, как младшую сестрицу, услышал, как громко стучит её сердце, поправил заколку в волосах, чтобы не рассыпались, погладил руку. Лунькову руку пожал. Портнов взял под локоть и прошёлся по закулисы, словно вводя в ритм, — Портнов по темпераменту, как виделось Родюшину, превосходил своего персонажа. Вере Нелобовой посоветовал показаться в этом нарядном золотистом платье дочурке, а может, и сфотографироваться с ней. Особо ласков он был с Тулинским, взяв его сухонькие руки в свои ладони. Юрию Глебовичу возвратили его привычную коляску, покрыв её по ступицы колёс большим песочного цвета клетчатым пледом — странно, что раньше не догадались! — и он радовался этому, как ребёнок. Полежичу, заметив хрипотцу в его голосе, Родюшин дал леденец: “Это с эвкалиптом, — и пошутил: — Я ведь знаю, что у доктора Дорна, кроме валерьянки, ничего в аптечке нет”.

Спектакль начался с тонкой струны. Домра издала чистый звук — мелодию народной песни. И покатилась извечная русская драма.

Странное это дело — театр. И наивное, как детская игра. И греховное, как бесовские игрища. И где тут граница — подчас и не разберёшь, столь изощрённой бывает постановка.

Современные пьесы — это либо отражение классики, либо невнятица, возведённая в степень. Во втором случае сцена превращается в некое языческое капище, где актёры молятся фетишу драматурга или режиссёра и по сути являют друг другу не души, а свои маски, которые лепит на их лица языческий костёр.

Ответы классики в современных пьесах — это не более как далёкие огни, которые не высвечивают главного.

Но ведь и классика не всегда удаётся на сцене. Сколько бывает провалов, когда режиссёр берёт классическую пьесу, но решает её умозрительно, формально, не чувствуя внутренней потребности в постановке. Взять классическую пьесу — это ещё не факт, что будет результат. Такая пьеса, как линза, которую надо повернуть так, чтобы поймать ею золотой лучик и чтобы этот золотой лучик, пройдя через толщу выпукло-вогнутого стекла — читай *коллизии драмы* — не исказился, не преломился, а сфокусировался в сердце актёра и, отразившись от него, незримо устремился в зал. Высокий пример — Господь. Он сфокусировал небесную сферу, чтобы однажды на маленькой планете Земля занялась жизнь, а потом создал человека — Своего сотворца, выстелив между Собой и им золотую дорожку, по которой тот до поры и шёл.

Когда высоким жаворонком взлетел звук струнного инструмента, словно запела золотая ниточка песочных часов, на Родюшина сошёл покой. Нет, сердце его билось учащённо и гулко, но он почувствовал, что взят верный тон, что этот звук, как незримый лучик, пал сейчас на сердца актёров и соединил их единым силовым полем. Все они такие разные, женщины-актрисы и мужчины-актёры, молодые и в больших летах, одинокие и семейные, умные и не очень, проницательные и недалёкие, грешные и кающиеся, — все они сейчас обрели тот строй, тот лад, который необходим любому ансамблю, тем более такому, который представляет совсем противоположное — полнейший разлад при внешнем благополучии и пристойности.

...Отзвучали последние слова пьесы. Померк свет в усадьбе. Но на этом спектакль не закончился. Чувство боли, утраты, потери подхватил струнный оркестр, который теперь вступил в полную силу, представляя широкий разлив русского поля, неоглядные дали, в которых жить бы да жить, любя и жалея друг друга, как заповедано свыше, а не плодить ранние могилы. При этом занавес — гигантское, как парус, полотно — вдруг начал оживать, обращаясь в экран, и на нём предстал зрительный зал. Это фото было сделано широкоформатной камерой в первом действии, когда актёры спустились

в зал, соединившись со зрителями, дабы смотреть пророческую драму о будущем. Теперь по залу пробежал тихий ропот, словно взволновалось от невидимого порыва ржаное поле. А потом наступила тишина. Весь зал — от партера до галёрки — смотрел на себя в этом неподвижном зеркале. Впереди актёры — Вера Нелюбова, Портнов, Луканина, Луньков, Стромилова, Полежич, Спирин, сбоку на коляске Тулинский. За ними — зрители. Вот в третьем ряду Лариса, Дюймовочка и Даша. А там дальше — родители Оли Горниковой — мама, папа, а с ними её брат, который, слава Богу, благополучно вернулся из армии. А ещё среди зрителей жена Тулинского и их большеглазый сынок...

Стояла тишина. Только тихо, умолкая уже, звучала струнная музыка. И когда музыка в зале умолкла, стало слышно, как далеко за стеной, где-то в операторской, она звучит, не то в компьютере, не то в наушниках звукооператора, словно угасающее эхо.

## 20

Даша о его ране узнала прежде, чем коснулась её.

— Я почувствовала это в тире, когда ты стрелял. Вот здесь, — она накрыла ладонью свою ключицу, — так вдруг запекло. А потом увидела твои глаза, когда ты подошёл. Был бледный-бледный...

Они лежали, прижавшись тесно друг к другу. Она целовала его под ключицей, где пуля вошла, и гладила вмятину под лопаткой, где она вышла. И странное дело, боль, которая все последние дни не отпускала его, мучая своим раскалённым жалом, стала утихать, гаснуть, а следом возвращались силы.

Это было у Даши дома. Родюшин примчался к ней с премьерной пирушки. Брат её уехал навестить свою мать, и квартира была в их полном распорядке.

Родюшин заявился к Даше среди ночи, обдав её свежим морозом и ароматом белых роз, которые специально отложил от премьерных букетов. Галантно поцеловал Дашину руку, вручил цветы, тотчас повинился, что раньше никак не мог. Послепремьерная сходка — в театре закон. Справляют удачу, справляют провал. А тут такие овации прогремели. Как было не отметить? Но как только представилась возможность, как только почувствовал, что главное сказано и обид у актёров не будет, тотчас и улизнул с пирушки.

Даша хотела его накормить — заранее накрыла стол и собиралась разогреть остывший ужин. Да где там! Как только сомкнулись их руки, а потом губы, они потеряли голову...

“Счастливые часов не наблюдают”, — изрёк классик. Сколько Даша и Родюшин обретались в счастливом беспомыслии, кто знает. Но за стол они попали нескоро, даром что оба проголодались.

Даша поднялась первая, вслух коря себя, что как хозяйка совсем забыла законы гостеприимства. Накинув, что оказалось под рукой — а это была его рубашка, — она порхнула на кухню. Следом, завернувшись в простыню, отправился туда и он. Шефствовал, изображая римского патриция, только что венка лаврового недоставало, и за неимением одного воткнул за ухо листок сухой лаврушки.

Отсмеявшись, они принялись обустроить стол: Родюшин открыл сухое вино, Даша включила микроволновку и выложила хлеб. Родюшин тут же отыскал горчицу, намазал ею кусманчик черняшки, как, бывало, говаривали в детстве, и принялся уплетать его.

— Так сильно проголодался? — изумилась Даша.

— Сто лет не ел, — с трудом выговорил он.

— Неужто там не кормили? — Даша имела в виду театральную пирушку.

— Кормить-то кормили, да по усам текло, а в рот не попадало, — доложил Родюшин и принялся рассказывать, как было дело.

Он на том банкете не ел и не пил. Не ел потому, что было некогда, к тому же — пост, а не пил потому, что хотел предстать перед нею абсолютно трезвым. Последнее, как она убедилась, ему удалось. Как? Помог Луньков,

они договорились. Своё слово Луньков сдержал и налил ему в рюмку только минеральную воду, ни разу не перепутав, хотя сам с устатку и захмелел. Что там было, на банкете? Да много всего. Обходя застолье, Родюшин каждому находил какие-то слова и каждого просил простить его, режиссёра, если что было не так. Особенно ласков был с женщинами. И те, растроганные и подвыпившие, тоже не сдерживали своих чувств. Луканина и Стромилова расцеловали его в обе щёки — одна слева, другая справа, или наоборот. Вера Нелюбова поклонилась по-русски в пояс. Он приобнял её и по-христиански троекратно поцеловал. А Оля Горникова, пылавшая жаром первого успеха, поцеловала его в губы, чем вызвала всеобщие аплодисменты. Правда, одобрили это, как заметил Родюшин, не все — он перехватил ревнивый взгляд Олиного однокурсника, Володи Лукина (тут же кивнул Даше, ты-то, надеюсь, не ревнуешь), и тотчас обратился к нему: дескать, а ну, Яков, запевай. И тот не замешкался:

*Меж высоких хлебов затерялся  
Небогатое наше село.  
Горе горькое по свету шлялося  
И на нас невзначай набрело.*

Родюшин подхватил песню. А за ним и другие.

*Ой, беда приключилась страшная!  
Мы такой не знавали вовек:  
Как у нас — голова бесшабашная —  
Застрелился чужой человек!*

Пели почти все, но большинство два-три куплета. Беда русских людей, что перестали петь родимые песни, в которых сердцевина народного духа. Произнося это, Родюшин взмахивал руками, словно дирижировал хором. Володя Лукин, наверное, тоже оборвал бы пение, если бы его не поддерживал Родюшин.

*Суд приехал... допросы... — тошнѣхонько!  
Догадались деньжонок собрать:  
Осмотрел его лекарь скорѣхонько  
И велел где-нибудь закопать.*

*И пришлось нам неожиданно-негаданно  
Хоронить молодого стрелка,  
Без церковного пенья, без ладана,  
Без всего, чем могила крепка...*

*Без попов!.. Только солнышко знойное,  
Вместо ярого воску свечи,  
На лицо непробудно-спокойное,  
Не скупясь, наводило лучи;*

*Да высокая рожь колыхалась,  
Да пестрели в долине цветы;  
Птичка Божья на гроб опускалась  
И, чирикнув, летела в кусты...*

В песне восемнадцать куплетов. Они с Володей не пропустили ни одного, ни разу не сбились и довели песню до конца. Впечатление это, разумеется, произвело. Но для Родюшина другое виделось важным: ведь эта завершённая песня и была в сущности окончанием спектакля. Он приобнял Володю, как старший брат младшего, чтобы не держал обиды, и похвалил его за игру: роль маленькая, но исполнил он её от души.

Тут подошла Стромилова.

— Откуда это у вас, Денис Геннадьевич?

Он догадался — о чём она: всё ещё, видать, держит его за столичную штучку и недоумевает, откуда у него такая тяга к русской песне.

— Из детдомовского хора, Сусанна Львовна, — ответил он, но ни голо-сом, ни взглядом не напомнил ей её давнюю реплику.

Обо всём этом Родюшин поведал Даше, сидя за кухонным столом, где, нарушив рождественский пост, уплетал домашние котлеты. Потом они пере-кочевали в постель. Спустя время вернулись на кухню и допили вино.

Подкралось незаметно утро, но оно не всполошило их. Родюшину не на-до было спешить в театр — выходной, а у Даши занятия начинались вече-ром. О чём они говорили в эти покойные светлые часы? Обо всём. Но боль-ше всего о премьере.

— Тебе принесли больше всех цветов, — отметила Даша.

— Это не как режиссёру, — отозвался он. — А как к памятнику Косте Треплеву.

— Не шути так, — серьёзно сказала она, даже глаза заблестели. — По-жалуйста, — и продолжала: — Женщина какая-то, вручая цветы, книксен сделала. Помнишь? — Даше важны были все обстоятельства и детали. — А девочка с бантиками!.. Прелесть! Несла розу, видимо, укололась и даже ойкнула, но при этом улыбалась. А вручила и пальчик лизнула — кровь, на-верное, выступила.

— Тоже артисткой станет, — меланхолично изрёк Родюшин. — Так и становятся артистами, ибо “кровь” рифмуется с “любовь”.

Он поймал себя на том, что говорит благоглупости — усталость всё-та-ки сказывалась, но поправляться и как-то сосредотачиваться не стал.

— А актёрам? Кому больше несли цветов? Наверное, Заречной — Оле?

— Да, — кивнула Даша. — Но и Серафиме Андреевне... Как она игра-ла! — Тут же уточнила: — Как вы с нею играли! Ваш дуэт, когда она пе-ревозывает Косте рану. Диалог по пьесе. Но вы словно ещё о чём-то гово-рили, помимо пьесы... Видел бы ты в этот момент нашу Ирочку.

— Дюймовочку?

— Она сидела с краю, а после первого действия попросила поменяться, села между мной и Ларой. Так ведь уревелась на этой сцене.

— Чувствительная барышня! — отозвался Родюшин. — Надо же! А я думал, она порохом пропахла. Всё уже нипочём.

Даша грустно поджала губы.

— Не-е, у Ирочки всё непросто. — она явно вспомнила о том, что бы-ло в тире, и тут же оборвала себя. — А Лариса-то! Руки наши Иринка пе-реплела своими, мы соприкасались. Так на этой сцене у Ларисы рука стала ледяная. Верить?! Я даже покосилась на неё. Лицо белое. Рука ледяная. Ку-да кровь-то ушла?

Спохватившись, что говорит о косвенном, Даша принялась расхваливать постановку, сценографию, музыкальное сопровождение...

Родюшин не перебивал её, но иногда слегка сдерживал.

— Это Чехова надо хвалить. Чехов — гений. В моём нынешнем возра-сте Антон Павлович “Чайку” написал, а я всего лишь поставил.

Даша принялась с жаром возражать, словно кто-то третий непочтитель-но обошёл с тем, что она приняла всем сердцем. Родюшин радовался и ди-вился. Что там в её глазах, где, как ему показалось вначале, нет доньшка? Это вообще свойство влюблённой женщины или Дашина суть? И тут же за-ключил: суть. Ведь ни разу и ни о ком она не отозвалась небрежно, тем бо-лее пренебрежительно. Строго — да. Но при этом жалеючи. Как о матери.

Её искренность и нежность, её грация во всех движениях и жестах — даже когда она теряла голову, забываясь в его объятиях, — всё это напол-няло сердце Родюшина восторгом.

— Сейчас я себя чувствую, как Чехов на Цейлоне, — сказал он каким-то курлыкающим, даже самому показалось, не своим голосом, когда они ра-зомкнули объятия.

— То есть как? — утишая дыхание, сказала она. — И почему на Цейлоне?

— Там, возвращаясь с Сахалина, он встретил дивную индианку. Она до того очаровала и восхитила его любовью, что, вернувшись в Россию, он ещё долго вспоминал её.

— А когда женился на Книшпер, у него такого не было?

Это Даша спросила время спустя, когда они уже успокоились, до доньшка переплавив свою страсть.

— Не знаю, — пожал плечами Родюшин. — Семейная жизнь покрыта тайной... Едва ли... Есть свидетельства, что она ему была неверна. Однажды приехала к нему в Ялту, чтобы прикрыть свой грех. Ребёнок тогда не родился. Случился выкидыш.

Зачем это Родюшин сейчас говорил, он и сам толком не понимал. Возможно, бессознательно перечил себе. Их отношения с Дашей зашли уже так далеко, что он отдавал себе отчёт — пути назад не было. И может быть, пытаясь с одиночеством, он и вздыхал, что теряет его. Но скорее всего, дело было не только в этом, и даже не столько в этом. Какая-то тень коснулась его сознания, кольнув сердце, словно та чайка, что была подстрелена в чеховской пьесе и залетела в его собственную судьбу. Как и Даша, он на миг вспомнил сцену в тире, согласился, что всё далеко не так просто, и добавил про себя, что не только для её подруги.

Даша, почувствовав его настроение, присмирела и даже затаилась, как малая пичуга. Родюшину стало стыдно. “Ну, что ты минор наводишь, — подсаждал он на себя. — Это же не в театре”. Мягко приобнял её, привлёк к себе, однако вернулся всё-таки к театру, то есть на круги своя, принявшись рассказывать всякие театральные истории. Один такой эпизод случился в день приезда Родюшина, когда он проходил мимо вахты. Вахтёрша — дородная жёнка, то ли насмотрелась телика, то ли была его умнее, но учила уму-разуму свою собеседницу, потом оказалось — театральную костюмершу: “Одними подтяжками, милочка, эффекта не добьёшься. Всё должно быть в комплексе. Как говорил Чехов — “и душа, и тело, и одежда”. Не хандри, не раскисай. И делай “чиз”, даже если у тебя нет того сыра ни на бутерброде, ни в холодильнике!”

Представляя давнюю картинку, Родюшин разыграл участниц диалога в лицах — актёр же! — только об одном промолчал — с чего начался тот разговор. Костюмерша посетовала, что в этом году необычайно рано зажелтели берёзы. В связи с этим бабка её, ведунья, девяноста с лишком лет от роду, изрекла, что это не к добру: старые берёзы рано чахнут — помирать чохом станут старики, а если с тонких берёзок посыпалась листва — смерть будет косить молодых.

Вот после этих слов вахтёрша — бой-баба — и отхватила, как говорит Костя Треплев, свой монолог.

— Я стоял за углом и давился от смеха. “Делай “чиз”, даже если у тебя...” Ей бы на сцене играть, а она на вахте сидит.

Тут у Даши возник вопрос. Отемеявшись, она спросила:

— А как ты-то в театр попал? Ты не рассказывал...

— Как? — он обеими пятернями привычно закинул волосы назад и приподнялся на локте. — Песня это долгая. Но если в двух словах, так... После госпиталя вышел в запас. Поехал на родину, то есть в детдом. Тёти Мани уже не было. Навестил могилу, погоревал. Куда дальше? Душа привела в монастырь. Думал, тут моё место — среди братии, коли нет родни. Но встретил одного старца, он в скиту обретался, тот и надоумил меня. Живи, говорит, в миру. Там хаос, особенно в среде людей культуры, искусства. Ступай туда, там твоё место. Я сам это чувствовал. После детдома, перед армией, работал осветителем на телестудии. Бывал в мастерских художников, за кулисами театральными, в цирке... Насмотрелся всякого, в том числе бевсовщины. До содрогания насмотрелся, до ненависти. Вот старец-то мне глаза и открыл — иди туда и воюй, — словно знал моё назначение. Духовидец был. Совета я послушался. Сначала на сценарный поступил, потом на сцену потянуло — аукнулись наши детдомовские капустники, я там не последний был. А с третьего курса режиссурой занялся, ставил студенческие спектакли,

на пятом пригласили режиссёром в ТЮЗ. Закончил учёбу с двумя дипломами — актёрским и режиссёрским.

Родюшин умолк, сел на постели, изображая роденовского “Мыслителя”, дескать, вот я какой, добился заслуженной Дашиной улыбки, она сопроводила её индийским жестом поклонения. Потом выпрямился, снова закинул назад волосы и, потирая ключицу, тихо добавил:

— Хаос не осмыслить, наверное. Это удел Бога. Но вокруг себя его надо пытаться укрощать.

## 21

Контрактные деньги обычно выплачивали не сразу. Родюшин это знал по опыту. Юристы, готовившие документы, ни разу, на его памяти, не прописали пункт о неустойке. Потому дирекция, приглашавшая режиссёра, всякий раз волюнила, откладывая выплаты, или выдавала оговорённую сумму по частям, иногда в два-три приёма. Довод же у чиновников практически не менялся — нет денег, притом, что себя, любимых, благами они, конечно, не обделяли. Так было в средней полосе, так было на Урале и в Сибири — везде, где он работал в качестве приглашённого режиссёра. А тут выплатили всё до копейки, да притом досрочно.

Директор вызвал Родюшина пятнадцатого декабря под вечер и объявил, что деньги на его банковский счёт переведены и, стало быть, он, приглашённый режиссёр, может чувствовать себя свободным.

— Чувствую себя свободным я всегда, Леон Маркович. — Родюшин сидел напротив директора за приставным столом. — Другое дело — обязанным. Благодарю вас за любезность. Но у меня ещё есть здесь дела.

— Какие дела? — подозрительно вытянулся “господин импресарио” и неожиданно покосился влево — там находилась представительская комната, и за полуприкрытой-полуоткрытой дверью, видимо, кто-то был.

— Дела по передаче спектакля, — ответил Родюшин. — Надо поработать с заменой. На мою роль, то есть роль Треплева, я рекомендовал Володю Лукина. Он готов — роль знает. Актёр способный, даже талантливый. Однако немного надо порепетировать — это мы уже делаем, — чтобы с нового года ему войти в спектакль в новом качестве. Ну, и на его место, на роль Якова, надо подобрать актёра. Сам ещё не видел, но, говорят, есть хороший паренёк в вашем колледже, на третьем курсе учится...

Родюшин сделал паузу, без особого труда извлёк из своего театрального арсенала подобающую улыбку и заключил:

— Так что, с вашего позволения, господин импресарио, выполню свой долг до конца, дабы оставить спектакль в рабочем состоянии.

— Ну-у, хорошо, — пробурчал директор, суня крашенные брови и опасно поводя левым плечом. — До... тридцатого декабря. Согласно контракту. — На последнем слове он маленько замешкался, чтобы язык не вильнул не в ту сторону.

Родюшин догадывался, кто таится за приватной дверью, однако не подал виду, что догадывается. Раскланявшись с директором, он вышел. Походка его была непринуждённая и твердая, какой и должна быть походка зрелого, свободного и сознающего своё достоинство человека. Что же касается догадок и неких предупредительных знаков, он не делал из них никаких выводов и не предпринимал никаких попыток что-то изменить, ускорить, перекроить. Нет. Он продолжал жить, как привык — не таясь, не увиливая, глядя прямо в глаза человеку, кто бы он ни был — друг или враг.

Вернулся из поездки к матери Дашин брат, Артём. Даша опасалась, что они с Родюшиным не поладят: они же такие разные — инфантильный парень с вихляющей походкой да нечёсанными лохмами и уже зрелый, умудрённый жизнью мужчина. Придётся как-то приспособливаться, говорила она Родюшину, либо вообще перебраться в его временное жилище — “берлогу”. Но, на удивление Даши, всё сложилось почти без притирок.

Сколько Даша билась, чтобы братец не разбрасывал где попало свои носки, чтобы чаще их стирал — ничего не помогало. Хоть кол на голове

теши. А тут смотрит: стиранные носки висят на сушилке. Чудеса, да и только.

А чудес никаких не было. Родюшин перестирал брошенные Тёмой носки вместе со своими, а потом поговорил с ним. Нет, нотаций не читал. Рассказал немного о детдоме, помогил в армейской службе. У домашних ребят многих навыков не было, не привыкли за собой следить, себя обихаживать. В итоге что? Из-за грязных портянок или носков, непросушенных ботинок или сапог — сбитые суставы, опрелые пальцы. А появились болячки на ногах — выскочат они и на теле, и на шее, и в потаённых местах. Как служить, коли тут и там щиплет, ноет, болит?! А уж на боевых — такое и вовсе, как рана. Ведь когда что-то саднит, колет, бдительность теряешь. В результате из-за какого-то чирья недолго пулю схватить.

Тут Родюшин почти буквально наступил на Тёмину мозоль. У парня оказались и опрелости, и фурункулы, но говорить, тем более показываться врачу, он стеснялся. Что с ним было делать? Родюшин принёс мазь. Велел каждый день принимать душ и болячки смазывать. Через два дня достаточно было взгляда, чтобы Тёма бежал выполнять процедуру.

Тогда же Родюшин осмотрел Тёмины ботсы. Обувка модная, оценил он, но добавил, что если он, Артём, будет и дальше носить такую обувь, то через десять лет станет инвалидом — она же не дышит, ноги в этих ботсах преют, суставы оплывают. От слов Родюшин перешёл к делу. Повёл парня в обувной магазин, купили нормальные кожаные ботинки на натуральном меху, тёплые носки из хлопчатки. Вроде даже походка у парня изменилась, вихляться перестал. Это отметила Даша.

Однажды Родюшин спросил Артёма, есть ли у него девушка. Тот помялся, поморщился, признался, что девушка была, но потом что-то разладилось. Почему разладилось, не говорил, но Родюшин догадывался. Эти грязные носки, дурно пахнущие зимние кроссовки — кому такое понравится?! Плюс к этому юношеские прыщи, бледная кожа, тщедушный вид — ему никак не дать даже восемнадцати. А всё почему? Потому что не научен ничему — ни гигиене, ни здоровому питанию. Ну какое здоровье, какой вид будет у парня от этой пищевой дряни — попкорна да кока-колы?! Упрекать, наставлять Артёма Родюшин не стал. Просто как-то вечером, когда Даша была на работе, он позвал его на кухню и стал показывать, как варить борщ, они вместе чистили картошку, резали лук... Между делом Родюшин растворил тесто, испёк оладьи, и они пили чай. Вот тут в самый раз было поговорить и о девушках.

Что вспомнилось Родюшину? До армии у него была подруга, вместе росли в детдоме. Когда провожала на службу, обещала ждать. Однако слова не сдержала. Он вернулся, а она уже замужем и ждёт ребёнка. Даше Родюшин об этой истории не говорил, потому что это было в прошлом и перестало быть главным. А вот Артёму поведал. И признался, что очень переживал тогда, горевал и убивался, даже в монастырь уходил. А теперь думает, что Бог отвёл ту первую любовь, точнее уже — продолжение её.

— Ведь если бы я с нею остался, я не встретил бы твою сестру, — заключил Родюшин.

Он готовился к своему последнему в этом театре спектаклю, когда позвонила Даша.

— Я у Ларисы, — сказала она. — Ты можешь сейчас заглянуть сюда?

Через несколько минут Родюшин был в литчасти. Летел он сюда самым коротким путём — через кулисы, на сей раз без происшествий: никаких “триумфальных арок” на пути не было. Даша сидела у окна. Ларисы на месте не оказалось — её позвала к себе в гримёрку мать, что-то опять случилось с братом.

— Сядь сюда, — сказала Даша. Сама она сидела на том самом месте, где Родюшин её впервые увидел.

— Ты помнишь, с каких слов началось наше знакомство? — тихо спросила Даша.

— Ну как же! — воскликнул Родюшин, — “Третья молвила сестрица, — я б для батюшки-царя родила богатыря”.

— Вот, — потупилась Даша. — А слова-то те, похоже, вещими оказались... Я только что от врача...

— Неужто? — вытаращил глаза Родюшин, вскочив со стула. — Дашенька! — Сграбастал её в объятия, подхватил на руки, закружил, сколько позволяло пространство, кажется, и боль прошла, когда услышал счастливую новость. — Дарина подарит мне сына!

Как он её только ни называл все эти дни — Дашутка, Дашенька, Дарьюшка, даже Одарка, даже Даротея, а так ни разу.

— Голова закружилась, — смеялась Даша. — Отпусти, Денис. Слышишь?!

Родюшин послушался, поставил Дашу на пол, но из объятий не выпустил.

— Срочно под венец! — он целовал её в глаза, в щёки, в губы.

— Так батюшка ведь не обвенчает, — задыхаясь от поцелуев, отвечала она. — Нужна справка загса.

— Тогда срочно в загс! Немедля! Неужто блюстители закона не пойдут навстречу? Был же кто-то на спектакле из загса. Они же видели, как люди погибают от любви!

Родюшин наверняка ринулся бы осуществлять задуманное, даром что был уже облачён в костюм Треплева, да Даша его остановила — голова у неё кружилась, но головы она всё же не теряла:

— Через полчаса тебе на сцену. К тому же сегодня выходной. Забыл?

В загсе они побывали через день. Из-за прописки Родюшина возникли сложности. Но потом выход был найден, и им предложили для регистрации середину января. После этого, не откладывая, они пошли покупать кольца.

Сидя дома за чаем, Даша с Денисом обсуждали, что нужно успеть сделать до означенного дня, и то и дело поглядывали на коробочку с кольцами.

Родюшин украшений никогда не носил. Даша носила кольцо по принуждению. Тут и возник вопрос, как же она решилась и отказалась от него.

— Я не думала, что так быстро всё произойдёт, что наконец решусь. Они, — она имела в виду своих мать и сестру, — назвали дату. — Дату эту назначил претендент на её руку, Даша ни разу не назвала его по имени, только “он”. — И тут что-то со мной случилось, будто глаза открылись. — Даша отёрла рукой лицо, точно смахнула докучную паутинку. — Я подумала о тебе. Ты не боялся. На пули шёл. А я что же? Добровольно в полон иду? Стыдно стало. Сняла кольцо, положила на стол. Вот, говорю, если вы меня принудите, я отравлюсь. Здесь — мгновенный яд, показала капсулу и — к дверям. Они даже не шелохнулись.

— Что, действительно у тебя яд? — выдохнул Родюшин.

— Нет, — Даша покачала головой. — Под рукой бусинка оказалась.

— Ну, Даша, — голос Родюшина даже осип, — по тебе Шекспир скачет.

— Не шути, — вздохнула она и задумчиво повторила то, что уже говорила: — Всё не так просто.

А на следующий день принёс новость Родюшин.

— Даша, — едва не с порога сообщил он. — Мне предлагают новый контракт.

Разделся, прошёл, обняв Дашу, в гостиную, усадил её на диван, а сам встал перед ней в позу чтеца-декламатора или трагика.

— Спектакль посмотрела губернаторша, то бишь жена губернатора. Говорят, расчувствовалась, всплакнула. А узнав, что режиссёр спектакля приглашённый, стала настойчиво убеждать своё околотеатральное окружение продолжить сотрудничество с этим режиссёром. “Таковыми талантами разбрасываться нельзя!” Это не мои — её слова. Видишь, как ценят твоего жениха?!

Родюшин впервые произнёс это слово и сам удивился, что оно относится к нему самому.

— И что? — Даша поднялась с дивана.

— Что “что”? — не понял или сделал вид, что не понял, Родюшин. Ему нравилась эта мизансцена.

— Что дальше-то? — встряхнула руками Даша, пытаясь добиться результата.

— А что дальше... Директор помялся, конечно, поманежил, но куда денешься? — Родюшин поднял большой палец, ткнув вверх. — Заключаем новый контракт. Буду ставить новую пьесу, снова классику и — что бы ты думала? А-а?

Пауза опять затянулась. Он же был актёр.

— Ну что? Ну что? — Даша в нетерпении даже постучала по его груди.

— “Бесприданницу”, — наконец возвестил Родюшин. Даша при этом немного поёжилась. — А назовём спектакль именем владельца “заводов, газет и пароходов” — “Паратов”. Как тебе?

Даша хотела что-то сказать, но не смогла. Глаза её затуманились, и чтобы не выдать себя, она уткнулась в его грудь. А Родюшин, охваченный азартом предстоящей работы, принялся перечислять актёров, которых займёт в спектакле. Тут были все, с кем уже сработался, — но особо Родюшин выделял человека, не состоявшего в труппе.

— Помнишь, говорил о монтировщике, рабочем сцены, бывшем актёре? — “Да-да”, — кивала Даша, пряча глаза. — Хочу попробовать его на роль Робинзона. Он же вылитый, по-моему...

## 22

Было двадцать восьмое декабря, пятница. Даша находилась дома одна и готовила обед, поджидая брата и Родюшина. Скобяная лавка, где работал Артём, была через улицу, и брат по настоянию Родюшина стал регулярно обедать дома, отпрашиваясь хотя бы на полчаса. Родюшин с утра ушёл в театр. Сегодня ему предстояла телевизионная запись — областная телестудия вела цикл программ “Итоги уходящего года”, снимая сюжеты о наиболее значимых событиях, — и он отправился пораньше, чтобы подготовиться к беседе.

В гостиной бубнил телевизор. Передавали центральные новости. Значит, время за полдень. Вскоре раздались позывные областного телевидения. Что-то дежурное произнёс диктор, но больше звуков никаких не последовало. Отвлекаться да выяснять, что да как, Даше было некогда. Она пережаривала лук, помешивая его на сковородке, чтобы не пригорел. Сейчас это было важнее. Она собиралась попотчевать Дениса постными щами, которые чудесно, по его словам, готовила тётя Маня. “Ничего вкуснее не едал”. Вот Даше и хотелось услышать от него такие слова.

В гостиную Даша заглянула через несколько минут. Показывали программу месячной давности, которую передавали сразу после премьеры “Чайки”. Однако сейчас передача шла почему-то без звука. Она коснулась панели — тут всё было в порядке. Стало быть, либо техническая накладка, либо... так задумано. Дашу охватила тревога. Сердце встрепенулось и забилося часто-часто. Она сходила на кухню, выключила газ и медленно вернулась обратно.

Сюжет с премьеры закончился. Появилось лицо ведущего — это был седой человек с молодым лицом, который и записывал прошедшую программу. Прорезался звук. Голос ведущего был натянут и сбивчив.

— Сегодня мы с оператором пришли в театр, чтобы записать интервью с режиссёром спектакля “Чайка” Денисом Геннадьевичем Родюшиным.

На экране возник портрет — это был снимок, видимо, сделанный во время репетиции: на лбу — пряди, поперечная складка, глаза распахнуты, ноздри раздуты — лицо человека, выполняющего тяжёлую физическую работу. Однако руки при этом свободны, они вскинuty на уровне плеч. Где же, спрашивается, тут усилие? Но взглядишь: руки с растопыренными пальцами словно сжимают какую-то невидимую, но тугую пружину, до того напряжены. “Хаос, — вспомнилось Даше, — надо всеми силами сдерживать хаос”.

— Мы договорились с оператором, что он включит камеру заранее, снаружи репетиционной комнаты, чтобы, открыв дверь, сразу направить объектив на лицо режиссёра, застать его в рабочем состоянии, наедине с собой. И вот что далее произошло...

Дверь репетиционной растворилась, представляя большое помещение. И тотчас же раздался грохот. Это распахнулась оконная рама, что находится

напротив входной двери. Сквозняк взметнул тяжёлые шторы, закрывавшие широкий подоконник и оконные проёмы, какие-то бумаги, лежавшие на большом, покрытом зелёной скатертью столе, они взметнулись и закружились... За столом никого не было. Камера двинулась вглубь помещения, и тут объектив упал вниз. На полу головой к дверям лежал человек. Правая рука его была откинута, а в ней — оператор сделал увеличение — чернел пистолет. Объектив медленно двинулся по согнутой руке, замер на лице лежащего навзничь человека. Это был Родюшин. На виске его темнела спекающаяся кровь.

У Даши подогнулись колени, и, потеряв сознание, она упала.

Сюжет этот повторяли потом много раз. Падкие до сенсаций телевизионщики не упускали случая, чтобы привлечь внимание зрителей такой эксклюзивной, как повторялось на все лады, съёмкой. Как же! Они оказались первыми на месте происшествия — раньше врачей и раньше полиции. Повторы сопровождались комментариями врача, следователей, рассуждениями представителей городского и областного управлений культуры. Один раз дали сюжет в замедленном режиме. Но даже и в такой передаче никто не заметил, а если и заметил, не придавал значения одной детали, а именно круглой металлической баночке, которую смахнул с подоконника порыв ветра, она упала на пол, покатилась под книжный шкаф, стоявший подле окна, и там закатилась в выбоину от давно сломанной дощечки паркета.

Похороны режиссёра Родюшина состоялись уже в новом году — четвёртого января. Гражданская панихида проходила в театре. Гроб стоял в центре сцены. На столике в изголовье лежали две подушечки. На одной тускло мерцал орден Красной Звезды, на другой блестела медаль “За отвагу”. Возле гроба, вся в чёрном и сама почерневшая от горя, сидела Даша, невенчаная вдова.

На панихиду собрались все актёры — и игравшие в спектакле Родюшина, и те, кто не работал у него. Не было только Луканиной. Серафима Андреевна в этот день хоронила своего сына.

Сын Луканиной погиб двадцать девятого декабря в автомобильной катастрофе. По официальной версии следовало, что, сидя за рулём, он не справился с управлением автомобиля и врезался в железобетонную опору моста. В зальчике для прощания при больничном морге, помимо матери и сестры, присутствовали два широкоплечих молодых человека, которые прислонили к закрытому гробу венки от одноклассников — так значилось на ленте. На кладбище они не поехали.

А Родюшина после гражданской панихиды перенесли в близкую церковь, где состоялось отпевание. Священник, отец Агапий, которому Родюшин не раз исповедовался, ни на миг не усомнился, что раб Божий Дионисий тяжкого греха самоубийства не совершал, и отслужил отпевание по полному чину.

Даша стояла в церкви ни жива ни мертва. Голова поникла, глаза ослепли от слёз, сердце едва билось, и в какой-то миг ей захотелось, чтобы оно совсем умолкло, её заболевшее сердце, и так вдруг сладко стало от этой мысли и от этого желания, что она уже потянулась туда. Но ниже сердца вдруг что-то трепетнулось, будто пламя свечи в её руке, она вздрогнула, опустила правую руку на живот и повела взглядом. Рядом стояли Артём, единокровный брат, подруга Ирина. Рядом были Вера Нелюбова, Оля Горникова, Володя Лукин — актёры Родюшина, её сверстники или погодки. Даша тихо вздохнула, чтобы даже не ворохнулось пламя свечи, и подняла взгляд к иконостасу.

А высоко под купол, где парила душа Родюшина, возносился высокий чистый голос:

— Господи, омилиуй! Господи, омилиуй! Господи, омилиуй!

НИКОЛАЙ ЛИСОВОЙ



## АНГЕЛЫ ТРУБЯТ НАД ЕЛЕОНОМ

\* \* \*

*Ибо таково благовествование,  
чтобы мы любили друг друга.  
1 Ин. 3, 11*

Утро Иоанна Богослова,  
Праздник про любовь...  
От его Посланий мудрых слово  
Вспоминаю вновь.

Был он стар, и что сказал Учитель —  
Помнил так, едва...  
Лишь: “Друг друга, глупые, любите! —  
Повторял слова. —

Бог есть свет. И не бывает, дети,  
Никакой в нем тьмы.  
И любовь — её должны на свете  
Чтить как Бога мы.

Бог есть свет. Сквозь смерть и тьму сияет —  
Воскрешает всех.  
Так — любовь. Она греха не знает —  
Изгоняет грех”.

---

*ЛИСОВОЙ Николай Николаевич родился в 1946 году. Историк церкви, писатель, публицист, общественный деятель. Член Императорского Православного Палестинского общества. Член Союза писателей России. Автор книги стихотворений и поэм “Круг земной”.*

*Саше Назаренко*

Одиссей, меж Харизмой и Схизмой, сквозь острые скалы  
Проскочивший меж ночью и днём,  
Ты не гостем прошёл и по гулким проулкам Валгаллы —  
С элевзинским холодным огнём.

В литургийном ли золоте лучших эпох Византии,  
В серебре стурлусоновых саг —  
Ты читал родовые рассветные судьбы России,  
Видел тайны завещанной знак.

И ни остров блаженных, ни праздная доля иная  
Не влекли тебя чуждой струной...  
Реют древние гении — ангелы Рода и Рая —  
Над тобой, надо мной, над страной.

### РОДИТЕЛЬСКАЯ

О Нечаянной Радости в Марьиной роще,  
О Зачатье в Углу и Покрове на Рву,  
Рождестве на Куличках... Что может быть проще —  
По столбцам сороков перечислить Москву.

О Николе Малиновом Звоне в Китае,  
Богослове под Вязом, Илье под Сосной...  
Но за юностью давней, года окликаю,  
Не поспеть с Разгуляя к канонам Страстной.

Не успеть: Всех Скорбящих по Божеской воле,  
Всех Святых, просиявших и сгибших во мгле,  
Отмолить — на Ордынке, в Полях, на Чертолье —  
До Большого Креста и Успенья в Кремле...

### ПРИТЧА

И когда собрались на совет  
Полководцы, министры, вельможи,  
Царь на всех, кого знал столько лет,  
Посмотрел вдруг серьёзней и строже.

И саксонскую вазу, фарфор  
Драгоценный, из майсенской глины,  
Перед тем, как начать разговор,  
Грохнул об пол без всякой причины.

Все вскочили тревожно. И царь  
Проницал их, как войско пред боем,  
И была в его взоре печаль,  
Растворённая горьким покоем.

И сказал: — Что напуганы так?  
Пред решением — хотел вам, как братьям,  
Лишь напомнить, что каждый наш шаг —  
Как разбитый фарфор, безвозвратен.

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. В. ШУЛЬГИНЕ

Не знаю, правда ли так было,  
Но он нередко говорил,  
Что сверхъестественная сила  
Влекла династию в распыл.

Не стрекот думских резолюций  
И не истерик правых дичь —  
Был нужен опыт революций,  
Чтоб смысл Империи постичь.

\* \* \*

Жизнь прошла, другой не будет.  
Там уж — кто во что горазд —  
Кто забудет, кто осудит,  
Кто записочку подаст...

Было всяко: дружба, драка,  
Дамы, драмы, смех и грех...  
Было больно, было вольно...  
Хуже нет — а лучше всех!

Но у Божьего порога,  
Если, пристально и строго,  
Спросят, чем, мол, заслужил,  
Я сказать смогу немного —  
— Ну, а всё-таки любил!

### МАСКА АГАМЕМНОНА

Милая женщина, друг дорогой!  
Как на Мидасовом пире —  
Всё, до чего ты коснулась рукой,  
Золотом стало мне в мире.

В час расставанья, над Летой-рекой,  
В лодке, увитой цветами,  
Стану, наверно, и я золотой —  
Лба лишь коснешься устами...

\* \* \*

— Жатвы много, делателей мало, —  
Говорил Христос  
И со лба отбрасывал устало  
Золото волос.

И склонялись полные колосья  
Солнечных хлебов,  
И мешались потные волосья  
С золотом снопов...

Но моей ли спориться молитве  
На страде Твоей?  
И воззвал я к Господу, на жнитве,  
На закате дней.

Долгой жизни не просил у Бога,  
Лёгкого пути.  
— Жатвы мало, делателей много.  
Боже, отпусти!

Но Господь промолвил: — Ты в ответе —  
В обстающей мгле! —  
Если есть одна душа на свете...  
У тебя их две...

## ПАСХА

Утро ли вечности не мудреней!  
Вешнего неба процветшее зная.  
С грозно отброшенных гробных камней  
Ангелы огонь отрясают крылами.

Злоба и ложь расточатся как дым.  
Лишь плащанице в веках не исчезнуть...  
Так он хотел. Умереть и воскреснуть.  
Что же ты, женщина, плачешь над ним?

Входит садовник, и шаг его тих.  
Слышишь слова — и боишься проснуться.  
Руки протянешь — Господь и Жених  
Даже колен не позволит коснуться.

Что же ты плачешь? Сквозь тягостный сон,  
Праздничной дрожью над розничной блажью  
Сквозь иступленье и умереть вражью,  
Слушай, душа, очистительный звон.

Слушай и в память безмолвно сложи:  
Город, предательств и подлости полный,  
Чад из долины Геонской запомни,  
Благовест блуда и златопись лжи;

Всё, что успеешь вкусить на земле:  
Горькую правду бесплодной маслины,  
Плач Саломеи и пляс Магдалины,  
Кровь на невинных и крест на заре.

Вот уже близко пасхальное пенье.  
Ангелы огонь отрясают с камней.  
О, как хотела душа воскресенья!  
...Что же ты, Господи, плачешь над ней?

ЯРОСЛАВ КАУРОВ



## РОССИЯ — ЭТО ЖЕ ОНА...

\* \* \*

В лесных студёных, чистых реках  
От торфа тёмная вода.  
Она в тени течёт от века  
И в летний зной, и в холода.

Но нет её на свете слаще,  
Когда в солдатских сапогах  
Пройдёшь болотистые чащи  
И вдоволь выпишься в стогах.

Когда в мешке твоём заплечном  
Есть только соль и сухари,  
Когда в тебе бушует вечность,  
И солнце светится внутри.

Кто не полюбит эти склоны?  
Любовь во всём растворена.  
Везде царят её законы.  
Россия — это же она.

---

*КАУРОВ Ярослав Валерьевич родился в 1964 году. Окончил Горьковский медицинский институт. Доктор медицинских наук. Член Союза писателей России. Автор 13 стихотворных сборников. Живёт в Нижнем Новгороде.*

Поешь с куста малины дикой,  
Раскусишь щавеля листы  
И губы вымажешь в чернике —  
Нет в мире большей чистоты.

\* \* \*

Песчаная российская дорога  
В леса, в поля уходит из-под ног.  
Она возьмёт тоску, печаль, тревогу,  
Но из цветов подарит мне венок.

Как будто из прозрачных детских венков,  
Что под молочной кожей протекли,  
И так же вьётся необыкновенно  
По телу милой матери земли.

Я привыкаю жить легко и робко  
И, позабыв, что есть на свете дом,  
Варю на костерке себе похлёбку,  
Ночую в шалашах и под кустом.

Я странствую, свободен я отныне,  
Одно лишь созерцание мой труд,  
И я смиряю смесь своей гордыни,  
Когда мне ковш напиться подают...

\* \* \*

Пошли мы все с сумой по миру,  
Забыли стыд, забыли честь.  
Попробуй идентифицируй,  
Кто ты такой? Каков ты есть?

Придёт с волынкою шотландец,  
Надменный чопорный прусак,  
Лишённый комплексов голландец,  
А ты никто, и звать никак.

В бетонных зарослях Нью-Йорка,  
Как сердца запертого стук,  
Как аромат забытый, горький,  
Ты вдруг услышишь этот звук.

И вспомнишь — есть тропа лесная,  
И, вспомнив ветер и цветы,  
Ты по моим стихам узнаешь  
О том, что русский — это ты!

\* \* \*

Я живу, пропитан светом,  
Соткан нитью световой  
Вместе с лучшей на планете  
Верой, речкой и травой.

За Бориса и за Глеба  
Молят хвойные леса,

И дымки уходят в небо —  
Это ли не чудеса!

Солнце, нежность — всё бесплатно.  
Вечность мира — всё видней,  
И не жаль, что невозвратна  
Радость самых лучших дней.

Пред тобою мирозданье  
И в мечтах, и наяву.  
И в душе одно — желание:  
Рухнуть в русскую траву.

Счастлив верить доброй силе,  
Счастлив, что ещё живой,  
Счастлив умереть в России,  
Лечь в траву и стать травой.

\* \* \*

Я шёл по тощей русской ниве,  
Земля темнела от репьев,  
И вдруг застал в плакучей иве  
Ораву серых воробьёв.

Всё было голо, только это  
Рыдало дерево листвою  
И, ярким солнышком прогрето,  
Хранило нежно щебет свой.

Как птицы сладостно орали,  
Ликуя, ссорясь и смеясь!  
А время мчалось по спирали,  
И в чёрный лёд застыла грязь...

А птицы ворковали, млея,  
Их голос был неодолим.  
Быть может, в зелени теплее,  
Как будто летом, было им.

Последний отблеск солнца светит,  
И я ищу, и ищешь ты  
На погибающей планете  
Чирикающие кусты.

## АЛЕКСАНДР ЦЫГАНОВ



## ДЕНЬ РАЗВЕДЧИКА

### РАССКАЗ

Внутри этого чистого и сухого подвальчика с заманчиво выставленными за буфетной стойкой разнокалиберными кружками Слава Разведка готов сидеть день-деньской, взашей не выставят. А случайное припоминание своей пустой однокомнатной панельки всегда заставляет без усталости пялиться в законное пространство, за которым все давно и безнадежно промокло, точно кому-то незатейливому понадобилось, чтобы эта невпечатляющая картина мозолила глаза без конца и края.

— Разведка! — с привычной насмешкой кричат ему обитатели подвального помещения, успешно скрапивающего дни мужского отдохновения. — Слышь, Разведка? Еще не всех врагов повязал? Колись, боец!

И, правда, было: заикался Слава Разведка о боевом прошлом, разве грех в своей компании друзей-разведчиков помянуть. А у нас без этого не могут, прозвище без клея и приклеилось. Никому и в голову не взбредет, что ветерану этого заведения довелось еще мальчишкой отметиться в десятках ходок во вражеский тыл вместе с разведкой. И по нынешний день он такой же натуралист: впустую не подступись... Рядом с фронтовиком и не поставить: известно, там иных уж нет в помине, остальные и двух шагов без помощи не сделают.

---

*ЦЫГАНОВ Александр Александрович родился в 1955 году в деревне Блиново, недалеко от Ферапонтова, где, по словам Н. М. Рубцова, "что-то Божье в земной красоте". Во время службы в ракетных войсках получил тяжкую травму, был комиссован. Окончил Вологодский педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы. Около десяти лет добровольно работал в колонии усиленного режима в должности начальника отряда. Автор нескольких книг прозы. Лауреат литературной премии МВД СССР, Государственной премии Вологодской области по литературе за 2004 год. Член Союза писателей России. Живёт и работает в Вологде.*

Сам жилистый и стремительный, с прожигающим синим взглядом на красном обветренном лице, Слава больше напоминал человека без возраста: такие живчики и помоложе за пояс заткнут, только держись. К тому же и лишнего слова из человека не вытянешь: как таких против шерсти не погладить.

— Разведка! — не унимается уже под вечер какой-нибудь разошедшийся любитель питейного подвала, держащий общее мнение, что настоящим во-якой тут и не пахнет. — Давай, на руках качнем: кто кого? Завалишь — поставлюсь!

Но в Славе точно какая-то особая сила: взглянет на весельчака так, что кажется, тот на мгновение отразится в его неподвижных зрачках, быстро очухаешься. И опять, словно пусто вокруг, в свою молчанку играет, порой даже не шевельнется. Попробуй, разберись, что на уме у людей.

Только ту компанию в пятнистой униформе, не на шутку захотевшую распознаться возле его столика, едва не сдуло, лишь Разведка, привстав, сделал неумовимое движение руками, невидимое со стороны оживившихся зевак подвального помещения.

И неизвестно, чем все могло закончиться, если бы посетителей не отвлекла телевизионная дикторша с обзорными новостями: немеркнувший рупор современной информации талдычит здесь на железной подвеске с утра до вечера. В верхнем экранном углу красной пульсирующей строчкой было написано: “Об этом давно говорит мир”.

А для собравшихся эти далеко не свежие известия действительно стали новостью: скоренько обитатели подвальчика и подтянулись к орущему на полную мощность размашистому телевизионному экрану.

— “Выруби прохожего”, — так называется новая игра, быстро ставшая популярной, — размахивая руками, вещала черноволосая смуглая женщина. — Она возникла в Америке и Великобритании и стала любимой у обезумевшей от безделья молодежи. По сообщениям средств массовой информации, полиция не в состоянии справиться с нависшей смертельной опасностью. Международное сообщество находится на грани деморализации. Правила этой страшной игры шокирующие. Молодые люди группами выбирают первого встречного прохожего и неожиданным ударом отправляют приговоренного в нокаут, а затем выкладывают видео в интернет. Жертвами нападения становятся более слабые: женщины, дети, старики. Количество погибших растет с каждым днем. До сих пор еще неизвестно фактов серьезного отпора сегодняшнему катастрофическому насилию. Между тем это дикое увлечение, подобно чуме, стремительно распространяется по континенту, — не останавливаясь и отчего-то косясь в сторону, бесперебойно строчила смуглая дикторша, — и его последствия непредсказуемы!

— Туши свет, — только и молвил сосед по столику Славы Разведки Быстров, новоиспеченный военный пенсионер со скорбным малоподвижным лицом. — А давно, куда ни ткнись, везде свои да наши кругом были. — И как будто самому себе, задался безнадежным вопросом: — А как теперь жить?..

Но вновь появившаяся на экране смуглая телевизионщица своей очередной информацией окончательно сразила не только отставного госслужащего:

— “Выруби по-нижегородски!”: новость с пометкой “срочно!” — напористо взмахнула она руками с той стороны экрана. — Отныне в зоне риска и наша страна! — закатив подведенные глаза, продолжала дикторша: — Подобное жестокое развлечение произошло в Кстове: на двенадцатилетнего подростка совершил нападение житель этого города. Юноша получил тяжелые травмы и чудом выжил. В “Скорой помощи” сообщили, что в большинстве таких случаев потерпевшие умирают. По горячим следам нападавший был задержан и признался, что ударил ребенка ногой в голову без всякой причины. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела...

Дальше слушать эту говорунью посетители пивнушки не пожелаали. Сбросившись, сколько кто может, они сдвинули несколько столиков и проворно обернулись за буфетной снедью, снабдив небогатый салатный ассортимент внушительно горячительным подкреплением.

Как и полагается, вопросы первостатейной важности всегда в объединяющем месте обсуждались не с бухты-барахты, а неторопливо, с толком и расстановкой. И уже перед закрытием эта из ряда вон выходящая новость привела единомышленников к общему решению: необходимо об этом в срочном порядке известить самого президента.

Пусть нашенские депутаты и займутся делом: и так без конца из столицы не вылезают. Там и будет сподручней самого главного увидеть, под боком командует. Кто, как не он, — давно всех к ногтю прижал. Тем более сейчас и без того весь мир перед ним на цыпочках, всякий знает. Лучше и искать — не найти. Мужик с головой, больше с таким делом некому обернуться.

А через недельку: ныне и все дни в один бесконечный слились, опять правил отсюда Слава Разведка, как всегда, в свою унылую сторону, — никому ненужный, одинокий. Даже в этот “день спецназа”, как теперь запросто именуется между своими их законный праздник, — Разведка снова молчком высидел на одном месте до самого вечера. И не притронулся ни к чему, крошки не взял.

Во дворе тем временем и долгожданный снежок закружил: испуганный и прозрачный, он безутешно метался в неподвижном небе, подолгу плавая в осенней стыни. Но вскоре подзатих, превратившись в лохматые белые хлопья, густо усеявшие сырую землю.

Перед этим военному пенсионеру со скорбным лицом, приятелю Разведки по подвальному помещению, вновь захотелось перебраться парой слов на вечерней посвежелой улице. Торчит у перехода, беспокойная душа: курнул на дорожку и бубнит без умолку, не остановить. Все еще не давали человеку покоя последние телевизионные известия, хоть тресни.

Но Разведке вся болтовня была поперек горла: не для мужика языком впустую молоть, голову себе забивать. Чуть что, сразу и лапки кверху, — в жизни и почище этого бывает. Он молча сдвинул пониже выдавшую виды кепку и, махнув рукой, отправился проторенной дорогой в сторону дома.

Невелико и добираться: загрузился в подручный транспорт на другой стороне перехода, а там, оглянуться не успеешь, и нужная остановка, маршрут известный. Разведка и не мудрствовал: удобнее запахнувшись в легкую болоньевую куртку, удачно влез в битком набитый троллейбус и покатил в свои края.

Как только людям неймется, лишь бы чужих насмешить. Сразу на выходе у конечной остановки всю месили грязь несколько молоденьких злых соплюнов, крику — на всю улицу. Наверное, весь день на веселой ноге провели и к вечеру что-то не поделили, а крутом — вперемежку с бурным снегом, жижка — негде и ступить. Потому и спрыгнув с троллейбусной подножки, пассажиры, как зайцы, без раздумий бросались врассыпную — кто куда, подальше от этого места.

И Слава Разведка тоже не стал судьбу испытывать: благоразумно, боком обошел разбушевавшуюся молодежку, еще и оглянулся на всякий случай. А следом, стараясь не оступиться, по-за остановки выбрался на тропинку, ведущую в горку, где возле старинной рощи не одно десятилетие и торчала его панельная девятиэтажка.

В свое время все уши пропели: рвались этот дальний городской край сделать показательным на весь белый свет, даже на центральном телевидении разрезвонили. Но всё без толку; и по нынешнее время остается это место обыкновенным “спальным” микрорайоном, каких не счесть по нашим городам и весям.

Окончательно “убитая” местная дорога с обеих сторон была дружно сжата хрупкими серыми панельками, стыковые швы которых еще и вгустую промазывались черной краской: странно, что такие сооружения и поныне сами собой не рассыпаются.

А изначально освещенный почти до самой рощи тусклыми, с мертвенным отблеском фонарями, этот угол невольно наводит на размышления, что сюда даже по необходимости не то, что заскочить, а не лишне и вкрутовую обернуться. Но это не препятствовало аборигенам в свободное от трудов пра-

ведных время совершать оздоровительные прогулки: здешним окраинным воздухом дыши — не надышишься.

Представив, как опять он окажется на верхотуре девятого этажа в пустой обрыдлой комнате, Слава остановился внизу у тяжелой одомофоненной двери и нерешительно, в раздумчивости пожал плечами. Вроде и неохота — холодрыга, зуб на зуб не попадает, а все равно ноги еле не сами понесли к последнему подъезду, такое иногда проскакивало.

Напрямую от угла дома, через растоптанную слякотную тропку, не первый год успешно торговал напротив новехонького гаража круглосуточный новомодный магазин, всякой всячины на любой вкус хватало. А бутылочка не по затылочку, чтоб вечер скоротать, и не помешает: всё время скорее пройдет.

Слава Разведка так и сделал, а обратно у дверей на улицу лоб в лоб и разошелся с тремя молодыми крупными парнями, даже оступися. Будто холодком обдало, любому не по себе станет.

Все трое, как на подбор, кареглазые и густоволосые, быстрые, во всем темном, зыркают — исподлбья по сторонам посматривают. Не поймешь, каким ветром таких гостей занесло. Не свои это были, точно. У Разведки глаз — алмаз, с фронтовых времен приметливый, увидит, — острее шила пришиллит.

Еще и одеколоном дорогушим на версту от всей троицы разит. Да и машина их здоровенная, как танк, рядом на магазинных задворках чернотой поблескивает. Больше всего на каких-то военных смахивают: впору дураком последним быть, чтоб о местных заикаться.

“С какой стати эти орлы у нас оказались? — подумал Слава Разведка, остановившись у гаража, магазинную попку в куртку засунуть. — Таких субчиков здесь не водилось”.

В это время из дверей появилась старая согнутая женщина в больших очках — соседка, с его хозяйкой — Царствие Небесное! — раньше чай частенько распивали. С некоторых пор опять стала к ним заходить: случаем, зайдет за какой-то оказией, после и молчит себе за чайным столом, а то и носом поклует невзначай. Только такие посиделки и Славе тоже стали не лишними: отчего-то на душе делалось спокойней, даже порой сам начинал дожидаться молчаливую гостью. Нынче она, бедная, еле душа в теле, тянет одинокую из магазина хозяйственную сумку, через шаг — отдыхает...

А дальше и моргнуть, казалось, Разведка не успел, чтобы понять, что произошло. Один из кареглазых вдруг стремительно, как кошка, прыгнул и со спины нанес старой женщине такой удар, что ее выкинуло на обочину. И всё: был человек, и не стало, лишь голова, будто у пластмассовой куклы, подпрыгнула на дороге.

Слава и посудину из рук выронил, не успел в карман пристроить. Бутылка грянула о железный гаражный поддон и — только звякнуло, разбилась. А кругом — ни единой души не видать, ровно все вымерли. “Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — замер Разведка. Если честно, слегка трухнул поначалу. А перед глазами лишь соседка стоит, — как она там, всё ли ладно? Скорей бы ушли чужаки да помочь ей... Припомнилась и телевизионная говорунья: получается, не обманула. — Уж не моя ли сейчас очередь на тот свет отправляться?..”

Ясно, что приезжие не случайно выбрали эту безлюдную городскую окраину, чтобы после о них и слыхом не слыхивали. И они решили от жизни не отставать: поиграть в эту игру захотелось...

Между тем чужаки стали осматриваться: неладное почуяли. Один из них, поднеся ладонь ко лбу, в упор, против света, вгляделся в темноту. После, сунув руки в карманы кожанки, с хрустом расправил плечи и уже похозяйски спокойно распорядился:

— Иди сюда!

Разведка понял, что его нашли, больше никуда не деться. Похоже, его дорога нынче была прямым ходом за соседкой... Всего исхозают, изувечат... А кому охота на старости лет в калеках оставаться, и воды — некому подать.

Меж пальцев тут не проскочишь, и впустую тоже напрасно торчать, быстро спадают. Лучше чужаков от греха подальше убрать, отсюда увести: мало ли что этим бобикам в голову взбредет, покалечат людей. А самому потом обратно сюда вернуться.

...Во все живое зубами вцепишься, коль жизнь мила. Тут и один, а сразу будешь с овин, хотя и раньше на одного себя надеялся. Слава снова на дорогу глянул, где по-прежнему лежала соседка: жива ли хоть?..

А потом словно кто-то неведомый оказался рядом, чтоб до последнего вместе держаться. И, как будто добавил спокойствия и сил, чтоб колени не дрогнули.

Разведке стало понятно, что теперь делать. Даже если он успеет добратся до крайнего подъезда, внутрь можно и не попасть, нынче все двери на железных запорах, убивают человека — и то не откроют. Зато он будет на свету, под подъездным фонарем, увидит его хоть кто-то, чужаки, глядишь, и отвяжутся.

А коль удастся проскочить сбоку, по темной стороне вдоль дома, и оттуда тропкой к роще, — недолго от гостей и оторваться. По-другому их отсюда не выманить. Но вдруг не сунутся в такую глухомань...

Между тем давно было пора действовать, потому что приезжие двинулись в сторону гаража. Разведка по краю, что ближе к дому, успел переместиться к тропке, тёмной стороной пробрался. Затем, не чуя собственных ног, одним духом проскочил возле дома, а дальше прочавкал ботинками через дорожную слякоть и, рукой подать, перед носом замаячила сама роща. Только рано было радоваться: оказалось, от самого магазина приезжие с ним, как кошка с мышкой, забавлялись...

На последнем дыхании Слава Разведка и до горки в самой роще добрался. Вся в высоченных деревьях, раскиданных вкрутовую, летом совсем залобуешься. А сбоку, сразу с дороги, как дозорные, бдительно стоят тополь с сосной, издалека видно. Рядом пристроился и жиденский словый подрост. Старый тополь со временем стал похож на крест. А подругу-сосну облюбовала местная мелюзга: на ее ладном прямом сучке, как на подтягушке, любят они друг с дружкой помериться силой, особенно теплой порой.

Только Слава вроде отдышался, а за спиной смех. Разведка обернулся — гости, один другого здоровее, следом в распахнутых кожанках в горку поднимаются. Последний из них еще и на мобильный телефон записывает побег старика — вовсю ребятам весело. Получается, так и снимали, как он во все лопатки от них удирал, лишь пятки сверкали. Стыдоба одна, и только...

— Э, баран, — негромко окликнул первый чужак. Это он оставил Славу соседку на дороге лежать. — Сейчас мы тебя резать будем...

Разведка глянул на чужаков: или чем-то опились они, а может, и совсем изнутри все вымерзло. Не из той ли породы, кто лишь тем и промышляет, чтоб людей на тот свет отправлять? Развелось этих бандитов, ничего не бояться.

И тут Слава Разведка сделал свой ход.

— А слабо один на один? — сказал решительно. — Давай, кто первый?

И быстренько — спиной к тополи, чтоб сзади не обошли. Никто не мог видеть изменившегося взгляда на его красном обветренном лице. И сам он стал словно пружина: тронешь невзначай — в ключья разорвёт. Весь огнем взялся. Не ты — так тебя; и тогда тоже, в те давние полсотни разведчиковых рейдов за линию фронта, не бывало другого спасения. Не таких еще чужаков видали, да через себя кидали! Если на то пойдет, хоть одного без глотки оставит, силенок еще хватит.

Чужаки, услышав старика, загоготали: как заяц, бегал от них, теперь к дереву жметя, дрожит как пёс шелудивый. Такого навсегда проучить следует, чтобы другим стало неповадно. И на телефон еще видео записать...

Издали, со стороны окружной дороги, было слышно, как несмолкаемо летели машины: а здесь, в застывшей мерклой полутьме, ни одной близкой души, ни одного прохожего. Приезжие накиннули на себя капюшоны и, оживленно жестикулируя, негромко переговаривали между собой. Знать, наскоро подвернувшаяся, новая затея изменила планы. Затем один из них, что

за старшего, прикинул на глазок расстояние от себя до тополя, громко щелкнул языком. Он деловито достал из кожанки остро блеснувший, длинный тонкий нож, ручка в узорах.

Слава Разведка еще крепче замер у изогнутого наподобие креста широченного дерева, одни желваки на скулах заходили. По-звериному притаив дыхание, онемелый, он не сводил взгляда с противника: мало каши ели, чтобы его на арапа брать...

Старший из гостей, нетерпеливо мотнув головой, прицельно на бросок узорный нож вскинул. Играючи, без замаха, метнул. Но на долю секунды раньше пружиной откинуло Разведку от тополя прямо к сосне, — как тут и был! Кареглазый тоже не лыком шит, — в мгновение ока у самого тополя очутился. Чтоб вслед за попаданием успеть еще по самую рукоятку к дереву этого беглеца пригвоздить. Выходит, для того и затевалось, потому что остальные только взвизгнули горячо. С такого веселья сначала и не разобрали, для кого страшно и скоро всё кончилось.

Старшего после своего рывка, точно мигом наскочившего на что-то острое, уже носом перед самым тополем сунуло в землю, и в тряске на этом месте заколотило. Поскользнувшись, он растянулся на сыром снегу и напрямиком глоткой на собственным нож напоролся. При броске нож срикошетил от этого дерева, упал острием вверх. Его узорная рукоятка, ткнувшись в прошлогоднюю листву, плотно в нее села. Как по чьему-то заказу вышло. И приезжий с размаху наварлся на это остриё, пикнуть не успел. Глотку у него просадило. Еще с земли он пытался отдернуться, но не мог. Здоровущий, в куртке нараспашку, пузом по земле ездит и царапает землю. Потом захрипел изо всех сил. Руки у него в стороны выдернуло, пару раз ногами в задранных штанинах дрыгнул, и в горле громко взбулькало, — тотчас весь дух и вышел на волю. Под деревом, куда, как в живой тир, загоняли для последнего вздоха Славу Разведку, он и затих в тусклом сумраке.

Уразумев происшедшее, другой чужак во всю голосину рывкнул, словно на него помутнение нашло. Огромные кулачищи с немалый капустный кочан сжал и пошагал к замершему Славе. Тем временем его младший собрат, уставясь в мобильный телефон, безостановочно снимал все подряд, будто оценен.

Разведка у сосны своей и бровью не повел. После случившегося с их главным он попригнулся, все так же не сводя застывшего взгляда с остальных противников. Весь в слух ушел: знал, что для него еще всё впереди.

Кулакастый неожиданно, как зверь, вздыбился в полный рост, заслонив собой остатки ненадежного осеннего света, и всей своей тушей обрушился на Славу. Но Разведке снова удалось голову не подставить. Той же пружиной, что и вперворазку, его опять отщелкнуло в сторону. Стремительно и хлестко, точно оружейный затвор сработал. Такое раньше как дважды два получалось, он с малолетства был крепок в ногах. А теперь старость — не радость, и не устоял Слава Разведка на своих двоих, не сообразив, как на земле очутился. Думал, уже и не подняться ему будет с этой снежной грязики, когда шархнулся от нападавшего.

В это время рощу охлестнуло таким необъяснимым рёвом, от которого в пору и крови в жилах стечь. Слава умом не потерялся и хотел уже с земли на ноги вскинуться: и там он был готов с любым драться до последнего. Но не понимал, зачем прыгнувший на него здоровяк к дереву прилип. Совсем на сосне висит, как пьяный, и шагнуть не может, даже не шелохнется. И почему-то вокруг похолодело ни с того ни с сего: кругом ничего не слышать, одна лишь луна сверху желтым пятном кружится...

В то мгновение вдруг и стало ясно, что чужаку не отшагнуть от дерева. Дошло до Славы Разведки, что нет больше чужака. В голове не укладывалось такое, и думать — никому не придумать, но на тот самый сосновый сук, что был за Славиной спиной, и налетел чужак со всего разгону, лишь Разведка в сторону отдернулся.

На этом суку, прямом и крепком, еще местная ребятня силой бахвалилась; находился он на высоте человеческого роста. Чужак с полного маху, как на шампур, горлом на него наделся...

А дальше Славу Разведку, встающего на ноги, младший из чужаков с разгону пнул в живот. И следом, отбросив мобильный телефон, которым он безотрывно снимал, вцепился в горло старика, чтобы покончить с ним, чего не смогли сделать оба первых приятеля. Торопился: от этого старика можно было в любую минуту что угодно ждать. Неужели с такими совсем ничего не делается?!

У Разведки уже и судороги начались, и дыхание пошло на убыль. Чужак дожимал, сдавил горло сильнее, и тотчас у старика предсмертно, в полную ширь, распахнулись глаза. В эти секунды Разведка как будто очнулся: внезапно дало в нос чем-то чужим, словно запахом псины. И кто-то неведомый, кто давеча подмогнул у гаражей, и теперь успел помочь Разведке...

Чужой, намотав на цепкий кулак Славину тесемку от нательного креста, докручивал ее в яростной наклонке на стариковской шее до последнего вдоха. Тут всё, что оставалось в Славе живого, ходуном заходило: как-то было совсем уж не по-русски — последний бой проигрывать... И тогда, сжав пальцы в подобие лап, он с обеих сторон снизу вверх с такой силой долбанул чужака по ушам, что тот, взвизгнув, отлетел в сторону. Похожее сравнится лишь с разорвавшейся рядом гранатой, в два счета можно оглохнуть. Кто повоевал на своем веку, лучше всех это знает. А пострадавший на время лишается воли.

После этого чужак, заполошно обежав павших товарищей, устремился с вытаращенными глазами на дорогу к магазинным задворкам, где у запасного выхода мерцала их огромная, чернющая машина. Он прыгнул на водительское место, сразу взял такой разгон, что на выезде на кольцевую не справился с управлением. По первому снегу машину выбросило на огромной скорости за обочину, в кювет. Там, в скомканном, как ненужная жестянка, внедорожнике и обнаружили последнего кареглазого. В глазах у него, округлившихся задолго до внезапного смертельного удара, навсегда застыл настоящий ужас...

А Слава Разведка, недвижимый, продолжал глядеть вверх, словно наконец отыскал там, высоко, кого-то самого родного и манившего его отсюда, с голой земли и зябкого одиночества, — к себе, в долгожданный покой и отдых. Но Разведка пока не мог и не хотел туда пройти, ведь у магазина лежала его соседка, старуха, которой требовалась помощь.

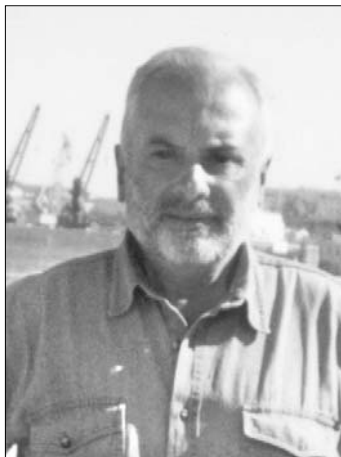
---

---

*Поздравляем нашего друга и автора, замечательного вологодского прозаика Александра Александровича Цыганова с 60-летием!*

*Редакция.*

ВЛАДИМИР ЛОРИЯ



## МИЛАЯ СТРАНА ЗА ДАЛЬЮ СИНЕЙ...

\* \* \*

Париж беспечен был в тридцатых:  
Мосты в гирляндах и дома,  
Лихой Чапаев на плакате —  
Спешат французы в синема.  
А на подмостках пляшет клоун  
И кеглей валится на бок...  
Чужою музыкой окован,  
Он в людном зале одинок.  
И участи иной достоин,  
Изгой в изношенном пальто.  
Он офицер, он бывший воин,  
А ныне лишь шофёр авто.  
Вот гаснут медленные лампы,  
Замолк двусмысленный канкан.  
И русской бойни, страшной, залпы  
Являет вспыхнувший экран.  
И кульминация картины —  
В зубах сигара, в пальцах трость —  
С отвагой редкостной мужчины  
Идут в атаку в полный рост.

---

*ЛОРИЯ Владимир родился в 1946 году. Поэт, лауреат литературной премии имени Ярослава Смелякова, кавалер Золотой Есенинской медали, автор двух поэтических сборников “Шпага командора” и “Монастырь Ветания”.*

Вдруг он кричит, вставая грузно,  
Он в зал кричит, как на войне:  
“Смотрите, господа французы,  
какими были мы в огне!”.  
Как будто вновь он в бой идущий —  
Парижу дерзостный пример —  
Шофёр авто, рабочий, грузчик,  
А сердцем — русский офицер.

#### СЕНТ-ЖЕНЕВЬЕВ-ДЕ-БУА

Кто о чём — щебечут о разном.  
И в кафе, как богемы бренд,  
В ореоле густом соблазна,  
Парижанка несёт абсент.  
Я вернулся сейчас с погоста,  
Тяжек мыслей понурых рой.  
Я махну, по-русски просто,  
Эту рюмку за упокой.  
Там в земле все друг другу ровня,  
С эскадроном спит батальон...  
Чуть мерцает свеча в часовне,  
Будто брошенный медальон.  
И никто им не правил тризну,  
Лишь разросшийся шепчет сад:  
“Предала вас навек отчизна,  
Самых верных своих солдат”.  
Оскорблённые русским миром,  
Погребённые в общий ряд...  
Стынет роза на камне сиром,  
Лепестки на траву летят.

#### БУНИНСКАЯ НОЧЬ

Не совладать и нету мочи,  
О, этот мерный звук часов,  
Бессонница и горечь ночи  
Вдали от милых берегов.  
И в этом мороке бессонном,  
Что ищут в темноте глаза?  
А за стеклом, дождём кроплённым,  
Скрестились чьи-то голоса.  
Недвижный свет уходит в глуби,  
Шумит неровно водосток...  
Неужто Русь Господь не любит  
И промысел Его жесток?

#### СУДЬБА

В каких краях и вотчинах блуждала?  
Неужто на крыльцо твоё взошла?  
Прислушайся! Как будто постучала,  
Едва коснувшись зимнего стекла.  
Немногие дома она обходит,  
Иные презирает города.  
Прикинется рабой, послушной вроде,  
Как женщина, и бросит навсегда.

Но будь готов, мой друг, к её приходу.  
И может быть, загадочно любя,  
В последний миг, у жизни на исходе  
Она внезапно выберет тебя.

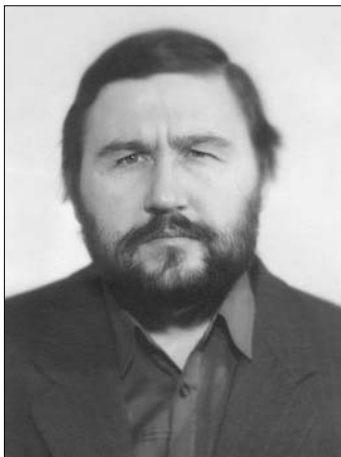
### СИНЕВА

Милая страна за далью синей,  
Где шумит в верхушках синий бор,  
Где посеребрил навеки иней  
Синие зубцы далёких гор.  
Там в долинах нежные фиалки,  
Синих слёз росы не утаят,  
Синими ночами в синей балке  
Щёлканье и пенье соловья.  
В омутах ключей голубооких  
Молнией у дна блеснёт форель.  
Там всегда приходит раньше срока  
Синевой расцвеченный апрель.

\* \* \*

Гроздь запотелая, заиндевелая,  
В листьях нарядная, гроздь виноградная.  
Утром в давящие брызнешь ты соком  
И заиграешь под солнечным окном.  
Сил наберёшься в огромном кувшине,  
Будешь вином кахетинским отныне.  
Ну и наполнишь рог Диониса  
В старом духане где-то в Тбилиси.  
За чередой застольных приветствий  
Ты воскресишь задушевное детство.  
Но и напомним, рубином играя, —  
Двигается всё, да и облик меняет.  
Будешь мне в старости терпкой отрадою.  
Гроздь запотелая, гроздь виноградная.

НИКОЛАЙ КОНОВСКОЙ



## БРАТЬЯ И СЁСТРЫ МОИ...

### БАБОЧКА

Взлетает с добычей, на землю стремительно пав,  
Распластанный хищник. Дурманит полуденных трав  
Разлитая вечность.

С дерев поднебесных янтарная каплет смола,  
И бабочка — диво — порхает, легка и светла, —  
Святая беспечность.

Скажи: эти травы, и птицы, и бархатный шмель  
В пространствах грядущих надмирных всего лишь — ужель! —  
Созвездия праха?..

А милая гостя в стозвонной медовой глуши  
На камень холодный моей безотрадной души  
Садится без страха.

### НА БЫВШЕМ ЕВРЕЙСКОМ КЛАДБИЩЕ

Какое столетие ныне, и месяц, и год,  
И где этот избранный, изгнанный Богом народ?  
Всё кануло в Лету...

Движение крон в поднебесном просторе слежу,  
Под рюмку на старом еврейском кладбище сажу,  
Которого нету.

---

*КОНОВСКОЙ Николай Иванович родился в селе Варваровка Алексеевского района Белгородской области. Окончил Литературный институт имени Горького. Автор книг "Равнина", "Твердь", "Зрак", "Врата вечности", подборок в периодической печати. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.*

Холодная супесь объяла упорство и пыл.  
Ни духа Завета, ни следа старинных могил,  
Ни света страдания.  
За кромкой озёрной закат кровото́чит, распят,  
Да вечные сосны над вещею бездной шумят,  
Взрывая сознание.

Есть край непостижный в надмирной своей чистоте,  
Последняя правда и милость откроются где...  
Здесь бури да ветры,  
Как тыщи мятущихся, в дверь затворённую бьют...  
Иль что-то родное сыновнему праху поют  
Ливанские кедры.

## СЛУЖБА

*Сёстрам Свято-Пантелеимонова  
женского монастыря г. Браслава*

О бедность и скудость — суровая правда земли! —  
И гул затаённый, едва различимый вдали,  
Соснового бора!  
А всё-таки стоит, пусть даже мучительно, — жить,  
Когда в отдалённом безмолвии чайка кружит  
Да блещут озёра...

И время само замедляет стремительный ход  
Под кровом, где медленно-медленно-медленно служба плывёт  
Дыханьем надмирным,  
Где ветры поклоны за стенами исто́во бьют,  
И кроткие сёстры хваленье Творцу воздают  
Распевом старинным...

И чудится будто, что всё уже произошло,  
Священным елеем уж влита в распевов стекло  
Грядущая вечность.  
И стелется ладан, и медленно служба идёт,  
И кончилось время, и вот она, страшная, вот —  
Блаженная вечность!

## МОСКВА

...Вот возвратился я, не уезжая  
В свой призрак давний, где до слёз любимо  
И близко сердцу только лишь одно:  
Намоленной кадильной тишины  
Звучанье в глубине старинных храмов  
Да разговор мгновенный — взгляд во взгляд —  
О потаённой сокровенной боли  
С таким же неприкаянным скитальцем,  
Спешащим по делам своим... Ещё?

Ещё — когда наступит март,  
А с ним — холодных дней преображение, —  
Дыханье ветра влажного в лицо  
Почудится, как обещанье свыше  
Того, о чём уж и не вспомнить сердцу.  
Ещё? Ещё живой пока, когда вдохнёшь

Оттаявший и горьковатый запах  
Деревьев, зиму перезимовавших  
В безмолвной пустоте пространных скверов,  
Оживших ныне, но...

Но сон блаженный  
Усиьем воли стряхиваешь и  
Глядишь вокруг себя с недоумением:  
Всё, всё, что было дорого, теперь  
Как будто бы попало в тяжкий плен  
Иль наваждением дьявольским ему  
Вдруг подменили душу, и она,  
Почти не помня прежнюю себя,  
Слабеет, вопиет, изнемогая.

И я — кто я? — не зверь, не человек...  
Брожу устало средь нагроможденья  
Каких-то неживых, стальных уродов,  
Дерзающих достать до Бога; средь  
Витрин, реклам, телес раздетых — всё! —  
Всё на продажу! Выхвати, успеи!

А может статься, это и не я,  
А — молвить странно! — тот, ветхозаветный  
Доживший до последних дней Иона  
Во чреве бродит страшного кита,  
Который по своей безумной воле  
На берег смерти в умопомраченье  
Сам выбросился в бурю...

Ты, Москва!..

## ПАЛОМНИКИ

Как ни жестоки обиды  
В лютые, злые года,  
Но к чудотворцам в обитель  
Люди идут, как всегда.

Смирные, в бедной одежде,  
В древний стекаются скит,  
Где и Амвросий утешит,  
И Серафим исцелит.

В душах, омытых страданьем,  
Внемлющих взорах живых —  
Лишь на Тебя упованье,  
На преподобных Твоих!

Зришь ли их тяжкий достаток —  
Пепел в разжатой горсти.  
Эти и есть тот остаток,  
Что обещал Ты спасти...

Неотвратимое брезжит  
Не за далёкой горой...  
Только молитвою держат  
Небо над грешной землёй

Малые дети и жёны...  
Лица в дорожной пыли...  
Радостно и отрешённо,  
Предуготовясь, взошли

К Неупиваемой Чаше,  
Жертвенной Чаше любви —  
Вечные. Русские. Наши.  
Братья и сёстры мои.

### МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ СЕРГИЙ (Со слов келейника)

В зиму, сбиравшую дань  
Смертную, на Иордань  
В помощь живым и убитым  
В Битвы решающий год  
Был совершён крестный ход  
Сергием, митрополитом.

В неумолкающий ад  
Был погружён Сталинград, —  
В крошево, в ужас столичный.  
Зовом отеческим в храм  
Насмерть стоящим войскам  
Были молитвы владыки:

“Господи воинств святых,  
Ты, низвергающий злых,  
Как воссиявшим потиром,  
Чашей небесной любви  
Родину благослови  
Несокрушаемым миром!”

Битвы победный конец  
Видел духовный отец,  
А пред собою дорогу  
Вечную; как ни страдал  
Телом, душой воссылал  
Благодарение Богу.

.....  
Вещих полей бытие...  
Есть кто-то, зревший сие,  
Местоблюстителя кроме?..  
Солнце ещё не взошло —  
Радио передало́  
Весть о немецком разгроме.

### НАДПИСИ

Как будто предосенним светом  
Пронзён, сижу смирен и тих.  
О, книги умерших поэтов  
С простыми надписями их!

Над пожелтевшими листьями  
Склоняясь, чувствую вину.  
Забывших временем — достану,  
Вновь бережно их разогну.

И вот из царства-государства,  
Живым где лишь себе кажусь,  
Вне времени и вне пространства  
Безжалостного окажусь.

Витаю или обретаю  
Мысль, неподвластную уму?..  
К стопам бесплотным припадаю,  
Невидимую руку жму...

\* \* \*

Меж упованием и крахом —  
Вспышка слепого огня!..  
Вечность рассыпалась прахом.  
Нет ни тебя, ни меня.

Хватка у времени — волчья.  
Видятся наедине  
То ли свиданья воочью,  
То ли свиданья во сне.

#### РУССКИЙ ОКЕАН

Буквально на наших глазах  
Русский Океан  
Превращается в пересыхающее море.  
Море затем  
Постепенно превратится  
В неприметную стороннему глазу  
Речку.  
Малая, неприметная чуждому глазу  
Речушка,  
Выбиваясь из последних сил,  
В кровь разбиваясь на камнях преткновений,  
Снова и неизбежно впадёт  
В бесконечный необозримый океан  
Милосердного Царствия Божия...

---

---

*Поздравляем нашего автора и друга с 60-летием!*

ВЛАДИСЛАВ ШАПОВАЛОВ



СИНИЙ ЛЁН

РАССКАЗЫ

Пришлось по школьным делам съездить в дальние хутора. Дорога была ровной, лошади шли дружно. Мой возница Семён Гордеевич, или просто Гордеич, как мне представили его, сидел на телеге бочком, держал в руке ви-той кнут. Хлыстик сыромятной кожи свисал к земле, чертил в пыли след.

— К обеду вернёмся? — попытался я завязать разговор.

Гордеич не ответил.

Ехали молча. Слева от нас, куда ни глянь, колосились хлеба, справа ча-стил стволами, помигивая небом, раскидистый сад, обнесённый в два ряда тополями, которые бросали на дорогу зубчатую тень. Лошади подхватывали её с земли себе на спины, кидали в телегу. Густая рябь зайчиков мельтеши-ла в глазах, металась на руках, рвала колени. Забавная игра светотени ни-чуть не занимала моего Гордеича. Он всё так же неподвижно сидел на теле-ге, смотрел на кончик вишнёвого кнутовища. Земля была ему привычна и обыкновенна, он честно работал на ней.

---

*ШАПОВАЛОВ Владислав Мефодьевич родился 30 ноября 1925 года в селе Василь-ковка Днепропетровской области. Семнадцатилетним ушёл на фронт, освобождал от фашистских захватчиков Украину и Польшу. Тяжело ранен при форсировании реки Висла, где, согласно архивным наградным документам, в бою уничтожил шесть гитлеровцев. Награждён боевыми орденами и медалями. После войны окон-чил университет и проработал в школе более тридцати лет — учителем, завучем, директором школы в Курской области. С 1982 года живёт в г. Белгороде. Автор бо-лее сорока книг прозы, часть которых переведена на западноевропейские языки. Ла-уреат четырёх журнальных премий и Всероссийской литературной премии “Про-хоровское поле”, дипломант конкурса Госкомиздата РСФСР.*

Выбрались на простор — ударило солнце. Солнце парило, из-за горизонта надвигалась туча. Иссиня-чёрная, она угрожающе нависла над землёю и блеснула молнией.

Послышался гром.

— Успеем? — показал я на тучу, пересекающую нам дорогу.

Гордеич оторвал от земли хлыстик, занёс над лошадьми.

Лошади сами чуяли грозу, дружно упирались в шлею, откинув назад, к телеге пышные хвосты, и дробно перебирали копытами.

Раздался близкий светящийся треск. Солнце померкло.

Вскоре впереди, на дороге начал вспыхивать редкими дымками, точно от пуль, первые увесистые капли. Капли шевелили травы, шлёпались лошадям на спины, дробились на руках.

Я поднял воротник и съёжился.

Наконец, за угором свечою начал подниматься стройный тополь, и рядом, точно из земли, прорезалась углом в небо крыша. Мы соскочили с телеги, заспешили к небольшому дому. Невдалеке у дороги голубело буйным цветением поле льна. Высился тополь, чернел мокрой полосой просёлок.

Мы долго стояли под нахлобученной стрехой, всё плотнее прижимаясь к стене; вода, отгородив нас словно сплошным упругим стеклом, подступала к ногам. Сквозь неровное стекло мы смотрели на шумящий в дожде тополь, на лошадей с поникшими головами, на цветущее поле льна. Поле бушевало синим кипением.

— Ну как, Гордеич? — глянул я на его сапоги, все в рябых отметинах.

Моим щегольским туфлям досталось больше, но мне почему-то стало весело.

— Надо уходить, — впервые ответил он мне и глянул на мои ноги.

Рискуя задеть плечом льющееся с крыши стекло, мы просунулись по очереди в сенцы.

В доме было сумрачно, синие стены вспыхивали пепельным светом молний. У окна сидели мальчики — старший и младший. Они рассматривали картинки. На подоконнике лежали листы, вынутые из журналов.

Коротко стриженные головы мы заметили ещё издали, подъезжая к хutorу; мальчики смотрели, как мы скачем под дождём. Глаза у них были синие. То ли от грозы, то ли от цветущего льна.

Я поздоровался, и мальчики повернули по очереди головы, осмотрели нас не признающими взглядами. На журнальных листах я заметил знакомые издавна, известные всему миру пейзажи. Мальчики рассматривали картинки, а мы, вымокшие, смотрели в окно. За окном, точно в раме, стояли, опустив гривы, лошади; блестела, будто покрытая лаком, телега. Шумел густою синиею капелью лён.

Но вот откуда-то из-под синей тучи блеснуло мутным сиянием солнце. Его не видно, однако оно чувствуется во всём, от земного светлеющего неба до сверкающей уздечки. Редкие косые линии затихающего дождя слегка смазывали картину, отчего она казалась ещё сказочней: синяя, как лён, выс и синяя, как небо, земля.

— Ух ты! — воскликнул младший, заметив, что мы смотрим куда-то мимо них, в окно, на лошадей, на телегу, на цветущий лён.

Старший тоже оторвал взгляд от журнальной картинки. Посмотрел в окно, толкнул рукой раму. Обе половинки разлетелись, в комнату вошёл волнующий запах прошедшей грозы, напоенной влагой земли, синего, не пахнущего обычно льна и тёплого солнца.

— Давай рисуем! — предложил младший.

Старший не ответил, а с вызовом рванул из тетради лист, потянулся к ручке. Младший принёс чернил. Чернила были синими.

Мой Гордеич смотрел удивлёнными глазами, будто впервые видел лён не в холсте, не в рубаше, а в голубом неостановимом цвету. Он всю жизнь прожил, работая на земле, склоняясь к ней, а теперь разогнулся и увидел её, землю: лошади с вымытыми гривами, сияющая телега, поле в цвету льна. И внизу, в той же раме, две мальчишеские головы.

— А назовём как? — спросил младший.

— Ну... — замялся другой.

Дети долго не могли придумать название и не знали, с чего начать.

— “Гроза”, — предложил я.

Ребята повернули ко мне головы. Грозы уже не было, и я тут же поправил себя:

— Лучше “После грозы”.

Я думал о возрождении земной красоты после грозы, как она может влиять на человека, меняя настроение. Лучшего названия, казалось мне, придумать нельзя.

— “Синий лён”, — просто сказал Гордеич.

Мальчик свысока глянул на кипу глянцевиных вкладок — собрание всех галерей мира, — придвинул к себе тетрадный лист, макнул перо.

Дождь прошёл.

Мы вышли на улицу. Свежий воздух, разбавленный слегка грозовым озоном, бодрил.

Где-то в облаках матовым сиянием проявилось высокое солнце. Дышалось легко и свободно. Цветущий лён, омытый дождём, горел синим пламенем. Гордеич подошёл к телеге, замер, вглядываясь в дали. Смотрел он на мир детскими глазами старика. Глаза его отражали синь льна. Или неба.

Он подошёл к лошадям, поправил на блестящих спинах упряжь. И ходил вокруг не по возрасту бодро, старался не хромать и всё поправлял, доставая из-под низу, где посуше, сено, чтобы удобно было сидеть.

Мне же не хотелось уводить лошадей, чтобы не помешать ребятам дорисовать “Синий лён”.

— Поедем? — спросил он несмело.

Я повернулся и увидел, что у него совсем иное, чем было прежде, лицо. Что хмурилась лишь в бровях, а глубокие морщины на лбу означали не безысходную старость, а мудрость. Я взобрался на телегу, он сел плотно рядом.

Мягко, точно по соломе, катилась телега, наматывая на колёса и тут же сбрасывая мокрые ленты земли, плыло рядом синее поле.

А в окне, что у самого тополя, долго ещё виднелись две головы, склонившиеся друг к другу.

## НА МЕЛЬНИЦЕ

### *Воспоминания детства*

Мать накладывает в лукошко пирогов. Сулико, мотая хвостом, носится от порога до ворот.

И вот уже луг. Звенит, мельтеша крыльями в глубине синего неба, запарашивая глаза, полевой жаворонок; скрипят под ногами громкие кузнечики; шелестят лёгкие сухие стрекозы. Красными огоньками вспыхивают маки; розовый оторочкой по краям луга — фонарики дикого клевера; пламенеют в тёмной прозелени густой поросли крупные ягоды земляники. Сечёт в траве след Сулико.

— Сулико! Сулико-о-о-о! — кричит Петька.

Эхо разносит красивое звучное слово по лугу до самого леса. Без умолку хочется кричать “Сулико!”

Пёс становится, повернёт голову на зов. Поднимет морду, глянет нетерпеливо — чо, мол! — и снова сечёт траву. Так всю дорогу играют, а перед лесом смиреют. Строг лес. И шалостей не позволяет.

Тропинка, словно вход в шалаш, пропадает в зелени ветвей. Темно становится сразу, будто кто пологом накрыл сверху. За поворотом блеснула зелёная от листьев река. Плотина, обсаженная ивовыми колами, выросшими в деревья; труба, вложенная в плотину для слива паводка; шаткий переход на ту сторону.

Провода вместо столбов по деревьям тянутся; белые чашечки изоляторов, словно сороки, сидят на ветвях парами. А настоящие — на проводах.

Работают хвостами, чтобы равновесие держать. Хвосты длинные, как линейки: вверх-вниз, вверх-вниз.

У плотины серым паучком вцепилась в кустистый берег мельница. Окошко, завешанное вздрагивающей мучнистой паутиной. Обломок жёрнова, брошенный вместо порога. Светлый дедушка в тёмном проёме двери. Как всегда. Как вечно!

— Здравствуй, дедушка!

Деду Евсею надо кричать. От шума водяного колеса и жерновов у него оплошали уши.

— Будь здоровый! — кричит в ответ дедушка.

— Зачем кричишь? — спрашивает Петька, зная, что глуховатые люди разговаривают громче.

— Зачем кричу?! А ежели отвечу тихо, подумаешь, что сержусь!

На нём полотняная рубаха, вышитая чёрными и красными крестиками у ворота и на рукавах, пыльные от муки сапоги, старый, с поломанным козырьком картуз.

Петька ставит на порог лукошко с пирогами, с квасом, с крынкой сметаны. Дедушка садится на обломок жёрнова.

— Ну, дедушка, поймал? — не терпится Петьке.

Дед Евсей берёт ложку, пробует сметану. Сметана такая густая, что вместе с ложкой поворачивается и крынка.

— Нет, внучек, стар я! Не управился за его приткими ногами.

— Что ж ты... — с досадой произносит Петька.

Он даже сам не понимает, почему начинает злиться.

Повернулся круто — взлетели белые чашечки сорок. Лишь провода колышутся. Указывают, что на них только что сидели птички.

Перешёл на ту сторону, заглянул в трубу, вложенную в плотину. Летом труба сухая, в неё после паводка собираются на линьку ужи.

Заглянул вовнутрь — шуршат на сквознячке чешуйчатые ленты, словно вороха спутанной киноплёнки. И Петьке всё время кажется, что ужи только что вылезли из прозрачных, посечённых на повторяющиеся кадрики чехольчиков...

Склонилась над рекою ива, запустив удочки ветвей с берега в неподвижную воду. Ловит зеркальных карпиков. А то и линьков. Пузырёк со дна поднялся, разойдясь ленивым, затухающим к берегу кольцом. Ласточка бесшумно летит по глади реки, перевёрнутая вверх брюшком...

Вернулся к мельнице, спросил в отчаянии:

— А приходил нынче?

Дедушка приложил к уху ладонь:

— Чтой-то?! — И тут же, по губам, догадался: — А как же! Приходил! Я ему на затёсок хлеба корочку положил! Он её и взял! А когда взял, я и не заметил...

Петька смотрит на плотину, заросшую старой ивой, на подрост свежих кольев, забитых в землю промеж деревьями для их смены, и видит, как маленький бурый медвежонок подкрадывается к плотине, поднимает мохнатую морду и, вытягивая хоботком губы, схватывает сухую корочку...

— Эх ты... — произносит с укором.

Вода шумит под колёсами, пенится. Деревянный помост вздрагивает. Гудят жернова.

Дедушка Евсей складывает ложку и крынку в лукошко, надевает старый картуз, идёт на мельницу. Ноги у него слабые, тронутые недумом, с трудом волокут сапоги через жёрнов-ступеньку.

Дубовые зубья, смазанные дёгтем, вращаются неторопко. Тонкой струйкой течёт пушистая мука из деревянного жёлоба. Электропровода в инее провисают к лампочке...

А под полом, куда уходят в воду к самому дну доски, покрытые вечной зеленью, громовая работа. Скрипят снасти, содрогаются белёсые от муки стены. Пахнет тёплыми сухими отрубями и свежими водорослями.

Смотрит Петька на деревянное колесо, слушает вечное гудение, и ему уже не хочется почему-то ни о чём расспрашивать...

Дедушка подошёл к жёлобу, подставил под жидкую струйку руки. Взял в щепоть горячей муки, пробует, растирая пальцами, помол.

На его лице колыхнется зелёный водяной зайчик, гладенькая, без волос, кожа на щеках просвечивает воском. Стар дедушка. Древен. И Петьке становится жаль его. Он прощает ему незамысловатое враньё, отводит глаза и, минутою взрослея, с какой-то щемящей болью в груди начинает постигать, что всё вокруг не вечно, что когда-то всего этого не станет и что он уже не прибежит сюда босоногим мальчишкой с беззаботным Сулико и крынкой сметаны в плетёном лукошке...

## СУДАРЫНЯ

Старая лошадь по кличке Сударыня любила слушать разговоры людей. После работы конюхи соберутся в кружок, чтоб обсудить завтрашние дела — наряд, какой выполнять придётся, — она тихо подойдёт сзади, замрёт, свесив голову. Покорно слушает. Будто понимает, о чём говорят. Часами может стоять.

Мужики говорят о том, кому куда завтра ехать: одному — за сеном в луга, другому возить бочку с водой на поле, третьему — на бойню за мясом для столовой. Оглянется кто, заметит между прочим:

— А она уж тут как тут.

— А то где ж ей быть!

— Вот любопытная тетеря!

— Сударыня.

Сударыней она была в прошлом. Назвали её так давно, ещё в молодости, когда она выделялась и статью, и горделивою ходьбою. Сударыня как-то особо, по-лебединому, с достоинством держала шею, размеренно, подобрав удила, переставляла торцовые копыта, и её белёсо-блондинистая грива рассыпалась на скаку волосами очаровательной русалки.

Да со временем от непомерной работы шея опала, копыта стёрлись, а грива иссеклась, и теперь Сударыня ничем не отличалась от других кляч, стоящих в ряду на привязи в конюшне. Особенно выдавались торчащие по бокам кости и провисший под ними живот. Кожа на коленях лоснилась протёртыми лысынами, а в западинах проваливалась морщинистыми складками.

От мужской компании её никто не отгонял, что из того: послушает-послушает — сама отойдёт. И так как лошадь человеческой речи понимать не могла, как считали конюхи, то они при ней и не стеснялись в выражениях, порой посолённых крепкими завёртами.

По сути, это были одни и те же изо дня в день разговоры — о конюшне, о поле, столовке, бойне. Казалось бы, слушать здесь нечего. Но Сударыня, как только выпадала минута, подходила к мужикам сзади, замирала в одной и той же позе, незаметно дыша, редко мигая большими сиреневыми глазами. Со стороны могло показаться, что она о чём-то думает.

Конечно, старая лошадь уже привыкла к одним и тем же разговорам и хорошо различала знакомые слова — конюшня, поля, столовая, бойня. А запахи, которыми были пропитаны мужики, напоминали ей то тьмяно подпаренный душок стойлового навоза в конюшне, то чистый, волнующий ноздри ветерок польного поля, то жирный дух столовки, где выносили ей что-нибудь из помоев, то удушающий, пахнущий смертью и кровью дух бойни. По этим запахам она гадала, куда потянет своё бремя обязанностей завтра.

Особенно действовали на неё запахи бойни. Она улавливала их ещё издали. Ноздри её округлялись, а шерсть на загривке топырилась. И она с трудом пересиливала этот душок сладковато подопревшего навоза, смешанный с запахом дымящейся крови, отчего рвотно подташнивало и кружилась голова. С каким-то отвратным чувством ещё сильнее упиралась она истёртой грудью в хомут, била растоптанными в лапти копытами о землю и, подогнув голову, ещё крепче захватив удила, преодолевала последние метры до ворот. Конюху казалось, что коняга старается без понуканий, и он хвалил её.

— Тебе, Васька, загадали корм возить, — и Сударыня знала, что завтра

ра будет, хотя и трудный, но светлый день с духмяными запахами луговых трав и цветов.

— Завтра воду возить, — и она знала, что тоже выпадет хороший день, когда на поле тебя ждут и радуются, увидев бочку на двух колёсах с большими аллюминиевым кухлем, прикованным цепью к оглобле. И ноша становится мягче, а дорога короче.

— Поедешь на бойню, — говорил конюху Ваське бригадир в следующий раз, и её сиреневые глаза меркли, точно затушенные огоньки в ночи, а ноги подкашивались.

Так шли дни за днями, Сударыня подходила незаметно сзади. Опустив голову, замерев дыханием, слушала и не слушала — и всё было, как прежде, как всегда. Как вечно.

Но однажды утром она услышала какую-то непонятную путаницу слов.

— Какую запрягать?

— Дык Сударыню.

— Её велели оставить. Поведут на бойню.

Ясное дело, старая лошадь ничего не поняла. Но то, что её впервые не запрягли, говорило о многом. Она вся как-то напряглась и замерла. Незнакомые слова рядом с её именем взбудоражили всю душу. Ей почудились те запахи крови и подопревшего навоза, что всё чаще стали преследовать её. Сударыня вздрогнула вся и отошла в сторону. Неясное, но страшное предчувствие не давало ей покоя.

Рано утром, как только чуть заалел восток, она, подёргав поводья, распутала на железном кольце привязь, вышла незаметно из конюшни во двор. Окинув тяжёлым, с нависшими на зрачок веками взглядом луга, где резвилась когда-то беззаботно жеребёнком, тысячи раз изъезженную дорогу, где была истрачена трудом вся её жизнь, ветхую, с полузаваленной крышей конюшню, что всегда согревала её теплом в ненастье, она двинулась в сторону леса.

...Её нашли у опушки. Лежала она среди душистых трав с вытянутой шеей и, казалось, дышала их пряными запахами. Но лежала она безжизненно и была мертва.

## ОТЧЕГО ЛЫСЕЮТ ПЧЁЛЫ

Ранней весной старый пасечник сказал мне:

— Пчела рудая пошла.

Это значило, что зацвёл первый медонос — орешник, — и пчела стала брать коричневую пыльцу.

Затем пасечник сказал:

— Пчела голубая пошла.

Распустились подснежники, и пчела, набивая обножку — цветочную пыльцу — в свои волосяные корзинки на задних лапках, поголубела.

— Жёлтая пошла, — объявил пасечник позже.

Оказывается, сообразил я, раскрылись цветы одуванчика, и пчела, доставая нектар, пачкается жёлтой пылью, припудривая волоски на голове.

Потом шла пчела зелёная, красная, фиолетовая...

— О! — произнёс однажды старик осенью, когда уже, казалось, нет цветов. — Пчела лысая пошла.

— А это что?

— Дело не хитрое, — не сразу ответил мне малоохотливый на слово пасечник и кивнул на скошенное поле.

Поле было как поле. Хлеба убрали, но на зябь ещё не выходили. Жёлтая стерня взялась зелёной опушкой муравы с белёсыми заливами мелких цветочков. Я посмотрел на поле и ничего не понял.

— Зябрик объявился, — буркнул тогда старик.

— Ну и что?

Пасечник не любил, когда ему докучали вопросами. До всего, считал он, доходить следует своим умом. И я думал и думал, но ничего не мог сообразить.

Наконец, пасечник снисходительно улыбнулся.

Оказывается, у зябрика этого пожнивного так устроен цветок, что пчела, доставая нектар, не только сбивает на голове маленькие волоски, но и пачкает пылью темя, надевая на макушку белёсую “тюбетейку”, похожую на лысинку.

Вот и кажется, что пчёлы по осени лысеют.

## ПЕРЕМЕНА

Уже давно идут осенние затяжные дожди. Небо сидит на плечах, давит грудь. И нет продыху ни земле, ни сердцу. Зябко, неприятно, сыро, души не согреешь.

Набухли и почернели деревья, вылезли на поверхность земли дождевые черви, омытые водою до мертвенной бледности. Поникли желтеющие травы. Что ни день — то досада: безвыездно, безвылазно...

А вчера вечером появился проблеск. У самого заката образовалась плоская расщелина, и оттуда, подсвечивая тёмно-синие исподу мрачные космы туч, ударило лучами красное, как на ветер, солнце.

Не иначе — к перемене.

Ночью дождь отошёл.

И поднялось над головой небо. И посветлели деревья. И выровнялись травы. И снялась чёрная тяжесть с груди. Наступила короткая, но отрадная пора бабьего лета.

## ЧЁРНЫЙ АИСТ

### 1

В небольшом городке Судже, что стоит на речушке с таким же древним названием, есть старая полуразрушенная церковь. Штукатурка на стенах церкви почти вся обвалилась, карнизы и крыши поросли травой и кустарником. Железо на куполе обнесли ветры, красный кирпич темнеет местами прозеленью мхов.

Но на самой макушке огромного купола сохранилась небольшая башенка. Стройная башенка светится насквозь всеми четырьмя окошками на все четыре стороны света. На башенке водятся из года в год аисты.

Гнездо сложили они из грубых сучьев и веток и каждый год, прилетая по весне, правят его. Принесёт хворостинку старый аист, подпихнёт длинным клювом. Уложит её, попробует лапой: прочно ли? Следом за ним несёт пруттик аистиха.

Общеизвестно, каким покровительством пользуются аисты у людей. По народному поверью, аисты стерегут счастье, беду к дому не подпускают.

Стоит старый аист на своих узловатых в коленях ногах у самого края гнезда, счастье бережёт. Беду не подпускает. И как появилось то счастье — выткнулись из гнезда четыре шейки. Снизу казалось, будто четыре графина стоят в блюде на башенке.

### 2

Малые аистята сидели в просторном гнезде и поначалу ничего, кроме неба и прутьев своего жилья, не видели. Они слышали где-то внизу, под башенкой, гул машин, шум листвы, плеск воды, но не знали, что это такое, да особенно и не задумывались. Их занимало другое. Покажется в небе отец с лягушкой или кузнечиком в длинном клюве — они все и подадутся на край гнезда. Вытянут шеи. Появится мать — передвинутся к ней. И только она ударится вытянутыми ногами о край гнезда, как с другой стороны отталкивается вверх аист-отец. Вроде акробатов на доске, положенной сверх бревна: один прыгает, другой взлетает. И так с утра до вечера, пока зайдёт солн-

це, летали они на заливные дуга, где остались уёмистые бочажины, полные всякой живности. А как старая аистиха осталась, навсегда осталась на болоте еле приметной кочкой, заботы легли на плечи одному. Аист-отец был стар, к вечеру не чувствовал крыльев.

### 3

Вскоре малые аистята оперились и стали похожи на взрослых. Только ростом поменьше. Возле глаз у них выделились тёмные полосы до самого клюва, края крыльев почернели. Встали на свои длинные ноги, осмотрелись вокруг. Теперь они были похожи не на горлышки графинов, а на портовые краны.

Стоят на башенке все четыре крана, смотрят, что происходит вокруг. Удивляются миру.

Кроны деревьев лежат на земле зелёными шарами, речка вспыхивает ослепительным светом в окаёмке тальника. Бугрятся красными крышами дома с телемачтами, похожими на ромбики с паутиной перекладин. Дома стоят на высоких кирпичных фундаментах, возле каждого — по три верей\* с железным козырьком над воротами и калиткой.

Дальше — четырёхугольная труба школы-интерната, за нею — каланча с нахлобученной на смотровые окошки крышей. И уже совсем далеко, в дымчатой мгле, на железнодорожной станции, еле просматривается высокий элеватор, похожий издали на спичечную коробочку.

То, что находилось близко, под ними, аистята, разумеется, не видели. Они только слышали, как громко перекликаются на переменах ребячьи голоса во дворе школы-интерната, как раздаётся звонок и как потом, в тишине, совсем близко, за оградой детского сада курлычат качели.

По вечерам на улицах городка зажигались фонари. Воздух пропитывался неоновым светом. Затенённое гнездо, казалось, плыло над морем сияющего огня.

Иногда, по субботам, птенцов пугала музыка. Ещё задолго до темноты в листе городского парка зажигались разноцветные — синие, красные, жёлтые — лампочки. Бил барабан, и аистята вздрагивали. Сквозь просветы в деревьях было видно, как там, на свету, на танцплощадке толкались парами под музыку люди, и гремел оркестр. Одну ночь оркестр не умолкал до утра. Звонко смеялись молодые голоса. И на рассвете мальчишки в чёрных костюмах, девочки в белых платьицах, взявшись за руки, побрели к реке, на мост — встречать восход солнца.

Не знали аистята, что люди, подобно птицам, провожали из гнёзд своих выросших детей. Не знали они и того, что вскоре им придётся покидать удобное и приветливое, ласковое и мягкое, хотя и сложенное из сучковатых прутьев, родное гнездо.

### 4

Ещё больше пугал птенцов другой барабанный грохот, похожий на далёкий гром. Погремит-погремит у реки и стихнет. Жужжит потом пчёлкой мотор под самым гнездом.

То был деревянный мост. Когда по нему проходила машина, мост отзывался раскатистым грохотом.

Мальши вытягивали шеи — смотрели на детские качели за оградой, на асфальтовую дорогу с ползущими автомашинами, на деревянный мост через реку.

Городок Суджа небольшой, в страду перегоняют по его улицам комбайны с поля на поле. Смотрят аисты: детвора, взявшись попарно за руки, переходит улицу с воспитательницей; машины громяхают на мосту: один раз — при въезде, другой раз — на той стороне. Комбайн гонят с поля на

---

\* Верей — столб, на котором держатся ворота.

поле. Диковинная машина заняла всю проезжую часть и перед мостом остановилась в нерешительности. Мотор приглушила.

Помощник комбайнёра соскочил с высокой ступеньки, забежал вперёд, повернулся лицом к комбайнёру, идёт задом и на себя руками машет. А комбайн зарычал мотором, осторожно между перилами вписался широкий хедер. Въехал на деревянный мост, потихоньку за человеком в синем комбинезоне движется. Помощник следит за небольшими зазорами между хедером и перилами, показывает куда править — влево или вправо. Потом опять на себя машет руками — пошёл! И так, пока мост не кончится.

Мост кончился, и комбайн включил скорость и прогромыхал красной громадиной почти под самым гнездом. Аистята со страхом покосились на выхлопную трубу.

## 5

В такую пору, после жатвы, когда гнездо покажется уже тесным, молодые аистята обучаются летать. Станет старый аист на край гнезда и машет-машет крыльями. А не взлетает. Показывает своим детям, как работать крыльями.

Молодые тоже пробуют. И как замашут крыльями, теряют равновесие. Старый аист громко трещит клювом. Говорит, что недоволен учёбой. Ставит оценку, понятно — какую. Закинет назад голову, треснет громко длинным клювом. И малыши начинают всё сначала, только осторожнее.

Станет какой посередине гнезда, раскинет крылья. Держит их на весу. Остальные сидят, а он держит. Ветер качает крылья, аистёнок тренируется сохранять равновесие. На смену ему поднимается другой. И так по очереди, несколько дней подряд, пока не обучатся самому простому — держать равновесие с раскинутыми крыльями.

Только после этих уроков начинают они пробовать взлетать. Опять же по очереди. Замашет какой крыльями, поднимется на метр. Перелетит с одного края гнезда на другой. И так, может показаться, без конца. Не летает, а прыгает. В общем, тренируется. Или упражняется. Как хотите. Выполняет домашнее задание. Ноги при этом у него не вытянуты, назад, как обычно при полёте у аистов, а болтаются длинными костылями.

Так аистёнок подсказывает, пока не устанет. На смену ему принимается за учёбу следующий. И такую толчею устроят, что не усидеть в гнезде. Старый аист был слаб, ему нужен был покой. И он перебирался на трубу школы-интерната, подолгу стоял на высоких ногах, наблюдая за гнездом. И как сделает кто промашку — застучит сердито длинным клювом, а как всё идёт на лад — пострекочет тем же клювом мягче. Голоса у аистов нет, переговариваются они стуком клюва.

У аистов, как у большинства птиц, очень серьёзный образ жизни. Малыши, как правило, не озоруют и стараются постичь свою науку изо всех сил. Вот старому аисту и приходится чаще стрекотать, чем строго стучать клювом.

## 6

Так молодые аисты узнали силу крыльев и поняли, что с ними надо обращаться осторожно. Теперь можно было приступать к полётам.

Сначала поднимались они над гнездом невысоко, на несколько метров. Повисят немного в воздухе, минуты две-три, и тут же поспешно, вытянув длинные ноги, нащупывают край гнезда, как неопытный пловец дно берега. Один смельчак замахал чаще крыльями, поднялся выше. Забрался так далеко, куда ещё никто из них не доставал. Он даже не заметил, как легко понесли его крылья. Чем сильнее он ими работал и выше поднимался, тем больше влекла его высота.

За смельчаком снялись по очереди остальные аисты. И так держались над башенкой, не отклоняясь в сторону, а забираясь всё выше и выше. Неба они не боялись — боялись земли.

В этом полёте молодые аисты научились вытягивать вперёд шею и складывать вместе, откинув назад, ноги. И как начали спускаться, то попробовали, раскинув крылья, парить в воздухе.

Старый аист всё это время стоял на трубе интерната. Косил глазом в небо. И только молодые аисты благополучно приземлились, потрогал клювом громоотвод, пострекотал немного, для порядка, глядя в сторону.

## 7

Теперь аисты летали каждый день и задерживались в небе всё дольше и дольше. Заберутся ввысь, спланируют кругами. Они впервые ощутили безмерность неба, и, чем выше поднимались, тем смелее и шире расступались перед ними дали.

Городок точно кто посыпал домиками: гуще к центру, разрежённой приусадебными участками к окраинам; река — будто кто серебряную нитку уронил извивами в луговой траве. Маленькая, точно спичка, перекладинка моста с маковками автомашин. И станция с коробочкой элеватора.

Как мельчает всё на земле, когда поднимаешься ввысь! Как ширятся неоглядностью дали! И как захватывает высоту сердце! Снизу казалось, будто не аисты, а белые голуби мерцают в ослепительно голубом небе. Смелчак так увлёкся, что нечаянно врезался в тучу.

Он врезался в тучу, и сразу оторопел и растерялся, не зная, что делать. Раньше ему приходилось наблюдать туман. Белый пар шёл рекою и не доставал до башенки. А если и доставал, то легко прочёсывал сучья гнезда, и аистята не теряли друг друга из виду. Теперь же он с разгона влетел в пар, глаза ему залило молоком, и он широко раскрыл зачем-то клюв. Аист всё бил и бил крылом воздух, а молоко не редело, и он не на шутку испугался этой бесконечной белой жути.

Так же внезапно и в один миг, как прилипло к глазам непроглядное молоко, блеснуло солнце. Солнце блеснуло весело, и внизу мерно заколыхалась контрастная мозаика земли. Аист поставил крылья, спланировал кругами, сужая кольца, над башенкой. Достал ногами родное гнездо — отлегло от сердца. Сложил крылья, глянул на трубу интерната.

Старый аист всё так же стоял одиноко на своих длинных ногах, смотрел стекленеющим глазом в беспредельную даль.

## 8

Иногда их водил старый аист. Он перелетал с трубы интерната на башенку и, постояв немного, отталкивался от гнезда. За ним по очереди снимались остальные. Летели они теперь не вразброд, каждый сам по себе, как прежде, а вместе. Сделают круг над башенкой, возьмут другим заходом шире, почти до станции. Блеснули за посадкой четыре спаренные струны железной дороги, показался состав. Длинный-предлинный. С оранжевыми тракторами и комбайнами на платформах. Состав двинулся к станции, где остальные нити рельсов расходились и скрещивались друг с другом, образуя целую сетку. На станции в одном месте разгружали розовые брёвна сосен, в другом — высыпали с грохотом щебень. Возле элеватора, теперь высокого и стройного, желтели кучи зерна; ходили по перрону люди.

Аисты захватили одним крылом станцию, развернулись глубокой спиралью.

Проплыла назад маленькая водокачка с небольшой коренастой трубой; вспыхнула остриём ножа река, прерываемая на изворотах зарослями буйного кустарника. Остался позади городок. Старый аист взял курс на болото.

Он летел, вытянув шею, откинув назад ноги, тяжело и глубоко взмахивая иссеченными крыльями, и подолгу парил, присматриваясь к земле. Снизился над болотом, вытянул ноги, как самолёт колёса при посадке. Сел возле бугорка, сложил крылья. То была могила матери-аистихи. Вернее — остатки её праха.

Старый аист постоял молча, недвижимо возле чуть приметной кочки, присматриваясь к аистятам.

Так они отдали дань памяти матери. И старый аист, немного отдохнув, снова, как самолёт, взял разбег, с трудом оторвался от земли. Следом выстроились остальные, все четверо.

И вот уже уходит под крыло раскидистое урочище молодой дубравы, и показалось в западне лога небольшое село, и они пересекли невидимую границу и стали теперь не аистами, а чёрногузами.

На Украине аистов называют чёрногузами. Но это будет несправедливо хотя бы потому, что хвост у аистов белый. Это нам кажется, будто хвост у них чёрный, а на самом деле чёрные лишь кончики крыльев. Сложит он их, когда сядет на землю, вот иной и примет крылья за хвост.

Развернулись дугой над землёй черногузов, перелетели в страну аистов. Старый вожак начал забирать выше.

И вот уже болото показалось темнеющим пятнышком с мелкими проблемами воды. А город — не больше тарелки. Поля начали мозаично складываться в многоцветные лоскутки. Земля становилась им картой, летели они теперь по карте, примечая ориентиры.

## 9

Как-то осенью небо заволокло тучами. Синей холодной рябью взялась река. Тихо, незаметно пошёл дождь.

Дожди шли и раньше. Дружные, грозные. И малыши путались грома. Вспыхнет в тёмных тучах зигзагами ослепительно золотая трещина, и до гнезда донесётся рокот, напоминающий грохот грузовиков на мосту. Только этот рокот шёл не снизу, как обычно, а сверху.

Да такие дожди, хотя и пугали громом, проходили быстро и не сеяли в душе тревогу и беспокойство.

Теперь же затянули надолго. Мелкие капли неприятно постукивали по крыльям, порошили глаза. Аисты прижались друг к другу, вытянули шеи. Смотрят на землю, а она вся поблекла и затянулась косиной дождя. Рваные клочья серой ваты цепляли ребристые мачты на крышах, причёсывали верхушки деревьев, доставали сучья гнезда. Никогда тучи не плыли так низко над землёю.

Грачи сидят на каланче, находились. Ветеринарная машина с голубым крестом в белом кружке, почёрканном каплями дождя, пронеслась. Мотоциклист, нахлобучив каску, летит против ветра. И всё вокруг такое неприятное, как намокшее гнездо. Аисты ёжатся от холода, поглядывают на трубу интерната.

Старый аист стоял одиноко и неподвижно на трубе интерната возле громоотвода, бессильно обвисали его мокрые крылья. Он всё так же смотрел куда-то в необозримую даль. Взгляд его был измученным и усталым.

## 10

В двадцати километрах к югу от башни, на самой границе с Украиной, стоит на реке Псёл небольшая многоэтажная мельница. Мельница давно, ещё до революции, сгорела, высокие стены освоили аисты. Целой колонией.

Аист-отец водил уже своих детей к мельнице, и они видели голые стены, похожие на соты, с вытекшими глазницами окон, гнёзда, напоминающие блюдца, и множество сородичей. Молодые аисты слетались в стаю со своими соседями и учились держаться рядом, сниматься и садиться разом. И как сойдутся высоко в небе крыло в крыло, лягут на курс — к югу. Пролетят немного Украиной, побудут черногузами, вернуться назад, к гнёздам. Так они пробовали ходить стаей.

Но однажды в обычный день, который ничем особенным не отличался от других таких же серых осенних дней, аисты необычно забеспокоились. Произошло что-то такое, чего молодые аисты ещё не знали, но чувствовали хорошо и к чему готовились всё лето. Старый аист поднялся с трубы интерна-

та, где он проводил теперь большую часть своей жизни, сделал круг над башенкой. И тот круг был для молодых аистов особым знаком. Они снялись по очереди друг за другом с гнезда. Сделали почётный круг над башенкой теперь все вместе — прощальный круг, легли курсом строго на юг.

Остались позади полуразрушенная церковь с пустым гнездом, широкая труба интерната, крыша пожарной каланчи, нахлобученная на смотровые окошки.

Промелькнуло под крылом серое болото с неприметной стёртой навсегда с поверхности земли кочкой, проплыло урочище. Показались высокие стены сгоревшей мельницы.

И когда появились молодые аисты над соседними гнёздами, вся колония пришла в ещё невиданное движение. Аисты начали сниматься с гнезд, кружиться над мельницей и соединяться в клин большой стаи.

Покинув гнездо, они шли строго на юг, земля плыла назад огромной картой. Лишь по ночам она проваливалась в тёмную бездну, посыпанную кое-где, точно светлячками, электрическими лампочками, кругами света больших городов. То была земля, которую они покидали, чтобы вновь, как только пригрееет солнце и наступит тепло, возвратиться назад и вывести в старых гнёздах новое потомство.

## II

А старый аист вернулся. Он всё так же стоял на краю гнезда, холодный дождь сёк его обвисшие крылья, порывистый ветер заламывал, шевеля, перья. У него не хватило бы сил на большой и длительный полёт в тёплые края, и он возвратился назад, как только показались стены мельницы, и оттуда начала сниматься вся колония. Теперь аист-отец был спокоен за своих питомцев.

К осени он совсем ослабел и на обратном пути остановился на болоте передохнуть, чтобы дотянуть до гнезда. Он молча постоял на том месте, где была когда-то чуть приметная кочка, и, тяжело вздымая крылья, еле оторвался от земли.

Иногда он куда-то улетал, медленно взмахивая посеченными крыльями, и его не было видно по два, по три дня. Но потом появлялся снова и подолгу стоял неподвижно в мёрзлом осиротевшем гнезде.

А молодые аисты находились уже далеко, очень далеко, за самым синим морем, и были не аистами, да и не черногузами, а назывались совсем по-другому, каким-нибудь иноязычным словом, которого мы и не слышали.

Лёг на землю снег. Высветлились дали. Заиндевели деревья. А белый аист стоял мёртво памятником в гнезде и на фоне белой зимы был чёрным.

## НЕ СВОИМ СЧАСТЬЕМ

*Памяти Анны Яковлевны  
Алфимцевой, русской женщины*

Прошёл слух, будто в Курске бабы вызволяют своих мужиков из плена. Не знала она, что его уже нет, жила надеждой.

Взяла свою выходную, так и не надетую ни разу кофту — его подарок, — отыскала кусочек, правда, истёртый, мыла, выловила из рассола пятаков огурцов. Завернула в тряпицу. Вышла, когда забрезжил рассвет.

Стёкла окон казались воронёной сталью, снег — иссиня-зафиолеченным. Искристо ершилась белыми иголками дорога.

Базар находился в райцентре — городе Судже. Прошла в раскрытые ворота, влилась в мёрзнувшую на холоде толпу. Люд гуртовался жалкой кучкой в собственной управе посреди площади, шерились по светлеющему горизонту остистые развалины лавчонок. Кто носил белые, из-под крема, баночки; кто — никому не нужные глиняные статуэтки крошечных собачат; кто — бесполезные копилки в виде медведя с прорезью для монет на затылке.

Встречались на руках и шитые из перекрашенных шинелей, простроченные на машинке чуни, и кустарные калоши — резиновые самоклейки из автомобильных шин, и даже сапоги, правда, на фальшивой, из картона, подошве.

Стынут, морщинутся, пересыхая на морозе, руки; дубеют ноги. Подбирается под ветхую, до бахромы обношенную на руках одежку, холод.

Новая кофта никому не стодилась. А мыло и огурцы выручили. Шутка сказать: стакан соли дошёл до пятидесяти, десятков солёных огурцов — до ста, кусочек довоенного мыла — до трёхсот рублей!

Так она собрала полторы сотни, которые следовало внести для выкупа пленного, несколько раз ходила за справкой к старосте, пока не отнесла четверть самогонки, подбила такую же, как сама, солдатку-бобылку, собрала горстку сухарей, сварила бурак, заняла шмат тонкого, в палец, сала и двинулась в дальний путь.

Вышли по-тёмному. Ёжисто мерцали в вышине, будто их шевелил ветер, гаснущие звёзды, скрипел под ногами жёсткий снег. Смерзались на холоде инеем от дыхания ресницы. Зима выдалась лютая, забойная, снегу навалило внепроходь.

Дороги выбирали поглуше, чтоб не наткнуться на немцев, большие селения обходили стороной. Крутые, намётанные ветрами сугробы местами держали, а где проваливались — вязали тяжёлыми путами ноги. Раньше, бывало, с утра до вечера бегала без усталости, а теперь чувствовала, как всё больше слабеет и как силы, которым только б налиться, стравливаются на корню.

Заметно светлело. За сизой морозной дымкой просматривались окоённые дали, редели, присаживаясь, деревья, мельчали, отступая, продутые ветрами кочки. Анна вспомнила, как тем же путём возили их в область на смотры. Сама маленькая, невзрачная, с ничем не приметными серыми глазами, а голосом — звонкая. Не зря же родилась в том краю, что с гордостью именуют соловьиным.

“Отпелись...” — подумала, глянув на подругу.

Катя Щетинина жила на соседней улице, в хуторе, вела вторым, вслед за Анной, голосом. Их часто выпускали на сцену обеих, дуэтом. Подруга была несколькими годами моложе, перед самой войной вышла замуж, и их месяц, который называют в народе медовым, оборвался в первый же день...

Солнце чуть-чуть поднялось над небокраем — злое, воспалённое. Холодило взятое ознобом небо. На морозе глаза мокрели, Катя трогала края века — мелкие капли тут же брались на варежке растёртыми крупинками снега.

К полудню сделали передых. Анна достала чёрный брус сухаря, сломом похожего на отпиленную доску, Катя вытянула из-за пазухи бутылку воды, которую хранила от мороза. Шмат сала и варёный бурак, нарезанный сиреневыми лепестками, оставили на обратный путь, чтобы поддержать силы, если отыщется кто из родных.

Раньше вот так, работая на “огороде” — в овощеводческой бригаде, — садились они на перекус рядом. Шутили, смеялись. Анна живая, бедовая во всём — и в работе, и в отдыхе — была заводилой.

“Присмирела...” — подумала о ней подруга.

Млеет точно молотками побитое тело; слипаются глаза. Анна испуганно глянула на солнце, обеспокоясь, что времени ушло много, а пути взято мало. — Ну, не будем засиживаться.

В праздничные дни до войны они водили карагоды, наряжались в саяны и кокошники, расшитые золотою тесьмою и лентами, шли от улицы к другой, из деревни в деревню, припевая, выплясывая “Тимонию”. Теперь же, таёсь и утопая в негу, совсем обессилив, подходили к лагерю военнопленных.

Город встретил провалами разрушений и пустынным безлюдьем. Анна сжалась вся, да так и держалась, цепenea.

Улицы — глубокие проёмы; дома с бельмами вытекших окон. Чёрные дыры выбитых дверей. И колючая проволока в несколько рядов...

Слухи подтвердились: чёрные, заросшие по глаза щетиной пленные находились за оградой из колючей проволоки, бабы ходили по эту сторону, вы-

смотря на своих. Пошла и она колючей стезёй вокруг лагеря, затаив дыхание, скрепив сердце.

Разные — в отвёрнутых на отмороженные уши пилотках, отчего ужатая голова казалась недоразвитой, а глаза выпученными, в онучах из мешковины вместо сапог, — они все были на одно лицо: небритые, худые, чёрные. И глаза блестели одной и той же безысходностью...

Видела она их, доводилось, когда ходила в район с огурцами и кофтой.

Пленные работали на железнодорожных путях, а вдоль станционного забора выстроились на снегу пилотки, похожие на раскрытые кошельки. Пожертвовала и она два огурца. Положила в одну, затем в другую пилотку, а весь ряд остался пустым...

После обеда, когда Анна возвращалась с базара, пленных гнали на почёвку, и они, ещё издали вытягивая шеи, заглядывая в раскрытые кошельки, выскакивая из строя, разбирали пустые пилотки, натягивали их, холодные, на застывшие головы, а обывские к тому конвойные, равнодушно, для порядка, покрикивая: “Цюрюк!”, “Лос-лос!” — дёргали с плеч пояса винтовок и цокали затворами...

Эти, за проволокой, были не лучше — такие же измождённые, чёрные, заросшие по самые глаза густой щетиной. Трудно было определить их возраст, подростки выглядели стариками. Иные подходили к проволоке, иные держались в отдалении, светя из-под насунутых на брови пилоток взглядами случайных надежд, третьи же, обессиленные, лежали под сараем, не найдя места в укрытии.

Те, что подбегали, просили хлеба, но она сама со вчерашнего дня ничего не брала в рот и пожалела, что не смогла утаить варёный бурак и горстку сухарей. На первой же заставе их обобрал патруль, и не было бы так больно, если б отобрали чужинцы, а то ж свои, чёрношинельные — собачей собак.

Женщины выкрикивали фамилии, вытягивали шеи, вслушиваясь в глухой потаённый ропот по ту сторону загоры, и, теряя с каждым шагом веру, отчаиваясь, всё ещё на что-то надеялись.

Звала и она, распявшись на проволоке, вытягивая шею, жадно перебирая похожие одно на другое лица, да её будто не слышали. Или не понимали. Чужая она всем. И ей все чужие. Померк и в её глазах последний огонёк, глубинной болью в груди оборвалась надежда. Повернула назад той же тропкой, прожжённой слезами в снежных заметах, да вдруг, обернувшись и крикнула:

— Будищанские есть?!

Точно эхом перекинулось это слово через колючую проволоку, отозвалось в разных концах лагеря, и она снова замерла, вглядываясь в непонятное шевеление по ту сторону проволоки, прислушиваясь, может в каком сердце отзовется оно радостным теплом.

Земляков не оказалось. Нашёлся нижнемаховский, из соседней деревни. Он был намного моложе, почти юнец, со светлым, чуть притенённым жгутиком пшеничных усов на верхней губе, с пушком мягких завитков на щеках. Его она не знала. Дико оскалась, что означало, должно быть, улыбку, бедняга смотрел через колючую проволоку по-детски обрадованными глазами, и у неё, дрогнув, больно отозвалось сердце.

“Возьму его, коли нет своих, — решила она, но тут же сама себе честно призналась: — Боюсь...”

Уговорились обо всём, пошли по обе стороны ограды к воротам.

На проходной проверяли справку от старосты. Долго смотрели то на неё, то на пленного. Выпытывали по несколько раз имена и фамилии друг друга, приметы села и подворья, дорогу домой. Интересовались, кто есть из родства.

— Врёшь, матка! — догадались.

Она знала, что за обман расстреливали обоих.

— Правду говорю, — еле выдохнула, выдавая себя.

Какой у неё голос был! Отнялся...

— Что ж ты такая старая супротив него? — спросил полицей в чёрной шинели с большими серыми отворотами на рукавах и узким, таким же серо-мяжно-серым воротничком вокруг шеи. Губы у него были толстые, глаза на выкате.

— А я за войну такая стала...

— Забожись!

— Ей-богу, не вру, — наложила на себя крест.

В Бога она верила, карой оборотились ей те слова.

— Поцалуйтесь? — засмеялся полицей.

Кинулись, чуждо, костляво ощутив друг друга, обнялись неподдельно, искренне.

— От мы счас их поженим! — потянулся к винтовке лупоглазый.

Свет померк. Дыхание забило. На земле, на всей земле не хватило воздуха. В страхе она ступила назад, наложив руки на грудь, и почувствовала колечко.

То обручальное колечко — святыню — она, подходя к первой заставе, спрятала в ставшую просторной за войну теснину между грудями. Достала колечко, сунула полицейу в руку.

Лупоглазый подиёс к морде кольцо, попробовал золото на зуб. Попытался напаять на мизинец. Отставил руку, примеряясь со стороны.

...Домой возвращались втроём, теми же просёлками, подальше от бойких мест. Шли торопко. Радость, с которой поспешал пленный, передавалась им, женщины тянулись, чтобы не отставать. Анна украдкой поглядывала на совсем незнакомый профиль, и наряду с чем-то приятным, что теплилось в душе, ей приходили отчаянные, болью щемящие мысли, что вот так протрухали они почти двести вёрст туда и обратно и не нашли своих...

И когда на последнем взъёме, у перелеска, добрались до той развилки, что всё время она держала в голове, пленный — счастливый, но как бы виноватый — отвернул в свою деревню.

После войны Алфимцева пошла в свою бригаду. Там, на бураковом поле, и прошла её жизнь. Одинокая, неприютная, а всё же в каком-то трепетном ожидании: сколько их вернулось без вести пропавших и даже “убитых” в похоронках...

И вот, когда все, кто уцелел, вернулись и когда не на что было надеяться, появился на пороге тот, кого она не ожидала.

Он теперь чуть заметно прихрамывал, на щеке у него выделялся продолговатый шрам, которого раньше не было. Густая седина покрыла голову, на груди горели разноцветьем в несколько рядов ленточки наградных колодочек. В кабине сидели дети, похожие на него: светловолосые, голубоглазые. Притихшие. Робко светили виноватыми, словно неоплаченным долгом, глазами.

Она не слышала его благодарных слов. Не видела за слезами подарков, не чувствовала, как он надел ей на палец взамен того, пожертвованного, золотое кольцо, а, наложив руки на грудь, плакала. Плакала не своей, а чьей-то радостью, не своим, а чьим-то счастьем.

## СВЕТ БОЖИЙ

В войну он ослеп после тяжёлого ранения.

Долго лежал в госпитале. В итоге комиссовали.

Приехал домой, завёл семью. По утрам выходил встречать рассвет, чувствуя луч солнца на лице. Обстоятельно, не торопясь, управлялся по двору: закладывал корове сено, колот дрова, носил воду. И всё — на ощупь. Руки заменили глаза.

Однажды навестил его друг детства. Виделись они давно, ещё до войны, и он не узнал голоса.

— Это какой Ваня?

— Да Ванюшка, не помнишь, гусей пасли разом, Шмак!

Теперь он уловил в изменившемся голосе какие-то знакомые отзвуки, а кличка и вовсе рассеяла сомнения. Стянутые шрамами веки часто заморгали. Но слёз не было.

Друзья обнялись и ощутили вроде что-то своё, близкое, родное и вместе с тем отчуждённо-крупное, заматерелое.

— Дай на тебя посмотрю.

Он поставил друга против солнца, протянул к нему руки. Тронул плечо.

— О как тебя вымахало!

— Дык и тебя — не меньше!

— И седой весь...

— Как видишь?

И вдруг, бросив кисти рук на лицо, слепой начал ощупывать подбородок, виски, лоб...

Пальцы натыкались на брови, западали в глазницы, оглаживали скулы. Казалось, это были руки ваятеля, лепившего своё выстраданное творение.

Узнал!

— Ну, как живёшь?

— Да ничего, слава Богу. А ты?

— Да я... Что я?..

Присел на бревно, пробуя рукой, где ровнее, пригласил, облюбовав место ощупью, друга.

— Топор, дрова, где рубить. Колодец, где верёвка, а где зацеп... Всё вот этими... — протянул руки ладонями вверх, показывая не в меру припухшие подушечки пальцев.

Помолчал минуту, добавил:

— Двадцать лет смотрел на свет божий и вот уже почти пятьдесят, как не взвидел его...

## ГРУДЬ ГЕРОЯ

В сельском клубе вручали ветеранам войны юбилейные медали. Выстроились в алых галстуках почётной линейкой пионеры, ударили дробью барабаны. Притихли на сцене, в президиуме, бывшие воины.

Вызывали по очереди, согласно алфавиту, чтоб никого не обидеть.

Поднялся из президиума, вышел к рампе сцены Косицын Анатолий Ильич, офицер войны, разведчик. В школе его принимали в почётные пионеры, и он показывал палец, прокушенный фрицем, когда брали “языка”. Сам неказистый, к старости ещё больше усох — одна грудь выделяется, точно кольчужка, вся в орденах и медалях.

Стали цеплять новую, а некуда: грудь маленькая — наград много. Медальонку с трудом прикололи где-то под рукой.

А юбилей-то ещё впереди!

## РОДНЫЕ МОГИЛЫ

Её отец во время войны ушёл на фронт и пропал без вести. Сколько лет прошло, а как встретит где братскую могилу — сердце ёкнет: может, он здесь?..

Подойдёт, замирая, к ограде, перебирая поспешно фамилии, и не найдёт, а не верится: сколько ошибок понесла война... Следопыты до сих пор открывают имена погибших.

Посмотрит на обелиск с безверием и верой, без надежды и с надеждой — и все могилы становятся ей родными...

Не так ли и могила неизвестного солдата: ничья — и каждого.

ВЛАДИМИР КАЛУЦКИЙ

## ПЯТЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ

Богатырь Великой Отечественной, иногда ловлю себя на том, что Господь щедр ко мне. Каждое утро даёт мне и новый день, и свежие запахи травы, и книги. Одной из таких книг стала для меня эпопея Владислава Мефодьевича Шаповалова “Белые берега”. К своему горю и к счастью одновременно, я прочёл роман только что. К горю, потому что такие книги должны входить в нашу жизнь с детства, а я был лишён такой возможности. Здесь есть всё — и история страны, и судьба человека одновременно. Причём в качестве главных героев я выделил отца и сына Бороздиных. Простая, как мы бы сказали, советская семья рядового советского врача. Кабы не война, Бороздины, пожалуй, лично так и не проявились бы и вряд ли бы “дотянули” до главных действующих лиц романа. Но вот она грянула и пришла к ним в дом. Ни спрятаться, ни отсидеться никому не удалось. И тут для меня в “Белых берегах” открылся некий момент истины, возникли качели: что же всё-таки главное в романе — судьба семьи или перипетии войны? Автору, понятно, близки обе эти темы, но мне кажется, что Владислав Мефодьевич всё-таки писал историю семьи на фоне войны, а не наоборот. Может, он не согласится с такой точкой зрения — я и не настаиваю. Но тема личностного мне вообще близка, и потому я понял роман так, как понял.

Бороздин всю жизнь стремился быть вне политики. Но общество было устроено так, что человек всегда и постоянно находился в гуще политики, отчего Бороздин-старший мучился. Он хотел быть вне войны — естественное состояние человека, хотел жить обыкновенной и простой жизнью, но в том мире, который устроен на земле, это невозможно.

По мере прочтения романа меня всё время уводило в сторону обобщений. Ибо в книге Владислава Мефодьевича слишком зримо присутствует вся война, и так получилось, что, пройдясь по страницам романа, я попытался восстановить для себя истинную историю мировой бойни. Я читал, обложившись словарями и топографическими картами, и ещё раз убеждался, что прочесть эту книгу должен был ещё лет тридцать назад.

Но в таком позднем прочтении есть и большой плюс. Всё-таки я был основательно подготовлен к прочтению “Белых берегов”, даже не подозревая об их существовании. И теперь имею возможность подтверждать положения книги поднакопленными знаниями. И книга укрепила меня в них. Маленький штрих, к примеру, хотя, может быть, это главный мазок и произведения, и всей войны. Поздние рецензенты, пусть и не напрямую, обвиняют Владислава Мефодьевича в антисемитизме. Но он ведь не обидел в книге ни одного еврея. Он лишь поднаметил тенденцию общей ответственности за войну — и немцев, и англичан, и русских, и евреев. Но я позволю себе высказаться жёстче. И для этого возвращаю вас ко временам Первой мировой войны. Разверните, например, “Атлас офицера” Советской Армии, скажем, издания

1948 года. И проследите за линией тогдашнего Западного фронта. И вы увидите сплошную полосу окопов от севера Франции до Италии. Сплошную, да не очень. Из войны как бы выпала территория Швейцарии. Это потому, что она была общим банком воюющих держав. Именно там держали свои капиталы люди с одинаковыми еврейскими фамилиями, финансировавшие обе воюющие стороны. Трогать Швейцарию не смели ни Пуанкаре, ни Вильгельм, потому что целиком зависели от тех же Ротшильдов, размещавших в их странах военные заказы.

Сущность Второй мировой войны яснее всех выразил президент США Гарри Трумэн: “Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, мы будем помогать России, если будет выигрывать Россия, мы будем помогать Германии. Пусть они убивают один другого как можно больше. Нам от этого только польза”.

Война, как всё у вечных ростовщиков, оказалась чистой бухгалтерией. Эта “бухгалтерия” развязала Вторую мировую войну, определила количество жертв в сто миллионов.

А то, что в эту цифру войдут миллионы невинных их же собратьев по крови, им наплевать. Ведь евреи “внизу” для этой “бухгалтерии” такой же материал, как и другие народы.

По главному счёту, книга “Белые берега” — это не только литературное откровение. Я не знаю более признательного сыновнего “спасибо” своему родителю, чем этот отточенный труд. Посвящение к книге задает ей тон и настраивает душу читателя на разговор серьёзный, трудный, на размышление о себе и об эпохе. “Нет тебе ни памятника, ни холмика...” И сразу вспоминается скромная, почти неразличимая в осенней листве могила Льва Толстого. Стоишь рядом с неприметным местом — а сколько чувств бушует тебя!.. Вот так и вступление к “Белым берегам” словно приоткрывает новый неведомый мир и создаёт загадку, отгадкой к которой является сама книга. Может ли сын слукавить перед памятью родителя Мефодия Михайловича? Нет, перед нами книга-правда, книга-совесть, книга-мастерство.

И это бесспорно, потому что каждая страница книги есть тщательно выверенная и великолепно исполненная работа. И какой бы части мастерства мы ни коснулись, всюду найдём подтверждение этих слов. Во-первых, Владислав Мефодьевич выступает здесь как настоящий чудесник языка. Он продолжает традицию классиков, где каждого узнаешь по паре строк. “Крикнул часовой. Он так же, сжав от холода в кулачки, держал за дуло карабин культей перчатки с пустыми опалыми сосками пальцев... в мелкой, похожей на срез яйца с тупой стороны каске... походил чем-то на вспугнутую болотную птицу”. Во-вторых, писатель создал осязаемые, узнаваемые образы героев. Причём достигает он этого не путём простого описания, а через прямую речь, через поступки:

— “Габриэль, — указал на себя старший и перевёл немый палец на своего напарника: — Янелло.

— Я — Гриша, — представился дядя Гриша.

— Ягриша? — произнёс одним словом Габриэль”.

Можно долго писать о несовместимости мировоззрений оккупантов и местных жителей, а можно вот так, через диалог, в несколько слов вместить эту несовместимость. И у Владислава Мефодьевича в “Белых берегах” эта говорящая немногословность во всём — даже в описаниях природы. А она у него особая, чарующая, живая, она — участница событий. “Знакомо, до боли знакомо пролегла тысячу раз исхоженная улица. Пирамидальные тополя — дневные свечи — у окон выстроились в ряд... Разве может быть страшно, где каждый бугорок обласкан босыми ногами! Где каждая половица помнится сучком! Где вечный, свой... запах родного очага?!”

Разве может своя земля быть страшной? Это боль за судьбу героев, сплавленная в общую боль за всю многострадальную Родину. Причём боль без озлобленности: как мне показалось, Владиславу Мефодьевичу жалко всех — и оккупантов, и оккупированных. Он сумел подняться выше злободневных страстей, и это не та точка “над схваткой”, откуда на мир глядит безучастный повествователь. Это позиция мудрости, с неё хорошо видится губительность войны для всех участников, куда бы ни был направлен солдатский штык. Война пожирает всех без разбора.

Только участник войны мог написать такую книгу. И это даёт мне право утверждать, что “Белые берега” — это книга-документ, книга-предупрежде-

ние. Пример её героев — это наглядное подтверждение той истины, что чужой беды не бывает, и набатное напоминание каждому об ответственности за свои поступки.

В романе есть стержневая линия, с которой необязательно соглашаться. Но именно на неё, как на штык, нанизана эта книга. Осторожно, чтобы не вступать в спор с читателями и книги, и этой рецензии, обозначу её как национальную. Или наднациональную, если хотите. Моему поколению такой войны, слава Богу, не досталось, и оттого нам судить писателя как бы не с руки, если хотите — не по чину. Но я уже сказал, что “Белые берега” — это книга-предупреждение. Можно не разделять его мнения, но прислушаться к опасениям писателя нужно. Поверьте: он выстрадал и знает больше нашего. И он не лукавит.

А теперь посмотрите на карту Второй мировой войны. Правильно! У Гитлера, который мог проглотить “златокипящую” Швейцарию за полчаса, как хохол галушку, и мыслей не было оккупировать принадлежавшую еврейским банкирам страну. Потому что ни-з-зя... Потому что свой вермахт он питал от тех же корней. И как-то после этого не очень верится в “окончательное решение еврейского вопроса” по гитлеровскому варианту. Кто кого ожесточеннее уничтожал — это ещё вопрос.

... Вот ведь какие мысли всколыхнул превосходный роман первоклассного русского писателя Шоповалова. Я умышленно не перехожу на детальный разбор “Белых берегов”, ибо на каждой странице нахожу повод для размышления и ухода вглубь исследований. Но эта книга — не только труд для читателей, но и своеобразный учебник для писателей. Со времён прозы XIX века я не встречал в нашей литературе столь превосходного русского языка. Не случайно образец его художественного слова вошёл в учебник русского языка, по которому учатся дети страны и где блещут имена классиков А. Пушкина, Н. Гоголя, М. Лермонтова, И. Тургенева, Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова, И. Бунина...

Рецензенты укоряют автора в украинизмах, но они — всего лишь разновидность нашей общей родной речи. Они несомненное достоинство книги уже сами по себе и совершенно необходимая составляющая в прямой речи героев романа.

Удивительно и то, как умело, ненавязчиво автор проводит по всей книге тему большой войны. Это редкий дар — показать большое на фоне малого. Но у Владислава Мефодьевича это отлично получилось. Словно вскользь, между делом, вписаны в книгу страницы большого мира, но как же они характеризуют время: “Мимо, к фронту, пронеслись эшелоны с небольшими товарными вагонами, набитыми шинельной солдатней, с платформами, ломящимися под гнётом танков, с двумя-тремя зелёными пассажирскими вагонами посередине для офицеров. На платформах, у зачехлённых танков, стояли бабами скифских времён охранники в тулупах с поднятым выше головы воротником, в тяжёлых — не передвинуть ногой — соломенных ботах поверх сапог, в шарфах, оставляющих одни глаза, с винтовкой прикладом подмышку в скрещённых на животе руках; в окнах пассажирских вагонов мелькали за стеклом раздетые офицеры в подтяжках по нательному белью. А навстречу им пролетали, не останавливаясь, другие эшелоны — закрытые недоступные лазареты. Мелькали в окнах, посечённых верхними полками, подвязанные руки, забинтованные головы”.

В маленьком отрывке — почти фотографии момента — средоточие всех несчастий войны. Здесь и подневольные солдаты, и такие же обречённые офицеры, да и сама обстановка грядущей смерти — всё работает на тему безумия бойни. Не случайно навстречу готовому отправиться на фронт эшелону выскакивает другой — уже отбывший там своё: состав-калека, почти отражение первого, завтрашнего. И как бы вскользь оброненное упоминание о скифской каменной бабе насмерть припечатывает Вторую мировую войну к тысячелетней истории человеческой глупости. “Ничему не научила история людей”, — как бы говорит писатель.

И здесь, на мой взгляд, мы касаемся самой пронзительной струны произведения — темы любви и ненависти. И так получается, что маленькая любовь Миши неотделима от любви к большой Родине, а ненависть к предателю соразмерна с мысленным уничтожением всей фашистской нечисти. И это хорошо видно в финале книги, самом последнем, ударном её абзаце: “... Миш-

ка с надрывом, без передыху грёб воду обломком доски и уже на середине пути ощутил, как с одной стороны, сзади, ему в спину, и с другой, впереди, в грудь, ошетинились тысячи угрожающих дул, и он впервые подумал, что очутился меж двух огней и плывёт из одной безвестности в другую...

Он плыл между ненавистью и любовью, но на войне и одно, и другое равно смертельны для честного человека. Мне близко ещё и то, что Владислав Мефодьевич выступает в романе настоящим патриотом. Книга его, чувствуется, болит в самом авторе — участнике той войны. И всё, что он написал, он имел право написать. Он обязан был написать хотя бы затем, чтобы я теперь мог доскональнее изучать по ней время и эпоху. И хочется верить, что она же поможет неведомому мне художнику сложить новый эпос о Войне и Мире, хотя и сами «Белые берега» — уже эпос. «Земля везде была арестованной», — точно замечено автором по ходу повествования. В моей фамилии от войн за родную землю не уклонился никто по мужской линии. Прапрадед Платон Саввич вместе с молодым Толстым держал Севастополь, дед Павел Христианович едва не сложил голову в армии генерала Самсонова, отец Устин Павлович не расписался на рейхстаге только потому, что по мальчишескому росту не дотянулся до серого камня белым мелком. Сволочь-война нашла моих сыновей Владимира и Ярослава уже внутри себя, на Кавказе. И если кто-нибудь попрекнёт меня в предвзятости к книге Владислава Мефодьевича, я отвечу. Я имею право сказать, что любая ложь в оценке войны приводит к новой войне. А у меня уже растёт внук. И я не хочу, чтобы от моего малодушия ему досталась своя война с её «арестованной землёй». И помогой мне в этом — «Белые берега» Владислава Мефодьевича Шаповалова.

Низко кланяюсь и своему отцу — фронтовику Устину Павловичу, и писателю Владиславу Мефодьевичу Шаповалову. Я тут посчитал: если совокупить их годы и обратить в прошлое, то окунемся мы почти в грозу 1812 года. Какая история уже в возрасте ветеранов! И, глядя рядом на нас, нынешних, я вынужден повторить слова поэта о нас: «Богатыри — не вы».

А они — богатыри.

## ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ

### *К итогам II конференции “Наследие Ю. И. Селезнёва”*

Селезнёвская конференция — детище Юрия Михайловича Павлова. Так же, как и Кожиновская, которую он организовал и 10 лет проводил в Армавире, где профессорствовал в Педагогической академии. Недавно Юрий Михайлович перебрался в Краснодар и уже второй год проводит чтения памяти Ю. И. Селезнёва.

Прямая связь с Кожиновской конференцией очевидна: Юрий Селезнёв был учеником и ближайшим сподвижником Вадима Кожина. Первоначально предполагалось, что встречи в Краснодаре и Армавире будут дополнять друг друга. Но Педакадемия без Павлова начинание не потянула. Так всё и держится в России на жертвенной энергии одного подвижника!

Юрий Павлов — подлинный подвижник. Не просто известный учёный, доктор филологических наук, профессор, замдекана факультета журналистики Кубанского госуниверситета, Юрий Михайлович — просветитель. Он приобщает к высшим достижениям современной отечественной литературы и русской мысли, ошеломляя слушателей открывающимися духовными горизонтами. Именно так отзываются о нём его бывшие ученики, занявшие ныне профессорские кафедры не только в кубанских, но и в московских вузах.

Конференции, которые проводит Павлов, отличает поразительная свобода в выборе тем и жанров выступлений. Никакой зарегулированности, наводящей скуку на участников научных бдений. Быть может, сказывается темперамент организатора. А может, дело в личностях В. Кожина и Ю. Селезнёва. Оба были не только литературоведами и критиками, но и общественными деятелями, мыслителями.

Вот и на этой конференции лингвистический доклад доктора филологических наук А. Факторовича соседствовал с содержательным сообщением студентки второго курса А. Петровой “Фильм Николая Бурляева “Лермонтов” — невоплотившаяся книга Юрия Селезнёва”, вдохновенная писательская импровизация В. Лихоносова — с презентацией нового издания статей Ю. Селезнёва, проведённой составителем сборника С. Куняевым.

Павлов приглашает на конференции не только филологов, но и писателей, что оживляет дискуссии. И главное — придаёт исследовательскому процессу глубину: те, кто изучает литературу, и те, кто её создаёт, обогащают и поверяют друг друга. В прежние годы к кубанцам приезжали Л. Бородин, В. Личутин, В. Бондаренко, А. Воронцов. В этом столицу представляли Ю. Козлов, Л. Сычёва, С. Куняев, А. Казинцев, издатель В. Волков.

И всё-таки главная изюминка, отличающая павловские конференции, — участие молодых авторов. Может быть, в этом более всего сказывается традиция Кожина — Селезнёва. Помню, Вадим Валерианович говорил мне, начинающему сотруднику “Нашего современника”: “Саша, привлекайте молодых! Мои сверстники (Кожину было тогда 50. — А. К.) основные свои идеи уже высказали. Новое слово призваны сказать молодые, не израсходовавшие свой творческий потенциал”.

Правда, сам Вадим Валерианович после этого памятного разговора нашёл в себе силы, чтобы предстать в новом качестве — мыслителя-историософа, что ни в коем случае не обесценивает его призыв делать ставку на молодых. В конце концов, это им создавать литературу завтрашнего дня.

В Армавире в качестве многообещающих дебютантов побывали Р. Сенчин, С. Шаргунов, З. Прилепин. Позднее Захар с триумфом выступил на Кожинской конференции уже как лидер современной литературы. На II Селезнёвские чтения в Краснодар были приглашены прозаики из “поколения двадцатилетних” — Е. Тулушева и А. Тимофеев. Они хорошо знакомы читателям “Нашего современника”. Журнал их открыл, щедро предоставляет им свои страницы, пропагандирует их творчество.

Их выступления прозвучали на фоне доклада известного критика профессора А. Татаринова “Проза молодых традиционалистов (А. Антипин, Е. Тулушева, А. Тимофеев)”. Доклад и последовавшая за ним оживлённая дискуссия, в которой приняли участие и сами молодые авторы, и сотрудники “Нашего современника”, и В. Лихонос, стали эмоциональной кульминацией конференции.

“Селезнёвские чтения произвели на меня огромное впечатление, — призналась одна из студенток, — я несказанно рада, что мне посчастливилось познакомиться с талантливыми молодыми писателями, главными редакторами известных журналов... После таких встреч в человеке, несомненно, что-то меняется, он начинает смотреть на мир иначе, он хочет больше читать, больше думать, больше писать, больше знать, а главное — уметь анализировать то, что знает”.

А вот мнение прозаика Андрея Тимофеева: “Всякий раз, когда участники конференции собирались вместе, на самом ли заседании в актовом зале, за щедрым кубанским столом или во время совместной поездки на море и в горы, меня поражало удивительное единение всех перед лицом русской идеи. Несмотря на жаркие споры, здесь действительно собрались единомышленники — и писатели, и критики, и преподаватели факультета журналистики КубГУ. “Мы здесь все люди православные...” — как-то даже без особого акцента, как о само собой разумеющемся, сказал кто-то за столом. И это было удивительно!

Я уезжал в радости, окрылённый мыслью о том, что если бы в каждом городе России был такой университет и такой факультет, может, была бы у нас уже другая страна — и выросло бы вскоре то новое поколение русских людей, любящих Россию “и в целостности её истории, и в её современном состоянии”, чувствующих неразрывную связь с великой русской литературой, полагающих основание своей жизни в служении Богу и родине”.

По итогам первой Селезнёвской конференции был издан роскошный том выступлений участников. Надеюсь, что такое же издание подведёт итог и нынешних чтений. А пока редакция “Нашего современника” публикует доклады заместителя главного редактора “НС” публициста А. Казинцева и главного редактора журнала “Роман-газета” прозаика Ю. Козлова.

**Александр КАЗИНЦЕВ**

ВИКТОР ПАСТУХОВ



## РУССКИЙ МОСТ

\* \* \*

*Не нужно мне солнце чужое,  
Чужая земля не нужна.*

М. Исаковский

Мне не нужна страна чужая:  
её порядки, грязь и шик.  
Я к тайникам родного края  
и к родникам его приник.

К его молитвам и урокам,  
где я — лишь робкий ученик.  
К его напевам и дорогам,  
где русский корень и язык.

Забытый всеми, умирая,  
не изменю земле своей.  
Мне не нужна страна чужая.  
И я, чужой, не нужен ей.

---

*ПАСТУХОВ Виктор родился в Приморье. Окончил электротехнический институт. Преподает автоматизацию энергосистем. Публиковался в журнале “Наш современник” и в альманахе “Литературный Владивосток”. Автор трёх стихотворных книг. Живёт и работает во Владивостоке.*

## ПРОРОК

*Востань, пророк, и виждь, и внемли...*

*Глаголом жги сердца людей.*

А. С. Пушкин

С экранов и трибун во всей красе,  
со всех боков историю потрогав,  
в пророки почему-то лезут все,  
давя попутно истинных пророков.

А те сквозь толчею и гомон свар,  
не замечая ссадин и затрещин,  
несут веками выверенный дар,  
который только избранным обещан.

Особый дар, вручённый как завет  
вещать глухим, стучаться к бесноватым,  
в сплошной ночи предчувствовать рассвет  
и быть во всех несчастьях виноватым.

Не в силах лёд гордыни расколоть,  
глас духовидца гневен и тревожен.  
А человек то ублажает плоть,  
то вынимает скорый меч из ножен.

И тут — не замолчать, не повернуть,  
покуда Дух Святой пророком движет,  
но видящий отыщет верный путь,  
а слышащий слова его услышит.

\* \* \*

Когда провис дырявый парус,  
а после залпа — в днище течь,  
когда наружу рвётся ярость  
и рать обидчиков не счесть,  
к тебе взываю: помни жалость,  
любви врагов своих, душа,  
врагами Божьими гнушаясь,  
врагов Отечества круша!

## РУССКИЙ МОСТ

Морское кладбище на сопках.  
По склонам холмики кругом.  
Как будто тысячи усопших  
крадутся к берегу ползком.

Всё больше, судя по табличкам,  
недавно сильных, молодых,  
чьи души выбором трагичным  
ушли из воинства живых.

Но все мы здесь на службе срочной.  
А жизнь, шагая за погост,  
через пролив Босфор Восточный  
для пополнения строит мост.

Оно сойдёт когортой дерзкой  
на Русский остров, где готов  
и кампус университетский,  
и полный штат профессоров.

И сколь бы беды ни грозили,  
и враг ни строился в ружьё,  
из края в край по всей России  
возрастает воинство её.

## ТВОРЕЦ

Живут в язычестве народы,  
во тьме, не ведая того,  
что Бог не вышел из природы.  
Она — творение Его.

Что Бог не солнце, не планета,  
не стражник недр или высот.  
Он просто взял и создал это.  
Сам — вне материй и пустот.

Смыкая время и движенье,  
Он в неохватности един.  
Для всякой жизни — уложение,  
Для всякой твари — господин.

Бог есть в душе и во вселенной,  
но, как мы ни вообразим,  
Он выше наших представлений  
и потому непостижим.

Он разделил моря и землю,  
потоки плазмы, свет и мрак.  
И я таким Его приемлю  
и ощущаю только так.

---

---

*Поздравляем нашего дальневосточного автора с юбилеем!*

ЛЮДМИЛА МИХЕЙКИНА



## РЕАНИМАЦИЯ

### РАССКАЗ

— Эта история невыдуманная, — говорила Наташа подруге, сидя на скамейке в парке. — Случайна ли? Не знаю, но, может, лучше этого и не знать.

В тот вечер Наташа, как обычно, набрала номер телефона матери. Не дождавшись ответа, она подумала: “Наверное, вышла на улицу”. Погода за окном была чудесная, над оранжево-жёлтой листвой разливался мягкий солнечный свет. Она знала, что мама любит прогуливаться неподалёку от своего дома у берега реки: её больше привлекали места, оживлённые природой, чем шумные городские улицы.

В свои 79 лет Татьяна Павловна была достаточно энергичной женщиной, чтобы позаботиться о себе, но с тех пор, как умер её муж, отец Наташи, жила одна, и дочь каждый день звонила ей по телефону. Ей, конечно, хотелось бы, чтобы Наташа чаще приезжала, но повседневная суета оставляет мало времени для встреч.

В начале сентября они вместе съездили в парк Победы. Поездка была своеобразной экскурсией, организованной Наташей.

Татьяна Павловна удивлённо рассматривала аккуратную, выложенную широкими плитами набережную, и вспоминала, как это место выглядело в её молодые годы. Её восторженный взгляд схватывал картины ярких осенних цветов на широких клумбах, нежные оттенки голубых елей и серебристые, взмывающие многоярусными струями фонтаны воды, искрящейся в последних лучах сентябрьского солнца.

---

*МИХЕЙКИНА Людмила Сергеевна родилась в 1955 г. в Минске. Окончила Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В. В. Куйбышева. Автор книги повестей и рассказов “Дорогами любви”, романа “Неизведанное тепло” и поэтического сборника “Такая большая короткая жизнь”. Живёт в Минске.*

Она шла и радовалась не меньше, чем пробегающие мимо дети, с гордостью повторяя:

— Какая красота! Всё сделано для людей! Как же здесь хорошо!

Старые люди умеют быть благодарными за заботу, которая касается не только их лично.

Не дозвонившись до мамы днём, вечером Наташа снова набрала номер её телефона и долго держала трубку. Может быть, Татьяна Павловна на кухне, услышит звонок и, наконец, подойдёт. Через несколько минут в телефонной трубке раздался щелчок, её как будто сняли, послышался лёгкий шорох, невнятный звук, похожий на шёпот, после чего шумы прекратились. Наташа обеспокоенно спросила:

— Мама, ты меня слышишь? Что с тобой? — не дождавшись ответа, повторила она. — Я сейчас приеду.

Быстро положив трубку, Наташа снова сняла её, набрала тот же номер, но в ответ раздалась лишь короткие гудки.

— Что-то случилось, надо срочно ехать, — взволнованно сказала она мужу, взяв ключи от маминой квартиры. Стоянка такси была напротив их дома, и через пятнадцать минут они были уже на месте.

Татьяна Павловна лежала на полу в старенькой застиранной сорочке у расстеленной кровати. Наклонившись, Наташа осторожно тронула её за плечо.

— Мамочка, что с тобой? — испуганно спросила она.

В ответ раздался отрывистый стон. Наташа подняла с ковра упавшую с аппарата трубку и дрожащими пальцами набрала номер телефона “скорой помощи”. Пока она отвечала на бесчисленные вопросы врача, ей казалось, что они теряют слишком много времени.

— Чтобы понять, какую бригаду направить, нужна самая полная информация, — пояснили ей на другом конце провода.

“Скорая помощь” прибыла быстро, но десять минут ожидания Наташе казались вечностью. Положив трубку на рычаги, она снова сняла её, набрала “103” и спросила, можно ли поднять женщину с пола и что можно сделать до приезда врачей. Получив рекомендации, они с мужем положили Татьяну Павловну в постель, что оказалось совсем непросто. Женщина невысокого роста и среднего телосложения в бессознательном состоянии была неестественно тяжёлой. Наташа слегка увлажнила ей лицо водой.

Раздался звонок, и в комнату вошли три молодых врача в бордовых халатах: две женщины и мужчина. Наташа торопливо рассказала им, что произошло за последние минуты. Обратившись к неподвижно лежавшей женщине с вопросом и не получив ответа, врачи, коротко переговариваясь, засуетились возле неё, доставая из саквояжа иглы и приборы.

В этой так хорошо знакомой комнате Наташа чувствовала себя бесполезной. Родной человек, который ещё вчера ходил и говорил, сегодня лежал неподвижно, и она ничем не могла помочь. Только быстрые движения врачей говорили о том, что мать жива и продолжается схватка жизни со смертью.

— Она в коме, нужно везти в реанимацию, — коротко сказала женщина-врач, записав паспортные данные больной. — Найдите мужчин, чтобы снести её на носилках вниз.

Наташа вышла в общий коридор. На её просьбу сразу откликнулись соседи.

В чистой, но старенькой сорочке, хранившей привычную мягкость и тепло, с которой Татьяна Павловна ещё не готова была расстаться, хотя в шкафу лежали другие, новые, её завернули в шерстяное одеяло без пододеяльника, которое Наташа вытащила из шкафа. Она взяла на полке одну из аккуратно сложенных стопкой рубашек и хотела переодеть мать, но врач сказала:

— Не надо, в реанимации всё равно снимут.

— Сорочка, которая на ней, совсем ветхая, — смутилась Наташа.

— Это неважно. Видно же, что женщина чистая, никаких запахов нет, не будем задерживаться, — поторопила врач.

Наташа с мужем сидели в машине рядом с носилками, и она поддерживала беспомощно свисавшую мамину руку с зафиксированной в вене иглой.

— Надо же, видят, что едем с мигалкой, и никто не уступает дорогу, — возмущалась врач “скорой помощи”. — Вот, наконец-то пропустили, но это, оказывается, тоже свои.

Машина подъехала к приёмному отделению больницы вплотную, носилки быстро переместили на каталку и завезли в помещение. Женщина в белом халате настоятельно говорила неподвижной Татьяне Павловне, чтобы она сжала пальцы рук и пошевелила ногами. Наташа напряженно смотрела, как её мама слабо шевельнула ногой и медленно, не открывая глаз, слегка свела пальцы одной руки.

Между прибывшими и принявшими больную врачами состоялся непродолжительный разговор, из которого до Наташи донеслись слова:

— Она не разговаривала, спросите у родственников.

— Да, она не разговаривала, — подтвердила Наташа.

— Если ещё кого-нибудь привезёте, — услышала она, — класть будет некуда.

Красивая девушка в белоснежном халате, сидевшая за компьютером, спросила у Наташи номер её телефона. Наташа быстро назвала домашний, но засомневалась в точности цифр сотового. Когда она посмотрела на маленький светящийся экран, чтобы уточнить его, девушка, недовольно повысив тон, задавала ей уже следующий вопрос. Наташа была намного старше её, но возраст, как она заметила, всё чаще переставал быть показателем в отношениях поколений. Одни не хотели стареть, а другие охотно соглашались с иллюзией их молодости. Она понимала, что в своей растерянности выглядит глупо, ощущая на себе пренебрежительный и уверенный молодой взгляд, но происходящее вокруг казалось мелким и незначительным по сравнению с переполнявшей её тревогой. Для девушки в белоснежном халате это была обычная рутинная работа. Возможно, она привыкла к чужому горю или по своей душевной организации не способна понять состояние человека, столкнувшегося с ним, которому в этот момент тоже требуется поддержка, любая, пусть даже самая слабая. Когда-то таких девушек называли сестрами милосердия, но второе слово, по-видимому, не зря отбросили или просто забыли: “сестра” осталась, а милосердия нет.

В кабинете, расположенном рядом, за стеной приёмного отделения, Татьяна Павловне сделали рентгеновские снимки. Для этого потребовалось снять сорочку. Наташа помогла врачу разорвать её тонкую и слабую ткань. Так было легче. Каталка была узкой. Татьяна Павловна зашевелилась, и женщина в белом халате стала придерживать её, чтобы не упала. Не приходя в сознание, Татьяна Павловна застонала и заметалась. Наташа погладила её по обнажённому плечу и взяла за руку:

— Мамочка, потерпи, не двигайся, прошу тебя, — и мать неожиданно успокоилась. Затем её завернули в одеяло, в котором привезли, и подняли на лифте в реанимацию.

— Заходить в реанимацию нельзя, — сказали Наташе, и они с мужем остались на первом этаже. Через несколько минут им вернули одеяло и мягкий тряпичный комок, который недавно был сорочкой.

— Распишитесь, что ценных вещей при ней не было, и можете идти, — услышала она, отправляясь вслед за женщиной в белом халате.

— А у кого и когда можно узнать о её состоянии?

— У лечащего врача с восьми до половины девятого или после двенадцати, — ответила женщина, усаживаясь за стол.

Записав информацию и расписавшись в журнале, Наташа с мужем вышли на улицу. По пути к дому она позвонила по сотовому телефону младшей сестре и сыну и в смягчённых тонах, чтобы не напугать их, сообщила о случившемся.

Ночью Наташа уснуть не смогла. В восемь часов утра, отсчитывая минуты до этой ровной цифры, она набрала записанный на клочке бумаги номер телефона реанимации. Женский голос в трубке ответил, что её мама пришла в сознание, начала двигаться и говорить, и проходит дальнейшее обследование. Причина произошедшего не выяснена. Последовавший за этим вопрос показался Наташе странным.

— Скажите, что она за человек?

После непродолжительной паузы Наташа ответила:

— Прожила нелёгкую жизнь, много работала, без вредных привычек, строгая, волевая, с сильным характером, но отзывчивая и всегда готова прийти на помощь.

Наташа пыталась дать максимально объективную характеристику и одновременно понять суть вопроса. Может быть, мама категорически отказалась принимать какие-то лекарства? Она ими почти не пользовалась в повседневной жизни, не любила ходить в поликлиники и выстаивать в их многочисленных очередях. В молодые годы времени на себя не хватало, а теперь его было достаточно, но старые привычки сохранились. Если что-то болело, она ждала, пока пройдёт, простуду лечила своими испытанными средствами: малиновым вареньем, молоком с мёдом, горчичниками и травами, которыми когда-то лечила своих детей её мать. К счастью, болезни беспокоили её не слишком часто, словно чувствуя пренебрежительное отношение. А может быть, свежий воздух деревни, где прошло её детство, и физический труд на земле создали свой естественный запас прочности. Правда, в детстве в бедной многодетной семье она недоедала, но голоданием теперь даже лечатся современные люди, которые не знают, что такое настоящий голод.

После двенадцати часов можно было встретиться с лечащим врачом, и Наташа поехала в больницу.

— Попасть сразу в реанимацию — удел людей, которые не следят за своим здоровьем, — сказала ей молодая женщина в белом халате. — Ночью ваша мама вела себя неадекватно. Чтобы она не навредила себе, мы вынуждены были зафиксировать ее на кровати и сделать успокоительный укол.

Наташа взволновалась:

— Может быть, она испугалась, очнувшись ночью в незнакомом месте?

— Может быть. Медсестра сказала, что она обругала её матом.

Увидев на Наташином лице изумление, она добавила:

— Верить или нет, это ваше дело.

Наташа не знала, как выходят люди из комы, но хорошо знала нетерпимое отношение Татьяны Павловны к нецензурным словам. Ей показалось, что врач что-то путает и речь идёт о ком-то другом.

— Я хочу, чтобы вы поговорили с ней, — продолжила молодая женщина. — Вы лучше можете понять, не произошло ли с ней каких-либо психических отклонений. Мы недавно сделали ей УЗИ, до этого нельзя было есть, а она постоянно требовала, чтобы её покормили, и удивлялась, почему в больнице не кормят.

Наташа подумала, что УЗИ можно было сделать и пораньше, проснувшийся к жизни организм диктует свои естественные права, и в этом нет ничего необычного. Она вспомнила, мама однажды рассказывала ей, как в детстве после уроков шла в поле, чтобы отыскать остатки гнилой картошки и испечь из них блин, это было сразу после войны. Тогда она могла переносить голод, а сейчас, когда продуктов стало много, её натерпевшийся организм отказывался с ним мириться. Ещё одно воспоминание из рассказанного всплыло в памяти. Когда выходила из бессознательного состояния мамина свояченица, первое, что она попросила, — поесть. В сельской больнице на столе рядом с нею сразу же появились продукты, которые собрали сельчане. По совету местного врача ей дали выбрать то, что потребовал организм в тот момент. Это было одной из составляющих её излечения.

Молча набросив на плечи голубой синтетический халат, который ей дала врач, Наташа прошла в палату.

Мама лежала под простыней, у неё были скомканные волосы и отёкшее лицо. Татьяна Павловна смотрела на дочь открытыми живыми глазами, но выглядела такой жалкой, что у Наташи сжалось сердце. Наклонившись, она поцеловала её в щеку, а женщина заплакала в ответ. Наташа испугалась: она не помнила, чтобы видела её когда-нибудь плачущей. Наверное, это было давно, когда кто-то умер. Собственные проблемы мама никогда не оплакивала, а всегда искала и находила способ, как их решить.

На тумбочке стояли две тарелки: одна — с супом, другая — с остывшей кашей и котлетой. Девушка-медсестра при помощи специального механизма приподняла спинку кровати, и первое, чего Наташе захотелось, — накормить мать. Если она просила есть, значит, её мучило чувство голода, кроме всего прочего, что может мучить человека, очнувшегося ночью голым и связанным под одной простыней в незнакомом месте? Чуть поодаль стояла кровать, на которой с закрытыми глазами и массой присоединённых к нему проводов стонал старик. За тонкой перегородкой, доходившей до середины палаты, стояли ещё две такие же кровати, на которых, не подавая признаков жизни, неподвижно лежали другие люди. Напротив перегородки был стол медсестры.

Наташа кормила маму супом, как изголодавшегося ребёнка, и рассказывала, как она попала сюда. Татьяна Павловна остановила её:

— Посмотри, нет ли у меня пятен на щеках.

— Нет, — удивилась Наташа, — а почему ты это спрашиваешь?

— Ночью, когда я проснулась, — сказала Татьяна Павловна, — за столом никого не было. Ремни, которыми я была связана, давили, мне было трудно дышать. Я хотела позвать кого-нибудь на помощь, но могла только стонать и испугалась, что у меня отнялась речь. Потом в палату вошла молодая девушка-медсестра. Она приблизилась ко мне и сказала: “Чего ты орёшь, старая падла? Может, стакан водки выпила?” Я застонала сильнее. Вырутавшись матом, она ударила меня ладонью по лицу. У меня разболелась голова, и “загорелись” щеки. Я промучилась до утра, пока не закончилось её дежурство.

В палату заглянула врач и, прервав Татьяну Павловну, позвала Наташу к выходу. Сменная девушка-медсестра подошла к её кровати.

— Я помогу вашей маме доест. Не волнуйтесь, эту медсестру накажут, — сказала она Татьяне Павловне.

Наташа ещё не успела осознать информацию, кажущуюся ей невероятной. В этот момент главным для неё было то, что её мама вернулась к жизни и возвращалась в состояние нормально говорящего и двигающегося человека, и это вызывало в ней доверие к молодой женщине-врачу, которая к тому же позволила ей войти и поговорить с ней. У входа в реанимацию висело объявление “сотовые телефоны не приносить”, с больными не было никакой связи, кроме как через лечащего врача. Уходя, Наташа сказала:

— Извините, если она вас чем-то обидела, но она в адекватном состоянии, и никаких психических отклонений у неё нет. Мы с сестрой никогда не слышали от неё ни одного нецензурного слова.

По пути домой Наташа приводила в порядок свои мысли. Она уже не сомневалась, что даже в бессознательном состоянии Татьяна Павловна не могла произнести чуждые ей слова. Кто-то и для чего-то пытался перенести их на неё. Она вспомнила, как недавно они ехали вместе в троллейбусе. В заднюю дверь вошла группа молодых парней и девушек, шумно расположившихся в конце салона. До Наташи доносились обрывки грязных фраз, сопровождавшихся громким смехом. Овернувшись, Наташа выразительно посмотрела в их сторону, но увидев бессмысленные раскрасневшиеся лица, сделать замечание не решилась и продолжала терпеливо молчать так же, как и все другие пассажиры троллейбуса. Вдруг Татьяна Павловна повернулась к бущущей толпе и возмущённо сказала:

— Что же вы свою красоту и молодость так уродуете? Перестаньте выражаться или выйдите из троллейбуса.

— Имеем право, мы талоны пробили, — ответил кто-то из продолжавшей веселиться компании, но голоса стали тише.

— Зачем ты так рискуешь? — взволнованно сказала Наташа, когда они доехали до своей остановки и вышли. — Неизвестно, чего можно ожидать от них.

— Они нормальные, просто разболтанные, поняли, что все боятся, и это их ещё больше раззадоривает. Возмутительно, что и девушки среди них есть.

Наташа, едва не потеряв мать, сейчас особенно остро поняла, как она ей нужна. Нет человека, к которому так тянулась бы душа, и нет человека,

который легко простил бы ей любое необдуманное слово. Нет любви бескорыстней, чем любовь матери, и нет ничего глупее обиды на свою мать.

На следующее утро Наташе позвонила молодая женщина, врач реанимации.

— Ваша мама прошла полное обследование, ей было предложено продолжить лечение в кардиологии, но она отказалась.

— Я приеду и заберу её. Если её жизни ничто не угрожает, она может продолжить лечение и в домашней обстановке, там ей будет лучше, — не задумываясь, ответила Наташа.

— Я не могу простить её, — сказала дома Татьяна Павловна. — Она же будет издеваться над беспомощными людьми дальше. Нужно куда-то написать об этом. Я сейчас поняла, почему она так со мной поступила. Она должна была всю ночь сидеть на посту, а когда привязала меня, то смогла уйти. Может быть, ей поспать хотелось или поговорить с кем-то. Она, наверное, не думала, что я заговорю. Когда утром она снова зашла в палату, и я сказала ей: “Я узнала вас. Это вы издевались надо мной ночью”, — она ответила: “Не докажешь, я тебя вижу в первый раз”. Она говорила мне “ты”. Это их сейчас так учат?

Наташа разделяла возмущение Татьяны Павловны, и ей точно так же хотелось предать огласке случай, который не выходил у неё из головы, но она сдержала свой порыв. А что, если мама опять попадёт в реанимацию в эти же руки? Заговорит ли она потом, выйдя из стен, скрытых от постороннего взгляда? Она решила, что разумнее будет промолчать, и попыталась убедить в этом Татьяну Павловну.

На следующий день она поехала в больницу, чтобы забрать эпикриз. Чем ближе Наташа подъезжала к медицинскому учреждению, тем сильнее у неё портилось настроение. Она вспоминала наполненные болью глаза своей матери, и это была не физическая боль. Она всё сильнее ощущала себя предателем, и не только по отношению к ней.

Забрав документы в кардиологии, Наташа направилась к выходу, но, не доходя до двери, свернула в сторону с табличкой “администрация”. Время совпадало с приёмом главврача по личным вопросам, однако секретарь направила её к заместителю. У кабинета никого не было. Наташа вошла, поздоровалась. Из-за стола на неё внимательно смотрела женщина средних лет. С первых слов Наташа ощутила холодную напряжённость её взгляда. Между ними как будто возникла невидимая стена, с одной стороны которой сидел готовый к защите своего учреждения руководитель, с другой — обыкновенная жалобница, то есть человек со скверным характером.

Наташа начала говорить, но сидевшая напротив женщина остановила её:

— Так. И что вы хотите?

— Чтобы вы меня поняли. Но я рассказываю, наверное, слишком подробно.

— Я знаю об этом, слышала. Во время обхода мне говорила то же самое ваша мама. Я предлагала ей продолжить лечение в кардиологии, но она отказалась, сказала, что чувствует себя хорошо и здорова.

Женщина явно не была настроена признать факт, который пыталась донести до неё посетительница. Частично эту информацию она уже получила от своих работников, которым принято больше доверять, чем другим, случайным, людям. К тому же, признать подобное не позволяла “честь мундира” и беспокойство за статус руководителя, который несёт ответственность не только за собственные действия, и Наташа могла это понять.

Женщина-руководитель долго и вежливо объясняла ей, какие галлюцинации бывают у больных, выходящих из комы, и как трудно доказать, что человека ударили, если нет видимых следов.

— Один старик, когда очнулся, даже сказал, что его здесь пытали, как в гестапо, маску на лицо надевали...

Она говорила осторожно, в общих чертах, словно речь шла об абстрактных ситуациях, а не о конкретных людях.

— Но в коме моя мама была совсем недолго, — прервала её Наташа. — Мы приехали к ней на такси сразу же, как только она смогла снять трубку, и “скорая помощь” быстро доставила её в больницу.

— А у вас были ключи от её квартиры?

— Да, у меня есть ключи. А следы от пощечин могут и не остаться, это же зависит от силы удара и физических особенностей.

Наташа понимала, что происходит естественная реакция самозащиты, и суть сказанного ею не доходит до сознания этой женщины, изначально настроенной все опровергнуть.

— У вас родители есть? — спросила Наташа после непродолжительной паузы.

— Нет, к сожалению. Мои родители умерли.

— Извините, — произнесла она. — Но у других они есть. Прошу понять, для чего я к вам пришла. Не для того, чтобы кому-то отомстить. Мне проще было бы направить письменную жалобу и дожидаться официального ответа. Но я не хочу, чтобы кто-то ещё оказался на месте моей мамы. На это место можем попасть и мы с вами, любой из нас.

Женщина задумалась, и Наташе показалось, что в её глазах промелькнуло что-то похожее на понимание, а жёсткая стена отчуждённости стала отодвигаться в сторону.

— Беда в том, — вздохнула она, — что выбирать не приходится. Очереди из медсестер к нам не стоят, и конкурса нет. Сегодня я её уволю, а завтра в другую больницу примут. Специалистов не хватает. Работа не из приятных, но, конечно же, раз уж она пришла сюда, это не даёт ей права бить людей. Это тоже, если бы она в ЖЭС пришла, а её там — по лицу. Я, конечно, разберусь, и мы накажем её и врача.

— А врача зачем? Наоборот, я должна быть благодарна ей за то, что в короткое время поставили мою маму на ноги.

— Она дежурила в ту смену.

— И из этого следует, чтобы не пострадал невиновный, я должна простить виновного?

— Знаете, молодых нужно учить. Из них со временем получаются неплохие специалисты. Тем более, где взять других? Я вам обещаю, что этот случай не останется без внимания. С врачом я поговорю, а медсестра будет наказана, и в дальнейшем мы за ней понаблюдаем.

— Спасибо, что вы меня правильно поняли, — ответила Наташа, направляясь к выходу.

— Спасибо, что зашли.

Как только Наташа закрыла за собой дверь, в кабинете раздался телефонный звонок, голос зам. главврача заставил её остановиться.

— Больные поступали?

— Двое тяжёлых. Заступила другая смена. Нам передали, что вы вызывали нас. Можно зайти?

— Нет. Уже не нужно. Вопрос закрыт.

Сомнение холодной змейкой вползло в душу. Это был возможный финал их разговора, о котором Наташа уже никогда не узнает. Её визит оказался бессмысленным, она никого не защитила. “Люди больше нуждаются в реанимации душевных недугов, чем физических, — подумала она, отходя от кабинета, — и ещё неизвестно, какой из них страшнее”.

— Галина Сергеевна, вызывали?

— Заходите.

Дежурный врач и четыре медсестры вошли в кабинет заместителя главврача. Окинув их строгим взглядом, женщина сказала:

— У вас родители, бабушки, дедушки есть?..

Это был второй возможный финал их разговора, о котором Наташа тоже никогда не узнает, но в который хотелось верить, как в то, что важнейшие проблемы решает не столько жёсткость законов, сколько понимание, — человеческое.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

## ...ПОКА КАПКАН СУДЬБЫ НЕ ЩЁЛКНЕТ

*Слово про Луговского*

**Советские мушкетёры**

В конце ноября 1935 года четыре советских поэта были командированы за границу.

Как выбирали?

Думается, по нескольким признакам. Поэты, представляющие Советскую Россию, должны быть очень талантливыми и не слишком в годах — иначе какие они “советские”. С безупречной биографией, с правильным происхождением, яркие. Хорошо воспитанные, политически подкованные, умеющие выступать, остроумно парировать, владеть аудиторией.

Выбор оказался не столь сложен.

Пастернак недавно был за границей на Антифашистском конгрессе и не самым лучшим образом себя показал, когда его вызвали на сцену — он едва смог за четыре минуты произнести несколько фраз. Неожидатель, что возьмёшь.

Каменский, Асеев — слишком взрослые, начали до революции, их, в сущности, за кордоном уже знали — те, кто хоть что-то знал; а нужно было удивить, ошарашить.

Твардовский, Исаковский — слишком молодые.

Корнилов, Смеляков, Павел Васильев — славились своими выходками, зачастую нетрезвыми, последний был к тому же явно неблагонадёжным. Прокофьев — слишком специфичен, со своей непередаваемой просторечной поэтической лексикой. Михаил Голодный пережил литературный кризис, а Василий Казин, едва обретя, сразу потерял форму (которую так и не вернёт никогда).

Поэтому — естественно, Луговской: безусловно советский, образованный, знающий языки, со своим великолепным голосом, с опытом оглушительно успешных выступлений по всей стране и, собственно, с прекрасными стихами: “Песня о ветре”, прочие “Большевики пустыни и весны” — лучше не придумать. А биография? Из семьи учителя, служил в Красной Армии, охотился за басмачами: красота.

Следующий козырь — Сельвинский: мастер, причём мастер, старательно перестраивающийся, если его просят перестраиваться; когда умер Маяковский — безапелляционно заявил, что претендует на его место и наследство, за что порядком был раскритикован — и тем не менее: ставил себя высоко и ставки имел высокие. К тому же — тот ещё полемист, с задатками литературного вождя — а то, что переболел конструктивизмом и прочим формализмом —

---

Окончание. Начало в №10 за 2015 год.

так на Западе это даже пригодится. Жизненный путь: в 19 лет прочитал “Капитал” Маркса и стал именовать себя Ильё-Карл. При “прежнем режиме” сидел в тюрьме, как политический. Участвовал в Гражданской войне, был ранен. Работал матросом, рабочим, артистом в цирке, едва не стал профессиональным боксёром — поэзия отвлекла. Биография!

Третьим, а, верней, первым мог бы поехать Николай Тихонов — но по каким-то причинам не поехал.

Было кем заменить: Семён Кирсанов. Благонадёжный, владеющий стихотворной формой, в известной мере отвечающий за советский авангард, именовав себя “циркач стиха”, много выступал с Маяковским, и такое соседство на сцене выдерживал. Из семьи портного, безоговорочно советский.

Тем не менее, все они числились как попутчики, за ними нужен был пригляд, поэтому трёх мастеров дополнили Александром Безыменским — поэтому весьма сомнительных качеств, зато проверенным партийцем и бойцом (и в переносном, и в прямом смысле — Безыменский участвовал в октябрьской революции 17-го). А то, что самое знаменитое своё стихотворение он посвятил Троцкому, а Троцкий в ответ написал ему предисловие к книжке, и предложил рождённому революцией поэту Безыменскому заменить отчество — на Октябрьевич, — так с кем не бывает. Никто не мог предположить на заре Советской власти, что Льва Давидовича в 29-м году выдворят из страны.

Кроме того, Безыменский и Луговской с одной стороны, а с другой Сельвинский и Кирсанов создавали правильный национальный баланс, который мог учитываться — он был бы неровен, если б вместо Луговского поехал, например, Михаил Светлов.

Советским мушкетёрам — Владимиру, Ильё-Карлу (ещё его в дружеском кругу зовут Сильвой), Семёну и Александру Октябрьевичу (см. выше) предстояло посетить Варшаву, Прагу, Вену, Париж и Лондон.

Безыменский отправлял подробные отчёты о поездке в Москву: в Агитпроп ЦК и в Союз писателей. Там их получали очень важные люди: например, А. С. Щербаков, который вскоре станет секретарём ЦК.

“Дорогие мои! — набивал себе цену Безыменский уже в первом донесении от 1 декабря. — Если вы справедливо считаете нашу поездку сочетанием учёбы с удовольствием, то для меня лично и то и другое переплетается с утомительным и трудным делом психологического руководства тройки весьма трудных человеческих экземпляров”.

Поездка началось сложно: вечер в Варшаве даже не стали проводить: “Пилсудчики, — сообщает Безыменский, — сделали бы всё возможное (а это в их возможности), чтобы на вечер явилось ничтожное количество людей”.

Встречались в гостинице с польскими поэтами Тувимом и Броневским. Гости жаловались на отношение к поэзии в Польше: тиражи не больше тысячи экземпляров, прожить на книги невозможно, никаких выступлений, Тувим кормился за счёт того, что писал куплеты для кабаре.

“Публика стихов не читает, не любит их, слушать не хочет”, — пересказывал Безыменской слова Тувима.

То ли дело советские поэты — с их тиражами и допечатками (например, Луговской только что выпустил сразу две объёмные, подводящие промежуточные итоги, книги — “Избранное” и “Однотомник”, в том же 1935 году журнал “Знамя” публикует его новые стихи в... восьми номерах подряд!), с их непрерывными гастролями, отдыхом на курортах, с толпами поклонниц и с неплохо обеспеченной — исключительно поэтической работой — жизнью.

Естественно, читали друг другу стихи, Тувим называл эту четвёрку “богатырями”, пытаясь вписать в это слово всё своё восхищение, заодно извиняясь за не самый благодарный приём в Польше.

“...Когда мы переехали чешскую границу, — рассказывает Безыменский, — сразу почуствовали все четверо всеобщее внимание, начиная с первых людей, встреченных в поезде”.

Встречали поэтов, естественно, на уровне посла СССР в Чехословакии; первое выступление прошло в посольстве — принимали хорошо; к тому же посол посоветовал спеть несколько песен — тут Луговской с его басом срывал банк.

На другой день ездили в Братиславу, смотрели постановку “Екатерины Измайловой” Шостаковича в местной опере.

В Праге на выступлении был полный зал — в основном местная молодёжь, и “левая”, и беспартийная. Безыменский констатирует: “Успех был оглуши-

тельным, прямо говорю. Можете судить по прессе. Даже самые правые газеты хвалили и признавали”.

Сельвинский напишет жене, что люди от восторга “орали, ревели, топали ногами”.

Безыменский выражает недовольство Кирсановым, зато о Луговском и Сельвинском пишет: “...ведут себя прекрасно. Кроме того, что они только и говорят о советской стране, её победах и переворотах, сравнивают людей Республики с теми ущербными и страдающими людьми, которых они встречают на каждом шагу, — эти поэты в условиях Запада необычайно искренне, от всего сердца чувствуют себя ЧАСТЬЮ поэтического отряда бойцов СССР... Когда их интервьюировали, они прежде всего говорили о ВСЕЙ советской поэзии, а потом уже о своём месте в ней”.

Что до Кирсанова, то вот что настукивает Безыменский: “Этот человек всюду суетится. Это его основное качество. Он всюду лезет вперёд, подчас не даёт никому говорить, желая показать именно себя “вождём” литературы и группы путешественников. Это он хочет разяснять спорные пункты, это он хочет определять политику.

<...>

Мне и (с радостью скажу) Сильве и Володе удалось исправить вред, причиняемый Сёмой. Сёмочка после наших поправок брал в разговорах слова обратно, вспомнил и о классовой борьбе, упоминал о других поэтах. Однако тенденции сего поэта нам видны. Иногда Сильва прямо говорит: — Сёма, помолчите хоть минутку — и хорошо, что именно он это говорит. На собрании четырёх был разговор, прямой и принципиальный, Сёма притих...”

Луговской собирает, а то и ворует всё подряд, что сгодится “на память”: открытки, салфетки, журналы, билеты, и попутно шлёт в своей традиционно возвышенно-патетической манере отчёты о путешествии своей жене — Сузи: “Переехали границу Швейцарии. Перевал Армберга в Тироли совершенно потрясает. Всё в снегу, глубоком и пухлом. Стоят миллионы сонных и белых елей и сосен. Долины то лиловые, то зелёные, то синие...”

По пути в Париж Луговской, единственный знавший французский в их компании, открывает свежую газету и удивляется: ба, да тут про нас, товарищи!

Газета “Эко де Пари” устами журналиста Анри де Кериллиса выражала негодование по поводу того, что их страна принимает четырёх большевистских поэтов. Статья называлась коротко и ёмко: “Вон из Франции!”

Ещё не приехали, а уже — вон. Поэты хохочут: они, конечно, таким приёмом ещё больше раззадорены.

В страну их впустили. Первые дни отдыхали, встречались с Луи Арагоном, с Андре Жидом, с Андре Мальро, ходили по кабакам, в чём даже Безыменский признаётся, хотя считает нужным добавить, что зланные заведения посещали “с приличными людьми”. Луговской, изучив меню, первым делом заказывает бычьи яйца. Остальные довольствуются более понятными блюдами.

На второй неделе пребывания, 10-го числа, Луговской катался на авто по городу в компании парижского приятеля Ильи Эренбурга — Бориса Яффе, корреспондента “Комсомольской правды” Савича и французского журналиста Путермана. Неизвестно как влетели под автобус (очередная авария Луговского) — все целы, травмы у него одного. Поначалу думал: сломал ребро, но Безыменский отчитывается в Москву, что — трещина.

Сузи Луговской напишет, что у него “3 ребра сломаны пополам”. Правда, судя по всему, была где-то посередине: травма оказалась серьёзной, чем трещина, но точно не три ребра пополам.

Луговской уверял, что компания была совершенно трезва, но Безыменский ему не очень поверил.

Все были на нервах.

Сначала Луговского поместили в совершенно кошмарную лечебницу на Монпарнасе — десятиместная палата, полная разномастной публики, но оттуда вскоре перевели в лучшую клинику.

Спустя то ли четыре дня, то ли, по другим данным, две недели, Луговской всё-таки выходит — с тростью — из больницы.

В конце декабря четыре поэта читают стихи для французского радио... с Эйфелевой башни. Переводит их Арагон.

4 января проходит поэтический русско-французский фестиваль в “Национальной консерватории”. Билеты раскупили за полтора дня. В зале — парижская интеллигенция и российские эмигранты, держащиеся особняком. Люди сидят на приставных стульях, на полу, между рядов.

Председательствовал Илья Эренбург, живший тогда в Париже.

Участвовали, помимо Арагона: Шарль Вильдрак, Жан-Ришар Блок, Люк Дюртен, Тристан Тцара, Леон Муссиак — всего 16 французских поэтов и четыре советских мушкетёра. Читали по очереди. Поэт Робер Деснос обнародовал свой перевод стихотворения Луговского “Молодёжь”, а потом Луговской прочитал то же стихотворение по-русски.

Безыменский хвастался, что после маломощных французов Луговской “так грохнул начальные строки своего стихотворения — аж люстры задрожали”.

Вообще все четверо держались bravо, сам Безыменский отлично спел три песни, входящие в его сочинение “Бахают бомбы у бухты”, Кирсанов исполнял фокстрот, вплетая его в чтение “Поэмы о Роботе”, а Сельвинский пропел по-итальянски песню “Марекьяре” из его “Охоты на нерпу”.

Всё это действовало совершенно обескураживающим образом: из зала могло показаться, что к ним приехали очень свободные, раскованные и уверенные в себе люди. Или так оно и было? Они же чувствовали себя послами удивительной и небывалой страны — это придавало сил.

О французах Безыменский отзывается иронически: “Их пребывание на сцене являло собой, честью заявляю, очень унылое зрелище. Они робели, как малыши, читали стихи по бумажке, дрожавшей в их руках...”

Тем не менее, во французских газетах не написали ни слова о том, что именно читали русские и французские поэты. Зато подробно описывали причину и фигуру Луговского, самого видного представителя советской делегации.

Эта элегантная черта зарубежной прессы — описывать чёрт знает что, кроме самого главного, была замечена ещё во время вояжей Есенина и Маяковского. “Приехал большевик с громовым голосом и отличной фигурой, он мог бы стать атлетом, а стал поэтом, багаж его составлял сорок чемоданов” — так выглядела среднестатистическая газетная колонка, сопровождаемая огромной фотографией того или другого стихотворца. Ну, вот им ещё одного красавца в компанию предоставили. “Эти советские поэты — такие милые!”.

По итогам всех встреч Арагон пишет возмущённое письмо в Москву о том, что Безыменский надоед своей безапелляционностью — в том числе по отношению к Кирсанову, зато: “Здесь мы очень довольны Кирсановым, Сельвинским и Луговским. Я говорю вам это не только с литературной точки зрения, но и с точки зрения партийной работы. Мы просим вас и впредь посылать нам таких же хороших товарищей, которые производили бы впечатление, являющееся лучшей пропагандой для Советского Союза, одновременно на людей, таких как Жид и Пикассо, и на рабочих с рынка”.

Москва в этом эпистолярном поединке приняла сторону Безыменского, а не Арагона — и в Лондон поэты отправятся уже втроём. Без Кирсанова.

6 января Луговской отчитывался Сузи: “Кирсанов, купив три чемодана мур... каких-то зелёных галстуков, рубашек, деду и кофточек, уезжает сегодня. У него уже нет ни копейки. В музеях он не бывал, ничем не интересовался, кроме своей популярности и кофточек. Я же хожу по музеям по 10–12 часов. Нужно навёрстывать. В Лувре был 5 раз, изучаю отдел за отделом...”

О себе Луговской, в очередной раз, пишет не всё.

Например, он знакомится с Хемингуэем, общается с ним — хотя значения этому не придаёт — ну, ещё один сочинитель, безбородый, в широких брюках, да, здоровый, как и Луговской, но тут имеются и посерьёзнее величины.

Скажем, 5 февраля Луговской будет участвовать в чествовании Ромена Роллана — в компании Андре Жида, Жан-Ришара Блока, Андре Мальро, нового знакомого Ильи Эренбурга (впрочем, учившегося до революции в отцовской гимназии), старого знакомого Леонида Леонова, приехавшего из Союза... Мировой литературный истеблишмент!

А главное: у Луговского начинается роман с прекрасной переводчицей, сопровождавшей их группу, — студенткой Сорбонны, большеротой, белозубой красавицей Этьеннеттой, жившей на Монмартре.

Он успевают слетать в Савойю, в курортный городок Белькомб на реке Арно, побыть там десять дней. Безыменскому наврал что-то несусветное про осложнение после травмы и необходимость подлечиться.

Этьенетта называет его “Волк”. После их прекрасного путешествия она успеет написать ему одно письмо, где так и будет к нему обращаться. О, этот русский волк, волчище — схватил в зубы, унёс. Щекотал бровями, рычал. Пел волчьи песни. Она трогала его рёбра, недавно переломанные: тут болит? А тут? Давай делать так, чтоб тебе не было больно. Я тебе покажу, не шевелились только.

“И жили мы в дешёвеньком отеле / С огромным телефонным аппаратом... / Там церковка была, и ресторанчик, / И лавочки, где продавали вяло / Парижские открытки и бювары, / А наверху, как слон, стоял Монблан”, — это поэма “Белькомб”, Луговской опишет всё это спустя восемь лет.

Они там едва не погибли — мимо них, совсем рядом, прошла лавина, в таких случаях говорят: успели попрощаться с жизнью.

“Спасённые от ярости стихий, / Мы, обнявшись с тобой, стояли молча. / Дорога срезана была как бритвой, / За два шага от нас чернел провал. / Случайность пожалела нас с тобой”.

В Париже Этьенетта будет провожать его в ночь с вокзала “Gare du Nord”. Подарит платок русскому поэту на память. Мы ещё вспомним об этом платке.

Луговской рассказывает своей Сузи в следующем письме: “Пишу в настроении очень плохом, каком-то светло-сером, как парижский дождь. В это настроение вкраплены и огоньки, и фальшивый свет реклам, но на душе усталость, в голове обрывки мыслей, в крови — одиночество”.

Если коротко: пожалей меня, Сузи.

Далее самое главное: “Будь я проклят, но когда, в какой день моей жизни стал я серым, зимним волком — не знаю”.

Жизнь — она вся такая мелодрама, туши свет, там такие банальные рифмы.

Луговской ведь ещё и в расстроенных (или в раздвоенных?) чувствах тогда же напишет Сузи стихи — удивительные и красивые: “О, только бы слышать твой голос! / В ночном телефоне — Москва, / Метель, новогодняя встреча, / пушинка весёлого снега... / В гудящей мембране / едва различимы слова, / Они задохнулись / от тысячемильного бега...”

... В январе 1936 года три советских поэта будут выступать в Лондоне, всё так же успешно, разве что со скидкой на то, что английская публика традиционно более сдержанна, чем французская.

Среди других Луговской стоит в толпе, собравшейся под окнами дома, в котором умирал великий британский писатель Редьярд Киплинг, один из кумиров его так и не завершившегося детства.

“Советский Киплинг” станут называть самого Луговского в оставшиеся до войны годы.

Потом уже нет.

После войны так будут называть Константина Симонова, и Луговской отдаст своему ученику титул без боя.

Этьенетту он больше не увидит. Её расстреляют немцы спустя восемь лет — как большевичку и партизанку.

Всё это — готовое, сначала удивительно весёлое, потом ужасно грустное кино: четыре молодых поэта и Волк среди них, овации, фотовспышки, первые страницы газет, весёлое пьянство, бычьи яйца, авария, французский госпиталь с клошарами, молодой Хэм в парижском кафе, прекрасная и ласковая переводчица, дома жена-пианистка, “о, только б услышать твой голос”, снежная лавина, умирающий Киплинг, сколько всего, Боже мой.

### **Дядя Володя**

Внешне со временем он стал похож на деда по материнской линии. Представишь Луговского с бородой — сразу видится красивый, с ласковыми глазами батюшка.

Если проводить конкурс красоты среди поэтов того века, то Луговской — наряду с Блоком, Есениным, Маяковским и Павлом Васильевым — в числе самых ярких, в первой “пятёрке”. Никто не знает, в скольких девичьих комнатах висел его портрет в 30-е годы — во многих.

Он непрестанно и спокойно пользовался своей статьёй.

Тихонов вспоминал: в Таджикистане было дело, у Луговского ещё первый брак, город Чарджоу, они идут по улице, вдруг слышат звуки музыки. Тихонов: что это?

Луговской сразу узнаёт: Шуман, “На чужбине”.

Следом другая мелодия. А это? Луговской: “Шуберт. Знаешь, Коля, пойду. Уверен, это играет молодая прекрасная девушка!”

Так оно и оказалось. Домой Луговской вернулся очень поздно, весёлый.

На другой день познакомил Тихонова с действительно очаровательной по-другой: “Инесса де Кастро!” — представил её, а товарища: “Жюльверн-старший, он же поэт Тихонов”.

Инессу на самом деле звали Аграфена Грушко (или как-то наподобие). Она была циркачкой, и в тот же день жюльверны оказались на её выступлении в шапито.

Дочка Луговского — Мила Голубкина вспоминает другую историю. Однажды отец подарил ей игрушечного медведя, сопроводив подарок чтением стихотворения. Она долго думала, что стихи посвящены именно ей. Потом узнала, что такого же медведя Луговской подарил Мухе, первой дочери. Муха, естественно, думала, что и стихи про медведя для неё. Много позже выяснилось, что сначала у папы был роман с замужней женщиной в Ялте — и самый первый медведь был подарен именно её дочери. Вместе со стихами. “Это так похоже на папу”, — сокрушённо, но уже без обиды скажет дочь годы и годы спустя.

Поэт Сергей Наровчатов писал о Луговском так: “Гвардейский рост, в строю всегда стоял правофланговым. Грудь — крутым колесом, прямо для регалий и аксельбантов. Профиль как на древнеримской медали — эдакий Траян или Тит. Взгляд как у орла с какой-нибудь верхотуры. А брови, брови... Всем бровям брови. Угловатыми воскрыльями, сходясь у переносицы, возносились они к высокому лбу. Женщины всех рас, наций и племён, всех возрастов и характеров возносили добродетельные жертвы на алтарь этого ходячего божества. Молодые разбойники, мы иногда натывались на следы гульбищ старого пирата в виде размашисто подписанных фотокарточек и книжек в женских квартирах. “И ты тоже...” — “Что ты, что ты, он относился ко мне совсем по-отечески...”

Ну да, ну да, читал стихи, мороженым кормил, рассказывал ошеломительные истории, смешил, пел песни. Немного рычал. Потом ещё пел.

Про Луговского одна из современниц совершенно спокойно и взвешенно говорила: “Он был бы великим певцом, если б не стал поэтом”.

О том же Константин Симонов: “Он с какой-то особой мягкостью округлял свой бас, словно придерживал его на поворотах. И за этим чувствовалась мягкая, пружинистая сила”.

Симонов вспоминал, как Луговской пел то на испанском, то на французском, то на английском — например, американскую песню о Джоне Брауне, который поднял восстание за свободу негров. “Мне и до сих пор (1961 год на дворе) кажется, — запишет Симонов, — что Луговской пел её невыразимо прекрасно”.

Дело, конечно, не только в красоте, баса, славе и блистательной биографии.

Луговской был отлично образован и даже, в его духе, несколько бравировал своей образованностью. География, астрономия, история, архитектура, музыка — всё укладывалось в число его разносторонних интересов.

Читал по памяти Уитмена по-английски, следом — “Легенду об Уленшпигеле”, следом — Горация на латыни, и тут же “Слово о полку Игореве” — вдохновенно, целыми страницами.

Один день, рассказывают очевидцы, Луговской “с жаром, во всех деталях описывал военную форму, которую носили в русской армии в разные времена разные полки. А на другой день вспоминал могилы чуть ли не всех знаменитых людей” — снова, естественно, по памяти, ну то есть по книжкам — воссоздавал места захоронения и особые их приметы так, словно видел их сам.

Любил художника Валлотона, композитора Грига. Обожал прозу Лескова.

Из него мог бы получиться отличный эссеист, автор беллетристических миниатюр в духе южнорусской школы, например, Олеши, или Катаева, или Шкловского.

Оцените, к примеру, такие его пассажи из писем к первой жене:

“...будем говорить о подлинной красоте. Красота завязла у меня в зубах. В живописи я ничего не понимаю. В кино нравятся приключенческие фильмы. Зачем нужно писать стихи, я не понимаю, но делаю исключение для своих.

Театр раздирает мне душу невероятной аффектацией. В нём всё так похоже на действительность, что хочется застрелиться. Музыка намекает на такие возвышенные возможности, что стыдно говорить, потому что их нет. Проза меня невероятно возбуждает, и это плохо — красота не должна возбуждать. Остается элементарное: ветер, быстрота, смена, витрины в четыре часа утра. Они освещены, хотя в этот час не нужны никому. Хорошие джемпера вызывают лёгкое головокружение, а в соединении с галстуками и рубашками делают витрины входом в мир точного жеста и внутренней вымытости. Остаётся ещё состояние сна (не сон), которое бывает, когда лежишь на пляже или ещё на чём-нибудь, глядя прямо в небо, или когда рядом с тобой или просто с тобой происходит что-нибудь особое и трагическое, о чём ты раньше только читал. Тогда начинает работать твоя собственная машина красоты, в страшно медленном ритме отстукивая секунды”.

Видно, что человека несёт, что, с одной стороны, он принимает позу, “выглядит” — а с другой, он действительно так выглядит, это он.

Ещё цитата:

“Михаил Юрьевич, — учитель русского, калужского демонизма и писательской неврастении — скажите, что это такое? Или, быть может, нужно рисовать карикатуры на Мартыновых и, не проплевав вишни, получить пулю в лоб? Нет, милый, мне далеко до Вас, и минеральные барышни на мою психологическую могилу не придут с делопроизводителями.

Я не знаю, что страшнее — папиросы или Ротенбург.

Я не знаю, какими путями идет городская ночь.

Я не знаю, почему ищущий уходит дальше всего от цели поисков.

Я не знаю, отчего так завораживает простая человеческая мысль.

Из разлада поднимается творческая работа. Так оно и идёт”.

Впрочем, на фоне вымученной, лишённой воздуха, эссеистики Луговского — письма его кажутся написанными другим человеком.

Быть может, беда его была в том, что он очень хотел нравиться — и не только женщинам, а также их дочерям, это ещё полбеды, — а сразу всем: массовому читателю, тонким ценителям, советским критикам, государству, наконец.

До какого-то времени почти всё удавалось. Даже без “почти”. Его разлада никто не видел — только либо отличные, либо достойные результаты творческой работы.

У него появилась целая плеяда замечательных учеников: он вёл чуть ли не самый успешный довоенный поэтический семинар в Литературном институте. (Где, к слову, открывал все вступительные и заключительные вечера — первый вальс был его — в паре с женой друга Тарасенкова — Марией. Он ещё и танцевал.)

На семинаре Луговского учились Константин Симонов, Евгений Долматовский: “Любимый город может спать спокойно...” — это его, Михаил Матусовский, а его — “Подмосковные вечера” и “Старый клён”, хотя в обоих случаях далеко не только это, Михаил Луконин, Сергей Наровчатов, Маргарита Алигер, первая жена Симонова — Евгения Ласкина...

Характерно, что на институт его любовные похождения не распространялись: там эта тема была табуирована — учитель значит учитель.

Вёл занятия свободно, раскованно, доброжелательно, бесконечно терпеливо занимался даже самыми слабыми стихами, много рассказывал о заграничье, про Таджикистан и Туркменистан, про басмачей, про музеи и вулканы — потом снова возвращался к поэзии...

Все ученики были вхожи в его дом, всех привечал.

Приветствовал: “Входите, деточки, входите!”

Ученики называли его “Дядя Володя”, хотя, в сущности, они даже в сыновья ему не годились.

Симонов: “Мы любили его, потому что он любил нас”.

Луконин, выбиравший между футболом и поэзией, выбрал поэзию, прибыл из Сталинграда — а ночевать негде. Дядя Володя сводил его в Третьяковку, накормил, повёл ночевать к себе.

Там Луконин был порядком и не раз удивлён: для начала квартира — на стене портрет Маяковского — “...работы Пикассо” — небрежно бросает хозяин, огромный радиоприёмник с рубчатыми эбонитовыми ручками — таким даже сигналы с Марса можно уловить; висят боксёрские перчатки, на столе

буддообразные фигурки толпой и отточенные, как стрелы, карандаши, на стенах — оружие, всё в шпагах, саблях и винтовках, мало того, в комнате поэта — настоящий пулемёт “максим”: если б Луговского решили взять боем, он мог бы держать оборону несколько дней. . . Сам — огромен, источает мощь и самоуверенность, и тут вдруг голос появившейся в дверях старенькой мамы:

— Миша, вы следите за Володенькой, он такой беспомощный!

Мамы, такие мамы.

У поэта Владимира Журавлёва была другая проблема: он влюбился, а родители невесты твёрдо ответили: “Нет! Сочинитель стихов нам в качестве мужа не требуется!”

Журавлёв пришёл на семинар в небывалой тоске, дядя Володя вывел его в коридор: в чём дело, деточка?

Так вот и так, дядя Володь.

Луговской говорит: пойдём. Надевает свой лучший пиджак, лучшие ботинки, причёсывается, одёколон в ладонь, два удара по щекам — вперёд!

Вот они у родителей любимой девушки, и Луговской запирается с ними на полчаса.

Через полчаса выходит — поздравляю, вы жених и невеста, можешь отныне называть её родителей — “мамой” и “папой”.

(Журавлёв действительно женился и прожил всю жизнь с этой женой.)

Вот это учитель! Деточки звонили ему в любое время дня и, главное, ночи — он всегда брал трубку, он всегда был на связи.

Ученики готовы были идти за ним, куда позовёт, он и готовил их, как своих питомцев.

“На стене горят / клинки и ружья. Я проснулся, / подниматься стал. / Что не спишь ты, / славное оружие? / Что звенишь, / изогнутая сталь?” — вопрошал Луговской в стихах тех лет.

Сталь звенит к войне. Стихотворение заканчивалось так:

“А для тех, / кто победит в последних / Битвах / приближающихся лет, Мужественно встанет / мой наследник, / Настоящий воин / и поэт”.

Когда начались самые страшные времена — они смотрели на него и верили ему, как отцу. А иные — больше, чем отцу: наставнику, воину и поэту.

### **Свирепое имя Родины**

В 1936-м от Луговского пытается уйти Сусанна Чернова — их отношения будет лихорадить весь год. Сыпятся обвинения в изменах — Луговской отчаянно врёт.

В отношении Черновой к мужу чувствуется усталость и разочарованность.

Луговской, как и в случае с первой женой, Тамарой, умоляет Сузи остаться: “У каждого, даже самого дурного человека есть своё святая святых, то, что и словом не передашь. Этим — за все пять лет — была та сердцевина моей любви к тебе, которая горела, горит и будет гореть во мне, несмотря на всё горе, которое ты мне причиняла”.

(Он потом напишет на ту же мелодию, что и это письмо, одно из лучших своих стихотворений со строчками: “Много ты сделала / мне / зла. / Много сделала зла”).

Луговской попадает ещё в одну автокатастрофу — на этот раз проломит череп.

Он не теряет поэтическую силу — в 36-м году им написано несколько лирических шедевров, — но идеологические стихи его становятся всё более пустыми и дребезжат на каждом повороте.

Причины тому есть: понимать действительность становится всё сложнее. 28 января 1936 года в газете “Правда” опера Шостаковича, показ которой посетил Сталин, названа “левацким сумбуром”, — а Луговской ведь любил и почитал Шостаковича, и сам был “левацким” поэтом, — а каким же?

Требования к искусству неожиданно становятся всё более традиционными и консервативными: после многолетней яростно “левой” РАППовской муштры это кажется удивительным и невозможным.

Страна всё суровой принуждает верить в себя и себя восхвалять. Одновременно с этим запускаются серьёзные и жестокие процессы, словно в ту домну, которой так восхищался Луговской несколько лет назад, собираются бросать уже не только уголь. . .

С 19 по 24 августа пройдёт процесс по делу “Троцкистско-зиновьевского объединённого центра”. 16 обвиняемых, в том числе виднейшие, всей стране известные большевики. Цель блока определяется как “одновременное убийство ряда руководителей партии” с целью вызвать “панику в стране” и “прорваться к власти”.

К предавшим дело коммунизма партиям начинают подгрести и литераторов. “Оруженосцами троцкизма” называют Галину Серебрякову, Тарасова-Родионова. Ивана Катаева исключают из партии. Луговской их всех знал.

Но раз сказал: “Коммунизм — это всё”, — значит, стоит отвечать за сказанное.

К тому же, если задаться вопросом: “А сомневался ли Луговской хоть в чём-то, в том, 36-м году?” — то придётся признать: нет. Свидетельств тому не сохранилось, а сделать себя постфактум прозорливей и догадливей, он, в отличие от многих современников, не пожелал.

Зато сохранились свидетельства обратного.

25 августа того же года президиум Союза писателей обсуждал сложившуюся в литературных рядах обстановку. Были: Афиногенов, Леонид Леонов, Олеша, Киришон, Вера Инбер, Луговской, Бруно Ясенский (37-й он не переживёт). Из начальства — видный функционер Владимир Ставский. Всячески одобряли изгнание из Союза писателей-троцкистов, досталось ещё не изгнанным: например, бывшему конструктивисту Агапову, который имел наглость хвастаться, что он стоит “три тысячи рублей в месяц!” Это что ещё за буржуазная меркантильность?

Луговской осуждал свойственный, по его мнению, советским литераторам “гнилой либерализм” — жёстче надо, жёстче! — хотя конкретных людей не называл. “Слишком долго мы миндальничали с Тарасовым-Родионовым и Селивановским...” — поддержали Луговского другие выступающие. Селивановский был успешным литературоведом, писал в числе прочих как раз о Луговском и Леонове. Теперь они сидели с насупленными лицами на проработке и делали вид, что ничего такого не помнят.

В конце года Луговской в небольшой компании писателей (знакомые все лица: Безыменский, Алексей Сурков, Сергей Третьяков и прочие) посещает строительство канала Москва-Волга.

Патриотические и прочие чувства настолько переполняют литераторов, что они пишут благодарственное письмо наркому внутренних дел Генриху Ягоде: “Перед нашими глазами стройка проходила, как эпическая повесть, вписанная в холмистые низины, березняки и торфяники районов векового затишья почерком каменных дорог, прекрасных мостов, новорождённых озёр”.

Видно, что поэты письмо сочиняют и с трудом удерживаются от рифмы.

“Но рядом с чудесами стальными, бетонными, земляными мы видели, быть может, самое великое чудо, немыслимое ни в какой другой стране, ни в какую другую эпоху, кроме нашей советской, — чудо перестройки людей наново, искупление преступления трудом...”

Год 37-й Луговскому расслабиться не позволил.

В первой половине января, с 12-е по 16-е, он проехал по Украине с гастролью — собирал залы, отвечал на записки, срывал овалы, так было хорошо на душе.

Сразу по возвращении литературное начальство находит Луговского: начинается новый виток борьбы с врагами народа, Володя, подключайся, нужен.

С 24 января 1937 года “Правда” публикует очередные протоколы допросов “троцкистской сволочи”, и советские писатели сопровождают это своими гневными речами.

Письмо с требованием “беспощадного наказания для торгующих Родиной изменников” подписывают Павленко, Алексей Толстой, Бруно Ясенский, Лев Никулин и брат сердечный — Фадеев.

Рядом с этим письмом — стихи другого дружка закадычного — Михаила Голодного: “Как буря будет голос мой: / — К стене, к стене иезуитов!”

В следующем, от 25 января, номере “Правды” — статья “Отщепенцы” Фадеева, “Изменники” Безыменского и расстрельные стихи самого Луговского, которые он потом, естественно, никогда не публиковал: “Душно стало? Дрогнули коленки? / Ничего не видно впереди? / К стенке подлецов, к последней стенке! / Пусть слова замрут у них в груди!...”

“Что бы после ни писал Луговской, ничего не смоеет подлости этого стихотворения, невиданного в традициях русской поэзии”, — напишет писатель Фёдор Гладков в дневнике.

К слову, в позднем восприятии всех этих чудовищных событий случится характерная абберация: Фёдора Гладкова, автора романа “Цемент”, будут воспринимать как матёрого совписа, всю жизнь дудевшего с партией в одну дуду, в то время как он никаких писем не подписывал и, судя по опубликованным много позже его дневникам, отличался завидным здравомыслием. В то время как свои расстрельные статьи написали в те дни и Андрей Платонов, и Исаак Бабель, и Юрий Олеша, и Юрий Тынянов, которых, тем не менее, принято воспринимать ровно противоположным образом...

“Невиданную подлость” Луговского продолжит в следующие дни его собрат по ремеслу — мужественный и непреклонный Николай Тихонов, а кроме него — Александр Жаров, Михаил Исаковский, Вера Инбер и Николай Заболоцкий тоже (“Мы пронесли великую науку... Уменьше заклеймить и уничтожить гада”), и даже Самуил Маршак, и ещё Агния Барто. Что нисколько не оправдывает Луговского, но кому тут нужны оправдания, кто вправе их принять?

К тому же, никакие подлости не давали в те дни никому индульгенций.

Проработки идут непрерывной чередой, поэты и писатели один за другим оказываются предателями, двурушниками и, Боже мой, даже террористами, ужасный сквозняк продувает со всех сторон, и это совсем не тот ветер, о котором писал Луговской десятилетие назад. Или тот же?

Обстановка нервная до такой степени, что доходит до анекдотов.

Страна масштабно отмечает столетие со дня смерти Пушкина. 25 февраля группа писателей сразу после Пушкинского пленума идёт в ЦДК — там банкет. Только что выступавшие Луговской и Тихонов тоже присутствуют. Грузинский поэт Паоло Яшвили произносит тост в честь товарища Сталина:

— Грузия гордится такими детьми!

Тут в президиуме вскакивает сочинитель Иван Кулик и, надрываясь, кричит:

— Мы! Вам! Не! Завидуем! — и немедленно падает в обморок.

Стоит уточнить, что Кулика только что прорабатывали как автора “вражеской писанины”.

Выход из положения находит драматург Всеволод Вишневский, который объявляет, что Кулику стало дурно, и он закончит за него речь. И заканчивает, говоря, что Сталин принадлежит Украине так же, как и Грузии, потому что Сталин — достоинство всех народов СССР.

На встрече был один чрезвычайно ответственный товарищ с Украины, который по дороге с банкета поделился с Тихоновым и Луговским, что надо принять меры, доложить и разобраться в поведении Кулика: чего это он падает в обморок? Тихонов с Луговским озабоченность разделили, но докладывать отговорили.

24 апреля в “Правде” выходит сразу несколько статей по поводу треклятого РАППа, в который Луговского угораздило вступить вместе с Маяковским и Багрицким. Эти двое уже ушли в мир иной, а он-то здесь! Он здесь, и ему отвечать!

В материале П. Юдина “Почему РАПП надо было ликвидировать” в резких тонах рассказывается о троцкисте Авербахе (том самом, что просил Луговского читать стихи на приёме у Сталина!) и его “приспешниках”. В их числе, например, Бруно Ясенский, который только что сам вместе с Луговским призывал в “Правде” ставить предателей к стенке.

Вовсю бьют хорошего знакомого Луговского — драматурга Афиногенова, а поэта Бориса Корнилова, которого Бухарин наряду с Луговским называл в числе самых лучших, прямо именуют “контрреволюционером”.

25 апреля 1937 года президиум правления Союза писателей СССР принимает постановление следующего содержания: “Поэт Вл. Луговской допустил крупную ошибку, некритически подходя к изданию своих старых произведений. В результате в “однотомник” и в сборник “избранных стихов”, вышедших в 1935 году в Гослитиздате, оказались включёнными стихотворения политически вредные”.

26 апреля постановление выходит в “Литературной газете”. В тот же день “Известия” тоже говорят об ошибках Луговского.

Удары сильнее, ужас наводящие в тех условиях.

Ладно бы просто упоминания в газетах — нет, заслужил целого постановления президиума! Которое наверняка согласовывается где-то в ЦК!

Дело было вот в чём: ещё в 1935 году у Луговского вышли две книги избранных стихов. В числе иных там есть стихотворение “Дорога”, написанное в 1926 году, с отличным финалом: “Мне страшно назвать даже имя её / — Сви-репое имя Родины”.

В совсем раннем стихотворении “Повесть” присутствуют не менее кра-мольные строки: “И страшная русская злая земля / Отчаяньем сердце точит”.

Третье стихотворение, попавшее под раздачу, — “Жестокое пробуждение” 1929 года, — заканчивающееся так: “Будь проклят после, нынче и раньше, / дух страшного снега и страшной природы”!

Что во всей этой жутковатой истории интригует? Луговского фактически обвинили... в русофобии.

В новейшие времена по поводу Луговского часто писали, что ему при-шлось пережить “травлю”, но на этом месте, как правило, запинались и в суть травли не вникали, оттого что суть травли несколько противоречит новейшим вульгарным воззрениям на большевизм. Принято считать, что большевики все русское ненавидели и хотели уничтожить, а поэта Луговского наказывают за то, что он про русский снег и русскую землю обидное сказал. Незадача.

Бредовость ситуации как раз в том, что Луговской, как мало кто, любил русскую историю и русскую географию — в этом он дал бы фору и Багрицко-му, и Маяковскому! Последнему бы тоже, по совести говоря, должно было достаться за строчку “Я не твой, снеговая уродина!”

Поэтические противники Луговского просто вовремя извлекли его старые стихи. Недоброжелателей у него, учитывая всероссийскую славу Луговского, было пруд пруди. В данном случае ими оказались два ретивых комсомольских поэта — Джек Алтаузен и Александр Жаров. Они бы тоже хотели ездить в Па-риж и в Лондон и читать стихи Сталину, но им-то не предлагали! Бухарин Лу-говского называл на съезде как одного из самых одарённых, а над Жаровым издевался, Алтаузена вообще не вспоминал.

Извлечённые этими комсомольцами стихи надо было, конечно же, пони-мать в контексте: за всем этим ужасом, который Луговской описывает, слы-шится огромное и кровное родство со страшной природой суровой и злой рус-ской земли. Тут и лексика-то, право слово, детская: это малые дети, увидев отца в зимней, промороженной, стоящей колом одежде, говорят: “Стра-аш-ный... Зло-ой!”

Однако ж кому это объяснишь в 37-м году!

И что — вот он, тот самый капкан судьбы? Угодил? Щёлкнул?

Луговской торопится исправить положение. 29 апреля пишет своим близ-ким товарищам, уже поднявшимся высоко по карьерной лестнице, — Павлен-ко и Фадееву: “Вы знаете, что меня жестоко проработали за стихи юношес-ких лет, написанные в 1923 году...”

Вообще тут он несколько привирает, но суть ясна: стихи и правда ранние.

“Фактически проработка только начинается. 11 лет все читали эти стихи и ничего мне не говорили. В РАППе мне указывали на то, что в них сквозит любовь к России и вообще они с националистическим душком”.

И это — правда! РАПП костерил попутчиков за излишние сантименты по поводу родимой земли, но прошло всего-ничего, и за те же стихи быют ещё больнее, но ровно по противоположным причинам: мало любил, мало! И на-ционалистического душка мало!

“Я согласился напечатать их, чтобы показать в “Одномомнике” весь путь свой от “Сполохов” до “Жизни”, — продолжает объясняться Луговской, — А “Жестокое пробуждение” было для меня этапным стихотворением — я про-щался со многим дорогим для меня в русской жизни, прощался для перехо-да к новым мыслям и новым задачам, к новой пятилетке. Эти стихи любили, их хвалили.

Теперь я, русский поэт, органически русский, любящий свою родину так, что и не стоит касаться этого святого для меня дела, жестоко, с огром-ной болью, отказавшийся во имя Революции от многого бесконечно доро-гого для меня, должен принять на себя обвинение в том, что я ненави-дел Россию”.

Дальше Луговской, едва не разрывая на груди рубаху, кричит об очевидном: “Я писал 22-летним парнем об ушкуйниках, олонецких лесах, о страшной тьме и об удали старой Руси... А мне говорили коммунисты раньше о том, что это национализм, что я не признаю других стран, что у меня нет чувства интернационализма, что я с рождения отдал себя в рабы России и скрывал это...”

И что в итоге?

“Теперь меня будут прорабатывать “во всех организациях”, как сказано в постановлении. Но я не боюсь этого. Я одеревенел. После “Свидания”, “Большевиков пустыни и весны”, “Полковника Соколова” и “Кухарки Даши” мне это как русскому человеку не страшно – я сейчас пишу “Книгу доблести” о русских людях... и любой алтаузен мне скажет, что я перестроился по постановлению президиума”.

Письма этого Луговской не отправил. Возможно, подумал: а зачем переваливать свои проблемы на товарищей? Или просто не успел отправить, потому что от Фадеева, обладавшего врождённым чутьём на подобные события, пришла короткая и прямая весточка: “Оставь Москву на время, езжай куда-нибудь”.

К 21 мая 1937 года из всей редколлегии журнала “Знамя”, где работал Луговской, на свободе остались он и ещё три человека.

Надо было ехать.

В мае 1937-го Луговской уже в Баку, в компании с тремя поэтами: Павлом Антокольским и своими учениками Маргаритой Алигер и Павлом Панченко.

“Живём мы очень дружно, – писал в Москву Павел Антокольский, – всякие маленькие возлияния с большими чувствами стараемся тщательно обойти, и это почти удаётся <...> С Луговским мы дружим заново. Это всё-таки большой, страстный человек, много видевший и хорошо запомнивший”.

У Луговского в поездке свой тайный резон, о котором он своим товарищам не сообщает.

Он всё ещё хочет вернуть Сусанну Чернову, свою Сузи.

Всякий раз, когда семейная жизнь его, казалось бы, окончательно разваливалась, Луговской проявлял себя неожиданно твёрдо, по-мужски, ретиво бросаясь спасать то, что сам разрушил.

– Не могу оставить свою женщину, покинуть её не могу, – однажды признавался он своей сестре. – Я создаю невозможные условия, это я могу, а оставить – нет, не могу.

На этот раз он в качестве безусловного доказательства своих чувств едет в Баку с целью совершенно неожиданной. В Баку у родни жил ребёнок Сусанны от первого брака. Он его забирает и привозит в Москву: смотри, милая, вот твоё дитя, оно будет наше, будем жить вместе.

Может быть, он думал ещё, что в семье можно спрятаться от бешеного времени. Вот я, вот любовь моя, вот дитя – кто посмеет нас убить?

Как бы то ни было, редкая женщина устоит при виде такого поступка, если в ней, конечно, сохранилась хоть малая толика чувства к мужчине. В Черновой сохранилась.

Они вновь сойдутся.

За эту женщину стоило бороться.

В разлуке, когда Луговской уезжал, она ходила к его отцу на могилу, по долгу сидела на кладбище. Объясняла это Луговскому тем, что через отца особенно остро чувствовала его, своего любимого.

Помимо того, что Луговской обожал покойного родителя, он, конечно же, ещё и обладал отличным эстетическим вкусом, посему мог оценить этот жест любимой женщины: в посещениях Черновой могилы его отца было что-то античное, пронзительное. Как не дорожить такой женщиной!

К тому же она понимала поэзию и умела об этом говорить.

Незадача была только в том, что из Баку Луговской в те же дни писал другой своей любви – Ирине Голубкиной: “Вы не ответили мне на письмо. Это очень тяжело для меня. Я всем своим существом понял Вас и пережил каждую строчку, которую Вы писали. Но Вы не узнали бы меня сейчас. Несправедливости, прямая инсинуация, травля, личное горе, ужасное нервное состояние приводили меня за это время не раз к тому, что смерть я видел совсем рядом: мне просто хотелось заснуть.

Я опять обращаюсь к Вашей человечности, к памяти о наших старых днях, когда мы так много давали друг другу. Ответьте мне, напишите письмо”.

Здесь можно сказать так: Луговской был человек эмоций ярчайших, но коротких. Любовные его отношения напоминают поведение неизлечимого алкоголика: в который раз давая самые серьёзные обещания и себе, и близким, он всякий раз неизбежно срывается.

А можно сказать иначе: Луговскому было ужасно плохо, и он искал защиты у самых близких людей, и заботясь о ребёнке Черновой, и взывая к Ирине Голубкиной — матери своей дочери.

В конце концов, может быть, он одновременно любил и Сузи Чернову, и Голубкину Ирину?..

Нет?..

### Заговор учеников

Насколько возможно успокоив дыхание, Луговской пишет пояснительную статью “О моих ошибках”, которую в июньском номере публикует журнал “Знамя”: “Жестокое пробуждение” — это прощание с прошлым, прощание с любимой женщиной, в образе которой сквозят черты России, но которую отнюдь не следует отождествлять с Россией. Стихотворение полно противоречий, но я не думаю, что можно найти ненависть в таких строчках...”

Особое изустройство литературной жизни тех времён состоит, например, в том факте, что осенью того же года секция поэтов Союза писателей в лице Суркова, Голодного, Кирсанова и всё того же Алтаузена поручит написать Луговскому статью про Маргариту Алигер совместно... с Жаровым. Сначала эти двое комсомольцев чуть не спихнули Луговского в яму, а потом говорят: работать будем в одной упряжке, брат, да? Ты же брат нам? Или как ты считаешь?

Да никак не считаю.

Статью Луговской с Жаровым не будет писать.

Зато в 37-м Луговской переезжает из маленькой квартирki на первом этаже в Доме Герцена, где ютился с матерью, в престижнейший писательский дом — в Лаврушинский переулок, в большую квартиру на седьмом этаже.

Ежедневно Луговской в нетерпении ходит смотреть, как ремонтируется его квартира. Однажды явится пьяный, подерётся со сторожем, и об этом напишут в “Литературной газете”. Мало ему было постановления!

“Я много думаю о квартире, — пишет он Сузи, — потому что это новая и человеческая жизнь для нас с тобой. Я буду о тебе заботиться, буду рядом с тобой, у нас будет общая жизнь — как это славно!”

Наконец, всё готово. Мама, Сусанна — все вместе празднуют новоселье, теперь у них, наконец, есть собственное жильё. Чем не повод ощутить себя счастливым и достигшим многого? Учитывая то, что десятки миллионов сограждан Луговского ютятся в бараках и коммуналках.

Семейство его соседствует с Борисом Пастернаком (живёт этажом выше) и всё той же Маргаритой Алигер (которая будет безмерно уважать Луговского, искать у него человеческой и мужской защиты, как у образчика выдержанности и стойкого упрямства), туда же собираются поселить Михаила Булгакова и его Елену Сергеевну.

А Алтаузена и Жарова там не поселят — вот незадача какая!

Жизнь, пока жив, — разноцветная.

Новый 38-й год Луговской встречает в Тбилиси — там празднуют 850-летие “Витязя в тигровой шкуре”; они крепкой компанией — с Тихоновым и Антокольским. Трое товарищей, ни словом, ни делом не предавших друг друга. Хотя Луговской уже успел выступить против Сельвинского (на Пушкинском пленуме) и Пастернака (в прессе), а Тихонов... Он постепенно становится литературным начальником и шаг за шагом, раз за разом провожает многих из своего ленинградского литературного окружения в тюрьму.

Кавказ традиционно даёт забыть, но совсем ненадолго.

В первом номере журнала “Знамя” за 38-й год прилетает Луговскому камень из прошлого года: выходит статья Елены Усиевич “К спорам о политической позиции и дискуссии в Доме писателя об ошибках и достижениях Вл. Луговского”. Он бы предпочёл, чтоб все об этом забыли. Тем более, что это та самая Усиевич, которую Горький обвинял в покровительстве Павлу Васильеву и Ярославу Смелякову; такая погладит тебя по голове — и головы не сносить.

Сузи уходит уже окончательно, в том числе и потому, что в короткое время она и мать Луговского друг друга возненавидели. Певица и пианистка

категорически не нашли общего языка. Жизнь под одной крышей разлучила Володю и Сусанну быстрее, чем жизнь порознь.

Сестра Луговского Таня вынуждена была поселиться с матерью и братом. В 1938 году в письме своему другу она пишет, что Володя “ночью в пустой квартире ловит по радио из-за границы тягучие, заунывные, выматывающие душу — до того грустные — фокстроты, с этого дела можно повеситься”.

Ну и, наконец, в довершение ко всему, Луговского пару раз вызывают... в НКВД, пообщаться в целом о литературных нравах.

В первый раз он, не в силах справиться с ужасом, выпил бутылку водки и явился пьяный. Разговаривать с ним офицер НКВД не смог, поэта отправили домой.

Во второй раз он, получив повестку, выпил уже осмысленно и, явившись к “энкавэдэшнику” в облаке перегара, первым делом попросил глоток пива.

Пиво, как ни странно, у следователя было, и Луговскому дали похмелиться. Он отпил и упал лицом на стол.

Всё это отдаёт анекдотом; но в той эпохе слишком много случалось подобного, когда дурная шутка могла стоить жизни, зато абсурдное поведение — спасти от гибели.

Луговской тогда начал неожиданно быстро сесть.

Видимо, он догадывается о том, о чём многие не успели догадаться: чем меньше проводишь времени дома, тем меньше шансов застать тебя непрошеным гостям.

Весной он сматывается из Москвы и не появляется дома почти полгода. И всё это время фактически не публикуется.

Евгений Долматовский рисует красочные и местами даже забавные картины: в мае 1938 года, по первому же звонку собираются в квартире у дяди Володи его любимые ученики: Константин Симонов, Яков Кейхгауз, Борис Лебедев, Павел Панченко, Маргарита Алигер и сам Долматовский, который, между прочим, Литинститут окончил в 37-м и, вообще говоря, свободен.

Луговской с лёту им читает замечательную лекцию о том, что “на берегу Каспийского моря лежат невиданные россыпи жемчугов поэзии”.

— Едем в Азербайджан! — объявляет Луговской.

В недрах Союза писателей была задумана антология азербайджанской поэзии, и Луговской получил право в кратчайшие сроки её создать.

“Мы были тогда легки на подъём, — рассказывает Долматовский, — и через два дня в старом и тесном самолёте поднялись с Быковского аэродрома в низкие, серые тучи. Долго-долго летели мы, садились и в Воронеже, и в Ростове, и в Минеральных водах, и в Махачкале, и ещё где-то. Самолёт был маломестный, с дверьми, закрывающимися на крючки...”

На второй день наша экспедиция увидела под крылом золотую подкову огней и в ранних сумерках ступила на сухую и жёсткую бакинскую землю.

Луговской привёз нас в гостиницу “Интурист” и сам разместил по отличным номерам, в которых нам жить ещё не приходилось.

Вместе с Самедом Вургун повёл он нас, ещё не оправившихся от боли в ушах, по ночному Баку, где он знал каждый закоулок старого города. Никаких разговоров о предстоящей работе не было, и мне даже показалось, что просто приехали отдыхать, бродить по дорогам поэзии, наслаждаясь священным дружеством и бездельем.

Но не успело утро раскалить номера гостиницы, как Луговской собрал нас и объявил, что отныне мы являемся его рабами и должны переводить с десяти утра до семи вечера... В связи с адской жарой нам разрешено попарно сидеть в ваннах с горячей водой, а также заворачиваться в мокрые простыни. До окончания дневной работы размещённые по двое переводчики не имеют права выходить из номеров и посещать соседей.

Ежедневно дядя Володя и Самед Вургун будут появляться к окончанию работы и собирать урожай. Плохие переводы подлежат утоплению при помощи коммунальных средств.

Это была весёлая игра, впрочем, ставшая режимом нашего довольно длительного пребывания в Баку”.

Заставляя вкалывать учеников, Луговской вроде как трудился и сам, но, как уверяет мемуарист, “гораздо меньше по времени и гораздо плодотворнее — сказался его большой опыт и глубинное знание азербайджанской поэзии”.

Ну да, ну да.

“Обычно, немного поработав утром, Луговской с таинственным видом исчезал из гостиницы, чтобы на короткий срок появиться снова и снова исчезнуть. У него в Баку было огромное количество друзей, не только писателей, но и нефтяников, моряков, партийных работников”.

... Или жён моряков, нефтяников и партийных работников.

“Однажды добровольные рабы дяди Володи восстали”, — сознаётся Долматовский.

“Симонов, разговаривая с Москвой, сказал примерно следующее: “Дядя Володя заставляет нас всё время работать, а сам сидит, наверное, на коврах и ест плов. Вот мы восстанем и свергнем его, эксплуататора и любителя плова”.

“А в то время, — уточняет Долматовский, — разговоры с Баку велись по радио и даже забивали порой в приёмниках звучание бакинской радиостанции. Наш мучитель действительно сидел в гостях на ковре и ел плов. Хозяева угощали его так же телефонными разговорами, принимаемыми по радио...

Мрачнейший мастер явился к вечеру в гостиницу”.

Всё в этой истории замечательно.

Нет, понятно, отчего Симонов восстал: в 23 года он был уже достаточно успешным литератором (ему не будет и тридцати лет, когда он станет одним из руководителей Союза писателей, оставив дядю Володю далеко позади). Он публикуется с 1936 года и уже успел издать успешную поэтическую книжку “Настоящие люди”, к тому же он по крови — дворянин, такие вещи не стоит сбрасывать со счетов.

Однако дальше всё не так ясно. Кому это Симонов рассказывал про “дядю Володю”? Тёте? Или другому дяде?

Что это за телефонные разговоры, что напрямую попадают в радиовещание? Как же бедные азербайджанцы слушали радио в 1938 году и не сошли с ума? Или, может быть, Луговской сидел и ел плов в каком-то другом доме, где радио слушать было не обязательно, зато можно было послушать непосредственно телефонные разговоры?

Как бы то ни было, закончилось всё мирно: “Мы потом долго замаливали перед ним этот греховный телефонный разговор, — сообщает Долматовский. — Восстание было предотвращено, а антология азербайджанской поэзии вышла в 1939 году в Гослитиздате”.

История почти идиллическая, думая о ней, невольно улыбаешься. Правда, есть тут некоторые омрачающие моменты, которые скрыты.

Например, у Долматовского в 1937 году арестован отец, работавший юристом. Евгений Долматовский сидит в горячей ванне и переводит касыды и газеллы, а отец? Отец — он где сидит?.. С Долматовским многие не общаются, обходят его стороной, но не дядя Володя: тот ведёт себя ровно противоположным образом.

Безвозвратно исчезают несколько ближайших знакомых Луговскому по Средней Азии военачальников, дружбой с которыми он так неосмотрительно бравировал. “Туркестанские генералы” — те, гумилёвские, помните? “Что, нога болит?” — “Нет, прострелен навывлет”.

И сам Луговской — весельчак, выпивоха, жизнелюб — пишет из Баку сестре Татьяне: “Внутри страшное горение и творческая тоска, когда одни явления видишь во всей их оголенности, а другие залиты густым туманом чего-то мучительного и вытягивающего все нервы... Чем больше пишешь и лучше, тем больше утончается все восприятие, и доходит это до психоза и нервной беззащитности... Ночная тоска. И отворено множество новых дверей, откуда несет сквозным и горьким запахом творчества”.

И хотя здесь через каждое слово пишется “творчество”, неизбежно ощущение, что пишет он о чём-то большем, чем поэзия.

Или — меньшем.

### **Чёт, нечет и почёт**

К ноябрю 1938 года у Луговского выходит очередная книга. Называется — “Октябрьские стихи”, содержание соответствующее.

“Светлый гром / Октябрьского парада / Раскрывает / Тайну бытия” — всё, как надо, там, в этом сборнике. “Сталин / движет к югу эшелоны, / Ворошилов / бьёт издалика, / Ленин / входит в зал белоколонный, / И Дзер-

жинский входит в ВЧК". Всех расставил по местам, никого не забыл, эти входят, движут и бьют, а Троцкий уже вышел.

В ту же осень выходит на экраны фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" — одна из важнейших советских картин предвоенной поры. Вся страна слышит песню, сочинённую на стихи Владимира Луговского: "Вставайте, люди русские, / На смертный бой, на грозный бой!"

Казалось бы, всё устраивается, всё хорошо. Книжка, фильм, песня.

Однако настораживает: в рецензиях на "Александра Невского" постоянно цитируют стихи Луговского, а имени автора не называют. В чём дело?

Наконец, 5 ноября, за два дня до великого советского праздника, в газете "Правда" выходит разгромный фельетон Валентина Катаева "Вдохи и выдохи" на книгу Луговского.

Катаев тогда вообще имел привычку погромить, злой был.

Ладно бы Катаев, но это же высший партийный орган! Это же "Правда"!

И в "Правде" пишут: "...неувядаемый образчик пошлости и политической безответственности!"

Луговского второй раз валит с ног.

Да, он, затравленный и задавленный, в чём-то солгал, сочиняя свои "Октябрьские стихи". Но зачем об этом собрат по литературе прокричал на весь Союз социалистических Советов?

И как ему жить теперь? Как ему писать? Как ему смотреть в глаза ученикам, которых он вчера погонял, и они беспрекословно слушались? Куда он поедет после такого фельетона? В какой Туркменистан, в какой Азербайджан? На него все будут смотреть, как на прокажённого!

В это время Луговской привычно отсиживался, на этот раз в Крыму. У него, между прочим, происходил кипучий роман с женой репрессированного военачальника — фотокорреспонденткой Вероникой Саксаганской. В этом смысле наш поэт был рискован парнем, если не сказать хуже.

И вот газета лежит возле кровати, Вероника и не знает, как на сложившуюся ситуацию смотреть: "Что, и — этого теперь?.."

Луговской мечется: в прошлом году во время проработки Фадеев советовал ему уехать, а в этот раз как быть? Когда он и так уже уехал? Утонуть?

Кое-как собравшись с мыслями, Луговской снова пишет Фадееву — это ведь ему в том же 38-м Луговской посвятил трогательные стихи: "Уезжает друг на пароходе, / Стародавний, закадычный друг...", — где сказано: "Долго жили мы и не тужили / И тужили на веку своём, / Много чепухи наговорили, / Много счастья видели вдвоём..."

Письмо огромное, страниц на десять, — Луговской выкладывает всё, что накопело в последние годы.

"Меня глубоко обидели".

"В чём дело? В неважных стихах "Октябрьской поэмы". Но ведь "Правда" день за днём печатает вещи на гораздо более низком уровне... Я найду тебе в десятках стихов Сельвинского и Асеева строфы куда более неудачные, мягко выражаясь. В "повышении качества"? Но ведь нельзя одной рукой систематически понижать качество стихов, как это делает литературный отдел "Правды", а другой писать подобные пришибевские фельетоны, долженствующие насадить красоту в садах советской поэзии".

"Как раз эти стихи мне давались нелегко, я самым принципиальным, самым честным образом стремился приблизиться к большой политической теме и много над ними работал. Это была не халтура, а линия".

Слово "линия" Луговской подчеркнул.

Фадеев отвечать не стал, может, и сам не знал ответа. Хотя в данном случае ответить можно было бы просто. Советская власть хотела не только того, чтобы поэты перестроились. Она хотела, чтобы, перестроившись, поэты работали всё так же хорошо, как до перековки. Чтоб стихи у них были, как у раннего Луговского, но про новое, про сейчас!

В результате советская власть огорчалась, что перестраиваться они перестраиваются, а работу делают всё хуже. И всё хотела что-то подкрутить, подтянуть, подтесать у *инженеров человеческих душ*, чтоб они заискрили как следует.

"Прекрасный поэт Пастернак, — жалуется Луговской Фадееву, — которого в нашей печати, в политической печати смешивали с грязью, за два года не

написал ничего нового, ни от чего не отказался, и вот он сохранил свои чистые одежды и снова поднят на щит...

“Значит... — пытается понять Луговской, — но что же всё это значит? Ты сам... недавно сказал мне, что лучшая моя книга — “Страдания моих друзей”, т. е. книга, написанная до внутренней перестройки моей поэзии. Может быть, ни к чему было ломать копыта?”

“...со мной поступили цинично и холодно. Мне этого не забыть. Это ли “сталинское внимание к человеку”?.. Из меня сделали обезьяну и вышвырнули вон...”

Воистину обидно: душу отдал, лиру отдал, к тому же искренне, по зову сердца, и что взамен?

“Я рад был бы самой жестокой критике, клянусь всей своей честью поэта, клянусь именем Сталина. Я погрустил бы, поёжился, но понял бы всё и, в конце концов, поблагодарил. Но в выступлении “Правды” перед Октябрьским праздником с таким фельетоном было нечто для меня унижительное, а всё дальнейшее только усилило это чувство непонимания и стыда...”

Книг Луговской три года выпускать не будет — иначе поймут твоей же собственной строчкой, как удавкой, опять будут душить. Ну бы к чёрту, лучше переждать.

Новый, 39-й, Луговской встречает с Константином Паустовским и разномастной компанией (бывший символист Георгий Чулков, писатель со странной и несчастной судьбой, крымский завсегдатай Николай Никандров) в любимой Ялте — он старался ездить туда каждый год, да не по разу.

“Взрослые люди превратились в детей, — посмеивался Паустовский. — Писатель Никандров выпросил у рыбаков барабульку, закопчённую по-черноморски... Этих серебристо-коричневых рыбок Никандров связал за хвосты широкими веерами и в таком виде развесил на ёлке. Луговской заведовал ёлочными свечами. Он ездил за ними в Севастополь, долго не возвращался, и мы уже впали в уныние... Но за два часа до того, как надо было зажигать ёлку, по всему дому разнёсся крик: “Володя приехал!” Все ринулись в его комнату, и он, румяный от дорожного ветра, бережно вытащил из кармана маленькую картонную коробку с разноцветными витыми свечами.

— Можно, — сказал он, — написать чудный рассказ, как я нашёл эти свечи на Корабельной стороне. Клянусь тенью Христиана Андерсена”.

Сам Паустовский раскрашивал гуашью флаги разных государств и признавался: “Если бы не Луговской, то ничего путного бы у меня не вышло. Он великолепно знал рисунки и цвета флагов всех государств, даже таких, как “карманная” республика Коста-Рика”.

Пили, пели, едва уgomонились.

Утром Паустовский удивлялся: “Луговской встал раньше всех и, свежий, чисто выбритый, озабоченно растапливал камин”.

Луговской говорит ему:

— После завтрака мы поедем в горы, за Долоссы. Я сговорился с одним отчаянным парнем-шофёром. День короткий. Дорога головоломная, обратно в ночь не поедем.

“Так оно и случилось. Мы ночевали в машине в лесу над пропастью. В нескольких шагах от нас смутным белеющим морем казалось облачное небо. Оно поднялось из пропасти и почему-то остановилось рядом с нами. Иногда облачный туман подходил к самой машине, ударялся о неё и взмывал к вершинам деревьев, как бесшумный прибор”.

Заночевать в лесу... над пропастью. В Крыму, зимой, в 39-м году...

Готовое стихотворение!

Мало Луговскому пропастей было за последние времена, но что-то потянуло ещё раз. Быть может, пытался себя заговорить таким образом: год начнём у самого обрыва, а дальше обрывов не будет.

И угадал.

1 февраля Луговской получает орден.

То есть не он один.

Массовый террор прекращается, и переживших нервные перегрузки литераторов награждают купно — к награде представляют сразу 172 инженера человеческих душ.

Все фамилии пропускают через ведомство Лаврентия Бери, оттуда сообщают, что имеют компрометирующие материалы на часть представленных

к награде. На Толстого Алексея Николаевича. На Асеева. На Катаева. На Леонова. На Павленко. На Светлова. На Каменского. И на Владимира Луговского.

Сталин отодвинет эти папки — хватит уже врагов народа. Никого из названных больше не тронут. Может, заодно вождь вспомнил, как Луговской за него неудачно тост поднимал. А может, и нет. Там, на встрече, были другие, кто поднимал удачно. Это их не спасло.

Литераторов награждают тремя разными наградами, расставив по ранжиру. Одних — орденом Ленина: Шолохова, Асеева, Фадеева, Катаева, Павленко, Тихонова...

Вторых — орденом Трудового Красного Знамени: Всеволода Иванова, Леонова, Паустовского, Кирсанова...

И, наконец, третьих — орденом "Знак почёта": Каменского, Антокольского, Инбер, Луговского и, кстати, трёх его уже дослужившихся до наград учеников — Алигер, Симонова и Долматовского.

Теперь Луговской, да, на хорошем счету. Пусть и не на самом лучшем — Тихонова и Кирсанова оценили выше.

Но, что скрывать, он всё равно счастлив. Счастье это было огромным, шумным, орденоносцы узнавали о своём награждении из свежей "Правды" и шли с шампанским из дома в дом, как уже пару лет не ходили. Господи, весь этот кошмар минувших двух лет закончился, а то, что "Знак почёта", а не орден Ленина — так тут, в конце концов, грех жаловаться: помнится, Бухарин называл его в одном ряду с Борисом Корниловым и Павлом Васильевым — и где они теперь? И Корнилов, и Васильев, и сам Бухарин? А Луговскому звонят из Кремля и говорят: "Спасибо вам, товарищ Луговской, за вашу молодёжь!" — так оценивают его литинститутскую поросль. А 7 февраля он идёт к Спасской башне, и оттуда в Кремль, где ему вручает орден сам дедушка Калинин, и он снова пьёт шампанское на банкете, запивает водкой, и косится на первую в его жизни и очень весомую государственную награду. Фадеев подмигивает: "Я же тебе говорил, Володя! Я же тебе говорил, что всё исправится!..."

Ранней весной Луговской снова уезжает в Крым — теперь уже не прячется, теперь — заслужил.

"Мы ехали из Ялты в Севастополь, — вспоминает Паустовский. — Сумерки застали нас около Байдарских ворот... Цвели мириады венчиков. Каждый из них был полон слабого терпкого запаха, а все вместе они пахли так сильно, что до Севастополя мы доехали совершенно угоревшие, как сквозь сон.

Когда мы спускались с гор по северному склону, Луговской показал мне на небо. Я увидел в самом зените на немыслимой высоте, должно быть, за пределами земной атмосферы, какую-то серебристую рябь и тончайшие белые перья. Они играли пульсирующим, нежнейшим светом.

— Это загадочно светящиеся облака, — сказал Луговской. — Они сложены из кристаллов азота и похожи на оперение исполинской птицы. Говорят, что они приносят счастье".

Оттуда перебрались на катере с матросами в Севастополь.

"Луговской сел на старый адмиралтейский якорь, валявшийся на берегу возле одинокого пристанского фонаря... — пишет Паустовский. — Тихо запел. Он пел для себя..."

Матросы, высадившиеся вместе с нами с катера, отошли уже довольно далеко. Они слышали голос Луговского и остановились. Потом медленно и осторожно вернулись, сели подальше от нас, чтобы не помешать, прямо на землю, обхватив руками колени...

Все слушали. Печальный голос Луговского, казалось, один остался в неоглядной приморской темноте и томился, не в силах рассказать о горечи любви, обречённой на вечную муку...

Когда Луговской замолк, матросы встали, поблагодарили его, и один из них довольно громко сказал своим товарищам:

— Какой человек удивительный. Кто же это может быть?

— Похоже, певец, — ответил из темноты неуверенный голос".

### Интендат 1-го ранга

Через неделю после вторжения Германии в Польшу, 7 сентября 39-го, Луговскому присуждено очередное воинское звание. Приказ Климента Ворошилова.

Долматовский писал: “Луговской получил три шпалы на петлицы и очень гордится этим. Военная форма ему идёт, он это знает и немножко красуется”.

О том же писал другой его ученик, Наровчатов: “Как влитые сидели на нём шинель, гимнастёрки, бриджи. Фуражка с лакированным козырьком посредине лба. В сапоги глядись, как в зеркало... Интендант 1-го ранга, но, конечно, именовал он себя полковником. Весь в ремнях. Удивительно внушительный вид”.

Интенданту 1-го ранга тут же предоставили возможность оправдать доверие партии и правительства.

Группа литераторов — Пётр Павленко, Борис Левин, Долматовский, Луговской — получает приказ выехать в Смоленск.

“Пятнадцатого сентября в Смоленске, — вспоминает Долматовский, — бригадный комиссар Абрамов вызывает нас вдвоём с Луговским. Нам предложено написать песню, с которой советские войска могли бы, если окажется необходимым, перейти границу и освободить из-под панского гнёта Западную Белоруссию и Западную Украину”.

В краткие сроки Луговской и Долматовский сочиняют боевые куплеты для того, чтобы воевать было веселей: “Белоруссия родная, Украина золотая, / Ваши светлые границы мы штыками оградим, / Наша армия могуча, мы разведем злую тучу, / Наших братьев зарубежных мы врагу не отдадим”.

Песню про злую тучу назовут “Марш красных полков”, и она будет петься во всех частях.

Границу поэты переходят в составе кавалерийских частей генерала Черевиченко.

“Мы словно сотню книг / в ту ночь перечитали. / В такую одну ночь / вмещаются года. / Ты, армия моя, / идёшь в броне и стали, / На башнях верный знак — / счастливая звезда”... Луговской чувствует себя на войне в своей шкуре, на своём месте, он по-гумилёвски упивается... Тем более на такой стремительной, победоносной войне, где все рубежи рассыпаются при виде советских танков.

Уже в 39-м году он сделает целый цикл хороших, империалистических стихов.

“Вынув пистолеты, / мы входим в дом. / Зайчики играют на серебряной посуде. / За тяжелоногим дубовым столом / Час тому назад сидели люди... / В зеркале застыл ещё туманный след, / Жизнь чужая / медлит, / замирая слабо... / Где она оборвана — мне дела нет... / Дом предназначен для нашего штаба”.

Или другое такое же, даже не по-гумилёвски, а по-багрицки — почти сладострастное:

“Панна, панна! / Всё пропало. / Обыск медленный идёт. / Из холодного подвала / Поднимают пулемёт. / Он стоит на толстых ножках, / Плотный, тёмно-голубой, / Золотистую дорожку — / Ленту / Тянет за собой...”

“Дальней пули свист внезапный... / Пятый день идём на запад”.

Красноармейцы дарят ему трофейную саблю — он её тут же цепляет на пояс.

Любопытный момент: уже на территории Польши Луговской с Долматовским попадают в здание польской полиции. И там они — впервые в жизни — видят наручники и резиновые дубинки. Невидаль!

В Вильно Луговской, Долматовский и старый знакомый Кирсанов получают очередной приказ: срочно наладить выпуск газеты в редакции эмигрантского “Русского слова”.

Едут по указанному адресу, по-хозяйски стучат в двери, грохочут, входя, сапогами, грозно взирают на остатки перепуганного коллектива. Откуда местным журналистам знать, что перед ними поэты, циркачи стиха, а не зубастые чекисты и расстрельная команда.

Кто-то из троих аккуратно берёт последний номер газеты в руки — там же ж крамола и антисоветчина должно быть! — а на первой полосе шапка: “Советские войска наступают! Гитлер застрелился!”

Эмигранты, стоит признать, оказались прозорливыми, но чересчур оптимистичными в своей прозорливости.

Номер делают за ночь. Утром выясняется, что тираж распространять некому: главред арестован, разносчики разбежались. Недолго думая, Луговской

и Кирсанов сами выступают в качестве продавцов газет. Ажиотаж огромный, номер рвут из рук...

К ноябрю Луговской вернулся в Москву, снова Литературный институт, снова восторженные ученики: дядя Володя в скрипучих сапогах вернулся с очередной войны. Между прочим, Сергей Михалков в те годы Луговского знал хорошо — кто ж его не знал! — и вполне мог дядю Стёпу срисовать с этого великана, перемещавшегося из одной “горячей точки” в другую. Разве что литературной детворе, любившей этого великана, было лет под двадцать.

Той осенью Луговскому позвонил его ученик Михаил Луконин.

— Знаю, знаю, о чём хочешь поговорить, — опередил Луговской, — Жду тебя.

В ноябре 1939 года, сразу после польской кампании, началась война с Финляндией или, как говорили тогда, с белофиннами.

Сегодня уже трудно осознать, насколько велика была вера в Советскую власть, вождя и правоту народа, — на войну, в том числе из Литературного института, буквально рвались.

Проходили очень строгие собеседования, молодых поэтов пытались отговорить, без обиняков рассказывая, что там скоро будут чудовищные, даже по русским меркам, холода, что там со многими случается смерть.

Студенты шли к Луговскому за благословением: идти в бой, дядя Володь? Он благословлял: идите.

Благословил Луконина, благословил других: с курса ушло на фронт восемь поэтов.

Может быть, Луговской думал, что и в Финляндии всё будет так же стремительно и мощно, как в Польше.

Но там уже было не так. Там было совсем иначе.

Ученики хотели стать его наследниками. Кто ж знал, что он не сможет принять наследство.

...Когда Луконин вернулся с финской, вся его группа собралась у Луговского дома. Сабли на стенах, кинжалы, винтовки. Хозяин радушен, молчалив, красив.

Говорил своим басом смущённому и чуть озадаченному Луконину:

— А поворотись-ка ты, сынку! Да он славно бьётся! Добрый будет как зац! — роскошные брови сомкнул. — Вот что скажу: война — твой главный литературный институт, сынку!

Луконин, написавший о Луговском добрые и проникновенные воспоминания, эту московскую встречу опустил, не описал. Что-то в ней есть... лишнее.

Уходил он на финскую ещё с двумя поэтами с курса Луговского. Николай Отрада, тоже сталинградский, как и Луконин, — он сам его и вытащил в Москву, — и Арон Копштейн. Эти двое попали там со своим отрядом в засаду.

Отраду сразу убили наповал. Арон был парень грузный, неповоротливый — еле уговорил его взять на фронт! — теперь он, чертыхаясь, видный издалека, пополз за ранеными. Финны снова начали стрелять, Копштейна ранили, в шоке он встал и тут уже получил пулю в переносицу.

Вот тебе и “сынку”!

“Мужественно встанет мой наследник... настоящий воин и поэт...”

### **Вилла короля**

Весь 40-й год Москва писательская следит за новостями, многие напряжены, но Луговской по-прежнему — по крайней мере, пока его видят, — бодр, самоуверен.

Он приятельствует с Ильёй Эренбургом, вернувшимся в СССР. У Эренбурга сразу начались нервные времена: он написал “Падение Парижа”, Сталин оказался не очень доволен этой вещью и не давал роману ход. Многие коллеги по ремеслу смотрят на нежданного французского гостя с тяжёлым сомнением — часом, не шпион ли? — но не Луговской. Он знает, чего стоит помощь в трудные дни, сам ждал помощи совсем недавно и редко когда дожидался.

Летом 40-го Луговской и его ближайший младший товарищ Долматовский уже в Прибалтике, колесят по только что, так сказать, вошедшим в состав СССР Литве, Латвии, Эстонии, выступают в красноармейских частях. Луговской меньше читает стихов, больше рассказывает солдатам о Европе, —

может, понимает, что поэзии им хочется меньше, чем разговора. К тому же, солдатам, призванным из своих, переживших недавнюю коллективизацию деревень, сложно сообразить, отчего они освобождают людей, которые живут лучше их, хоть и во многих селениях встречаются советские войска цветы... Да, такое было.

Луговской мало того, что профессиональный политработник, он ещё и видел Европу, не только их палисадники и фронтоны, но и фашистские марши, и безработицу, и нищету, и общался с европейскими коммунистами, он кое-что действительно понимает и находит нужные, человеческие слова для объяснений.

В Латвии Луговской и Долматовский обнаружили за собой слежку.

Раз присмотрелись, два — да, точно, за ними ходят.

Шпика задержали. У него при себе имелись несколько фотографий. На одной из них было написано сзади: “Русские офицеры Луговской и Долматовский, приехавшие под видом поэтов”.

Собственно, шпик совсем не ошибся.

Им предоставляют “фиат” для поездок, и Луговской снова попадает в аварию, да не в одну. Долматовский иронически подмечает, что “фиат” легко проходил любые ухабы, но с неожиданной ловкостью переворачивался на ровном месте. И так — три раза!

Луговскому, с его пробитой головой и ломаными рёбрами, перемещение на “фиате” наглядно и шумно не нравится.

Тем не менее, у него есть цель, о которой он даже Долматовскому не говорит. Дядя Володя что-то хочет найти.

Однажды вечером они, наконец, приехали к небогатой вилле под Таллином.

В окне мерцал огонёк.

Долго ходили вокруг... Луговской о чём-то думал, сомневался.

Долматовский спрашивает:

— Кто там?

Думал: может, женщина какая?

Там сидел одинокий, никому не нужный, постаревший и обедневший человек.

Луговской грустно посмотрел на молодого товарища и отвечает:

— Игорь Северянин. Знаешь?

Самый популярный в России поэт предреволюционной поры Северянин, получив в 1918 году на поэтическом конкурсе звание “короля поэтов” — обойдя при этом самого Маяковского! — эмигрировал в Эстонию. И теперь, не сходя с места, не выходя из виллы, вернулся опять в Россию.

Долматовский, конечно же, знал Северянина. Но ему было три года, когда Северянин уехал, а позже этого сочинителя в Стране Советов уже не публиковали.

— Стоит зайти, нет? — улыбаясь, спросил Луговской у Долматовского, поглядывая на огонёк.

Долматовский пожал плечами. У него всё-таки сидел отец, и он был уже не настолько юн, чтоб совершать необдуманные поступки.

Покурили и двинулись назад к машине.

Водитель “фиата” говорит:

— Что? Уже назад? Вроде свет горит в доме...

Может, Луговской решил, что заедет позже.

Но Северянину оставалось жить меньше года.

Какая странная могла бы получиться встреча: первый поэт прошлой эпохи и первый поэт эпохи новой. А разница между ними образовалась — словно в целый век.

### **Ухожу на фронт**

“А время движется. И войны, и судьба / Идут навстречу нам, и темная резьба / На лбах упрямых всё ясней, и сроки / Уже приходят...”

Довоенной зимой 41-го опять сдружились с Фадеевым. Гуляли по Сокольникам, Луговской гостил у Фадеева на даче, попивали кагор прямо из бочонка.

Жизнь снова была разноцветная: у Луговского в конце 40-го начался роман с удивительной женщиной — Еленой Сергеевной Булгаковой (Шиловской),

вдовой Михаила Булгакова, прообразом Маргариты из того романа, который Луговской вскоре прочтёт в рукописи.

Что могло сблизать Булгакова и Луговского в глазах Елены Сергеевны? Ничего.

Ну, разве что, какие-то очень внешние детали. Оба происходили из семей священников. Оба были старшими детьми в большой семье. Оба яркие, остроумные. Оба склонны к тайной меланхолии. Оба литераторы, переживающие периоды удач и неудач: не сопоставимых, конечно, по сути, но по форме схожих: недоброжелатели, проработки, интерес высочайшего лица.

Но Луговской, конечно же, более молодой, более большевистский, более шумный, внешне более крупный, внутренне — более лёгкий, и он увлекает. Кажется, она не хотела сближения с ним, но так вышло: один из самых знаменитых московских покорителей женских сердец, военная форма, ремни, брови, орден, стихи, наконец... Смеялся заразительно и громко, “запрокидывая голову, показывая все свои ровные зубы” (это дочка Мила так запомнила отца). Одна из московских дам в сердцах назвала Луговского “полковник Скалозуб”. Но вообще все от него были в восторге, как тут устоишь!

Он относится к ней очень серьёзно: сначала знакомит с сестрой Таней (“Оденься получше!” — просит сестру), потом везёт в Ленинград на показ ближайшему другу Тихонову — как будущую жену.

И Фадеев знает об их романе. Но ему — вот ведь! — тоже нравится Елена, женщина, прямо скажем, немолодая, прожившая, шутка ли, полвека, но чем-то, должно быть, обворожительная по-прежнему.

Перед войной у матери Луговского случился инсульт. Речь пропала, мать слабела, растворялась, сходила на нет. Свою мать Луговской обожал. Быть может, даже больше всех своих женщин.

Выходить Ольгу Михайловну помогла Булгакова — делала любую работу, была необыкновенно заботлива и проста.

И к матери вернулась речь.

Фадеев, давно вхожий в семью Луговских, так любил Ольгу Михайловну, что, едва она пошла на выздоровление, скупил три ларька цветов, нанял мальчишек и с их помощью приволок несколько охапок флоксов, завалив половину квартиры.

Что-то во всех этих картинах есть томительное, предвоенное, нежное.

Войну будто предчувствовали — и она пришла.

Ученик Луговского Юрий Окунев говорит: “Ещё несколько дней назад в Доме Герцена шли занятия, а теперь здесь разместился добровольческий батальон, почти целиком состоявший из литинститутовцев...”

Участник войны с белофиннами Михаил Луконин проводит занятие со своими бойцами... Комсорг батальона Сергей Наровчатов раскрывает планшет, достаёт блокнот, что-то записывает, а потом быстро выходит из ворот. Вдруг командир нашего отделения Михаил Луконин громко подаёт команду:

— Смирно! Налево равняйся!..

Мы поворачиваем головы и видим Владимира Александровича Луговского. Он медленно прошёл вдоль шеренги. Каждому из нас посмотрел в глаза. Как видно, хотел что-то сказать, но вдруг порывисто обнял и поцеловал Луконина, круто повернулся и ушёл”.

Луговской прикомандирован на работу в боевом листке Северо-Западного фронта.

Летом 41-го у него выходит книга, долгожданная, после длинного перерыва, — так и называется “Новые стихи”, с классической “Курсантской венгеркой”, с прекрасным стихотворением “Медведь”, сочинённым в Ялте, но всем теперь не до этого, даже ему.

Луговской так долго и уверенно двигался к решающему поединку, к огромной войне, и отправляется на фронт немедленно, в последнюю неделю июня. Если его студенты — такие добрые казаки, так чего ж тогда ждать от него, не первое десятилетие кочующего по фронтам и границам?..

26 июня он шлёт телеграмму Ирине Голубкиной, которая отдыхает с Милой на Селигере: “Ухожу на фронт. Целую тебя, дочку”.

Луговского провожает Елена Сергеевна и любящие ученики, ещё остающиеся в тылу. Оркестр, поцелуй и — огромная надежда, что всё это скоро закончится. Как у Луговского в книжке “Новые стихи”: “Вся граница / на тысячи

вёрст / На мгновенье / блеснула штыками. / И погасла. / И только вдали / Громыхало, / катилось, / гремело...

Что всё так и будет: "вдали".

Он садится на псковский поезд, и — всё.

Здесь капкан.

### Капкан

Взывал к своей Советской Республике в блистательных стихах 1929 года: "Возьми меня в переделку и двинь, грохоча, вперёд!"

Просил? На!

В какой-то момент он, превозмогавший всё, что несла ему судьба, сам поверил, что и впредь сможет всё преодолеть.

Но если ты долго любишь свою красивую жизнь, однажды тебе придётся посмотреть на свою некрасивую смерть.

Он всё знал про это, он же поэт истинный, он не раз и не два описал всё это заранее.

В 1926 году в "Биографии Нечаева": "Вы знаете: я думал, морями брызгая, / Выстаивать вахты в белоснежном кителе, / А вышла дорога, до смерти замызганная / Сапогами разбитых и победителей".

Будет тебе дорога, до смерти замызганная.

Он обо всём догадывался, когда в 1929 году писал в "Кухне времени": "И мы в этом вареве вспученных дней, / В животном рассоле костистых событий — / Наверх ли всплывём или ляжем на дне, / Лицом боевым или черепом битым".

На дне ляжем с битым черепом, на самом дне.

У него таких цитат — на целую книжку-раскраску. Дайте побольше красного, розового и кровавого, мы вам разисуем.

В том же 29-м году жене Тамаре признавался в письме: "Вчера мне вдруг сделалось страшно. Это дикое состояние продолжалось несколько минут, но силы и остроты хватило бы на дни. Мир вцепился в моё сердце, как рысь. Вокруг разговаривали и хохотали. Я слышал каждое слово и в то же время болезненно отсутствовал. Я понял, что меня страшит тёмная сила существования, готовая дробить и мять. Я испугался. Тогда из этого страшного мира, из самой сердцевины его, вышла ты, девушка в широкой шляпе, девушка, которую я любил много лет назад... Честное слово, я рванул к тебе".

А когда не к кому будет рвануться и лишь останется тёмная сила, которая дробит и мнёт в прямом смысле, а ни в каком не в переносном?

На первом съезде писателей, в 34-м году, выступая, Луговской публично загадывал три желания, как если бы у моря стоял: чтоб жить и работать ради великой Родины — раз, чтоб сила песни не покинула его — два, чтоб его не оставила "человеческая отвага" — три. Так и сказал.

Боялся, что оставит. Нечего было бояться.

За ним записали: ра-аз, два-а... Три! Спасибо, ждите ответа.

Поезд, на котором следует Луговской к фронту, попадает под ужасную бомбёжку.

Состав сходит с рельсов, всё разносит в клочья, сотни трупов, передавленных и раскромсанных, без голов, без рук, без ног, крики, стоны — ад. Ад. Луговской выбирается из покорёженного железа, весь в чужой крови: огонь, дым, пепел, смрад, мир вывернуло наизнанку — всюду одно мясо.

"Двинь, грохоча..."

"Вышла дорога..."

А они ещё и в окружении. Всех уже убили, а воевать только надо начинать. Оставшиеся в живых идут.

Добираются до Пскова.

Современник записывает: "Псков. 2 июля. Встретил вчера Луговского. Ему вчера исполнилось сорок лет. Он обрюзглый, потный (капли крупные), несёт валерианкой за версту".

При одной только мысли о дальнейшем движении на фронт и продолжении службы Луговского в буквальном смысле рвёт: он явно болен. Болен напал.

Возвращается в Москву и ложится в Кунцевскую больницу.

Медицинская комиссия признаёт Луговского негодным к прохождению

воинской службы: тромбофлебит, полиневрит (множественные поражения нервов).

Здесь можно поставить точку: комиссован. Щщёлк!

Симонов вспоминает: “В первых числах августа 1941 года... у меня был приступ аппендицита, и я лежал на квартире у матери... В комнату, где я лежал, вошёл человек, которого я в первую минуту не узнал, — так невообразимо он изменился: это был Луговской, вернувшийся с Северо-Западного фронта.

Он страшно постарел, у него дрожали руки, он плохо ходил, волочил ногу...

Человек, которого за несколько месяцев до этого я видел здоровым, весёлым, ещё молодым, сидел передо мной в комнате, как груда развалин...”

Потом Луговской пытался как-то выкрутиться, сообщал, что в армии он был два месяца, с 23 июня по начало сентября 1941 года.

На самом деле — несколько дней — с 27 июня по 1 июля. Дальше он распался.

Фокус с физиономией, который показывал в детстве сестрам и маме, не прошёл. Судьба грозного лица не испугалась. Капкан сработал, мозг от боли разлетелся по всей голове. Великан осыпался, остался ссутулившийся голый человек, едва живой. Кожаные форменные ремни впечатались в слабое, белое тело. Снимешь ремни — на теле крест.

Если бы его хотя бы ранили! Самую маленькую, но рану! Чтоб сказать потом: с начала войны в действующих войсках, ранен, комиссован. Нет! Милосердие Господе безгранично, но что-то ещё есть помимо.

На Луговском не было ни царапины. Контузия вроде была, но не сильная. Только душа изуродовалась и запахла человеком, в котором жила. А до тех пор ведь ветром была полна, одним только ветром.

...Какая-то, может, имелась нацеленность в его судьбе на ужасную аварию: самолёт и машина в Таджикистане, в Париже автобус чуть не убил его, лавина эта в Белькомбе, в 36-м — пробитый череп в очередной автокатастрофе, с Долматовским три раза перевернулся в Прибалтике... Где-то его ангела должны были сбить. Вот, видимо, сбили первой же бомбой под Псковом, даже перьев не осталось.

И такой ещё факт в довершение картины. Дом, в котором родился Луговской, рухнул в 1942 году во время бомбёжки. Нет, бомба попала не в него. Бомба упала рядом, а дом испугался и умер.

### **Мастера Маргариты**

В конце июля 1941 года Луговские сидели в Москве, в Лаврушинском, тихие и подавленные.

И мать вдруг запела. В полный голос, великолепно, как раньше, в прошлые времена.

Пропела целую арию.

Никто не мог её прервать.

Заворожённые, дети слушали.

Допела и стала сползать с кресла.

Побежали к ней — Володя, стучая своей неуместной тростью о пол, — перенесли на кровать.

— Мама! Мама! Всё в порядке?

После этого она начала умирать и больше ни минуты не была прежней.

Спела: попрощалась с белым светом и с детьми.

1 августа Ольгу Михайловну под руководством сестры Тани отвезли на дачу, где, как Таня со свойственной ей иронией говорила, “по крайней мере, нет седьмого этажа”.

В августе Луговской поссорится с Булгаковой. Сохранилась записка: “Володя, я очень твёрдо говорю тебе, что мы расстаёмся. Я много раз говорила тебе, но поверь, что сейчас — это последний. Я не смогу быть с тобой. После вчерашнего”.

Подробности не ясны, но, быть может, он показался ей невыносимым. Не то чтобы от него пахло валерьянкой, и он хромал и еле дышал — она умела ухаживать за больными, она была настоящая женщина! — а то, что из него извлекли скелет. Ей стало тяжело держать его огромную голову в руках.

Так тоже бывает: ты уже умер, а жизнь ещё продолжается, только одноцветная, потому что у смерти нет красок.

Луговской идёт в разнос. И не он один — у многих литераторов состояние взвинченное, истеричное.

Характерный момент: в Москве 13 сентября в клубе писателей на Поварской стоят пьяные в хлам Катаев и Луговской, они делают вид, что помирились. Или что не ссорились. Или что вообще ничего не было. К ним подходит одна знакомая Луговского, Катаев спрашивает громко:

— Это твоя новая б...?

Потом, тут же, этой “б...”:

— Бегите из Москвы, немцы в Химках!

Во всём этом — в пьянстве с Катаевым, в этих разговорах о немцах и сквернословии — слышится какой-то налёт неразборчивости и душевной захламлённости.

Луговской, раньше пивший галлонами и не хмелевший, стоит, шатаясь, неряшливый, дурной, отупевший.

14 октября Луговским позвонил Фадеев и сказал, что им срочно необходимо эвакуироваться в Ташкент, в эвакуацию.

А матери всё хуже, мать лежит.

А сам Луговской никуда не годен.

Но — удивительное дело! — его самые близкие женщины, матери его дочерей, не бросают его, всё простили ему.

Помогают собраться и провожают Луговских Тамара Груберт, мать Мухи, и Ирина Голубкина, мать Милы. И домработница Поля. И Фадеев, который — в военной Москве, где каждый день бомбёжки! — находит “скорую помощь” и присылает за Ольгой Михайловной.

На Казанском вокзале — крошечный ужас, грязь, давка и ор.

Мать, Ольгу Михайловну, Фадеев вносит в вагон на руках.

В вагоне она, полулёжа, всем кланяется, улыбаясь, — воспитание!

В этом же поезде едет ещё и... Елена Сергеевна Булгакова с сыном.

Булгакову провожает всё тот же Фадеев.

Луговской озирается вокруг, как малахольный старик: одна жена, другая жена, третья — все были его, все уже не его, да у него и сил нет ни на кого, даже на родную мать, которая когда-то была всех дороже.

Но за всем этим всё равно слышится какая-то высокая, удивительная музыка: 41-й год, осень, вокзал, поэт Луговской, Маргарита покойного Мастера, писатель Фадеев... Какие треугольники и квадраты! Какая сокрушительная человеческая геометрия...

В поэме “Первая свеча” Луговской напишет о Фадееве: “Он мужественным был, я полумёртвым”. Потом, когда расхочет быть полумёртвым, исправит: “Он мужественным был, седым, красивым”.

А дальше (мы цитируем первый вариант поэмы): “И коготочком стучала она / В холодное окно. / А я всё видел. / Всё медлили они, передавая / Друг другу знаки горя и разлуки: / Три пальца, а потом четыре пальца, / И накрест пальцы... / И кивок, и поцелуй / Через стекло”.

У окна стоял Михаил Зощенко и смотрел на всё это. Он тоже с ними покатился в сторону Ташкента.

Мать положили в мягком вагоне, одном на весь состав: наверное, тоже Фадеев подсуетился. Потому что Елена Сергеевна ехала в том же мягком вагоне, и её туда точно посадил он.

В одном купе с Таней Луговской оказался поэт Иосиф Уткин. Он был ранен. Его сопровождала жена и старуха мать.

Хорошая компания для дальней дороги. Как раз, чтобы окончательно сойти с ума.

Недаром одна их попутчица запишет в дневнике: “Луговской стал совсем психопатом”.

Он часами стоял с Зощенко в коридоре и взвинченно обсуждал предвоенные расстрелы маршалов, провалы сталинской политики, чудовищный хаос первых недель войны. В числе прочего Луговскому нужно было объяснить произошедшее с ним, нужны были другие виноватые, а лучше один и самый главный виноватый. И Луговской, напуганный до смерти, теперь уже не боялся: чего бояться после смерти?..

Сестра молилась, чтоб никто не услышал Володю: хоть потрескавшийся,

но всё ещё бас... За стуком колёс — бу-бу-бу, Блюхер, бу-бу-бу, бойня, тутум-тутум, Тухачевский...

Зощенко кивал, не спорил.

У Зощенко, как запишет Татьяна, было “мёртвое лицо”. Его гложет мука, схожая с мукой Луговского: Зощенко обвинят в том, что он сбежал из Ленинграда. Он, между прочим, героический офицер Первой мировой, напишет Сталину, что его “силой усадили в самолёт”.

Сталин об этом и сам знал: Зощенко вместе с Анной Ахматовой вывезли из Ленинграда по его личному приказу. Об этом редко говорят, потому что всякий помнит, что *кремлёвский горец* всегда хотел их обоих убить и только не мог найти для этого подходящего повода.

Между тем, Ахматова вспоминает, что их эскортировали на военном самолёте, и, мало того, рядом летели истребители: “...так близко, что я боялась, что они заденут нас крылом”.

Потом, уже в Ташкенте, Ахматовой, по личному звонку Андрея Жданова, выдали дополнительный паёк. Он назвал её “нашим лучшим” поэтом.

В отдельном вагоне того же удивительного поезда едут Эйзенштейн, с которым Луговской недавно работал над “Александром Невским”; приятель юности Луговского, а ныне маститый режиссёр Пудовкин, всенародная звезда Любовь Орлова и другие столпы советского кинематографа — Трауберг, Рошаль, Александров. Ошалевший проводник этого вагона хвалится на станциях: “Всю жизнь ездю, кого только не возил, но чтоб в одном вагоне ехали и “Броненосец “Потёмкин”, и “Юность Максима”, и “Цирк”, и “Весёлые ребята!”

Цирк и весёлые ребята. И психопат, и мёртвое лицо.

Поезд шёл одиннадцать дней.

### Развалина

В Ташкенте кого только не окажется: Алексей Николаевич Толстой и Корней Чуковский с дочерью, актриса Фаина Раневская, поэт Сергей Городецкий с семьёй, старый знакомый Всеволод Иванов, старый знакомый Корнелий Зелинский, писатель Лидин, драматург Погодин, Надежда Яковлевна Мандельштам...

Луговские — мать, дочь и сын — с домработницей Полей живут на улице Жуковского, 54. Две комнаты с печкой на первом этаже. Наверху над ними, в балахане (верхняя надстройка узбекского дома) — Елена Сергеевна с тринадцатилетним сыном.

Татьяна Луговская пишет в письмах из Ташкента о городе, где “летом закипает на солнце вода, а зимой грязь, которой нет подобной в мире (это, скорее, похоже на быстро стынувший столярный клей), где по улицам вместе с трамваями ходят верблюды и ослы...”

“В этом городе, созданном для погибания...” — пишет она.

На крыше дома растёт трава. Посреди комнаты — чёрная печка. Звонкок у калитки.

Обладавшая несомненным литературным даром сестра Луговского вспоминает ещё про солнце, “от которого можно прикуривать папиросы, мух величиной с напёрсток и луну, словно взятую из плохого спектакля”, про “Ахматову в веригах” и “булочную на углу, похожу на крысиную нору”.

Дыни размером с бельевую корзину. Жёлтые цветы под окнами.

Луговской пьёт совершенно беспощадным образом.

Семью спасает сестра: художница по образованию, она нанялась в местный дворец пионеров и делает эскизы к спектаклю по пьесе Валентина Катаева.

Луговской не желает где-то работать и хоть что-то писать: до апреля 42-го за полгода не будет ни строки.

У матери обнаружен рак, она кричит часами, не прекращая, днём и ночью.

Когда сын пропьёт все достигаемые семейные запасы, он повадится ходить на Алайский рынок — поначалу там ему подносили знакомые и незнакомые: красивый москвич, орден... Но вскоре перестали.

Не беда — он начнёт собирать милостыню и читать стихи за стакан водки.

“Песню о ветре” не желаете, господин хороший? Или про “поросят в витринах”? Про Перекоп, товарищ? Про басмачей не хотите, гражданочка? Про комиссара Усова или полковника Соколова? Про большевиков пустыни и весны? Про восстание в Пешаваре? Налетайте, узкоглазые.

Как ты там писал, поэт, десять лет назад? “Я солдат — / килограммы костей, крови и мышц...”

Теперь бей себя своими собственными стихами по лицу, жри черновики, занюхивай ими.

Как ты обещал: “Где бы ты ни был, — / к востоку ли, к западу, / К северу, к югу, — / эй, друг, помни! — / Цветом, лучом, / ветром и запахом / В теле твоём заполню я / Пулевую дыру”.

И теперь ни ветра, ни луча — один запах!

Тем не менее, узбеки называют его “урус дервиш”. Они его отчего-то уважают.

Может быть, в их понимании этот “урус” ведёт себя разумно.

А ведёт себя он вот так — цитируем поэму “Алайский рынок”: “Мне, собственно, здесь ничего не нужно, / Мне это место так же ненавистно, / Как всякое другое место в мире, / И даже есть хорошая приятность / От голосов и выкриков базарных, / От беготни и толкотни унылой... / Здесь столько горя, что оно ничтожно, / Здесь столько масла, что оно всесильно. / Молочнолицый, толстобрюхий мальчик / Спокойно умирает на виду. / Идут верблюды с тощими горбами, / Стрекохут белорусские еврейки, / Узбеки разговаривают тихо. / О, сонный разворот ташкентских дней!.. <...> Я пьян с утра, а может быть, и раньше... / Пошли дожди, и очень равнодушно / Сырая глина со стены сползает. / Во мне, как танцовщица, пляшет злоба... <...> Подайте, ради Бога”.

Мимо проводят козу.

Мимо проносят арбуз.

Мимо проходит женщина с корзиной. В корзине лежит маленький ребёнок и орёт. Женщина говорит: “Ну, Андрюша, ну, тише...”

Потный урус дервиш с плывущей улыбкой тянет ко всем проходящим пустую кепку. Ему весело. Ему невыносимо.

Все обсуждают чудовищные сводки: немцы берут город за городом. Ходят слухи о том, что Узбекистан может стать англо-американской колонией. Не погонят ли узбеки русских? — боятся эвакуированные. Один дервиш ничего не боится.

Сестра Таня записывает про брата: “Он не знает никаких полумер в своём эгоизме”.

Никаких. Полумер.

Елена Сергеевна, которую любил и называл Инфантой, живёт по-над самой головою? А ничего.

Всёволод Иванов записывает в дневнике, что у Луговского попутно роман с местной врачихой, “седенькая и картавая” — так определяет её Иванов. “Он явился, выпил две рюмки и заснул, как всегда, сидя. Она увела его к себе”.

Сколько в этих ёмких словах — “он явился” — содержится скепсиса, переходящего в безразличие. “Увела его к себе”, тьфу. Как собаку.

Другой раз Иванов описывает, как эвакуированные литераторы сидят в столовой, и “Луговской пришёл якобы с тем, что хочет позвонить по телефону... сел на подоконник. Погодин... не пригласил к столу Луговского, а один пил водку. Луговской, — внутренне, наверное, — бросил “Хамы!”, — и ушёл боком”.

Так ведут себя алкоголики, которых все сторонятся. Он и стал алкоголиком.

Соседи Луговских пишут в дневнике: “Луговской — старая, пьяная развалина. Пьёт, валяется в канавах, про него говорят: “Луговской пошёл в арык”.

...Старая развалина, да? Ха! Ему сорок один год! Полтора года назад он мог стрелять из винтовки в цель с одной вытянутой руки, не пьянеть с литра водки, сесть в седло и всю ночь нестись к чёрту на кулички...

Одна Ахматова на разговоры о рехнувшемся Луговском пожимает царственными плечами: он поэт, он может, как угодно, поэту — простительно.

Луговской заходит к ней и, словно дотапывая себя, читает Анне Андреевне вслух переводы Пушкина из Горация: “...когда за призраком свободы нас Брут отчаянный водил...” — там дальше идут строки: “Ты помнишь час ужасной битвы, / Когда я, трепетный квирит, / Бежал, нечестно бросив щит, / Творя обеты и молитвы”.

Ахматова слушает без улыбки, без осуждения — спокойно, не унижая гостя ни утешением, ни каким иным словом.

Но таких, как Ахматова, — нет, или почти нет.

Его презирают. Распускают слухи, что он бежал с места боёв. Иные в глаза называют “дезертиром”. Он ничего не отвечает.

Удивительно, но полные нежности, доброжелательные письма Луговскому шлют друзья, оба воевавшие, оба находящиеся на фронтах или у самой кромки войны, под ежедневными бомбёжками, и оттого почему-то гораздо более снисходительные, чем тыловые трепачи и демагоги, — Фадеев и Тихонов. Саша и Коля, ближайшие и родные.

“Милый старик! — пишет Сашка, бывший дальневосточный красноармейский партизан. — Ты должен сделать всё, чтобы перестать быть больным. Ты знаешь, что это возможно, если этого очень захотеть... Для этого ты должен ликвидировать абсолютно всё, что взвинчивает нервы (вино, табак, сплетни и переживания, — женщины, конечно, только рекомендуются, но не занудливые)”.

“Я о тебе много расспрашивал в Москве, — пишет Николай, бывший гусар, — узнал все твои болезни и беды и очень расстроился. Ну, ничего, старина, пройдёт и это страшное время, не будет же война длиться сто лет — кончится раньше, — и мы с тобой поедem в какую-нибудь солнечную долину и тряхнём кахетинское под развесистой чинарой”.

Литератор Наталья Громова, написавшая несколько замечательных книг о ташкентской эвакуации, очень точно подметила, что Тихонов приезжал из Ленинграда, где жил, в Москву за Сталинской премией, ни словом об этом не обмолвившись в письме. Удивительная, аристократическая тактичность!

Сильные люди всегда снисходительнее. Слухи распускают слабые.

Впрочем, есть у Луговского один ученик, который в 1938 году называл его своим “крестным отцом”, — Константин Симонов.

Бесстрашный военкор, кочующий с одного участка фронта на другой, демонстрирующий паранормальную храбрость и выдержку, он оказывается в Ташкенте.

### **Симонов и Лопатин**

В повести Константина Симонова “Двадцать дней без войны” (ставшей частью романа “Так называемая личная жизнь”) описан Луговской. Или человек, похожий на Луговского до степени полного смешения.

В действительности, кажется, всё было острее, чем в романе, начатом за год до смерти Луговского, а законченном в 1978 году.

Согласно сюжету “Двадцати дней без войны”, Луговской встречает военкора Лопатина уже на вокзале. На самом деле Симонов сначала отказался встречаться с Луговским. Тот напился пьян и пошёл к Ахматовой жаловаться ей на своего любимого ученика.

Но главный герой симоновского сочинения, строго говоря, не сам Симонов, о чём автор уведомляет в предисловии к своей книге.

Симонов как бы прячется за Лопатина, сделал его старше и старательно описав его непохожим на себя, — более добрым, более грузным и, главное, куда менее амбициозным.

В первой части этого романа, состоящего из трёх повестей, есть забавный момент, когда Лопатин ревнует жену-актрису к молодому и очень успешному драматургу, чья фамилия не называется: он красивый, с усиками, сетует Лопатин, нечего тебе с ним встречаться, влюбись ещё.

Вот этот с усиками, которого женщинам лучше избегать, и есть молодой Симонов, и Симонов стареющий немного иронизирует над собою, но немного и любит себя.

Однако Лопатину он передоверяет и маршруты своих поездок по фронтам, и свои любовные переживания, — Симонов, к слову, сам был женат на актрисе, — и свои мысли, и всё-таки состоявшуюся встречу с Луговским тоже.

“Всё было неузнаваемо в этом человеке, — таким видит герой повести Симонова своего бывшего друга, эвакуированного в Ташкент поэта по имени Вячеслав. — И голос, в котором вместо прежних медных труб осталось одно рыдание, и неправдоподобно худая фигура, и постаревшее лицо, которым он сейчас, как слепой, тыкался в лицо Лопатину”.

Руки у поэта тоже “не прежние, неуверенно подрагивающие”. И, спустя страницу, опять: “исхудалые, подрагивающие”.

Порой поэт Вячеслав старается говорить с вызовом, но и “в вызове этом было что-то неуверенное, похожее на просьбу о прощении, хотя Лопатину нечего было ему прощать”.

Лопатин “помнил другое: как, попав тогда в Среднюю Азию, чёрной завистью завидовал” этому поэту, который “во время боёв с басмачами, целую неделю находился при штабе Кавдивизии у знакомого ему и воспетого им по-том в стихах комдива”.

“Что же такое случилось с ним? Как это могло случиться именно с ним?” — думает Лопатин. Вернее, Симонов.

Слово “именно” — ключевое. Подобное происходило тогда сплошь и рядом, десятки поэтов ушли на войну, а неслучайное число других попряталось кто где до самого конца Отечественной. С них никто ничего не спросил. Но как такое могло произойти с Луговским, который полтора десятилетия служил образцом мужества и силы?

Дома поэт “бросил на тахту знакомое Лопатину довоенное заграничное демисезонное пальто, теперь сидевшее на нем как на вешалке”.

“И в этой нынешней комнате, на вытертом паласе, словно память о прошлом, висела шашка. Одна, но всё-таки висела”.

Здесь Симонов присочиняет — шашки никакой не было в доме Луговских. Но как деталь — эта шашка ужасно убедительна. От этой шашки на стене становится одновременно и жалче, и горше.

И вот первый авторский вывод, который Симонов сделал не тогда, когда приезжал в Ташкент, а много позже, когда писал книгу: Луговской “не был похож на человека, струсившего на войне, но счастливого тем, что он спасся от неё. Он был не просто несчастен, он был болен своим несчастьем. И те издёвки над ним, которые слышал Лопатин в Москве, при всём своём внешнем правдоподобию были несправедливы. Предполагали, что, спасшись от войны, он сделал именно то, что хотел. А он, спасшись от войны, сделал то, чего не хотел делать. И в этом состояло его несчастье”.

“Решимость отчаяния <...> ставила в глазах Лопатина этого оказавшегося перед лицом войны таким слабым человека намного выше людей, которые вели себя низко, но при этом жили так, словно с ними ничего не случилось, и, легко согласившись, чтобы вместо них рисковал жизнью кто-то другой, сами продолжали существовать, сохраняя вид собственного достоинства”.

Но этот вывод, увы, не последний — и как воин, и как поэт, Симонов обязан идти до конца.

Потому что правда Владимира Луговского была, в конечном итоге, “только его правдой, а не вообще правдой. Вообще-то перед лицом войны он хотя и мучился этим, всё-таки жил несправедливой жизнью. И это тоже была правда. И более важная”.

... И ни одно слово здесь не оспоришь, и ничего не попишешь, кроме того, что после войны, когда Симонов попал в опалу, его самого сослали в Ташкент.

Ирония человеческих судеб.

### **Твердыня, дыня**

Симонов написал правду, но важно то, что говорить эту правду имеет право только Симонов или равные ему, каковых не так много.

Иногда кажется, что в случившемся с Владимиром Луговским есть что-то христианское: он словно один принял на себя чью-то трусость, чьё-то бегство, чью-то подлость, чей-то нескрытый позор.

Ни одно серьёзное упоминание его имени не обходится без ташкентской истории, и в этом уже есть что-то, право слово, патологическое.

Самая серьёзная работа, посвящённая ему, — “Владимир Луговской. Книга о поэте” Льва Левина, вышедшая в 1972 году, — и та, за невозможностью говорить в те годы про ташкентские события Великой Отечественной, содержит кислые сетования: вот-де Луговской толком не воевал в гражданскую, нет у него военного опыта Фурманова и Фадеева... Попробовал бы Лев Левин написать то же самое о Маяковском — сразу позабыл бы дорогу во все советские издательства.

Есенин, как и всё его революционное поэтическое окружение, тоже миновал гражданскую, а с Первой мировой вообще дезертировал — у кого-то хватит ума про это всерьёз говорить?

Даже Евгений Евтушенко, и тот отметил в стихах (справедливости ради, уточним — комплиментарных) о Луговском: “Он, казавшийся твердойней, / вдруг рассыпался в момент, / вместо фронта выбрав дыни, / пловом пахнувший Ташкент...”

Дыни-твердыни, чёрт...

И где там пахло пловом? Там два года недоедали все.

“Шестидесятники”, вестимо, всегда выбирали фронт, а не Ташкент. Или не выбирали? Или не было возможности? Ну, так и не надо высказываться на эту тему.

Строго говоря, Луговской ничего не “выбрал”, а был комиссован.

В то время как почти все крупнейшие писатели той эпохи получили свою бронь — и Шолохов, и Катаев, и Леонов, и Зощенко, и Пастернак, демобилизованный из-за перелома ноги ещё в первую мировую. Кто-то из них бывал на фронте наездами, кто-то реально рисковал, кто-то не доезжал вообще, но спросу нет ни с кого. Всеволод Иванов был всего на шесть лет старше Луговского, он находился в Ташкенте и едко издевался над своим спивающимся знакомым. Анатолий Мариенгоф, на четыре года старше Луговского, был в Кирове, в эвакуации: всё по закону. Даниил Хармс вообще объявил, что на фронт его призывать нельзя, а если позовут, он будет стрелять в спину красным командирам. У Хармса огромное количество адвокатов, а на вдруг объявившегося обвинителя Хармса сегодня посмотрят, как на душевно больного человека.

Целый вагон актёров и режиссёров катился в том же составе, что и Луговской, в Ташкент — кто-то сказал им, что они выбрали дыни? Там ведь тоже сидели люди, снимавшие героические картины и игравшие героических персонажей.

Ольга Грудцова в своих воспоминаниях, прямо обращаясь к Луговскому, хорошо формулирует то, что отчасти было сказано Симоновым, но чуть иначе, чуть, что ли, по-женски: “Всем простили спокойную совесть, с которой люди устраивались в тылу, лёгкость, с которой добывали брони, ты же не обязан был воевать, но тебе не простили ничего. Не простили твоих ружей и сабель, выставленных вдоль стен в кабинете, твоих рассказов о борьбе с басмачами... Они до сих пор считают, что ты их обманул. Где им понять, что ты сам в себе обманул и что это больнее, чем ошибиться в другом! Кто-то из них подумал, как тебя сжигал стыд и что поэтому ты пил беспробудно. Они-то ведь никогда не испытывали позора, все они были довольны собой”.

Потом, когда уже случится перелом в войне, Луговскому не раз предложат: езжай теперь на фронт, мы атакуем, уже можно, уже проще. Никуда не поехал, прошёл до конца свой путь — оплётанный, раздавленный, убогий. Судьбу надо допивать, не оставлять на донышке. Капкан щёлкнул — пусть добывает охотник.

В дневнике он записывает: “Величие унижения, ибо в нём огромное освобождение”.

С какого-то момента Луговской в своём новом качестве стал многим выгоден — струсившим, спрятавшимся, одичавшим в своём ужасе; они скрылись за его спиной, потому что в любую минуту можно сказать: а во-от Луговской, слышали? О, это история...

Такой памятник осыпался! Такой титан над всеми возвышался. Ещё полвершка бы, и до Маяковского дорос. И нет титана.

Случившееся с Луговским имеет почти иррациональное объяснение. Словно бы ему сказали: так долго хотел большой войны — жди с войной большой беды. Не совладал с бедой, тогда я, судьба твоя, тебя опозорю. Не совсем заслуженно или совсем незаслуженно, но что поделать. На то я и судьба. Заодно, кстати, сделаю тебя великим поэтом...

Кто мог бы не прощать его на всех непомерных основаниях — так это его ученики: Борис Лебедев, Леонид Кацнельсон, Василий Резвов. Все трое погибли на Отечественной. И ещё его Этьенетта. Но от их имени говорить кому-то — много чести.

### Как отрезало

Ольга Михайловна Луговская, мать поэта, умерла 7 апреля 1942 года.

Ходили, добывались места на кладбище, Луговской всё распахивал пальто, чтоб ответственные лица видели его орден.

9-го похоронили. Небо было ясным. Дощатый жёлтый гроб. Тополь в ногах. И его стихи об этом.

“Ты — плоть моя. / Ты мне передала / Твою глухую свадебную полночь / С моим отцом. / Зерно твоей любви, / Упал я в ночь. / И вот перед тобой, / Победа мёртвая, сидит на жалком стуле / Твоё создание, грустный человек, / В дверях открытых материнской смерти. / В том ящике, что я сейчас задвинул, / Лежат тобой прочитанные письма. / Спи, мать людей, за окнами темнеет, / И дождик азиатский бьёт беспечно / Ладощками в жужжащее окно...”

Сестра Татьяна расскажет после всего: “Володя запил ипил ужасно, пока мама не умерла, а потом как отрезало”.

Луговской начинает работать. Смерть отца сделала его поэтом. Смерть матери вернула ему силу. Великое унижение даровало ему крылья. В Ташкенте Владимир Луговской начнёт писать — и вчерне напишет одну из самых лучших поэтических книг за всю историю русской поэзии. Позже эта книга будет названа “Середина века”.

Весной, когда зацвели деревья, Ахматова однажды видит, как Луговской вскапывает землю во дворе.

— Если хотите знать, что такое поэт, посмотрите на Луговского! — чеканит Анна Андреевна.

Луговской, правда, перекопал двор вместе с кирпичными дорожками, которые пришлось потом перестилать, но это ничего.

Он снова мирится и сходится с Булгаковой. Живут одной семьёй.

Елена Сергеевна даёт ему рукопись “Мастера и Маргариты”, которая у неё с собой, — Луговской становится одним из первых читателей этого романа.

Она набирает его поэмы.

Луговскому поступает новое предложение от Эйзенштейна: писать стихи для его новой картины “Иван Грозный” — съёмки проходят в Алма-Ате.

Понемногу появляются деньги. Понемногу возвращаются цвета в жизнь.

Какое-то время его стихи в Ташкенте не хотели передавать по местному радио: а вдруг дезертир, вроде идут такие разговоры... Это в те дни, когда работать на победу позволили всем, кого били-колотили перед войной. В Кирове Анатолий Мариенгоф, давно и непрерываемо признанный ненужным поэтом, и тот выступает на радио и выпускает сразу несколько книг стихов.

По поводу Луговского делают из Ташкента звонок в Пур, там наводят справки и дают твёрдый ответ: “Владимир Луговской вёл себя на фронте достойно, был контужен и комиссован. Никаких причин не передавать стихи нет”.

В начале лета Луговской в Алма-Ате.

“Одновременно с Луговским приехало несколько киносценаристов, — вспоминает Ольга Грудцова, — Они собрались в сценарном отделе. Сценаристы начали с жалоб: их поселили в непригодном помещении, матрацы жёсткие, столовая плохая и т. д. Они злились и брюзжали. А рядом стоял, небрежно опираясь на палку, Луговской и молчал. Когда же начальник сценарного отдела спросил, есть ли у него какие-либо требования, Владимир Александрович ответил, что всем доволен и никаких претензий у него нет...”

Луговской долго ещё пробыл в Алма-Ате. Он жил в гостинице, отданной под общежитие работников искусств, в крохотной комнате...

У него болели ноги. Идти от общежития до киностудии и дома Эйзенштейна было далеко. Стояла томительная жара. Но Луговской приходил ежедневно. Они работали с Эйзенштейном...

Мы жили без дров, полуголодные, плохо одетые. Люди устали, опустились: грязные воротнички, невымытые лица... Луговской приходил на студию тщательно выбритый, с мастерски, по-особенному завязанным галстуком, всегда элегантный, хоть и в обтрёпанных брюках и рваных туфлях”.

О том же периоде вспоминает Мария Белкина: “Он никогда не был жалким, никогда. Его облик, прямая спина не позволяли представлять его жалким, но он вдруг стал глубоко изменившимся. Исчезло всё внешнее, наигрыш, актёрство, — он ведь и всегда немного актёрствовал, позировал, и вдруг нет ничего”.

Про то, что Луговской изменился, пишет летом 42-го года и Елена Сергеевна из Ташкента, куда Луговской вернулся после работы над фильмом.

“Володя — молодец, с ним хорошо и легко”.

А совсем недавно с ним было плохо и невыносимо.

23 июля 1942 года в Ташкент приехали Ирина Голубкина с Милочкой — до тех пор они находились в Сталинабаде.

У Милы складываются самые добрые отношения с Булгаковой.

Потом вспомнит: “Елену Сергеевну я запомнила. Она была очень ласкова со мной, без фальши и натянутости, которые дети всегда чувствуют”.

Булгакова пишет знакомым письма об их житье в стиле “и смех, и грех”: “Москиты, оказавшиеся страшной сволочью, москиты, о которых Володя, восхваляя эту чёртову Среднюю Азию, никогда не сказал ни слова, москиты, о которых все упоминали мимоходом, искушали меня вконец. Что это значит? Это значит, что на моих руках, лице и шее (и отчасти на ногах и на теле) зияет не меньше 200–300 открытых ран, так как я не выношу, когда у меня появляется какое-то открытое пятнышко, а если оно при этом чешется, то я сдираю кожу с таким упоением, что испытываю при этом физическое наслаждение...”

В результате я похожа на зебру, приснившуюся в страшном сне, и, между нами говоря, прощу теперь Володе все смертные грехи за то, что на него это не производит никакого впечатления и он по-прежнему говорит, что милей мово нет на свете никого.

Затем – жара. Это та самая адская жара, в которой мне лично, безусловно, суждено доживать, когда я перейду из этого мира в другой. Сколько градусов – уже безразлично, потому что это пекло. Например, на моей лестнице нельзя сидеть просто на ступеньках, сожжёт зад, приходится подкладывать подушечку...

Двор значительно опустел, уехали... Леонидовы, Уткин (слава Богу)...

Пришёл Володя и стал диктовать мне свою поэму для 2-й книги “Жизнь”. Боюсь взглянуть, но, кажется, это будет замечательная вещь”.

За несколько месяцев Луговской напишет более двадцати поэм цикла.

Читал их Ахматовой. Она молча слушала, поставив стул в тень. Просила приносить ей каждую новую главу – сразу поняла, что это такое, какая сила в новом Луговском.

Несколько раз они читали вдвоём какому-то малому количеству гостей, по очереди. Луговской уже написал “Белькомб” – о своей французской, убитой любви.

Редкие слушатели вспоминают, что ощущения были невозможные: Ахматова, лучшие стихи Луговского – шок.

Читал Всеволоду Иванову, потом спорили о форме поэмы.

Иванов записывает: “Луговской совершенно серьёзно – он был трезв, – сказал:

– Она написана в форме бреда”.

В 1942 году Луговской начинает работу над едва ли не лучшей поэмой книги – “Сказка о сне”, посвященной Булгаковой: “...Неужто я / Сквозь сорок лет прошёл, чтобы под утро, / В тот час, когда кончается планета, / Увидеть эту женщину...”

Ей же в 43-м посвящено стихотворение “Непрядва”: “И на серебряном песке / Следы подков и пена. / И кочет кычет вдалеке, / Жена моя Елена!”

А Елене Сергеевне вдруг начинает сниться Михаил Афанасьевич Булгаков, её единственный муж на земле и на небе.

– Как он? – спрашивает Булгаков про Луговского во сне.

– Хороший любовник, – отвечает она, пожимая плечами.

Булгаков не ревнует. Он же знает, что жена она только ему.

Елена Сергеевна выезжает из Ташкента 1 июня 1943 года – её вызвал МХАТ. Луговской ещё не понимает, что эта женщина, которую он видел своей женой, уже не вернётся назад.

В комнату Булгаковой заехала Ахматова – теперь они соседи с Луговским и видятся каждый день.

Что-то понимая, Луговской пишет в Москву Елене Сергеевне, просит, наконец, оторваться от Михаила Булгакова, перестать быть его вдовой и жить с ним, с живым Луговским.

Но не может быть два Мастера у одной женщины. Мастер может быть только один.

В Москве Елена Сергеевна твёрдо решает: она только вдова, и всё. И больше ничего не надо.

И оказывается права.

### Змеинная кожа

43-й принёс великую надежду на свободу Родины.

В неоконченной поэме “Ташкент” есть это ощущение: “И далеко по улицам Ташкента / Я слышал голос: “Важные известия!” / Сигнал Москвы и мерный шум эфира. / Стояли толпы возле рупоров <...> Все ждали, глядя на луну, / Бросая в нетерпенье самокрутки, / Известий из Москвы, но медлил диктор. / — Полтава... — говорили. — Нет, Чернигов. / Иль, может, Витебск? Или Мелитополь? — / Десятки называя городов. / Проникнутые судорожным счастьем, / Все спорили и ссорились, как дети...”

Луговские выехали в Москву 1 декабря 1943 года. Их провожала целая толпа — первые ташкентские полгода походов поэта “в арык” подзабылись, Луговского вновь полюбили многие.

И Ахматова тоже провожала.

Ещё забавная деталь: Борис Пастернак в этом году некоторое время жил в московской квартире Луговского — у него не было другого жилья. Так что Ахматова провожает, Пастернак встречает — такой кругооборот.

На вокзале Луговской был взволнован, всё окликал, вдруг напугавшись: “Татьяна! Где моя поэма?”

Ответ был: “Она у тебя в руках!”

“Середина века” доказывала, в первую очередь, ему самому, что он не лишний в этой жизни, что он был не случаен. Потерять такое ощущение вместе с поэмой невыносимо. Он уже один раз потерял себя.

Вскоре Луговской будет читать “Середину века” в доме Пастернака (гостеприимство — за гостеприимство) самым близким товарищам: Антокольскому, Паустовскому, Тихонову, Фадееву, Чиковани... В поэме, между прочим, есть замечательная глава про 37-й год — “Каблуки” — жёсткая, правдивая; дерзкие куски на ту же тему есть в поэме “Москва” — такое будут сочинять после разоблачения культа личности, и то замирая от собственной смелости, но как раз тогда Луговской ничего подобного писать не станет.

Друзья выслушают и скажут, что это прекрасно и пронзительно, но опубликовать это, признают друзья, невозможно.

Луговской отмахнётся: главное, что поэма есть.

А пока он входит в свой дом. Тут жила мама. Сюда приходили его ученики и обожали его, а он обожал их. Тут всё было по-другому.

Дома разор.

Часть ценных вещей из квартиры пропала: жильцы, бывшие тут до Пастернака, устроили небольшой пожар, чтобы скрыть своё воровство. Но коллекция сабель почти вся сохранилась. Унесли какие-то самые красивые на вид клинки, на деле реальной ценности не представляющие.

Зато сохранилась куртка из змеиной кожи.

О, с курткой была история в своё время, ещё до войны. Настоящий анекдот! Он имел хождение в литературной среде и обрастал всё новыми подробностями.

В общем, на дворе стояло 30 июня примерно 1935 года.

Симонов, который был тот ещё, не хуже Луговского, модник, а иной раз и позёр, увидел в комиссионке удивительную, всю на молниях, куртку из змеиной кожи.

Денег у него не хватало, и он поделился тайной с другим учеником Луговского — Михаилом Матусовским: если есть триста целковых — иди посмотри, а то вещь уйдёт в чужие руки, обидно будет.

Матусовский побежал в Столешников переулок, где была комиссионка, и ахнул. Это не куртка была, а настоящее животное, кобра, питон, дракон.

Чтоб долго не раздумывать, отсчитал положенные рубли и, схватив по купку подмышку, побежал домой, ошавевший от такой красоты, — в Москве эта куртка наверняка единственная, да что там в Москве — во всём СССР: здесь давно уже драконы не водились.

Впопыхах не обратил внимание, что куртка в комиссионке висела на подозрительном отдалении от всех остальных вещей, и от продавцов тоже.

Вернулся в свою коммуналочку и тут же давай примерять.

И сам уже чувствует: что-то не то, куртка будто была сделана из сорока умерших от старости и болезней змей — она издавала чудовищный, глаза выедающий запах.

И к тому же не то что шуршала — в этом была бы своя экзотическая прелесть, — а гремела.

Привлечённые необычным шумом и зловредным змеиным смрадом, вышли из своих комнат соседи Матусовского.

Оценив, а также обнюхав обновку, они чётко изложили своё мнение: вы, конечно, Миша, поэт, это нас обязывает к уважению, но выбор у вас прост: или вы остаётесь здесь жить, но без куртки — и поселите её отдельно, либо вы живите с ней вместе в любви и взаимопонимании, но без нас и под другой крышей. Проще говоря: вымётывайтесь отсюда немедленно со своей подколодной курткой.

Матусовский подумал и решил сделать подарок Симонову. Костя, сказал ему, ты же брат мне. Ты наверняка будешь лучшим из нас. Ты будешь такой же, как Луговской. Ну, почти такой же, если немного вырастешь и раздашься в плечах. Прими от меня эту куртку в подарок. А деньги отдашь с первой Сталинской премии.

Симонов ахнул: спасибо, родной. Спасибо, не обижу тебя отказом.

Забрал куртку, и тоже, естественно, бросился мерить. В комиссионке он её только разглядывал, прикоснуться не решаясь.

Куртка ему оказалась велика на несколько размеров.

И этот несносный запах.

И что она так скрежещет? Ночью весь подъезд будет просыпаться от этого скрежета.

Недолго думая, Симонов звонит другому своему учителю — Павлу Антокольскому. Учитель, говорит, у меня есть одна вещь, которую я не заслужил. Я пока ещё молод. Я ещё не имею права. Давайте я вам покажу то, что должны носить только вы.

Антокольский заинтересовался: приносите, говорит.

На беду, Антокольский оказался ещё уже в плечах, чем Симонов и просто исчез внутри дракона. Как будто его уже проглотили, и только любопытствующие глаза лукаво поглядывают из смрадной пасти хладнокровного гада.

При этом Антокольскому вещь понравилось. Он считал, что она ему к лицу, и ему всего лишь нужно, ну, чуточку подрасти и расправиться. И, что удивительно, запах его не смущал. И скрежет тоже. Но никто из близких не делил его чувств к змеиной куртке, и даже напротив.

Антокольский в тоске играл молнией: джик-джжжжжик. Джик-джжжжжик.

Да, понимал Антокольский, видимо, не судьба. Я не смогу, думал Антокольский, вырасти настолько. Как поэт — смогу, и даже больше, а как человек — едва ли.

И тут, никто уже не помнил, кому из хозяев куртки пришла в голову идея простая и очевидная: они же все — все! — приглашены на день рождения к Луговскому. Первого июля!

Это всё решает! Надо разбить цену на трёх человек — и сделать королевский подарок Владимиру свет Александровичу. Ему-то она точно подойдёт.

И ему она точно подошла.

Луговской — огромный, ещё молодой, красивый своей сногшибательной красотой, выглядел в куртке, как полубог, как предводитель полубогов, как покоритель рептилий.

Когда он выходил на улицу в своей куртке — женщины падали в обморок, но так, чтобы Луговской успел их, скрежеща, поймать. Милиционер забывал, как управлять движением на перекрёстке. Собаки не решались лаять и только открывали, как рыбы, немые пасти. Движение транспорта останавливалось. Пассажиры трамвая прикипали к стеклу, и трамвай рисковал упасть на бок. Велосипедистки въезжали непосредственно в столбы или в ошарашенного регулировщика.

Если над Луговским пролетала птица, то её случайный след на куртке не делал куртку хуже, а просто был незаметен, и даже запах куртки не изменялся.

Куртку знала едва ли не вся Москва. Она могла соперничать в популярности с Луговским, но они дружили и какое-то время не мыслились друг без друга.

Было дело... Жизнь была такая смешная. Странно, что она совсем исчезла.

Луговской хранил куртку в специальном водонепроницаемом мешке.

...Раскрыл шкаф, достал мешок — да, на месте.

Распечатал — и пахнет всё так же. Как труп из прошлого.

Представить обстоятельства, в которых он надел бы её сегодня, было невозможно. Куда ему, старику...

Но теперь история с курткой неожиданно срифмовалась с другим случаем — ещё более давним.

Речь об этом случае шла в поэме 32-го года “Сапоги”, которую Луговской читал на встрече со Сталиным.

Дело было в гражданскую. Луговской служил в полевом контроле. Однажды его, — по сути, рядового разведчика — отправили посмотреть, нет ли в ближайшей деревне белых. Дали напарника. Тип, если верить поэме, оказался странный, по фамилии Белов.

“Вдруг я заметил, что Белов дрожит. / “Что с вами?” / “Очень плохо!” / “Почему?” / “Нервишки заиграли!” / Он потрогал / Вспотевший лоб и зашагал вперёд <...> “Какая прелесть”, — бормотал Белов, / Качая головой и спотыкаясь. / Мы углубились в рощу. / Он опять / остановился. / “Не могу!” / “Чего не можете?” / “Я заболел!” / “Пустое, подтянитесь!” / “Ей-богу, не могу. Зачем всё это?” / “Что?” / “Мерзость, гибель, смерть!” / “Да вы рехнулись?!” / “Мне нужно главное почувствовать во всём. / Зачем берёзы, если я подохну? / А вдруг конец? Я одинок, поймите!” <...> Тут я не выдержал: / “Да вы в разведке! / Вы что, толстовец?” / “Слушайте, товарищ, / Мы говорим на разных языках”.

Перечитываешь поэму и думаешь: с кем разговаривал молодой Луговской? С кем же он разговаривал?

Герои поэмы, Луговской и его напарник, с приключениями дошли до усадьбы и увидели там растерзанного красноармейца с вырезанной на груди звездой.

Пока осматривали пустой дом, непрерывно истеривший до той поры Белов нашёл где-то сапоги и тут же спрятал их под телогрейку.

На обратном пути “...нечистый дух взял за язык Белова. / Он говорил с огромным облегчением / О личности, о счастье, о свободе, / О бесполезности людских страданий, / О героизме и борьбе со смертью, / О прелести закатов и берёз, / О слове “я” во всём его объёме, / О голом человеке Диогене / Или Гогене — я не разобрал...”

В общем, обо всём том, о чём сам Луговской будет впоследствии сочинять стихи.

В поэме Луговской, взбешённый, отбирает у этого демагога Белова сапоги — “коричневатую-огненную пару”, — того же, как ни странно, цвета, что и куртка, — и распарывает их из огромного презрения к слабости и никчёмности человеческой.

Намасленные, пахнущие, неестественного цвета сапоги...

...И что теперь Луговскому оставалось сделать с курткой?

Если б это было кино, то такой ход показался бы слишком игровым, слишком придуманным: юный разведчик Луговской отнимает сапоги у труса, мародёра и толстолица, кромсает и режет их на части, пишет об этом, спустя почти десять лет поэму, читает её Сталину... потом влетает в капкан и выясняется, что эту красивую вещь он отнимал у самого себя, спорил сам с собой, издевался над самим собою и — ходил в разведку со своим зеркальным отражением.

Жизнь, если в неё долго всматриваться, куда более щедра, чем любая выдумка.

И как поступить Луговскому: опять, что ли, резать всё это на части? Коричневатую-огненную кожу эту?

Пошлость какая.

Втройне противно ещё и потому, что тогда, у Сталина, слушавший поэму Климент Ворошилов сказал спокойно: “Зря герой сапоги порезал. Редкая вещь была в гражданскую — сапоги. Надо было мародёра наказывать, а сапоги оставить... Пригодились бы”.

Как вспомнишь обо всём этом — тошнит от самого себя.

Не-пре-о-до-ли-мой то-шно-той.

Сестра Таня позвала чай пить.

Куртку убрал в мешок поскорей.

После выкинул. Чтобы не пахло гадом в доме.

## Женщины поэта

Татьяна Луговская как-то услышала, что брат посреди ночи громко хохочет за стеной. Пошла посмотреть, чего он так развеселился.

Оказывается, вот что.

В эвакуации, наряду с Еленой Сергеевной и тем врачом, о которой вспоминал Всеволод Иванов (сестра Татьяна тоже её помнит, фамилия той любовницы была Беляева) у Луговского была связь с одной экзотической женщиной, полуяванкой — эвакуированные в шутку называли её “полуяванкой”.

Луговской вернулся домой, стал разбирать свои бумаги и нашёл любовные письма десятилетней давности от женщины, которую звали так же, как полуяванку. И вдруг его осенило: это она и была. За десять лет, имея связи со многими и многими женщинами, он её совершенно позабыл, а в ташкентском пьяном полубреду не узнал: познакомился с ней во второй раз, а она ничего не сказала.

“Володю женщины обожали”, — спокойно сообщала сестра Таня, вспоминая брата.

Во время войны у Луговского появится новая женщина, и новая — уже до самого конца — любовь — Елена Леонидовна Быкова, впрочем, её все называли Майя, оттого что она родилась 14 мая, или оттого, что это весеннее имя очень подходило ей.

(Или, быть может, Луговскому не хотелось, чтобы после Елены Булгаковой снова была Елена?)

Луговской и Майя-Елена поженятся, и мы даже не станем пытаться считать, какой это был по счёту брак Луговского.

Быкова была не просто хороша собой (“крупная величавая красавица” — так охарактеризует её Евгений Евтушенко), но и необычайно одарена. По профессии геохимик, после войны она станет кандидатом наук, чем Луговской будет откровенно гордиться и всем хвастаться. Под именем “Елена Быкова” будет публиковать рассказы, под именем “Майя Луговская” — стихи, под обоими именами издавать составленные ею сборники воспоминаний о поэтах.

Кроме того, она успешно занималась живописью и, наконец, была хозяйкой гостеприимного дома, где и при жизни Луговского, и после его ухода пребывали самые видные люди искусства тех лет — несчётное количество поэтов, скульпторов, художников, музыкантов.

У Евтушенко, по его собственному признанию, на письменном столе лет двадцать будут лежать под стеклом стихи Майи Луговской: “Мы умирали вместе на кресте, / Мы ничего не знали о Христе. / Он был такой же смертный, как и мы. / Страдал, как мы, страшился смертной тьмы. / Когда последний крик рванулся в твердь, / Всё пресеклось и наступила смерть. / Кто выдумать посмел, что он воскрес, / Не понимает, что такое крест”.

Кажется, в этих строчках есть отсвет понимания и того, почему она полюбила Луговского невзирая на недавно случившееся с ним и, по сути, обрушившее его телесное и душевное здоровье (но не дар).

Луговской время от времени не был верен и ей тоже, как не был верен предыдущим жёнам, и Елене Булгаковой, и всем, с кем был.

Кого он любил из них истинно? — впору задать вопросом.

Страстно любил первую жену, Тамару Груберт, которой посвящён первый его сборник “Мускул”.

Ей он будет писать из своих поездок: “Я скажу самое большое, что могу сказать и не говорю, — ты моя Родина со всеми березками и елями, со всей боевой и лесной песней. Ласковая зверушка, белая девочка, которую я так сладко носил на руках в моих снах и наяву, неизлечимая боль моя — вот я весь, занесённый чёрт знает куда, совершенно одинокий, терзаемый от всего. Вот и ты. Мы тянемся друг к другу, мы сливаемся вместе. Выходит большое круглое детское солнце, стоят покосившиеся дома, идёт дым штопором из каждой трубы. Бегут лошади на восьми ногах, выше домов, и растут невиданные ёлки — из чёрточек. Что это? Это будущее...”

Страстно любил свою третью жену, Сусанну Чернову, которой посвящено множество небывалых лирических стихов.

Например, такое, удивительно простое и волшебное: “Ты давно уж разлюбила. / Я недавно разлюбил. / Все мы ходим, дорогая, / Возле маленьких могил... / И во всей осенней шири / Ледяная синь легла, / И во всём огромном мире / Нет такой, / как ты была”.

“Нет ничего выше любви поэта”, — запишет в дневнике Татьяна Луговская уже после смерти брата.

Написать к этому в качестве незамысловатого примечания — и нет ничего непостоянней и болезненней, чем любовь поэта, — слишком просто, да и глупо.

Он, конечно же, любил Елену Булгакову, и она полюбила бы его, когда бы не Булгаков, когда бы он не умер рядом с нею, а она в это время держала его ладонь в своих руках, и когда бы он не вернулся потом за своей Маргаритой, а она уже не захотела и не смогла послушаться.

А покой и всепрощение принесла ему Майя, умевшая ладить со всеми жёнами и даже подругами Луговского. И с родными его — тоже.

Дочка — Мила Голубкина — вспоминает, как пришла вскоре после войны на выступление отца в зале имени Чайковского. Она, долгое время проводившая в эвакуации, не видела его несколько лет, хотя он помогал им, выбивал какие-то ордера. Теперь отец сидел на сцене среди остальных поэтов, очень постаревший, но по-прежнему величественный.

Послала ему записку: “Папа, если хочешь увидеть меня, я здесь, буду ждать тебя после концерта на улице, возле третьей колонны”.

Отец стал искать глазами кого-то в зале — почему-то на первых рядах. Только потом дочь догадалась, что там была его Майя-Елена.

“Как я досидела до окончания вечера, не помню, — рассказывает Людмила Голубкина. — Ждать пришлось довольно долго. Наконец, появился отец — большой, вальяжный, с тростью в руке, а с ним довольно крупная прелестная женщина, нарядно и необычно одетая.

Отец поцеловал меня, сказал что-то вроде: “Как ты выросла!” Дальше говорили только я и Елена Леонидовна. Она задавала вопросы, хвалила меня за что-то, пригласила к ним в гости, назначив день.

С тех пор я стала бывать у них довольно часто. С отцом особой близости не было...

Зато с Еленой Леонидовной я дружила бурно и страстно. Я просто влюбилась в неё. Ей это нравилось. Своих детей у неё не было...”

Через Майю-Елену, годы спустя, отец наконец-то близко сойдётся с дочерью, и они подружатся. Без последней жены этого, конечно же, не случилось бы.

Дочь ему простила всё — и одиночество, и полуголодное детство. И брошенную мать, которая, как ни удивительно, будет видаться и встречаться с Луговским.

Женщины были к нему добрее многих мужчин.

В повести Симонова тот герой, который списан с Луговского, вдруг говорит однажды: “Иногда годами думаем о женщинах, что они не такие, какие нам были нужны, а потом вдруг возьмёшь и подумаешь: а может, мы не такие, какие им были нужны? Всё-таки каждая невышедшая жизнь — дело обоюдное”.

Луговской зачастую вёл себя беспутно и безответственно, но одновременно, помимо того, что он был известен, талантлив и красив, он, и это для женщин, кажется, очень важно, был добр, мягок, не пытался обвинить других в своих слабостях, брал вину на себя и, насколько мог, пытался её исправлять.

### **Деточки выросли**

Один за другим, овеянные славой, в медалях и орденах, получившие беспримерный опыт, начали возвращаться его ученики.

“...иногда я думаю, что они вообще никогда ничему у меня не учились. А если и учились, не желают помнить об этом”, — жалуется в повести Симонова двойник Луговского.

Симонов по-писательски как бы сдвинул ситуацию вперёд: едва ли в 1942 году у Луговского было понимание, как к нему относятся его ученики. Оно пришло позже, когда его “деточки” демобилизовались.

Некоторые не заходили к нему вообще. Другие заглянули, чтоб убедиться в том, что слухи о “дяде Володе” были верными.

Поэт Сергей Смирнов приехал в пилотке и в военной форме. Был грустно удивлён: у Луговского всё в пыли, а клинки ещё висят, ещё не снял, хотя они кажутся уже такими неуместными, а на окнах по-прежнему шторы затемнены, хотя нет никакой войны в помине.

Выпил чашку чая и поспешил скорей прочь.

Луговской, по-стариковски бодрясь, крикнул ему вслед, выглядывая чуть подрагивающей головой в подъезд:

— Поддерживаем непрерывную связь!

— Есть! — ответил Смирнов и пропал: год-другой-третий не появлялся.

Не было никакого желания возвращаться в пыльный дом.

Жизнь заставила его вернуться спустя годы: у Смирнова стали тормозить выход книги военной лирики. Терзали, мурыжили, душу вывернули; наконец, не сдержался, позвонил по тому телефону, по которому не звонил давно-давно.

— Пробей, дядя Володя, выход книжки?

Дядя Володя взял и пробил: он ещё не разучился пользоваться своим басом и принимать угрожающий вид. Можно здесь сказать, что он чувствовал вину перед молодыми фронтовиками, но не обязательно: ученикам своим и просто начинающим поэтам он помогал всегда и будет помогать до самой смерти.

Но те, кто учились у него до войны, — всё-таки особая история.

Избавиться от мощнейшего очарования Луговского они так и не смогли, хотя пытались.

Кто-то из них ещё при жизни Луговского начал писать о нём какие-то очерковые заметки, где неизбежно звучит одна и та же нотка: ну да, дядя Володя, ну да, учитель... но всё-таки.

Стоят как-то Луговской и его ученик Лев Озеров на Балтике. Луговской вдруг ловит взгляд — тот самый, испытующий, ученический — и вдруг резко спрашивает:

— Что вы смотрите на меня, как паровоз на Анну Каренину?

На какое-то время многим показалось, что он стал меньше всех своих учеников.

Каждый из вернувшихся с фронта мог подумать: теперь я больше.

Они и были больше: как мужчины, как солдаты.

А как поэты, продолжим мы, нет.

Как поэты, они, состоявшись в полной мере, всё равно остались ниже званием и рангом: и Долматовский, и Матусовский, и Наровчатов, и Луконин, и Сергеев, и Платон Воронько, и быть может, даже Симонов — человек огромный, сильный и породистый.

Русская поэзия ценит человека вместе со всем: с биографией, со страстями, с жёнами, с победами и поражениями — русскую поэзию всё это кормит.

Но всё-таки самый конечный счёт идёт не по опыту, пусть даже и великому, пусть даже и военному, пусть даже и тюремному. Поэзию измеряют, в первую очередь, поэзией.

Как поэт — в небывалых своих удачах — Луговской огромен, выше жизни, дальше смерти, наэлектризованный эпохой, неоспоримый, не вмещающийся в свою поломанную биографию.

Тогда никто из вернувшихся и подумать об этом не мог, — Луговской становился тише, седел, — они входили в масть, поколение победителей.

Воспоминания учеников о Луговском содержат одну забавную общую черту: там подробно говорится о том, каким был дядя Володя до войны, а потом вдруг — раз! — и обрыв. Хорошо, если найдётся десяток слов про “Середину века”. Но в целом остаётся ощущение, что в 41-м году Луговской сошёл на нет, растворился.

Луговской говорил Наровчатову: “А слышал ты о прилагательном “часовой”? Временный, недолгий, а ещё — почётный, уважаемый. Вообще-то странно: значения противоположные. Впрочем, в уважительности есть, конечно, оттенок временности. Сегодня тебя уважают, завтра нет”.

Он был — часовой. В трёх смыслах: ещё и существительное.

В какой-то момент, уже сам прожив полвека, Симонов понял, что ученики дали Луговскому меньше, чем он им.

В повести “Двадцать дней без войны” одна строгая женщина спрашивает главного героя про двойника Луговского.

— Как вы к нему относитесь?

— Я люблю его, — отвечает главный герой.

— Любите или любили? — уточняет женщина.

— Люблю, — говорит герой.

Верней, говорит Симонов.

Только говорит он это не в 1942 году, когда заезжал в Ташкент, — он такое не мог произнести тогда, был взбешён, еле сдерживался, — а много позже, когда писал эту книгу, может, в 58-м или в 68-м, или в 78-м. Он долго над ней работал, было время подумать.

Было время осознать, что такое Луговской.

### Карагач

Пятидесятилетие Луговского государственным праздником не стало. В газетах не вспомнили, на радио промолчали.

Но всё-таки пришёл Фадеев, старый друг, которому оставалось два года до выстрела в лоб, пришли несколько человек, по пальцам пересчитать, из старых учеников, а кто-то — из совсем новых.

И хорошо посидели, было весело, — может быть, это был последний праздник призыва 20-х годов.

Луговской вновь начал вести семинар в Литинституте.

Понемногу начали подрастать будущие “шестидесятники”: Евтушенко, Роберт Рождественский, десятки других, рангом поменьше; все они крутились возле Луговского: как же, он ведь из тех громоподобных времён, он стоял рядом с Маяковским, вровень с Багрицким.

Если в 1938 году “крестным отцом” его называл Симонов, то в 55-м — вышеназванный Роберт.

“Шестидесятники” учились у него вещам, наверное, не самым важным в случае Луговского: патетической жестикуляции, а ещё лёгкой на слух, но сложной по форме рифме, а ещё некоторой, свойственной Луговскому рисовке, его нарочитости и артистичности, — в общем, всему тому, что принесёт ему известность и чего совсем нет в его лучших стихах и поэмах “Середины века”.

С Евтушенко Луговской, несмотря на разницу в возрасте, был даже дружен.

Евтушенко часто бывал у него дома.

У них, признаемся, было что-то общее — в манере поведения, в самоуверенной повадке, в размахе. В нахрапистости, а порой и в готовности отступить, если отступление того стоит. В почти религиозном отношении к поэзии — и влюблённости в чужие стихи. В литературном вкусе, вполне отменном в обоих случаях. Евгений Александрович позже хорошо подметил, что Луговской идеально выразил суть постмодернизма в двух строчках: “Улитки шли холодным скользким строем. / Улитки шли, похабно выгибаясь”.

Но оттенок снисхождения в отношении к Луговскому постепенно проявился и у “шестидесятников”, которые перешёптывались за кружкой пива: а во время войны-то, слышал?

Каждый “шестидесятник” знал про себя, что он-то во время войны бы — во весь рост...

С какого-то момента Луговской — с его верностью Октябрю и “левым” идеалам, нисколько не поколебавшейся даже после хрущёвского доклада, стал восприниматься как лёгкий анахронизм.

Один за другим возникали куда более важные герои: ладно бы честные солдаты Второй мировой — нет! — разнообразные фрондёры, кипучие критики советского режима. Новое поколение странным образом посчитало, что бороться с “кровавой утопией” было куда опасней и страшнее, чем воевать с фашизмом.

Со временем, надо признать, не только реальные, великие сидельцы и страдальцы эпохи, но, к сожалению, и разнообразная мелкокалиберная “диссида” выдавили из общественного восприятия поколение бойцов и победителей самой страшной мировой войны — повестку дня будут определять уже не они, а вот эти самые “похабные улитки” и к ним примкнувшие.

Луговской успел кольнуть Евтушенко, досадливо бросив про него: “подвергает всё и вся критическому подозрению”, а всю их компанию охарактеризовал как “новых нигилистов”. Можно видеть в этом старческое брюзжание, а можно — замечательную прозорливость.

Прожил бы ещё Луговской — был бы неоднократно удивлён ловкостью своих послевоенных учеников и знакомцев.

В 1960 году всё тот же Евтушенко написал стихи на смерть Бориса Пастернака. Опубликовать их с посвящением Пастернаку немедленной возможности не было, поэтому Евгений Александрович извернулся и опубликовал их с посвящением уже покойному на тот момент Луговскому. Устно объяснив самым близким, что Луговской тут ни при чём, стихи для Бориса Леонидовича.

Вознесенский, в свою очередь, стихи, посвящённые Пастернаку, назвал “Похороны Толстого”.

Любопытно, как бы сам Пастернак на такое жонглирование отреагировал.

Это как если бы Лермонтов на всякий случай “Смерть поэта” посвятил Тредиаковскому — от греха подальше. Или назвал “Похороны Ломоносова”. А что?

Едва ли есть что-то более простодушное в русской литературе, чем “шестидесятники”. Эти brave ребята ещё смели судить людей, прошедших сквозь 30-е.

В тридцатые поэтов забивали, как гвозди, — иногда в дерево, иногда в железо. В “шестидесятые” тоже забивали — хорошо, если в дерево, но чаще — в сливки. Процесс вроде бы один и тот же — ощущения разные.

Потом, когда будет можно, посвящение Луговскому Евтушенко снимет и поставит посвящение Пастернаку. Луговскому, конечно же, тоже напишет отдельное стихотворение — а иначе как бы он остался без посвящения Евтушенко?

Разрешение на использование имени Луговского в стихах на смерть Пастернака Евгений Александрович испросил у Майи-Елены, та ответила правду: “Володя бы не обиделся”.

Он действительно бы не обиделся — доброту Луговского помнили не только его женщины, но даже коллеги по перу.

Павел Нилин вспоминал, как Луговскому рассказали, что “...один поэт резко критиковал его стихи в клубе писателей. Луговской взволновался. Чтобы успокоить его, собеседники заметили, что этот поэт-критик в сущности бездарный и глупый человек.

— Нет, нет! — тотчас же яростно стал защищать его Луговской. — Зачем же говорить ерунду? Он совсем не бездарный...

И тут же на память прочитал отличные стихи своего “противника”.

— Пусть он меня ругает, если ему хочется, — сказал Луговской. — Но он совсем не бездарный. Было бы глупо и несправедливо считать его бездарным”.

Редкое качество для литератора. Луговской давно перестал с кем-либо себя соизмерять, — наверное, он по другим ориентирам себя определял.

Когда был пьян, любил разговаривать с деревьями.

Выбирал себе собеседника по росту. Самый излюбленный собеседник был карагач у ворот. Дерево, расщепленное надвое молнией. Подходил, что-то рассказывал, читал стихи вполголоса, но бас его было не победить, поэтому всё равно это бубнение далеко было слышно.

На кого же было похоже это дерево?

### **Вольные мысли**

С конца 40-х утвердилось общее мнение, что Луговской потерял форму навсегда — стихи его из циклов “Граница” (1949–1954) и “Украина” (1953–1954) действительно никуда не годны, хуже стихов, чем эти, он никогда не писал.

Ни одна поэма из “Середины века” так и не была опубликована, до он и не торопился.

Потом вдруг, под самый занавес, в середине 50-х, вышли две очень хорошие маленькие книжечки лирики: “Солнцеворот” и “Синяя весна”. О нём снова заговорили: вот ведь, поёт ещё, складывает, не совсем рассыпался.

Летом 56-го Луговской заглянул в гости к литературоведу Левину — пошел, поговорил. Едва ушёл, Левина спросили: “Кто этот почтенный старец?” Луговскому было всего 55. Медленно ходил, тяжело опираясь на палку. Остановившись и дышал.

Весь его вид из года в год доказывал одно: в 1941 году он действительно ужасно заболел после бомбёжки, и так и не оправился, выживая не на собственных силах, а на другом топливе. У Луговского было дело: досочинить “Середину века”.

11 августа 1956 года он писал из Переделкино своей Майе: “Я должен кончить книгу. Это цель жизни. Теперь я знаю всё в искусстве. Я понял. Душа свободна”.

Оставалось не дать заснуть и забыть пережитое тому человеку, что танцевал курсантскую венгерку в 1919 году, писал письма любимым женщинам, закапывал убитого пограничника в песок пустыни, видел последних ханов Средней Азии, был свидетелем и провидцем того, как начинался фашизм в Европе, пережил 37-й, пережил любовь и отторжение товарищей, слышал ропот, гул, подземные толчки времени, был обварен этим временем, потерял кожу — и шёл теперь по своим следам к самому началу.

Константин Симонов, слушавший некоторые поэмы Луговского ещё в Ташкенте, очень точно отозвался в своей повести об этих стихах. В них, говорил Симонов, “было стремление разобраться в самом себе, более высокое и, наверное, более нравственное, чем то стремление показать себя — какой ты! — которым были одушевлены прежние, даже самые хорошие стихи” Луговского.

Павел Антокольский отметил, что в “Середине века” стихотворный размер, используемый Луговским (нерифмованный пятистопный ямб), взят не от Пушкина и не от А. К. Толстого, а от “Вольных мыслей” Блока. Это наблюдение тоже очень верно: Луговской, проделав огромный поэтический путь, вернулся к тому, с чего началось его благое сумасшествие, — к поэту, который был его кумиром в ранней юности, к поэту, чьи стихи он читал над могилой отца.

Перед самой смертью Луговской сделал то, чего не смогли совершить друзья и близкие знакомые его молодости, все его соратники и соперники — поэты Тихонов, Сельвинский, Кирсанов, писатели Фадеев и Федин, — он вернул свой дар. Вернул и приумножил. И дар его очнулся и запел, как запела мать Луговского перед своим уходом.

Помимо Луговского, то же самое возрождение пережил и давний его друг-недруг Валентин Катаев. Более того, есть смысл задуматься о том, что импульсом для катаевского мовизма и цикла его классических исповедальных повестей стал цикл поэм “Середина века”.

Это можно долго и успешно доказывать, сверяя строку со строкой, а можно просто поместить под одну обложку “Новый год”, “Дорогу в горы”, “Москву”, “Смерть матери”, “Сказку о дедовой шубе”, “Сказку о сне” Луговского и “Маленькую железную дверь в стене”, “Траву забвенья”, “Святой колодец”, “Разбитую жизнь, или Волшебный рог Оберона”, “Кладбище в Скулянах”, “Алмазный мой венец”, “Уже написан Вертер”, “Спящий” Катаева.

И тогда станет ясно, что совпадают не только ключевые слова и темы (родовые воспоминания, революция, гражданская, террор, уход родителей, Ленин, Маяковский, друзья и товарищи по литературе), но и сама форма описания их: Луговской уже на полшага к прозе, Катаев — на полшага к поэзии, оба помнят, в чём виноваты, помнят, как щедро совершали глупости и подлости, оба, — но Луговской первый! — настроили оптику так, что словно бы они смотрят сон о самих себе, и вместе с ними тот же сон смотрит читатель, сон в ритме лодки, покачивающейся на воде времени. Нарочитая (зачастую ложная, внешняя) бессюжетность, удивительная образность, вернувшаяся юношеская романтичность и беспристрастный взгляд на эпоху, ужасную и небывалую.

“Да, это правда сон”, — начинает Луговской одну из своих поэм. “После этого начались сны”, — одна из первых фраз повести Катаева “Святой колодец”.

Сны тихие и — беспощадные.

“...я / Случайный, схваченный за хвост свидетель / Седующий от лжи”, — объявляет Луговской.

“Я верил в Бога, я любил его, / Я видел Бога. / Он сидел во тьме, / Старинный, одинокий, непонятный, / Держа в руках модель аэроплана / Работы первых строгих мастеров, / Мечтавших в девятнадцатом столетии / О высшей правде и победе человека...”

Высшая правда пришла не так, как ждали её.

Он вспоминает: “Душа народа, как свеча, горела, / Зажжённая судьбою с двух концов. / И заслоняли глушь дождливых парков / Пять тысяч гипсовых волейболистов, / Пять тысяч статуй гипсовых вождей”.

Он кается: “О, город мой, такой невероятный, / Что ночью снятся мне звонки ночные / (О, год тридцать седьмой, тридцать седьмой!), / Что ночью

слышу я шаги из мрака — / Кого? Друзей, товарищей моих, / Которых честно я клеймил позором”.

Он ужасается: “И человек, как смерч, летел к Мадриду, / Чтобы смести фашизм. Читал “Гренаду”. / Потом в Москве полнотой кровавым / Кричал на следователя: “Фашист!” / Изведал горе, радость, ужас смерти / И жизнь окончил в небе над Берлином”.

“Что мне сказать, плохому сыну века?”

Вот что!

*И всё же видел ты, что оглулялись  
Умы и души, полные тревоги,  
Чудесного, земного беспокойства  
За новый взлёт, за красоту открытий.  
Ты видел, как стандартным черпаком  
До дна исчерпывались эти души.  
Ты видел, как догматиков скрипучих  
В мертвящий плен цитаты загоняли.  
И всё же, вопреки железной скуке,  
Рвались под солнце зло, неудержимо  
Десятки тысяч подлинных людей,  
Талантливых, умелых, непреклонных.*

Не спрятав взгляд ни от чего, не попытавшись обойти словом свою подлость и слабость, кровь, хаос и ужас, Луговской выносит своё оправдание:

*Ты понимал жестокий ход событий,  
Ты знал, что даже в самый страшный час  
Мы шли вперёд. По крови? Да, по крови.  
И по костям? Да, по костям. Спроси  
У тех костей: “За что погибли люди?”  
Тяжёлый ты ответ тогда услышишь  
И справедливый: “Люди, мы боролись  
За коммунизм. Живите. Мы простим!..*

Луговской написал под прессом жестокой власти свои самые дурные, патетичные и пустые стихи, сочинённые в каком-то изнеможении сил и чувств.

Но дело в том, что лучшие свои стихи он написал в силу тех же причин: под влиянием времени, на мощнейшем ветру эпохи. Эпоха дала ему всё: жизнь, кипенье, ощущение причастности к нечеловеческим победам, и у него хватило разума и сил осознать это, не забыв всё остальное: 37-й, крушение многих иллюзий.

В одном из последних своих стихотворений он напишет: “Может быть, / Это старость, / Весна, / Запорожских степей забытьё? / Нет! / Это — сны революции, / Это — бессмертье моё!”.

Перед нами верный, не сдавший ни одной позиции ребёнок Октября, прожжённый, неисправимый “левак”, и к тому же империалист, неоднократно воспевавший советское, красноармейское собрание земель, а ещё русофил, у него даже снег падает великорусский; в общем, на первый взгляд, — сочинитель устаревший, ненужный, вредный... а на самом деле он просто обязан вернуться — юный, новый, поющий, со своим рокочущим басом, бровенец, красавец, умница, романтик, великий русский поэт.

Луговской однажды — крайне серьёзно — рассказал молодым ученикам о том, что видел русалку в Сибири.

Зелёные стихотворцы стали по-доброму посмеиваться.

Дядя Володя не на шутку рассердился: что это за поэты, чёрт побери, которые не верят в русалок?

Ему говорят: там же гидростанции повсюду.

Он говорит: и что? Пусть будут гидростанции и русалки.

Наверное, Луговской может вновь объявиться в этой стране — с гидростанциями и русалками. Там ему будут памятники стоять.

Высокие, в белых костюмах, памятники.

В 1956 году журнал “Звезда” одну за другой публикует поэмы из “Середины века”, а книги, вышедшей в 1958 году, Луговской дожидаться не успел, да и зачем — дело сделано.

8 мая 1957 года он сходил на могилу отца, вернулся тихий в свой перedelкинский дом. 9 мая улетел в Ялту.

— Еду за синей весной. Буду работать... Обратного полечу... — сказал провожавшему его поэту Льву Озерову.

В Ялте держался обособленно, ни с кем не общался. Уходил с утра, соседи видели, как останавливалась машина, из неё медленно вылезал, трогая дорогу тростью, Луговской и, ни на кого не глядя, возвращался в свою комнату на первом этаже маленького старого флигеля — белый, как патриарх.

Он скончался 5 июня 1957 года — сердечный приступ. В Москву действительно вернулся на самолёте.

На юбилей революции не успел, но свой венок к юбилею Октября 17-го сплёл.

25 мая начал последнюю поэму “Октябрь”, 27 мая оборвал её на полувздохе — и так даже лучше, так кажется, что она дышит и ждёт продолжения.

“Никто не знал, что это будет. / Мрак. / Иль свет, иль, может, светопреставление, / Неслыханное счастье или гибель”.

Итоги его жизни тоже не подведены, а продолжают. Сначала они были утешительны, потом перестали быть таковыми.

Луговской после войны однажды придумал праздник — День поэзии. Праздник попробовали отметить — и получилось хорошо. Позже День поэзии пошёл из страны в страну, по всему миру. Это всё Луговской, это он.

В Ялте установили скромный и суровый барельеф поэта на валунном камне возле Дома творчества, где, согласно завещанию Луговского, было похоронено его сердце.

Первые тридцать лет переиздавались его книги, сотни тысяч книг. Обычным делом были антологии, где Багрицкий, Тихонов, Луговской шли в ряд, как равные, — звонкие советские классики, стоящие сразу после трёх титанов: Блока, Есенина, Маяковского.

Случались редкие официальные мероприятия и гораздо более интересные неофициальные — “дни рождения Владимира Луговского” в его квартире в Лаврушинском, где Майя Луговская собирала жён и любовниц поэта и открывала вечер так: пусть каждая из нас расскажет о нём.

И ведь рассказывали — и на празднике возникало ощущение мира, нежности, всепрощения.

Только одна из его главных любовей — французенка Этьеннетта — погибла, не могла явиться, но незадолго до смерти Луговской попросил положить ему в гроб подаренный ею в Париже платок. Так и сделали.

Звучит двусмысленно, но мы скажем всё равно: Луговской был верен всем своим женщинам — он всех их любил. И они простили ему за это всё...

Но прежние времена треснули, посыпалась сначала извёстка, а потом обрушились несущие стены. Образовались сквозняки, которые выдули и замели многое.

В годы независимости Украины барельеф на валунном камне в Ялте сворovali; восстанавливать его никто не стал. Сердце поэта лежит там безымянным.

В последующую после обвала страны без малого четверть века вышла всего одна книга поэта Владимира Луговского тиражом полторы тысячи экземпляров.

Стали звучными имена новые или старые, но позабытые на время имена. Лишь титаны устояли, а второй ряд и, тем более, третий, и довоенные ученики Луговского, и честные солдаты Великой Отечественной, авторы фронтовых песен, фронтовых поэм, фронтовой лирики — все куда-то запропали, всех снесли в чулан, а кого-то и на помойку выбросили, и чтобы разглядеть любого из них, нужно долго, чихая, протирать тряпкой давно упавший бюст, вглядываясь в гипсовые черты: кто же это, кто? Чего он написал-то?

В семье Луговских никто не вспоминает о родстве с ним. Классический неудачник, выплюнутый новой эпохой.

Дочь Людмила Голубкина с тихой грустью сообщает: “Мои дети и внуки равнодушны к его поэзии и к его памяти”.

Коллекцию сабель Владимира Луговского распродали.

Утешиться, что ли, тем, что Иосиф Бродский сказал о том, что белый стих Луговского повлиял на всё послевоенное поколение? Ну, так и Бродского нет уже, не говоря о послевоенном поколении.

Кому тут надо белые стихи красного поэта? Заглядывайте в наш букинист.

### Такая картинка

Человек думает, что он всю жизнь руководствуется сложными мотивациями, что он никому до конца не ясен, что у него будет время всё объяснить.

А потом вдруг оказывается, что, напротив, он ясен до некоторой даже прозрачности, и мотивации его просты, и рисунок его судьбы, если посмотреть сверху, вдруг оказывается несложным.

Хорошо ещё, если это рисунок, а не прямая линия: шёл – пришёл.

Говоря о Луговском, можно всё это свести к дурацкому анекдоту: жил поэт и думал, что он Гумилёв, а он оказался Северяниным. В этом контексте тот довоенный вечер, когда Луговской так и не зашёл к Северянину, когда стоял он в своей портупее, красивый, как воплощённая воинская доблесть, возле его виллы, – вот эта невестреча получает какое-то особенное, щемящее звучание.

Открыл бы дверь – и увидел собственные глаза спустя двадцать лет. И не узнал бы себя, конечно.

Но анекдот этот не точен и никуда, в конечном счёте, не годен.

У Луговского не хватило сил на ту судьбу, которую он себе выпрашивал, но у него хватило сил на многое другое. Он назойливо гулял по краю, он влетел в свой капкан, он едва не подох от боли, но вынес и выполз, и несколько раз, преодолевая стыд и унижение, становился небывалым стихотворцем – по самому высокому счёту.

Смотреть на его жизнь интересно, в ней есть трагедия, в ней есть драма, его Алайский рынок роднит его с другим дервишем – Велемиром Хлебниковым. У судьбы его запоминающийся, грустный рисунок, и если закрыть глаза, об этой жизни можно думать, пытаться как-то иначе перерисовать её, сделать лучше, но она снова складывается только в ту, которой была.

Он не Гумилёв и не Северянин, он – Луговской, Владимир Александрович, хороший человек, сломленный не эпохой, а просто жизнью. Жизнь страшнее любой эпохи, тем более если эта жизнь пришлась на войну. Хороший человек и стихотворец, каких очень и очень мало.

Если бы все эти поэты десятых, двадцатых и тридцатых годов жили в древности, в античности, только о нескольких из них сохранились бы легенды: Блок, Гумилёв, Хлебников... Есенин, Маяковский, Мандельштам... Павел Васильев, Луговской... Симонов, конечно же... Ещё, быть может, трое или четверо. Остальные, даже замечательные сочинители стихов и песен, распылились бы во времени. Собственно, тут и античных сроков ждать не надо: мы и сейчас их не помним, даже самые звучные имена теряют свою бронзу, хотя они были, их читали тысячи, а самых удачливых – миллионы, они страдали, они воевали, некоторые были героями, иные – оглушительно громкими пустозвонами... Но мы же говорим, что судьба любит, когда у неё есть рисунок, есть завязка, кульминация и развязка. И потом ещё, после развязки, – мораль (мораль каждый готовит по вкусу, хотите – насыпьте соли, хотите – пересластите).

Тут всё это есть. Тут всего этого в избытке.

Разница разве что в том, что на некоторых поэтов порой хочется быть похожим – на Гумилёва, на Есенина, на Маяковского, – а на некоторых, – скажем, на Мандельштама, на Павла Васильева или на Луговского – нет.

Ну так что, мало ли как бывает. Бог щедр: бывает не только хорошо, бывает, для разнообразия, по-всякому.

Было и так.

Хорошо, что было.

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

## ПАТРИОТЫ И БЮРОКРАТЫ, или ПОЧЕМУ ПАТРИОТЫ ПРОИГРЫВАЮТ

Прежде всего уточним термины. Понятия “бюрократ” и “патриот” широко используются и столь же широко трактуются. Воспользуемся цитатами. Пусть те и другие сами определяют себя.

“Что мне до отечества! Скажите, не в опасности ли государь”, – воскликнул Аракчеев, когда адмирал Шишков говорил ему о спасении армии в 1812 году (Комаровский Е. Ф. Записки. М., 1914).

Перед нами образец бюрократа. Его собеседник – Шишков, известный русофил, свою позицию красноречиво обозначил в диалоге с Кутузовым – в том же 1812 году. Когда армия дошла до Вильно и готовилась вступить в Европу, адмирал убеждал главнокомандующего отказаться от этого шага: “Мы идём единственно для них (немцев. – А. К.), оставляя сгоревшую Москву, разгромленный Смоленск и окровавленную Россию без призрения, с новыми надобностями требовать от ней войск и содержания их” (цит. по: Минаков А. Ю. Русский консерватизм в первой четверти XIX в. Воронеж, 2011).

Для тех, кому эти примеры покажутся произвольными, продублирую цитаты. “Мы знаем только одного царя, нам дела нет до России”, – заявил канцлер Нессельроде выдающемуся русскому дипломату Александру Горчакову, гордившемуся тем, что он первым ввёл формулу “Государь и Отечество”. Сменив Нессельроде на посту министра иностранных дел, Горчаков в специальном циркуляре обязал посольских “проводить только национальную политику, не жертвуя интересами России” (Гуськова Е. Ю. Субъективный фактор в истории Балкан и роль А. М. Горчакова в формировании исторических традиций русской дипломатии. – Исторически записки. Подгорица, 1999).

Итак, патриот служит отечеству, бюрократ – власти. И не пытайтесь спекулировать тем, что можно служить им одновременно: бюрократ в лице Аракчеева и Нессельроде от служения отечеству сознательно отстраняется.

В XIX веке высказывались без оглядки на общественное мнение. Это сегодня чиновники наловчились сопрягать “царя и отечество”, хотя по сути недалеко ушли от временщиков минувших столетий. В. Володин: “Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России” ([lenta.ru/news/2014/10/22/waldai](http://lenta.ru/news/2014/10/22/waldai)).

А теперь взглянем поглубже. Патриот самостоятельно размышляет о благе страны и действует соответственно. А это – классическое выражение политики, как её понимал Аристотель. Естественно, не всякий политик – патриот, но патриот, занимающий активную гражданскую позицию, непременно участвует в политическом процессе.

Бюрократ ждёт распоряжений начальства. Политики он сторонится, подозревая в ней непростительное вольнодумство.

Однако история редко показывает тех и других поодиночке — в чистом виде. Она берёт их в охапку, заставляя действовать вместе.

Что из этого выходит, рассмотрим на примере Юрия Ивановича Селезнёва. Я изнутри наблюдал драму, разыгравшуюся в 1981 году, так как был одним из двух сотрудников, принятых им в журнал «Наш современник».

Первое, что поражало в Селезнёве, — его внешность. Он был красив редкой мужественной красотой. Высокий, подтянутый, с гривой выющихся волос, он гордо запрокидывал голову и глядел, чуть прикрыв пронзительно-синие глаза. Наверное, так смотрели витязи в степном дозоре.

Красивым и смелым он был и в деятельности. В публицистике — темпераментной, полемичной. Беспощадный к врагам, заботливый и одновременно взыскательный по отношению к друзьям.

И в редакционной работе, где выделялись два неравных периода — в редакции «Жизнь замечательных людей» и в журнале «Наш современник».

ЖЗЛ традиционно возглавляли люди неслучайные. Сергей Семанов до Селезнёва, Сергей Лыкошин после него. Но именно на селезнёвский период приходится высший взлёт в работе редакции. Он выпускает книги, прославившие серию: «Гоголь» Игоря Золотусского, «Островский» Михаила Лобанова, «Гончаров» Юрия Лощица. В том же ряду книга самого Селезнёва «Достоевский».

Пересматривалась история литературы (показательна новаторская трактовка Золотусским гоголевских «Выбранных мест из переписки с друзьями»). Пересматривалась русская история. Патриархальность, православие, добродушная обломовская лень — все эти явления, коренные в нашей истории, в оценке авторов меняли знак с отрицательного на положительный.

Для такого пересмотра требовалась отвага. Но не только она. Исследовательской смелости хватало и Лощицу, и Золотусскому, и фронтовику Лобанову. У Селезнёва было нечто большее: смелость политическая. Точнее — смелость политика.

Селезнёв имел широкий политический кругозор. Здесь он превосходил даже своего учителя Вадима Кожинова, широта взглядов которого ограничивалась всё-таки литературой и историософией. Может быть, сознательно — и спасительно — ограничивалась. О политике Вадим Валерианович мог высказываться чрезвычайно резко. Но «не под запись», а под рюмочку. Я говорю о советском периоде.

Селезнёв в 80-е годы был едва ли не единственным политиком в русском движении. Не случайно пророческие слова о «третьей мировой» сказаны именно им.

Придя в «Наш современник», Юрий Иванович мечтал превратить его не просто в образцовое издание, избавившись от второстепенных и третьестепенных авторов, которые на страницах журнала соседствовали с Распутиным, Беловым, Астафьевым, Шукшиным, а в орган направления. И больше того — в политический центр, к которому будут стремиться все деятели поднимавшего голову русского движения, а в перспективе и все русские люди.

В «Нашем современнике» Селезнёв проявил свойственную ему смелость. В подборе авторов, сотрудников (отдел прозы он доверил Борису Спорову, имевшему судимость). В формировании номеров. В ноябрьский номер «НС» за 1981 год он поставил сразу несколько «взрывоопасных» материалов (эта история блестяще разобрана Юрием Павловым в статье «Русский витязь на третьей мировой»).

Но главная смелость — его политическое мышление. Смелость быть политиком, едва ли не первым в русском движении за много лет.

Вовлечённость в политику принципиально отличала Селезнёва от многочисленных деятелей т. н. «русской партии».

Подробнее об этом понятии. Его ввели на Западе бывшие советские диссиденты. В дневниках Сергея Семанова читаем: «Там по этому поводу высказались такие столпы, как Агурский, Синявский, Эткинд, Янов... Мнение их однозначно: «Русская партия» (так они (разрядка моя. — **А. К.**) именуют круг «Молодой гвардии») рвалась к власти... Ясно, что это преувеличение, причём очевидное» (Семанов С. «Русский клуб»... М., 2012).

О “преувеличении” и даже об условности термина пишет современный исследователь: “Русской партии, равно как и либеральной, не существовало как единой организационной структуры. И не могло существовать в тогдашних условиях. Русская партия — чисто условное обозначение” (Жучковский А. Г. Русская партия. — [rus-istoria.ru/component/kl/item/809-russkaya-partia](http://rus-istoria.ru/component/kl/item/809-russkaya-partia)).

Тем не менее в середине нулевых термин подхватили в России. Либералы (книга Николая Митрохина “Русская партия: движение русских националистов в 1953–1985 годах” (М., 2003). И патриоты, считавшие себя недооценёнными (Байгушев А. Русская партия внутри КПСС. М., 2005).

Те, кто работал в литературе в 80-е годы, знают, какое скромное место занимал в ней — и в патриотическом движении — Александр Байгушев. Чиновник среднего уровня.

Годы спустя он решил взять реванш и в книге воспоминаний создал миф — о русской партии. Методы Байгушева характеризуют упоминания о “русских клубах”, из которых он выводит “русскую партию”. Действительно, группу патриотов-идеологов в Обществе охраны памятников культуры неформально называли “русским клубом”. Воспользовавшись этим, Байгушев говорит о “русских клубах”, создавая иллюзию широкого организованного движения.

Фантазии о “русской партии” охотно используют и либералы. Николай Митрохин зачисляет в неё даже заведомых русофобов! Вопиющий пример — аттестация В. Шауро: “Скрыто сочувствующий русским националистам заведующий отделом культуры ЦК КПСС В. Ф. Шауро”.

Но и литературные начальники, такие как С. Михалков, Верченко, Феликс Кузнецов, могут быть названы членами “русской партии” разве что по незначению. Или с целью ввести в заблуждение.

На самом деле никакой “русской партии”, тем более в партии коммунистической, не было и быть не могло. Если бы таковая возникла или хотя бы только начала оформляться, её деятельность была бы мгновенно пресечена. Показательно “Ленинградское дело” 1949–1952 годов. Органы безопасности расстреляли А. Кузнецова, секретаря ВКП(б), Н. Вознесенского, председателя Госплана СССР, М. Родионова, председателя Совета Министров РСФСР и других видных деятелей партии и правительства, заподозренных в стремлении создать — нет, не русскую партию — всего лишь компартию РСФСР. О жестокости, с какой проводилось следствие, свидетельствует страшная подробность: 6 человек умерли во время допросов. Репрессиям подверглись около двух тысяч человек. Ради расправы с обвиняемыми в 1950 году была восстановлена смертная казнь, отменённая в СССР после войны (Кузнецевский В. “Ленинградское дело” и русский вопрос. [Stoletie.ru](http://Stoletie.ru)).

Тех, кто считает, что к 80-м годам отношение к “русофилам” изменилось, отсылаю к Записке в Политбюро от 28 марта 1981 года шефа госбезопасности Ю. Андропова. Правда, к расстрелам председатель КГБ не призывал, но прямо характеризовал “русистов” “откровенными врагами советского строя” и указывал, что они куда опаснее, “нежели потерпевшие разгром и дискредитировавшие себя в глазах общественного мнения так называемые “правозащитники” (цит. по: Семанов С. Н. Председатель КГБ Юрий Андропов. М., 2008).

Но если “русская партия” — выдумка, то можно ли вообще говорить о русском движении? Разумеется. Патриотический настрой проявлялся прежде всего в творческой среде. Имена известны — Распутин, Белов, Солоухин, Глазунов, Клыков, Свиридов, Куняев, Кожин, Селезнёв. К тому же направлению принадлежала часть писательской номенклатуры — Бондарев, Ганичев, Викулов, Алексеев, Иванов, Проскурин. Но им приходилось прикрываться коммунистическими лозунгами. Помню, как Викулов открывал каждый номер “Нашего современника” цитатами из Брежнева и Черненко, а под ними печатал материалы, выбивавшиеся из партийной колеи.

Викулова постоянно одёргивали, но разбавленный партийной ортодоксией патриотизм терпели. Возможно, в среднем и нижнем звене аппарата нам кто-то сочувствовал (хотя непосредственный куратор “Нашего современника” из ЦК — инструктор отдела культуры Сергей Потёмкин запомнился мне постоянными разносами, которые он устраивал, появляясь в редакции).

Викулов, Алексеев, другие руководители русских журналов действовали на свой страх и риск. Если бы у них были покровители наверху, они бы ими “козырнули” в чрезвычайных обстоятельствах — для самозащиты. Покровителей не было!

Опора на собственные силы придавала патриотическому движению характер едва ли не жертвенный. И в то же время она ограничивала поле его деятельности преимущественно сферами культуры и сохранения наследия.

Выходы в актуальную современность в основном сводились к постановке прикладных вопросов: сохранение русского леса, почв, борьба с алкоголизацией населения. Они были важны и животрепещущи (и нам за обращение к ним от того же ЦК влетало). Но оставался табуированным главный вопрос — о национальных интересах, о положении русских в своём отечестве.

Соблюдая баланс между патриотами и либералами, ЦК иной раз поддерживал “русофилов”. Но никакой идеологической, а тем паче политической “самодетельности” не допускал. Характерно: когда Станислав Куняев, воспользовавшись изданием диссидентского альманаха “Метрополь”, попытался выйти на принципиальные обобщения, в ЦК резко отказали ему в поддержке. Куняеву пришлось оставить пост секретаря московской писательской организации. Показательно и то, что Ф. Кузнецов (видный деятель “русской партии”, по классификации Митрохина), возглавлявший столичный СП, не защищал своего зама.

Сам Куняев впоследствии писал: “Нас не устраивали “молодогвардейский” и “октябрьский” кружки, поскольку тот и другой находились под мощным присмотром государственной денационализированной идеологии... Нам же хотелось жить в атмосфере чистого русского воздуха, полного свободы” (Куняев Станислав. Поэзия. Судьба. Россия. В 2-х т. М., 2001).

Вот это стремление к свободе, хотя бы только в “воздухе”, в творческой атмосфере, отличало авторов-патриотов от бюрократов.

Селезнёв попытался расширить рамки “свободы”, перенести её из сферы творчества в сферу политики. В случае успеха его деятельность могла бы стать основой для создания реальной, а не мифической русской партии.

Точнее других охарактеризовал суть деятельности Ю. Селезнёва другой выдающийся представитель русского движения Олег Платонов: он “пытался разбудить пребывающее в летаргии национальное сознание русского народа” ([enc-dic.com/word/s/Seleznev-juri-ivanovich-94976.html](http://enc-dic.com/word/s/Seleznev-juri-ivanovich-94976.html)).

История советского периода, да и наших дней показывает: такие попытки всегда опасны. Особенно опасными они были в 1981 году, когда Селезнёв стал первым заместителем главного редактора журнала “Наш современник”.

Почему? Ответить на этот вопрос тем более важно, что его до сих пор не только не исследовали, но и не задавали.

Годом ранее — в августе-сентябре 1980-го — в Польше, входившей в политическую орбиту СССР, возник профсоюз “Солидарность”. Он выдвигал экономические требования, но вскоре стал политической и идеологической альтернативой местному варианту социализма. Альтернативой, основанной на национализме и католицизме.

Внезапно выяснилось: она чрезвычайно привлекательна. В отличие от “социализма с человеческим лицом” в Чехословакии, вдохновившего в основном творческую интеллигенцию и молодых реформаторов в КПЧ, “Солидарность” сразу же захватила широчайшую аудиторию. В ноябре, спустя всего три месяца после возникновения, профсоюз объединял 7 миллионов членов. Через год в забастовке, объявленной “Солидарностью”, участвовало 13 миллионов человек (Википедия).

Советские идеологи и руководство КГБ увидели в новом явлении серьёзную угрозу не только польскому, но и советскому социализму. Превентивные меры призваны были не допустить подобного в СССР. 28 марта 1981 года шеф КГБ Ю. Андропов направляет в Политбюро Записку: “В последнее время в Москве и ряде других городов страны появилась новая тенденция в настроениях некоторой части научной и творческой интеллигенции, именующей себя “русистами”. Под лозунгом защиты русских национальных традиций они занимаются по существу активной антисоветской деятельностью. Развитие этой тенденции активно подстрекается и поощряется зарубежными идеологическими центрами...”

Андропов подчёркивал: “Противник рассматривает этих лиц как силу, способную оживить антиобщественную деятельность в Советском Союзе... Изучение обстановки среди “русистов” показывает, что круг их сторонников расширяется...” Автор записки итожит: “Опасность, прежде всего, состоит в том, что “русизмом”, т. е. демагогией о необходимости борьбы за сохранение русской культуры, памятников истории, за “спасение русской нации”, прикрывают свою подрывную деятельность открытые враги советского строя” (цит. по: Семанов Сергей. Председатель КГБ Ю. Андропов).

С момента появления этого документа, а точнее, с того момента, когда советские руководители осознали опасность национального возрождения, Юрий Селезнёв был обречён.

Обычно, говоря о падении Селезнёва, исследователи ссылаются на зависимость его единомышленников в журнале и Союзе писателей. Конечно, зависть была. Работая в журнале, я наблюдал, с какой ревностью следил за деятельностью Селезнёва, к примеру, Владимир Васильев, с самого начала претендовавший на его место и ставший замом после увольнения Юрия Ивановича.

Но было бы ошибкой переносить чувство зависти на руководство Союза. Какую зависть к Селезнёву мог испытывать поэт Егор Исаев? Он был на вершине популярности. Что ему “глухая слава” какого-то критика, занимающего не слишком высокое место в писательской иерархии?

И уж наверняка абсурдно говорить о зависти к Селезнёву фактического главы писательского союза Юрия Бондарева, как это делает А. Разумихин в предисловии к сборнику “Юрий Селезнёв. В мире Достоевского. Слово живое и мёртвое”. Надо знать Юрия Васильевича. Он настолько убеждён в собственной гениальности, что сама мысль о зависти к кому-либо, кроме Толстого и Достоевского, показалась бы ему смешной.

Руководство Союза громило Селезнёва не из зависти, а выполняя партийный заказ. Не случайно на секретариате присутствовал замзавотделом культуры ЦК Альберт Беляев.

И все-таки заказ выполняли чересчур ревностно! Обсуждение больше походило на избивание. Почему? Все-таки зависть? Нет, другое.

Участники секретариата поносили Селезнёва потому, что были бюрократами. Служителями системы.

Правда, в полной мере к бюрократам их не отнесёшь. Тот же Бондарев — автор великолепной военной прозы. Он позволял себе бравировать своей иначностью в бюрократической среде. С какой картинной — прямо печоринской — скукой сживал он в президиуме на заседаниях Верховного Совета. Но ведь сидел! Не отказывался...

А история с Селезнёвым, “втавившим” людей, поддерживавших “Наш современник”, в политику, причем в политику, идущую вразрез с линией партии, грозила положить конец этому престижному сидению. И вообще привилегированному положению Юрия Васильевича. Тут следовало выбирать — с кем вы, мастера культуры?

Сергей Семанов записал в дневнике: “Как всякий себялюб и славолубец, он наплевал на окружающих, журнал погубил, своих покровителей подвёл” (Семанов С. Н. “Русский клуб”). Это не о Бондареве — о Селезнёве. Бондарев здесь жертва, один из покровителей, которого подвели.

Примечательно, что Семанов вскоре сам пострадает в ходе преследований “русистов”. Что настоящим бюрократом он не был: хранил, к примеру, книжки, изданные за рубежом, и читать давал знакомым — распространял! За что и поплатился отставкой, опалой.

И даже такой человек Селезнёва осуждает. Что говорить о Бондареве и Исаеве, в “стан погибавших”, пусть и “за великое дело любви”, прежде всего любви к родине, попасть не желавших?

Но, осуждая Селезнёва, Семанов признавал его и Кожина (к публикации которого придрался ЦК) правоту! Всё-таки стопроцентным бюрократом, несмотря на высокий пост главреда популярного журнала “Человек и закон”, Сергей Николаевич не был. Воздух свободы (вспомним Станислава Куняева) манил. “Мы, — пишет Семанов от лица патриотов, — пытались работать вместе с кулачём, не обращая внимания на их тупость... Кожин при всех своих издержках будит мысль”.

Семанов обозначает проблему, которой посвящён мой доклад: “Вот он, раздел на кулаков и бедняков. Все эти исаевы (именно так — со строчной буквы! — А. К.), доризо, грибовы и шундики — дети комбедов и питомцы совпартшкол”.

Но обратите внимание: как тяжело даются дефиниции автору дневника. А ведь он профессиональный учёный. “Дети комбедов” — это и есть бедняки. Почему же в другом месте Семанов именует чиновников от литературы “кулаками”. Да потому что коммунистическая идеология клеймила именно кулаков! Семанов совершает диковинный выверт: записывает в “кулаки” предполагаемых питомцев комитетов бедноты.

Одна эта деталь показывает, как нелегко было тем, кого манила свобода. Им противостояли не только бюрократы в партии и Союзе писателей — приходилось бороться с духом системы в самих себе.

Почему патриоты изначально не отказались от партнёрства с бюрократами? Отчасти потому, что сами не до конца были свободны от чиновничьей закваски. Но прежде всего потому, что настоящих патриотов мало. Десять человек выступили на секретариате с разностной критикой Селезнёва. Вступился за него один — Пётр Проскурин. Соотношение показательное!

Уточню: узость круга вовсе не свидетельствует о непривлекательности, а тем более ущербности патриотической идеи. Напротив, она — слишком высока для заурядного сознания. Подлинный патриотизм требует самопожертвования.

Патриотизм ставит служение Родине выше личных интересов человека, о чём свидетельствует судьба Юрия Ивановича Селезнёва. Только таким недюжинным людям под силу патриотическое подвижничество. Неудивительно, что избранных немного.

Могут спросить: а как же либералы? Они также взаимодействовали с бюрократами и весьма успешно. Им прощали даже такие “идеологически невыдержанные” акции, как выпуск в 1979 году альманаха “Метрополь”, тут же перепечатанного за границей. Да, молодых участников сборника примерно наказали, вычеркнув из литературы до начала перестройки. Однако либеральный бомонд продолжал публиковаться без особых проблем. А Вознесенский издаёт сборник “Безотчётное” (М., 1981) и в том же году выезжает в творческие командировки в Великобританию и Мексику (высшая форма поощрения — и доверия! — в советский период); Б. Ахмадулина выпускает книгу стихов “Тайна” в 1983 году, а в следующем получает орден “Дружба народов”; у А. Битова выходит книга “Воскресный день” (1980).

Рискуя отвлечься от темы доклада, всё же выскажу два соображения. Во-первых, Агитпроп в 80-е годы относился к либералам терпимее, чем к патриотам. Во-вторых, чиновники, настроенные либерально, шире глядели на идеологическую ситуацию и старались не свирепствовать без особой нужды. Во всяком случае — уточнение необходимо! — по отношению к “идейно близким” литераторам и журналистам.

Показательна история с Яковлевыми — Александром и Егором. Александр, член Политбюро, ближайший сподвижник М. Горбачёва, покровительствовал Егору Яковлеву, главреду “Московских новостей”. В критическом запале журналист обрушился на самого генсека. Горбачёв был взбешён. Вызвал на ковёр обоих. А. Н. публично отрестился от своего однофамильца. Но с должности не снял!

Главный идеолог различал слова и дела. На словах он не просто осудил, а “уничтожил” главреда “Московских новостей”. На деле, сочувствуя, сохранил его на ключевом посту.

Бюрократы-русофилы и действовали, и думали примитивнее. Партийный заказ в отношении Юрия Селезнёва они перевыполнили. Не только сняли с должности заместителя главного редактора журнала “Наш современник”, но и подвергли общественному ostrакизму.

Я был свидетелем возмутительного случая, когда Ю. Прокушев, литературный чиновник, писавший о Есенине и слывший патриотом, потребовал изгнать Юрия Ивановича из президиума литературного вечера. То была постыдная самодеятельность, не связанная с указаниями партийного руководства. Бюрократ от литературы действовал “по велению сердца”, демонстрируя избыточное рвение бюрократам из ЦК.

Если бы патриоты заранее отмежевались от подобных “союзников” и выступили в одиночку, они оказались бы в пугающем меньшинстве. Но то была бы дружина верных. Что лучше — остаться в заведомом меньшинстве или пытаться взять противника числом в союзе с сомнительными единомышленниками?

Трагедия Селезнёва показывает: союз с бюрократами до добра не доводит. Бюрократ предаст — он служит начальству, а не России.

ЮРИЙ КОЗЛОВ

## “ТОЛСТЫЕ” ЖУРНАЛЫ В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

По мнению литературоведов, три ключевых слова определяют жизнь любого “толстого” литературного журнала: направление, борьба, компромисс. И есть ещё одно слово, висящее над каждым изданием, как дамоклов меч, — исчезновение. В России сегодня у журналов два выраженных направления — патриотическое и либеральное. Активной борьбы как таковой журналы ни с властью — “царящим злом”, — ни друг с другом не ведут. Более того, все журналы готовы на компромисс, лишь бы только власть оказала финансовую поддержку. Однако государственные структуры относятся к журналам равнодушно, полагая, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Так что на первый план выходит слово “исчезновение”.

В торжественно провозглашённый с самых высоких трибун Год литературы большинство российских толстых литературных журналов находятся на грани остановки издания. Это наглядно иллюстрирует отношение общества к литературе, состояние самой литературы, отношение власти к литературе, наконец, состояние самого общества, принявшего “за основу” существования вульгарную, описанную ещё Марксом модель капитализма времён первоначального накопления, когда одна — меньшая — часть населения безоглядно ворует и потребляет, а оставшаяся — выживает и деградирует. Потребляющему и воруящему классу нужна лёгкая, развлекающая литература типа “женских” детективов и эротических фантазий в духе “Пятидесяти оттенков серого”. Выживающему и деградирующему населению литература вообще не нужна. Ему книги не по карману, хватило бы денег на еду и оплату услуг ЖКХ. К тому же нельзя не учитывать и резкое общее снижение уровня образования, особенно в “непристижных”, связанных с изучением русского языка и литературы профессиях, представители которых во все времена являлись основой “читающего класса”.

Литература перестала быть государственным делом. В стране нет идеологии, объясняющей людям, куда мы движемся, какие цели ставим перед собой. А это означает, что власть не ставит перед собой задачу воспитания народа в духе высоких нравственных и гражданских идеалов, не заинтересована в эстетическом и культурном развитии общества. Собственно, это логично, потому что культурные, образованные люди никогда не смогут смириться с вопиющей социальной несправедливостью, с запредельным богатством одних и нищетой других. В данный момент идеологию ситуационно заменяет псевдопатриотическая имитация.

Литература отдана на откуп рынку, то есть структурам, ориентированным исключительно на получение прибыли. Они относятся к литературе, как к шоу-бизнесу. Поэтому у читателей на слуху пять-десять фамилий “раскрученных” авторов, а остальные, не вписывающиеся в “рынок” писатели впадают в жалкое существование. То, что прежде называлось литературным процессом, сегодня подменено пиаром и рекламой. Серьезные талантливые писатели не могут пробиться к массовому читателю, а сам читатель дезориентирован. Если прежде литература развивала и возвышала читателя, то сегодня она его развлекает и отвлекает от главного вопроса: куда движется наше общество, правильной ли дорогой мы идём?

В СССР, из которого все мы вышли, общественное устройство было, конечно, довольно своеобразным, однако оно основывалось на первичной социальной справедливости, давало возможность каждому выбрать профессию, развиваться на выбранном поприще. Человек из деревни или маленького города, если обладал определённым талантом, мог стать академиком, выдающимся математиком или директором крупного предприятия. Литература ориентировала человека на достижение высоких целей, а потому рассматривалась как государственное дело. Общество было заинтересовано в том, чтобы каждая отдельная личность развивалась, совершенствовалась в духовном и профессиональном плане. Благодаря такому подходу развивалось и само общество. Когда идея развития, движения вперёд была утрачена, началась деградация, застой. Советская система оказалась разрушенной под истерические крики о демократии и “невидимой руке рынка”, которая якобы всё регулирует. Литература оказалась ненужной. Вместо самореализации и духовных устремлений речь пошла исключительно о деньгах. Людям была предложена новая модель существования — жить ради денег, ради бессмысленного потребления. И многие, особенно в первые годы “дикого” капитализма, повелись на эту приманку, решили, что вместо того чтобы честно трудиться, выгоднее, например, сделаться бандитом, украсть бюджетные средства или выстроить криминальную схему для незаконного обогащения.

По логике “толстые” литературные журналы должны были прекратить своё существование ещё в девяностые годы, но они сохранились, в основном используя накопленные ещё в советское время ресурсы. “Золотой” эпохой стали для них последние годы СССР, когда, благодаря снятию запрета на публикации запрещённых прежде авторов, тиражи увеличились в сотни раз, а цены на бумагу, коммунальные и типографские услуги оставались по-советски символическими. Именно тогда у редакций началось “головокружение от успехов”, возникла иллюзия, что так будет всегда. Именно тогда практически все толстые журналы были приватизированы, главным образом, своими же редакциями, объявивши себя независимыми и самостоятельными во всех отношениях. Но столкновение с капиталистическими реалиями быстро разорило журналы, обернулось для них утратой помещений, где они сидели десятилетиями, привело к массовому уходу квалифицированных сотрудников, падению престижа у авторов и читателей. Журналы вступили в унылую эпоху выживания и борьбы за существование, которая с переменным успехом продолжается до сих пор.

Вообще же история литературных журналов в России насчитывает уже более двух веков. Во второй половине XVIII века Екатерина Вторая создала журнал “Всякая всячина”. Это было, применительно к тому времени, развлекательное издание. Но тут же Николай Новиков начал издавать журнал “Трутень”, который можно было назвать оппозиционным власти. Здесь ставились те самые “проклятые” вопросы, на которые власть не хотела отвечать.

Традиция ставить подобные вопросы, рассматривать литературу как средство влияния на мыслящую часть общества стала “ноу-хау” русских литературных журналов, определила их роль в культурной и политической жизни страны. В сороковых годах XIX века “Отечественные записки” сформировали целое литературное поколение — знаменитую “натуральную школу”. Белинский так сформулировал стоящую перед изданием задачу: “Журнал должен иметь, прежде всего, физиономию, характер. Безыдейность для него всего хуже. Физиономия и характер журнала составляет в его направлении, его мнении, его господствующем учении”.

А вот что писал на эту тему спустя много лет Владимир Лакшин — один из руководителей знаменитого “Нового мира” времён Твардовского: “Такое уникальное социально-нравственное образование, как российская интеллигенция со всеми её достоинствами и недостатками есть прямой итог деятельности русской литературы и журналистики, прежде всего, толстых журналов”.

Во второй половине XX века в советское время журнал “Новый мир” объединил вокруг себя авторов либерального направления, там активно печатались те, кого потом назовут “прорабами перестройки”. В это же время вокруг журнала “Молодая гвардия”, а затем и “Нашего современника” объединились литераторы патриотического направления, в их числе и Юрий Селезнёв, которого мы сегодня часто вспоминаем.

Немалое значение для популярности у читателей имела и личность главного редактора. В историю вошли “пушкинский “Современник”, “Колокол” Герцена, некрасовские “Отечественные записки”, “Новый мир” Твардовского. К сожалению, сегодняшних главных редакторов ведущих российских журналов едва ли кто знает по имени, и это тоже свидетельство падения их авторитета. Исключение составляет разве лишь “Наш современник” Станислава Куняева. Этот журнал твёрдо придерживается выбранного — патриотического, государственного, русского — направления. Его никак не назвать безыдейным и безликим. Другое дело, что его “лицо” не нравится тем, кто сегодня определяет в стране культурную политику.

В отличие от “Нашего современника”, увы, к немногим сегодняшним литературным журналам можно применить такие критерии оценки, как соотнесённость идеологического направления с общественной борьбой времени, анализ специфики отражения журналом основных событий эпохи.

Зато это прекрасно понимал Достоевский, творчество которого столь проникновенно исследовал Юрий Селезнёв, кстати, воплотивший провозглашённые Достоевским принципы своей научной и журналистской деятельности. Вот что писал Достоевский, объявляя о подписке на журнал “Время” на 1861-й год: “Речь идёт о “слитии”... с началом народным”. “Мы убедились, наконец, — утверждал он, — что мы тоже отдельная национальность, в высокой степени самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческим. Русская идея, может быть, станет синтезом всех тех идей, которые развивает Европа. Может быть, всё враждебное в этих идеях найдёт своё применение и дальнейшее развитие в русской народности”.

И эта мысль Достоевского, как никогда, актуальна сегодня, когда Европа погружается в “толерантно-миграционный” и антихристианский хаос, и всё больше и больше людей, сохраняющих верность традиционным человеческим ценностям, смотрят на Россию, как на последний заслон перед окончательным разрушением мира.

Другое дело, как мы ответим на это, потому что и в России сегодня сильны тенденции разрушения и дестабилизации. Противодействуя “коллективному Западу” во внешней политике, наша “элита” наступает “на горло собственной песне”. По-прежнему сохраняется финансовая и экономическая зависимость от так называемых “партнёров”, по-прежнему российские деньги тратятся на приобретение ценных бумаг США. Окончательный выбор — на чьей стороне российская “элита”, собственной страны или западных “партнёров”, где живут и учатся её дети, где их деньги и недвижимость, — не сделан. Разговоры о так называемой “национализации элиты” ведутся исключительно для того, чтобы успокоить народ. И вот эта двойственность расслабляет и дезорганизует общество, мешает ему объединиться для решения важнейших национальных, социальных и политических вопросов.

Лучшие русские писатели пишут об этом, но их произведения и поставленные в них проблемы замалчиваются. Помочь могла бы литературная критика, но этого не происходит.

Впрочем, что-то похожее было и во времена Достоевского. “Литературная критика, — писал он, — пошлеет и мельчает. В иных изданиях совершенно обходят иных писателей, боясь проговориться о них. Спорят для верха

в споре, а не для истины". Одна из важнейших задач литературы, по Достоевскому, характеризуется "мыслью христианской и высоконравственной", которая должна "восстановить погибшего человека", то есть возвратить его к добру и красоте, которая "спасёт мир".

К сожалению, приходится признать, что сегодня литература, исповедующая заветные Достоевским идеалы, живописующая социальные и мировоззренческие "язвы" современной России, спасающая "погибшего читателя", не пользуется популярностью у этого самого читателя. Человек приходит в книжный магазин, и каких авторов он видит на полке "лидеров продаж"? Исключительно тех, в кого издательства вложили деньги, которые надо любой ценой "отбить". Тема, художественный уровень, талант автора, общественная значимость произведения тут никакого значения не имеют. Чем пошлее, примитивнее, похабнее, тем больше шансов, что книгу купят. То есть читатель не поднимается до литературы высокой и истинной, а, напротив, опускается на дно литературы низкопробной и разрушительной. Так, в свое время миллионными тиражами издавалось произведение под названием "Интердевочка", потом труды Суворова-Резуна и так далее.

В XIX веке ситуация, несмотря на отсутствие всеобщей грамотности, была иная. Такие писатели, как Достоевский, Толстой, Тургенев, Лесков, Некрасов, Гаршин, Успенский, Решетников, Чехов, писали о критически важных для страны вопросах: о крестьянской реформе и её последствиях, о развитии капитализма в России; о проблемах народного образования и здравоохранения, нравственном состоянии общества, путях духовного оздоровления русского народа. И их произведения расходились большими по тем временам тиражами, в том числе и благодаря публикациям в литературных журналах. Разве об этом пишут сегодняшние "лидеры продаж"?

В то время основным адресатом "толстых" литературных журналов была читающая интеллигенция России. Сегодня, к сожалению, эта интеллигенция — врачи, учителя, библиотекари, преподаватели вузов, музейные работники — вытеснена на обочину жизни. Их мнение не имеет никакого значения для тех, кто принимает определяющие жизнь страны решения. Ну, а так называемый "средний класс", чьи вкусы сегодня обслуживают "лидеры продаж" и писатели-шоумены, читает мало и выборочно, в основном то, что рекомендуется глянцевыми журналами. Эти рекомендации, а также определённый круг авторов воспринимаются как руководство к действию для государственных структур, где распределением средств и грантов занимаются люди, в основном, либеральных взглядов. Именно поэтому, например, в Год литературы проводятся фестивали Довлатова, где присутствует министр культуры, но не проводятся фестивали Шолохова, Белова, Рубцова или Солоухина. Песни Макаревича звучат на всех каналах, а человек, якобы сорвавший его концерт в Москве, уже почти год сидит в СИЗО. И таких примеров множество.

В этой связи можно вспомнить несколько подзабытую сегодня теорию отражения. Всё, что человек читает, преломляется в его душе, влияет на его дальнейшую жизнь. Истинная литература всегда в духовном плане возвышенна и позитивна, даже тогда, когда, например, повествует о гражданской войне, как "Тихий Дон" Михаила Шолохова, или изображает реальность в духе фантастического реализма, как Михаил Булгаков в "Мастере и Маргарите". Подобные произведения формируют у читателей гармоничное понимание жизни, ориентируют на высокие нравственные и гражданские ценности. Нынешняя, завязанная на коммерческий успех литература ставит перед собой другие задачи — развлечь, ошеломить, изумить. Поэтому на полках книжных магазинов сейчас так много эротики, фантастики, антиутопий, изощрённых, я бы даже сказал — извращённых в психологическом плане детективных произведений. Нельзя не сказать и об отупляющей и разлагающей роли телевидения, которое заменило многим книгу. Современный читатель качественно изменился, он уже не тот, каким был в советское время, и это огромная проблема. Можно говорить о невосприимчивости читателя к литературе, требующей работы ума и души, сопереживания, осмысления горьких истин.

Соответственно и писатели сегодня разделились по сущностному признаку. Для одних литература — это обобщение их личного человеческого опыта. Они полагают, что их произведения смогут оказать какое-то влияние на общество

только в том случае, если написанное прошло через их душу и личность. Эти писатели не гонятся за славой, работают, не оглядываясь на сиюминутную конъюнктуру. Другие ставят во главу угла коммерческий успех, ориентируются на иную систему нравственных и творческих координат. Пока что в борьбе за массового читателя при активнейшей поддержке полностью коммерциализированных издательских и книготорговых структур побеждают они. Но капля камень точит.

Журналы всегда создавались и издавались единомышленниками. Действовала своеобразная связка: главный редактор — редакционный коллектив — свои авторы — свои читатели. Сегодня эта схема сохранилась, но измельчала, журналы превратились в клубы по интересам.

В своё время на страницах “Дружбы народов” состоялась дискуссия о будущем “толстых” журналов. Участники пришли к выводу, что неизбежная гибель “толстых” журналов есть следствие той “духовной ямы”, в которую провалилось наше общество. Хотя причины гибели назывались, на мой взгляд, не самые главные. Известный критик Владимир Бондаренко, например, утверждал, что это отказ от серьёзной критики как литературного жанра. Без критики, по его мнению, журнал перестаёт влиять на литературную ситуацию в стране, выпадает из современного литературного процесса. Это правильно, но только в том случае, если этот самый литературный процесс существует и развивается. Но его сейчас в России нет. Критиков, целенаправленно отслеживающих новые произведения, в стране раз-два — и обчёлся. В качестве другой причины назывался кризис в отношениях с читателями. С этим трудно спорить. Аудитория “толстых” журналов сегодня сокращена до предела. Цена подписки неподъёмна для большинства читателей. Ещё одна названная причина — утрата журналами авторитета и значимости в обществе. Это связано с тем, что, как полагал критик и социолог Борис Дубин, литература перестала быть центром жизни интеллигенции. Но это, по его мнению, не кризис, а всего лишь другая форма её существования. Сегодня нет единой литературы, есть литература глянцева, сетевая, серийно-массовая и так далее. Читатели же “толстых” журналов исчезают как класс. Старые поколения уходят, а молодым людям журналы не нужны и не интересны.

Всё это, безусловно, имеет место, но думается, главная причина бед толстых журналов и литературы в целом заключается в упрямом стремлении “верхов” насильственно изменить, преобразовать саму сущность нашего общества. Те, кто определяет внутреннюю политику государства, не хотят вспоминать слова отцов Церкви, что нет Господнего попущения на утверждение в России капитализма, особенно в его нынешнем — олигархическо-нефтяном — варианте. Один раз — в 1917 году — народ уже отверг капитализм. Из этого можно было сделать выводы.

И настоящая русская литература буквально вопиет об этом.

Но пока что многим талантливым писателям, особенно из провинции, не приходится мечтать о больших тиражах и всероссийской известности. Журналы для них — одна из немногих возможностей выйти к читателю. Но журналы патристического направления можно пересчитать по пальцам: “Наш современник”, “Москва”, “Роман-газета”, некоторые региональные издания. Остальные либо придерживаются либерально-безнациональной идеологии, либо совершенно утратили внятное направление, уподобились сборникам или альманахам.

Несколько слов о журнале “Роман-газета”, главным редактором которого я являюсь уже пятнадцать лет. “Роман-газета” — старейшее литературное российское издание. В начале 1920-х годов Максим Горький подсказал Ленину идею создания “дешевой книги для народа”. Это было необходимо во время борьбы с неграмотностью и формирования новой пролетарской культуры. Причём предполагалось, что публиковаться в “Роман-газете” будут не только отечественные писатели, но и лучшие представители мировой литературы. “Роман-газета” со временем стала истинно народным изданием, опубликованные в ней авторы сразу же становились известными и признанными. В лучшие времена тираж журнала достигал четырёх миллионов экземпляров. По тому, как он изменился, — а сегодня журнал выходит в количестве четырёх тысяч экземпляров, — видно, что роль и значение литературы в России съёжились, как шагреновая кожа. Тем не менее, многие талантливые писа-

тели, особенно из российской глубинки, выходят к всероссийскому читателю именно через наш журнал “Роман-газета”. К примеру, мы первыми опубликовали роман Захара Прилепина “Патология” о чеченской войне. Только за последние несколько лет на страницах журнала публиковались такие авторы, как Валентин Распутин, Александр Проханов, Сергей Шаргунов, Виктор Пронин, Евгений Шишкин, Борис Агеев из Курска, Андрей Антипин из Иркутской области, Павел Крусанов из Санкт-Петербурга, Дмитрий Ермаков из Вологды, Камиль Зиганшин и Михаил Чванов из Уфы, Пётр Краснов из Оренбурга.

Как дань истории литературы мы только что опубликовали роман Всеволода Кочетова “Чего же ты хочешь?” Он не переиздавался почти полвека. Единственное в СССР книжное издание этого произведения было осуществлено в Белоруссии по решению Петра Машерова в начале семидесятых годов. Большая часть тиража так и не дошла до читателя. Кочетов в этом романе исследовал те негативные процессы, которые в итоге привели к распаду Советского Союза. Думаю, напомнить об этом сейчас очень важно.

Есть писатели услышанные, есть не услышанные, а есть еще те, которых замалчивают. Кочетов как раз и был таким вот не услышанным и замалчиваемым писателем. Таким же не услышанным был и Валентин Иванов, чей роман “Жёлтый металл” о спекуляции золотом в СССР, не переиздававшийся после 1956-го года, мы также напечатали в своём журнале.

“Роман-газета” в меру своих возможностей восполняет пробелы. В следующем году мы планируем опубликовать роман Владимира Солоухина “Мать-мачеха” — пронзительное произведение о жизни молодых людей в последние годы правления Сталина, историческое исследование создателя теории этногенеза Льва Гумилёва “От Руси к России”. А вообще, нет такого хорошего современного русского писателя, который бы не публиковался в “Роман-газете”.

Наш девиз: “Будем делать, что должно, и пусть будет, что будет”. Три года назад — в год 85-летия “Роман-газеты” — я готовил для каждого номера (журнал выходит два раза в месяц) “Историю журнала”, разделив её на временные (по четыре года) периоды. В это трудно поверить, но, несмотря на начавшуюся Великую Отечественную войну, журнал продолжал издаваться и в 1941-м, и в 1942 году! В это время в СССР издавались и другие литературные журналы.

А сегодня у “толстых” журналов нет средств на зарплаты сотрудникам, выплату гонораров авторам. Во многих из них сокращены должности корректоров и редакторов. Под вопросом само существование журналов. Некоторые из них, к примеру “Москва”, “Дружба народов”, в настоящее время не имеют возможности производить текущие платежи. Журнал “Москва” в Год литературы получил предписание освободить занимаемые помещения в центре города. В них должна разместиться какая-то туристическая фирма.

По общему мнению главных редакторов “толстых” журналов, ситуацию можно исправить с помощью **централизованной подписки крупных библиотек и образовательных учреждений, где имеются кафедры русского языка и литературы, на целевой “пакет” ведущих литературных изданий страны.** В этот “пакет” на первых порах следует включить самые известные, имеющие более чем полувековую историю и большие заслуги перед страной периодические издания, такие как “Новый мир”, “Наш современник”, “Роман-газета”, “Москва”, “Знамя”, “Октябрь”, “Юность”, “Нева”, “Звезда”, “Сибирские огни”, “Волга”, а также еженедельники “Литературная газета” и “Литературная Россия”.

Но сделать это не так-то просто. Почему? Дело в том, что **библиотеки находятся в ведении Министерства культуры; институты и университеты — Минобрнауки; непосредственно же журналы как средства массовой информации — в ведении Агентства по печати и массовым коммуникациям.** Три ведомства не могут принять согласованное решение без конкретного указания “сверху”.

Для решения этой проблемы необходимо предпринять несколько последовательных действий.

**Во-первых, придать “толстым” журналам, имеющим долгую и славную историю и внесшим большой вклад в культуру страны, особый государственный статус.**

**Во-вторых, сформировать “пакет”** из непосредственно участвующих в живом литературном процессе изданий.

**В-третьих, дать указание** контролирующему и выделяющему библиотекам средства на приобретение печатной продукции **департаменту Министерства культуры обеспечить подписку** на вышеуказанный “пакет” для **пяти тысяч** (всего их сейчас в России осталось менее сорока тысяч) ведущих библиотек и **(по согласованию с Минобрнауки)** для учебных заведений, где есть кафедры русского языка и литературы.

Расчёты подтверждают, что гарантированная (пять-шесть тысяч экземпляров) подписка даёт возможность журналам существовать относительно безбедно и даже выплачивать авторам небольшие гонорары. Такое решение **не требует дополнительного выделения бюджетных средств**, а требует всего лишь их **перераспределения** с низкопробных “неликвидов”, которые едва ли не насильно “впариваются” сегодня библиотекам формирующими их фонды организациями на периодические издания, поддерживающие и развивающие литературный процесс, то есть профессионально работающие с современными авторами.

**Через несколько лет** библиотекам и учебным заведениям можно будет предоставить **право выбирать** литературные издания (в пределах цены “пакета”) **по их собственным заявкам**. Это позволит, с одной стороны, отсеивать “слабые” издания и выбирать те, которые интереснее. С другой — будет способствовать здоровой конкуренции между литературными журналами за право войти в государственный “пакет”.

Подобное решение, если бы оно было принято, принесло бы **несомненную пользу стране**. Оно бы позволило спасти толстые журналы и было бы **с удовлетворением встречено литературной общественностью, особенно в Год литературы**.

СЕРГЕЙ ГЛАЗБЕВ

*академик РАН*

## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ

### Введение

Непосредственной причиной стагфляции, проявляющейся в дестабилизации курса рубля и повышении инфляции, с одной стороны, и падении инвестиций и экономической активности, с другой стороны, является отток капитала, объём которого в прошлом году составил около 150 млрд долларов, в текущем году ожидается не ниже 100 млрд долларов, а при сохранении тенденции ослабления рубля может достигнуть 120-140 млрд долларов (8-12% ВВП). В том числе, не менее трети составляет нелегальный отток, совершаемый с уводом доходов от налогообложения с ущербом для госбюджета до нескольких триллионов рублей ежегодно.

Нарастающий отток капитала, накопленный вывоз которого оценивается более чем в триллион долларов за прошедшее десятилетие, связан с беспрецедентной для крупных стран офшоризацией и открытостью российской экономики, следствием чего стала чрезвычайная уязвимость её финансовой системы от внешних факторов. Более половины денежной базы сформировано под внешние источники кредита. При этом подавляющая часть внешних займов получена из стран, находящихся под юрисдикцией государств-членов НАТО. Их вывод влечёт двукратное сжатие денежной базы и финансового рынка. Ужесточение санкций может привести к блокированию российского капитала в офшорных зонах, через которые ежегодно проходит свыше трети негосударственных инвестиций.

Центральный банк (ЦБ) не предпринимает мер ни по прекращению оттока капитала, ни по замещению иссякающих внешних источников кредита внутренними. В результате происходит сжатие денежной базы, что влечёт сокращение кредита, падение инвестиций и производства, провоцирует дефолты множества заёмщиков, которые могут приобрести лавинообразный характер. При этом снижения инфляции не происходит как вследствие продолжающегося действия её немонетарных факторов, так и повышения издержек из-за удорожания кредита, сокращения производства и падения курса рубля. Из-за недоступности кредита ослабление не даёт позитивного эффекта для расширения экспорта и импортозамещения и лишь разгоняет инфляцию. Экономика искусственно затягивается в воронку сокращающегося спроса и предложения, падающих доходов и инвестиций. Попытки удержать доходы бюджета за счёт увеличения налогового пресса усугубляют бегство капитала и падение деловой активности. К концу 2015 года сокращение реальных доходов населения отбросит российское общество по уровню бедности в 2003 год, нивелировав социальный эффект экономического роста последнего десятилетия.

Втягивание экономики в стагфляционную ловушку происходит исключительно вследствие проводимой макроэкономической, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Падение производства и инвестиций происходит при наличии свободных производственных мощностей, загрузка которых в отраслях промышленности составляет 30-80%, неполной занятости, превышении сбережений над инвестициями, избытке сырьевых ресурсов. Экономика работает не более чем на 2/3 своей потенциальной мощности, продолжая оставаться донором мировой финансовой системы.

Чтобы выйти из стагфляционной ловушки, нужно остановить скольжение по спирали "бегство капитала – сокращение денежного предложения – падение спроса и сжатие кредита – повышение издержек – рост инфляции, падение производства и инвестиций". В настоящей работе обосновываются необходимые для этого меры государственной макроэкономической политики с учётом сложившейся на внутреннем рынке ситуации и внешних угроз.

### **Изменение денежно-кредитной политики – условие выживания России**

Как было показано выше, нынешнее состояние российской валютно-финансовой системы можно охарактеризовать как неуправляемое. Решения денежных властей приводят к обратным от планировавшихся результатам. При этом они систематически недооценивают вывоз капитала и промахиваются по инфляционной цели.

Главным политическим следствием проводимой валютно-денежной политики является манипулирование российским валютно-финансовым рынком со стороны иностранных финансовых институтов, связанных с эмитентами мировых валют. Создаваемый ими хаос подавляет управленческие импульсы со стороны денежных властей. Вопреки декларируемым намерениям роста производства, инвестиций и уровня жизни, главным экономическим следствием проводимой политики является обогащение спекулирующих на дестабилизации участников рынка за счёт обесценивания сбережений и доходов граждан и производственных предприятий, отток капитала из реального сектора и за рубеж.

Имея 8-процентный потенциал ежегодного прироста ВВП и инвестиций, экономика России искусственно загнана в стагфляционную ловушку. Денежные власти ориентируют её на 5-процентное падение при 15-процентной инфляции. Продолжающееся сжатие денежной массы усугубляет эти процессы и влечёт расстройство всей системы воспроизводства и денежного обращения. Снижение уровня монетизации в прошлом году на 10%, в этом году – ещё на 15-20% неизбежно повлечёт соответствующее падение инвестиций и производства, дальнейшее ухудшение финансового положения и массовые банкротства предприятий реального сектора. Продолжение этой политики несовместимо с независимым политическим курсом и национальной безопасностью России.

Если не предпринять срочных мер по кардинальному изменению денежно-кредитной политики в направлении создания внутренних источников долгосрочного кредита и обеспечения устойчивости российской валютно-финансовой системы, то западные санкции повлекут серьёзные нарушения воспроизводственных процессов в основных секторах российской экономики. Манипулируя российским финансовым рынком и политикой денежных властей, Вашингтон добивается поражения российской экономики, влияя на поведение делового сообщества и критически воздействуя на условия жизнедеятельности общества. Первое, что необходимо сделать, – обезопасить валютно-финансовый рынок от внешних угроз.

Для обеспечения безопасности и устойчивого развития российской экономики необходимо защитить её от дестабилизации со стороны внешних факторов, прежде всего, от атак со стороны иностранных спекулянтов, связанных с ФРС США и эмитентами других мировых валют. Это предполагает введение избирательных ограничений на трансграничное движение спекулятивного капитала. В качестве таковых могут быть использованы меры как прямого (лицензирование, резервирование), так и косвенного (налог на вывоз капитала, ограничение валютной позиции коммерческих банков) регулирования. Следует внести изменения в нормативы, регулирующие деятельность кредитных организаций, которые стимулировали бы операции в рублях и делали бы менее выгодными

операции в иностранной валюте, в частности, при создании кредитными организациями резервов, оценке рисков, достаточности капитала и др.

Необходимо также восстановить государственный контроль над Московской биржей (МБ). Она должна быть подконтрольна ЦБ, которому следует либо вернуть контрольный пакет, либо установить жёсткое и всеобъемлющее нормативное регулирование биржевых операций. В любом случае, МБ не должна иметь коммерческих целей и каких-либо партнёрских связей со спекулянтами. Она должна лишь обслуживать сделки и обеспечивать стабильность рынка, своевременно принимая меры по блокированию спекулятивных атак. ЦБ, в свою очередь, должен контролировать деятельность МБ, ведя системную борьбу со всеми попытками манипулирования рынком и его дестабилизации.

С учётом начавшейся кампании по изъятию российских активов (дело ЮКОСа и пр.) необходимо срочно распродать валютные активы, размещённые в обязательствах США, Великобритании, Франции, Германии и других стран, участвующих в санкциях против России. Их следует заместить инвестициями в золото и другие драгоценные металлы, в создание запасов высоколиквидных товарных ценностей, в том числе критического импорта, в ценные бумаги стран-членов ЕАЭС, ШОС, БРИКС, а также в капитал международных организаций с российским участием (включая Евразийский банк развития, Межгосбанк СНГ, МИБ, Банк развития БРИКС и др.), расширение инфраструктуры поддержки российского экспорта. В числе элементов последней большое значение имеет создание международных биржевых площадок торговли российскими сырьевыми товарами в российской юрисдикции и за рубли, а также создание международных сетей сбыта и обслуживания российских товаров с высокой добавленной стоимостью.

В отношении наметившейся тенденции "подмороживания" частных активов российских юридических и физических лиц, которым денежные власти западных стран начинают чинить препятствия в возврате денег в Россию, можно применить мораторий в отношении трансграничных краткосрочных операций, включая запрет на обслуживание кредитов и инвестиций из практикующие арест российских активов страны.

Необходимо выполнить уже неоднократно дававшиеся президентом России указания о деофшоризации российской экономики, создающей критическую зависимость её воспроизводственных контуров от англосаксонских правовых и финансовых институтов и влекущей систематические потери российской финансовой системы до 60 млрд долларов в год только на разнице в доходности занимаемого и размещаемого капитала. Ещё около 50 млрд долларов составляет идущая через офшоры нелегальная утечка капитала. Накопленный объём последней достиг 0,5 трлн долларов, что в сумме с легальными операциями составляет около 1 трлн долларов вывезенного капитала. Ежегодные потери доходов бюджетной системы вследствие утечки капитала через офшоры превышают 1,3% ВВП.

Наряду с утратой капитала и потерей доходов бюджета особую угрозу национальной безопасности в условиях нарастающей глобальной нестабильности создаёт сложившаяся ситуация с регистрацией прав собственности на большую часть крупных российских негосударственных корпораций и их активов в офшорных зонах, где осуществляется основная часть операций с их оборотом. На них же приходится около 85% накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ), как в Россию, так и из России. Нарастающая эмиссия необеспеченных мировых валют и падение курса рубля, втрое заниженного по отношению к паритету покупательной способности, создают благоприятные условия для поглощения переведённых в офшорную юрисдикцию российских активов иностранным капиталом, что угрожает экономическому суверенитету страны.

Ниже излагается комплекс мер по решению этих и других проблем обеспечения безопасности национальной валютно-финансовой системы от неоправданных потерь и угроз дестабилизации.

### **Комплекс мер по решению задач обеспечения безопасности национальной валютно-финансовой системы**

#### **1. Стабилизация курса рубля и валютного рынка, прекращение оттока капитала за рубеж.**

1.1. Остановка спекулятивного вихря путём прекращения кредитования валютно-финансовых спекуляций за счёт кредитов ЦБ, госбюджета и госбан-

ков, а также пресечения сговоров с целью манипулирования рынком, махинаций сотрудников биржи и менеджеров банков.

1.2. Многократное снижение размаха валютных спекуляций путём сокращения кредитного плеча, налогообложения спекулятивной прибыли, сокращения числа сессий и других стабилизационных механизмов МБ с восстановлением над ней государственного контроля и заменой кадрового состава.

1.3. Установление централизованного контроля за валютными операциями госбанков и государственных корпораций с целью стабилизации рынка, при необходимости — их перевод на прямые валютные операции с ЦБ.

1.4. Ограничение валютной позиции коммерческих банков, введение нулевой позиции по конверсионным операциям, запрет на покупку валюты юридическими лицами без оснований.

1.5. Запрещение направлять средства, полученные предприятиями по каналам льготного рефинансирования и с помощью других форм государственной поддержки, на спекулятивные операции, включая покупку валюты в отсутствие импортных контрактов.

1.6. Введение повышенного резервирования средств на валютных счетах, в случае угрозы замораживания валютных активов российских физических и юридических лиц — до 100%.

1.7. Введение временного налога (резервирования средств) на валютнообменные и трансграничные операции с последующим его зачётом (разблокированием) при завершении легальных операций. Прекращение сомнительных операций, особенно с офшорами. Введение контроля за трансграничными операциями капитального характера посредством открытого лицензирования, которое будет применяться на практике только в отношении сомнительных операций, бенефициары которых должны будут аргументировано обосновать их целесообразность с точки зрения интересов развития российской экономики.

1.8. В целях обеспечения устойчивости обменного курса рубля расширить инструменты регулирования спроса и предложения иностранной валюты, предусмотрев возможность взимания экспортных пошлин в иностранной валюте с её аккумулярованием на валютных счетах правительства в случае избыточного предложения валюты и введения Банком России правила обязательной полной или частичной продажи валютной выручки экспортёров на внутреннем рынке в случае её недостаточного предложения.

1.9. Осуществление комплекса мер (информационно-разъяснительных, регулятивных и др.), направленных на повышение доверия к рублю. В частности, в целях повышения доверия к рублю ЦБ следует более чётко обозначать свои курсовые предпочтения и те возможности по установлению курса, которыми регуляторы располагают (размер золотовалютных резервов в настоящее время превышает величину всей рублевой денежной базы почти в 2 раза, что технически позволяет установить оптимальный для сбалансированного развития экономики уровень обменного курса рубля).

1.10. Разрешение заёмщикам применять форсмажор по отношению к кредитам, предоставленным субъектами стран, которые ввели финансовые санкции против России. В случае эскалации санкций — введение моратория на погашение и обслуживание кредитов и инвестиций, полученных из стран, введших санкции против России. На время действия санкций запретить российским банкам, являющимся дочерними подразделениями американских и европейских банков, привлечение новых средств российских физических и юридических лиц.

1.11. Прекращение кредитов нефинансовым организациям в иностранной валюте со стороны российских банков. Законодательное запрещение займов нефинансовых организаций, номинированных и предоставляемых в иностранной валюте.

1.12. Оплату импорта за иностранную валюту проводить только по факту поставки товаров в Россию или оказания иностранным контрагентом услуг в России.

1.13. Ограничение по объёмам в единицу времени переводов российских физических лиц на счета в иностранные банки.

1.14. Перевод оборота наличной иностранной валюты на безналичную форму. Зачисление всех валютных переводов из-за рубежа в адрес российских граждан и покупок валюты на рынке на безналичные валютные счета. Одновременно либерализация оборота наличного золота и серебра как долго-

срочного средства сбережения. Отмена НДС на покупку банковских слитков и введение налога на вывоз золота и серебра за рубеж.

1.15. Запретить импорт за государственные средства (бюджета и госкомпаний) или с предоставлением налоговых льгот и субсидий любой продукции, аналоги которой производятся в России, включая импорт самолётов, автомобилей, лекарственных препаратов, напитков, мебели и пр.

## **2. Деофшоризация и прекращение незаконного вывоза капитала.**

2.1. Законодательно ввести понятие "национальная компания", удовлетворяющее требованиям: регистрации, налогового резидентства и ведения основной деятельности в России, принадлежности российским резидентам, не имеющим аффилированности с иностранными лицами и юрисдикциями. Только национальным компаниям и российским гражданам-резидентам следует предоставлять доступ к недрам и другим природным ресурсам, госзаказам, госпрограммам, госсубсидиям, кредитам, концессиям, к собственности и управлению недвижимостью, к жилищному и инфраструктурному строительству, к операциям со сбережениями населения, а также к другим стратегически важным для государства и чувствительным для общества видам деятельности.

2.2. Обязать конечных владельцев акций российских системообразующих предприятий зарегистрировать свои права собственности на них в российских регистраторах, выйдя из офшорной тени.

2.3. Заключить соглашения об обмене налоговой информацией с офшорами, денонсировать имеющиеся соглашения с ними об избежании двойного налогообложения, включая Кипр и Люксембург, являющихся транзитными офшорами.

2.4. Законодательно запретить перевод активов в офшорные юрисдикции, с которыми не заключены соглашения об обмене налоговой информацией по модели транспарентности, выработанной ОЭСР.

2.5. Ввести в отношении офшорных компаний, принадлежащих российским резидентам, требования по соблюдению российского законодательства по предоставлению информации об участниках компании (акционеры, вкладчики, выгодоприобретатели), а также по раскрытию налоговой информации для целей налогообложения в России всех доходов, получаемых от российских источников под угрозой установления 30-процентного налога на все операции.

2.6. Сформировать "чёрный список" зарубежных банков, участвующих в схемах по выводу капитала с российскими компаниями и банками, отнеся операции с ними к разряду сомнительных.

2.7. Ввести разрешительный порядок офшорных операций для российских компаний с государственным участием.

2.8. Принять комплекс мер, снижающих налоговые потери от несанкционированного вывоза капитала: 1) возмещение НДС экспортёрам только после поступления экспортной выручки; 2) взимание авансовых платежей по НДС уполномоченными банками при перечислении поставщикам-нерезидентам импортных авансов; 3) введение штрафов за просроченную дебиторскую задолженность по импортным контрактам, непоступление экспортной выручки, а также по другим видам незаконного вывоза капитала в размере его величины.

2.9. Прекратить включение во внереализационные расходы (уменьшающие налогооблагаемую прибыль) безнадёжных долгов нерезидентов российским предприятиям. Предъявлять от имени государства иски к управляющим о возмещении ущерба предприятию и государству в случае выявления таких долгов.

2.10. Ужесточить административную и уголовную ответственность за незаконный вывоз капитала с территории государств-членов Таможенного союза, в том числе в форме притворных внешнеторговых и кредитных операций, уплаты завышенных процентов по иностранным кредитам.

2.11. Ввести налоги на спекулятивные валютно-финансовые операции (планируемый в ЕС налог Тобина) и вывоз капитала.

2.12. Улучшить информационно-статистическую основу противодействия офшоризации экономики, утечке капитала и минимизации налогов, включая получение данных о платёжном балансе и международной инвестиционной позиции от всех офшоров в страновом разрезе.

### **3. Предупреждение дальнейших потерь российской финансовой системы вследствие неэквивалентного внешнеэкономического обмена и защиты финансового рынка от угроз дестабилизации.**

3.1. Создать единую информационную систему валютного и налогового контроля, включающую электронное декларирование паспортов сделок с передачей их в базы данных всех органов валютного и налогового контроля.

3.2. Ввести нормы ответственности руководителей предприятий, допускающих накопление просроченной дебиторской задолженности по экспортно-импортным операциям.

3.3. Упорядочить финансовый рынок, в том числе усилить надзор за финансовым состоянием профессиональных участников, ценообразованием и уровнем рисков рынка; создать национальный расчётно-клиринговый центр; отрегулировать деятельность финансовых конгломератов и их агрегированных рисков.

3.4. Прекратить дискриминацию отечественных заёмщиков и эмитентов перед иностранными (при расчёте показателей ликвидности, достаточности капитала и др., ЦБ не должен считать обязательства нерезидентов и иностранных государств более надёжными и ликвидными, чем аналогичные обязательства резидентов и российского государства). Ввести отечественные стандарты деятельности рейтинговых агентств и отказаться от использования оценок иностранных рейтинговых агентств в государственном регулировании.

3.5. Ввести ограничения на объёмы забалансовых зарубежных активов и обязательств перед нерезидентами по дериватам российских организаций, ограничить вложения российских предприятий в иностранные ценные бумаги, включая государственные облигации США и других иностранных государств с высоким дефицитом бюджета или государственного долга.

3.6. Завершить создание центрального депозитария, в котором организовать учёт прав собственности на все акции российских предприятий.

3.7. Нормативно закрепить обязательности первичных размещений российских эмитентов на российских торговых площадках.

### **4. Увеличение потенциала и безопасности российской денежной системы и упрочение её положения в мировой экономике, придание рублю функций международной резервной валюты и формирование Московского финансового центра.**

4.1. Стимулировать переход во взаимных расчётах в ЕАЭС и СНГ на рубли, в расчётах с ЕС — на рубли и евро, с Китаем — на рубли и юани. Рекомендовать хозяйствующим субъектам переходить на расчёты в рублях за экспортируемые и импортируемые товары и услуги. При этом предусматривать выделение связанных рублёвых кредитов государствам-импортёрам российской продукции для поддержания товарооборота, использовать в этих целях кредитно-валютные СВОПы.

4.2. Кардинально расширить систему обслуживания расчётов в национальных валютах между предприятиями государств ЕАЭС и СНГ посредством Межгосбанка СНГ, с иными государствами — с использованием контролируемых Россией международных финансовых организаций (МБЭС, МИБ, ЕАБР и др.).

4.3. Банку России осуществлять целевое рефинансирование коммерческих банков под рублёвое кредитование экспортно-импортных операций по приемлемым ставкам на долгосрочной основе, а также учитывать в основных направлениях денежно-кредитной политики дополнительный спрос на рубли в связи с расширением внешнеторгового оборота в рублях и формированием зарубежных рублёвых резервов иностранных государств и банков.

4.4. Организовать биржевую торговлю нефтью, нефтепродуктами, лесом, минеральными удобрениями, металлами, другими сырьевыми товарами в рублях; в целях обеспечения рыночного ценообразования и предотвращения использования трансфертных цен для уклонения от налогообложения обязать производителей биржевых товаров продавать через зарегистрированные Правительством России биржи не менее половины своей продукции, в том числе поставляемой на экспорт.

4.5. Ограничить заимствования контролируемых государством корпораций за рубежом; постепенно заместить инвалютные займы контролируемых государством компаний рублёвыми кредитами государственных коммерчес-

ких банков за счёт их целевого рефинансирования со стороны Центрального Банка под соответствующий процент.

4.6. Ограничить предоставление гарантий по вкладам граждан в рамках системы страхования вкладов только рублёвыми вкладами с одновременным повышением нормативов обязательных резервов по вкладам в иностранной валюте.

4.7. Создать Перестраховочное общество на основе Экспортного страхового агентства России с использованием гарантий Внешэкономбанка вместо прямых инвестиций для наполнения уставного капитала общества; предоставление ему доминирующего положения на рынке перестрахования рисков российских резидентов.

4.8. Создать Московский клуб кредиторов и инвесторов для координации кредитно-инвестиционной политики российских банков и фондов за рубежом, работы по возвращению проблемных кредитов, выработки единой позиции по отношению к дефолтным странам-заёмщикам.

4.9. Создать платёжно-расчётную систему в национальных валютах государств-членов ЕАЭС на базе Межгосбанка СНГ со своей системой обмена информацией между банками, оценки кредитных рисков, котировки курсов обмена валют. Разработать и внедрить собственную независимую систему международных расчётов в ЕАЭС, ШОС и БРИКС, которая могла бы устранить критическую зависимость от подконтрольной США системы SWIFT.

Для решения последней задачи необходимо совместить создание национальной платёжной системы обслуживания банковских карточек, а также международной системы обмена межбанковской информацией, которые могли бы обезопасить российскую финансовую систему от санкций со стороны находящихся в западной юрисдикции систем расчётно-платёжных систем VISA, Mastercard, SWIFT. Создание таких систем международного уровня необходимо поставить в повестку дня БРИКС с целью обеспечения работы российских платёжных инструментов не только внутри страны, но и за рубежом.

4.10. В целях обеспечения национальной безопасности следует согласовать правила действия национальных денежных властей при необходимости защиты своих валютно-финансовых систем от спекулятивных атак и подавления связанной с ними турбулентности. Вопреки позиции США и МВФ, целесообразно договориться о признании необходимости создания национальных систем защиты от глобальных рисков финансовой дестабилизации, включающих: а) институт резервирования по валютным операциям движения капитала; б) налог на доходы от продажи активов нерезидентами, ставка которого зависит от срока владения активом; в) предоставление странам возможности введения ограничений на трансграничное перемещение капитала по операциям, представляющим угрозу национальной безопасности.

Самым же важным условием обеспечения безопасности валютно-финансовой системы и нейтрализации западных санкций является переход с внешних на внутренние источники кредита.

### **Создание суверенной системы кредитования роста производства и инвестиций**

Для обеспечения расширенного воспроизводства российская экономика нуждается в существенном повышении уровня монетизации, расширении кредита и мощности банковской системы. Необходимы экстренные меры по её стабилизации, что требует увеличения предложения ликвидности и активизации роли ЦБ как кредитора последней инстанции. В отличие от экономик стран-эмитентов резервных валют, основные проблемы в российской экономике вызваны не избытком денежного предложения и связанных с ним финансовых пузырей, а хронической недомонетизацией экономики, которая длительное время работала "на износ" вследствие острого недостатка кредитов и инвестиций.

Необходимый уровень денежного предложения для подъёма инвестиционной и инновационной активности должен определяться спросом на деньги со стороны реального сектора экономики и государственных институтов развития при регулирующем значении ставки рефинансирования. Настоящее таргетирование инфляции невозможно без реализации других целей макроэкономической политики, включая обеспечение стабильного курса рубля,

роста инвестиций, производства и занятости. Эти цели могут ранжироваться по приоритетности и задаваться в форме ограничений, достигаясь за счёт гибкого использования имеющихся в распоряжении государства инструментов регулирования денежно-кредитной и валютной сферы. В сложившихся условиях приоритет следует отдавать росту производства и инвестиций в рамках установленных ограничений по инфляции и обменному курсу рубля. При этом для удержания инфляции в установленных пределах необходима комплексная система мер по ценообразованию и ценовой политике, валютно-му и банковскому регулированию, развитию конкуренции.

Как показывает мировой опыт, для реализации открывающихся возможностей подъёма на новой волне роста нового технологического уклада требуется мощный иницирующий импульс обновления основного капитала, позволяющий сконцентрировать имеющиеся ресурсы на перспективных направлениях модернизации и развития экономики. Его организация предполагает повышение нормы накопления до 40% ВВП с концентрацией инвестиций на прорывных направлениях глобального экономического роста. Источником финансирования этих инвестиций является целевая кредитная эмиссия, организуемая денежными властями в соответствии с централизованно устанавливаемыми приоритетами. Об этом свидетельствует опыт стран, успешно использовавших окно возможностей для технологического рывка, — все они прибегали к политике финансового форсажа, увеличивая в разы объём кредитования инвестиций в перспективные направления экономического роста. Их центральные банки становились банками развития, эмитируя необходимое количество денег для реализации централизованно спланированных инвестиционных проектов и программ.

Необходимый для перехода на траекторию опережающего развития на основе нового технологического уклада иницирующий импульс требует двукратного повышения уровня инвестиционной активности по отношению к имеющемуся в настоящее время у российской финансово-инвестиционной системы. Единственно возможным источником их финансирования в нынешней российской экономике является государственная политика денежной эмиссии. Последняя должна носить целенаправленный характер, исходя из объективно оцениваемой потребности в кредитах со стороны разных сфер хозяйственной деятельности, и с учётом устанавливаемых государством приоритетов долгосрочного развития экономики.

Из теории экономического развития и практики развитых стран следует необходимость комплексного подхода к формированию денежного предложения в увязке с целями экономического развития и с опорой на внутренние источники денежной эмиссии. Важнейшим из них является механизм рефинансирования кредитных институтов, замкнутый на кредитование реального сектора экономики и инвестиций в приоритетные направления развития. Это можно сделать путём использования хорошо известных и отработанных в практике развитых стран косвенных (рефинансирование под залог обязательств государства и платежеспособных предприятий) и прямых (софинансирование государственных программ, предоставление госгарантий, фондирование институтов развития) способов денежной эмиссии. Не следует также исключать возможность направления денежной эмиссии на государственные нужды, как это делается в США, Японии, ЕС путём приобретения центральными банками государственных долговых обязательств.

В условиях денежной экспансии и мер по удешевлению финансовых ресурсов, последовательно проводимых эмитентами мировых валют, необходимо выравнивание условий деятельности российских предприятий по сравнению с иностранными конкурентами по стоимости финансовых ресурсов, срокам их предоставления, уровню рисков. Для этого необходимо снижение ставки рефинансирования, которая центральными банками многих ведущих стран устанавливается на уровне ниже инфляции на долгосрочный период с целью снижения рисков издержек заёмщиков, и удлинение сроков предоставления кредитных ресурсов. При этом следует учитывать, что в развитых экономиках при осуществлении эмиссии делается упор на формирование целевых длинных и сверхдлинных ресурсов (в США, Японии и Китае — до 30–40 лет) под обязательства государства, в том числе связанные с финансированием долгосрочных инвестиционных проектов, которые дополняются инструментами среднесрочного рефинансирования, что создаёт мощную основу

длинных ресурсов в экономике. При этом денежно-кредитная политика увязывается с промышленными приоритетами (в том числе отраслевого, корпоративного и регионального характера), позволяя говорить о формировании инструментария денежно-промышленной политики.

С учётом необходимости удвоения инвестиций для модернизации российской экономики Банку России и Правительству РФ необходимо увязывать монетарную политику с решением задач кредитования модернизации и роста российской экономики. При этом для недопущения негативного влияния на российскую экономику со стороны зарубежных источников финансовых ресурсов важно обеспечить приоритетную роль внутренних источников монетизации, в том числе расширяя долго- и среднесрочное рефинансирование коммерческих банков под обязательства производственных предприятий и уполномоченных органов государственного управления. Целесообразно также провести последовательное замещение иностранных заимствований контролируемых государством банков и корпораций внутренними источниками кредита.

Для формирования современной национальной кредитно-финансовой системы, адекватной задачам подъёма инвестиционной активности в целях модернизации и развития российской экономики, ЦБ должен функционировать как институт развития, обеспечивающий кредиты как потребности частных предприятий в расширении и развитии производства, так и инвестиции на реализацию государственных программ, стратегических и индикативных планов.

Может быть принято и другое решение, запускающее параллельно существующей денежно-кредитной политике механизм целевого кредитования инвестиционной и инновационной активности посредством институтов развития, действующих в соответствии с государственными программами, стратегическими и индикативными планами. Для этого, по аналогии с немецким KfW, может быть создан специализированный Государственный внебюджетный инвестиционно-кредитный фонд, способный рефинансировать институты развития и коммерческие банки в необходимых объёмах.

По сути, это означает создание параллельно действующей системы денежного обращения специального контура, ориентированного на достижение целей развития экономики. Для того чтобы не допустить перетекания эмитированных для Фонда кредитов на финансовый рынок, необходимо создать специальный расчётный центр, в котором все участники программы и их первые поставщики должны будут открывать счета. Этот центр ежедневно осуществляет клиринг проводимых с деньгами Фонда операций и информирует о его результатах ЦБ, который открывает соответствующую кредитную линию для рефинансирования Фонда под нулевой процент. Наряду с обеспечением Фонда в необходимом объёме кредитными ресурсами, который может достигнуть половины денежной базы, ЦБ должен будет следить за перетоком денег из инвестиционных проектов Фонда в свободное обращение, проводя при необходимости стерилизационные процедуры в случае появления инфляционных рисков. По предварительным расчётам, использование кредитной эмиссии в размере 7,5 трлн рублей посредством данного фонда на цели роста производства и инвестиций в соответствии установленными приоритетами даст эффект в 17% прироста ВВП.

Исходя из изложенного, предлагается следующий комплекс мер в сфере денежно-кредитной политики.

## **1. Настройка денежно-кредитной системы на цели развития и расширение возможностей кредитования реального сектора**

1.1. Законодательное включение в перечень целей государственной денежно-кредитной политики и деятельности Банка России создания условий для экономического роста, увеличения инвестиций и занятости. Переход к многоцелевой денежно-кредитной политике, предусматривающий одновременное достижение целей экономического роста и увеличения инвестиций, а также системное управление процентными ставками, обменным курсом, валютной позицией банков, объёмом денежной эмиссии по всем каналам и другим параметрами денежного обращения.

1.2. Переход к многоканальной системе рефинансирования банковской системы с проведением денежной эмиссии преимущественно для рефинансирования коммерческих банков под залог кредитных требований к производст-

венным предприятиям, облигаций государства и институтов развития. При этом наряду с ныне действующим механизмом рефинансирования на цели пополнения ликвидности по ключевой ставке должны быть развёрнуты каналы целевого рефинансирования коммерческих банков под спрос производственных предприятий, ставка процента по которым не должна превышать среднюю норму прибыли в инвестиционном комплексе за вычетом банковской маржи (2-3%), а сроки предоставления кредитов должны соответствовать типичной длительности научно-производственного цикла в обрабатывающей промышленности (до 7 лет). Доступ к системе рефинансирования должен быть открыт для всех коммерческих банков на универсальных условиях, а также для банков развития на особых условиях, соответствующих профилю и целям их деятельности (в том числе с учётом ожидаемой окупаемости инвестиций в инфраструктуру – до 20-30 лет под 1-2%).

Кроме того, предлагается развернуть специальные антикризисные целевые кредитные линии на восстановление деловой активности, расширение и модернизацию производства. Размещать такие кредиты коммерческие банки и институты развития должны на принципах целевого кредитования конкретных проектов, предусматривающих выделение денег исключительно под установленные ими расходы без перечисления денег на счёт заёмщика.

1.3. Развернуть целевое кредитование производственных предприятий, сбыт продукции которых гарантирован экспортными контрактами, госзаказами, договорами с внутренними потребителями и торговыми сетями. Эти кредиты по ставке 2% должны рефинансироваться ЦБ под обязательства предприятий через подконтрольные государству банки с доведением до конечных заёмщиков по ставке 4% на срок от 1 до 5 лет с жёстким контролем за целевым использованием денег исключительно на производственные нужды. Требуемый объём таких кредитов – не менее 3 трлн рублей, включая 1,2 трлн рублей для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

1.4. Развернуть целевое финансирование одобренных государством инвестиционных проектов за счёт кредитов ЦБ институтам развития по ставке 1% на 5-15 лет под облигации госкорпораций, правительства, субъектов федерации, муниципалитетов, международных организаций. Объём – не менее 2 трлн рублей.

1.5. Увеличить в 3 раза объём льготных кредитных линий на поддержку малого бизнеса, жилищного строительства, сельского хозяйства, рефинансируемых ЦБ через специализированные институты развития федерального и регионального уровня не более чем под 2% годовых, включая ипотеку.

1.6. Разработать и реализовать государственную программу импортозамещения в объёме не менее 3 трлн рублей. ЦБ предоставить уполномоченным банкам целевую кредитную линию на эти цели до 1 трлн рублей. Запретить импорт и лизинг за государственные средства (бюджета и средства госкомпаний) любой продукции, аналоги которой производятся в России.

1.7. Обусловить государственную поддержку частного бизнеса его встречными обязательствами перед государством по производству определённой продукции (или оказанию услуг) в определённом объёме в определённые сроки по определённым ценам. Невыполнение обязательств должно вести к образованию долга перед государством в размере стоимости произведённой продукции.

1.8. В целях обеспечения стабильных условий кредитования запретить коммерческим банкам пересматривать условия кредитных соглашений в одностороннем порядке.

1.9. Изменить стандарты оценки стоимости залогов, используя средневзвешенные рыночные цены среднесрочного периода, и ограничить применение маржинальных требований, в том числе предусмотреть отказ от маржинальных требований к заёмщикам со стороны Банка России и банков с государственным участием.

1.10. Многократно увеличить капитал институтов развития путём эмиссии их долгосрочных облигаций, выкупаемых Банком России и включаемых в его ломбардный список.

1.11. Создать Государственный внебюджетный инвестиционно-кредитный фонд по образцу немецкого KfW с его рефинансированием за счёт Резервного фонда Правительства и выкупа облигаций Банком России в соответствии с государственной инвестиционной программой.

1.12. Открыть кредитную линию ЦБ на рефинансирование через ВЭБ корпораций и банков, сталкивающихся с прекращением внешнего кредита по причине санкций на тех же условиях, что и замещаемые иностранные займы. Её объём на будущий год может составить до 5 трлн рублей.

1.13. Многократно увеличить финансирование институтов лизинга отечественной техники путём целевого рефинансирования ЦБ под 0,5% годовых с маржой этих институтов не более 1%.

1.14. Ограничить заимствования контролируемых государством корпораций за рубежом; постепенно заместить инвалютные займы контролируемых государством компаний рублёвыми кредитами государственных коммерческих банков за счёт их целевого рефинансирования со стороны Центрального Банка под соответствующий процент.

1.15. Кардинальное расширение ломбардного списка Центрального банка, включение в него векселей и облигаций платёжеспособных предприятий, работающих в приоритетных направлениях, институтов развития, гарантий федерального правительства, субъектов федерации и муниципалитетов.

1.16. Во избежание стимулирования вывоза капитала и валютных спекуляций приём иностранных ценных бумаг и иностранных активов российских банков в качестве обеспечения ломбардных и иных кредитов ЦБ следует прекратить.

## **2. Стабилизация работы банковской системы**

Необходимо принять следующие меры по устранению угроз дестабилизации банковской системы, возникающих в связи с цепочкой банкротств лишаемых лицензий коммерческих банков.

2.1. Предоставление коммерческим банкам возможности немедленного получения стабилизационных кредитов на цели удовлетворения панических требований физических лиц в размере до 25% объёма депозитов граждан.

2.2. Возобновление проведения Банком России беззалоговых кредитных аукционов для банков, испытывающих дефицит ликвидности.

2.3. Предпринять срочные меры по поддержанию текущей ликвидности банков: снижение отчислений в Фонд обязательных резервов; увеличение возможностей кредитования банков под залог "нерыночных активов"; расширение разнообразия таких активов. При необходимости устанавливать понижающие коэффициенты при расчёте величины активов, взвешенных с учётом рисков для российских предприятий, имеющих рейтинги российских рейтинговых агентств. Обеспечить прозрачность и автоматизм механизмов оказания финансовой помощи.

2.4. Отложить внедрение в России стандартов Базеля-3 на 2-3 года – до восстановления объёмов кредитования реального сектора экономики на докризисном уровне первой половины 2008 года. Скорректировать стандарты Базеля-3 с целью устранения искусственных ограничений инвестиционной деятельности. В рамках Базеля-2 расчёт кредитного риска вести на основе внутренних рейтингов банков взамен рейтингов международных агентств, несостоятельность и непрофессионализм которых проявились в ходе финансового кризиса 2007-2008 годов.

## **3. Создание необходимых условий для увеличения мощности российской финансовой системы**

3.1. Постепенно перейти на использование рублей в международных расчётах по торговым сделкам государственных корпораций, провести последовательное замещение их инвалютных займов рублёвыми кредитами государственных коммерческих банков с предоставлением соответствующего фондирования со стороны ЦБ.

3.2. Фиксация котировок обменного курса в привязке к рублю, а не к доллару и евро, как это происходит в настоящее время. Установление заранее объявляемых границ колебаний курса рубля, поддерживаемых длительное время. При угрозе выхода за пределы этих границ неожиданное для спекулянтов проведение единовременного изменения курса с установлением новых границ в целях избежания провоцирования лавинообразного бегства капитала и валютных спекуляций против рубля, а также обеспечения мгновенной стабилизации его курса.

3.3. В целях предотвращения перетока эмитируемых для рефинансирования производственной деятельности и инвестиций денег на финансовый и валютный рынок необходимо обеспечить целевое использование таких кредитов посредством соответствующих норм банковского надзора. Ограничить валютную позицию коммерческих банков, прибегающих к рефинансированию ЦБ.

3.4. Для ограничения финансовых спекуляций следует расширить систему регулирования финансового рычага, включив в неё небанковские компании.

3.5. Постепенный переход на использование рублей для оплаты внешне-торговых операций.

При формировании денежной политики Банку России следует проводить оценку макроэкономических последствий эмиссии рублей по различным каналам: для рефинансирования коммерческих банков под обязательства производственных предприятий, под облигации государства и институтов развития, под замещение инвалютных кредитов, под приобретение иностранной валюты в валютный резерв, под внешний спрос на рубли для кредитования внешнеторгового оборота, капитальных операций и формирования рублёвых резервов иностранных государств и банков. Методологическое обеспечение этой работы, включая построение имитационных экономико-математических моделей денежного обращения, могла бы взять на себя РАН в сотрудничестве с исследовательским подразделением Банка России.

Организация целевого долгосрочного дешёвого кредитования реального сектора требует соответствующих государственных программ, устанавливающих перспективные направления роста и модернизации производства. В том числе каналы долгосрочного дешёвого кредита должны выстраиваться через контролируемые государством банки под индикативные планы роста инвестиций и производства в оборонно-промышленном, агропромышленном и строительном комплексах, под программы импортозамещения и развития инфраструктуры, экспортные контракты, спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса.

Увязывание индикативных планов роста производства и инвестиций, с одной стороны, масштабов и цены их кредитования, с другой стороны, может проводиться посредством договорной кампании в форматах частно-государственного партнёрства в рамках создаваемой системы стратегического планирования. Государственные структуры должны составить основу этой системы, транслируя импульсы роста в рыночную среду. Интеграция этих задач в единую систему мер возможна только на уровне главы государства, при котором в этих целях могут быть созданы комитеты по стратегическому планированию, научно-техническому развитию, антимонопольному регулированию.

### **Формирование системы стратегического управления развитием экономики**

Нынешнее состояние российской экономики и её перспективы тесно связаны с состоянием мировой экономики, находящейся в процессе перехода к новому технологическому и мирохозяйственному укладу. Выход из кризиса мировой экономики связан со "штормом" нововведений, прокладывающих дорогу становлению новых технологий. Нынешний системный кризис закончится через 3-5 лет с перетоком оставшегося после коллапса финансовых пузырей капитала в производство нового технологического уклада. Именно в подобные периоды глобальных технологических сдвигов возникает "окно" возможностей для отстающих стран вырваться вперёд и совершить "экономическое чудо".

В предыдущем разделе охарактеризована схема организации целевого кредитования роста инвестиций и производства. Она должна стать рабочим механизмом реализации стратегических и индикативных планов модернизации и развития экономики на основе опережающего развития нового технологического уклада.

Необходимая для успешной модернизации стратегия развития заключается в опережающем становлении базисных производств нового технологического уклада и скорейшем выводе российской экономики на связанную с ним новую длинную волну роста. Для этого необходима концентрация ресурсов в создание ядра нового технологического уклада и достижение синергетического эффекта формирования кластеров новых производств, что предполагает

согласованность макроэкономической политики с приоритетами долгосрочного технико-экономического развития.

Для осуществления такой политики необходимо создание системы стратегического управления, способной выявлять перспективные направления экономического роста, направлять деятельность государственных институтов развития и инструментов экономического регулирования на их реализацию. Она включает прогнозирование научно-технического прогресса, стратегическое планирование, выбор приоритетных направлений наращивания научно-технического потенциала, использование инструментов и механизмов их реализации (концепции, программы и индикативные планы), внедрение методов контроля и механизмов ответственности за достижение необходимых результатов. С учётом ключевого значения государственных банков, корпораций, институтов развития, необходимо принимать ежегодные среднесрочные планы деятельности госсектора, сбалансированные по производственным, инвестиционным и финансовым параметрам. Документы социально-экономического, отраслевого и территориального стратегического планирования должны составлять единый комплекс и разрабатываться на общей методологической основе.

Для организации и обеспечения системы стратегического управления нужен Государственный Комитет по стратегическому планированию при Президенте России.

Ключевую роль в модернизации и развитии экономики на основе нового технологического уклада играет резкое повышение инновационной активности. В современной экономике на долю научно-технического прогресса НТП приходится до 90% от совокупного вклада всех факторов прироста ВВП. С учётом критического значения и высокой неопределённости результатов научных исследований, государство принимает на себя функции интеллектуально-информационного центра регулирования и стратегического планирования развития экономики, поддержания соответствующей научно-технологической среды, включающей развитую базу фундаментальных знаний и поисковых исследований, институты прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок, систему стимулирования освоения и распространения новых технологий. Во всех странах мира последовательно увеличивается финансирование НИОКР, доля которого в ВВП достигает 4%, что вдвое превышает наукоёмкость российской экономики.

В настоящее время в Российской Федерации сложилась критическая ситуация с развитием научных исследований, осуществлением технологической модернизации производства, связанной с переходом к новому технологическому укладу. Причины неблагоприятной ситуации кроются в хроническом недофинансировании развития науки, разрушении кооперации науки и производства, старении научных кадров, "утечке мозгов". Во многом они стали следствием приватизации, которая привела к разрушению отраслевого сектора прикладной науки. Осуществляемое в настоящее время реформирование РАН не затрагивает эти основные проблемы управления НТП, не предусматривает совершенствование институциональных форм и методов организации прикладных исследований, не ориентировано на развитие и внедрение высокоэффективных наукоемких технологий.

Главной угрозой экономических санкций является изоляция России от доступа к новым технологиям. Если её не нейтрализовать, через несколько лет наша экономика окажется в состоянии необратимого отставания в освоении производств нового технологического уклада, выход которого на длинную волну роста обеспечит перевооружение как промышленности, так и армии на качественно новом уровне эффективности. Чтобы не допустить этого отставания, необходимо, с одной стороны, многократно увеличить ассигнования на НИОКР в ключевых направлениях роста нового технологического уклада, а с другой стороны, — обеспечить кардинальное повышение ответственности руководителей институтов развития за эффективное использование выделяемых средств. Для этого необходимо создание современной системы управления научно-техническим развитием страны, охватывающей все стадии научных исследований и научно-производственного цикла и ориентированной на модернизацию экономики на основе нового технологического уклада.

В части управления научно-инновационной деятельностью необходимо учитывать, что она пронизывает все сферы экономики, что делает управле-

ние наукой как отдельной отраслью в формате министерства заведомо неэффективным. В целях реализации системного подхода к управлению НТП, сквозного и всемерного стимулирования инновационной активности целесообразно создание надведомственного федерального органа, отвечающего за разработку государственной научно-технической и инновационной политики, координацию деятельности отраслевых министерств и ведомств в её реализации – Государственного комитета по научно-техническому развитию Российской Федерации (ГКНТР РФ) при Президенте России как коллегиального органа в составе руководителей соответствующих министерств и ведомств, РАН, федеральных институтов финансирования и поддержки НИОКР. Такая система управления НТП должна помогать всем хозяйствующим субъектам определять перспективные направления развития в целях максимально эффективного использования имеющихся ресурсов.

Важнейшей задачей этого органа должно стать создание условий для скорейшего восстановления прикладной науки, основные структурные составляющие которой разрушены в ходе массовой приватизации. Повальное уничтожение проектных институтов и конструкторских бюро предопределило тенденцию перехода промышленности на иностранную технологическую базу, для преодоления которой необходима системная работа государства и научно-инженерного сообщества в создании широкой сети инжиниринговых компаний, проектных и конструкторских организаций. Необходимо наладить "конвейер знаний" от фундаментальной науки через прикладные разработки к использованию инноваций на предприятиях. Паллиативы в виде "Сколково" недостаточны.

Третьим элементом формирующейся системы стратегического управления призван стать Госкомитет по антимонопольной политике и защите конкуренции, который также целесообразно вывести из подчинённости Правительству РФ, при этом, кроме антимонопольной политики, защиты конкуренции, тарифов и цен, в его ведении должны быть административные споры между госорганами и бизнесом, включая регулирование надзорной и правоприменительной практики. Создание системы стратегического планирования и механизмов кредитования роста производства и инвестиций должно сопровождаться созданием условий для повышения конкурентоспособности предприятий.

### **Повышение конкурентоспособности российских компаний**

1.1. Разработка и реализация целевой программы модернизации и опережающего развития экономики на основе нового технологического уклада. Для этого необходимо многократное увеличение рефинансирования институтов развития Банком России одновременно с введением планирования их деятельности, исходя из установленных приоритетов модернизации и развития экономики на основе опережающего роста нового технологического уклада.

1.2. Запуск президентской технологической инициативы путём реализации системы мер по кардинальному подъёму инновационной активности, создания условий для творческой самореализации граждан. Упорядочивание и многократное расширение деятельности сети венчурных фондов, инжиниринговых компаний, инновационных предприятий, институтов развития, ориентированных на практическую реализацию имеющегося научно-технического потенциала.

1.3. Выделение стратегически и социально значимых предприятий: в отношении первых не допускать перехода под контроль иностранного капитала или закрытия (например, ВПК), в отношении вторых – закрытия (например, градообразующие предприятия и системообразующие банки). В случае их банкротства – предоставление возможности трудовым коллективам их обращения в народные предприятия с реструктуризацией обязательств.

1.4. Проведение переписи предприятий в целях восполнения имеющихся пробелов в идентификации собственников, менеджмента, работников предприятий, восстановление соответствия между субъектами экономики и субъектами права. Требуется расширения практика предоставления предприятиями так называемой интегрированной отчётности, позволяющей комплексно оценивать не только текущее состояние, но и перспективы функционирования предприятия в изменяющейся среде по широкому кругу показателей его деятельности.

1.5. Создание Центра мониторинга деятельности предприятий в целях сбора, накопления, анализа и обобщения статистической, опросной, феноменологической и иной информации о состоянии отечественных предприятий.

1.6. Установление чётких оснований для привлечения к ответственности менеджеров за негативные последствия принимаемых решений в условиях конфликта интересов, специалистов – за нарушение технических норм и регламентов, работников – за нарушение производственной дисциплины. Степень гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности должна соответствовать величине наносимого предприятию ущерба и уровню полномочий виновных сотрудников. Свою долю ответственности должны нести и собственники в случае их прямого вмешательства в деятельность предприятия или распоряжения правами собственности в ущерб интересам предприятия (увод прибылей и активов, принуждение к фиктивным операциям, злостное банкротство, рейдерство и пр.).

1.7. Законодательное установление права трудового коллектива, специалистов и управляющих на создание своих коллегиальных органов (Совет работников, Научно-инженерный Совет, Совет управляющих) и избрание своих представителей в высший орган стратегического управления (Совет директоров), обеспечивающий учёт интересов всех участников деятельности предприятия в сочетании с интересами развития самого предприятия как хозяйствующего субъекта.

1.8. В общем случае, если банкротство предприятия ведёт к его ликвидации и уничтожению рабочих мест, трудовой коллектив должен иметь право установления контроля над ним, в том числе в форме реорганизации его в народное предприятие.

Охарактеризованные выше предложения по обеспечению безопасности российской экономики и созданию условий для её опережающего развития ориентированы, в основном, на повышение эффективности работы государственных институтов. Наряду с этим должны поддерживаться благоприятные условия для предпринимательской инициативы и роста частной деловой активности. Кроме предложенных мер по формированию внутренних источников дешёвого долгосрочного кредита, они должны включать проведение налогового маневра в целях переноса налоговой нагрузки со сферы производства на сферу потребления, а также повышение эффективности государственного регулирования естественных монополий в целях снижения структурообразующих издержек.

Реализация перечисленных мер по устранению причин стагнации и созданию необходимых условий для экономического роста должна быть проведена в течение ближайшего года. В противном случае эскалация экономических санкций против России повлечет разрушение многих воспроизводственных контуров во всех секторах экономики и резкое падение доходов субъектов экономической деятельности, остановку многих производств, а также банкротство многих зависимых от внешних источников кредита предприятий. Это вызовет ошутимое падение уровня жизни населения (к концу 2015 года – до уровня 2003 года, нивелировав позитивный эффект роста доходов в течение 10 лет), что даст возможность нашим противникам перейти к следующей фазе хаотической войны против России.

Без долгосрочного целеполагания, без общей системной работы государства, предприятий и граждан по реализации курса на суверенное развитие на передовой технологической основе выстоять и обеспечить устойчивость внутреннего социального и экономического порядка невозможно.

Россия поставлена в условия борьбы за само своё существование, когда сохранение зависимого положения экономики от западного ядра мировой финансово-экономической системы влечёт угрозу утраты национального суверенитета. Нейтрализация этой угрозы невозможна без смены модели "встраивания" страны в мировую экономику, формирования суверенных источников и механизмов развития, без выстраивания широкой антивоенной коалиции стран на основе механизма равноправного партнёрства, взаимной выгоды и уважения национального суверенитета

ЛИДИЯ СЫЧЁВА

## ЦИФРОВОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РАСПУТЬЕ

Социальные сети рулят — формируют общественное мнение, выводят протестующие толпы на улицу, обсуждают чиновничью недвижимость и сверхдоходы, славят и проклинают Европу и Америку. Поток политического контента разбавлен личными фотографиями, “кошечками”, эмоциями по случаю, семейными новостями, комментариями по поддержке “идейно близких”.

Ворота души — настесь. У одних — духовное самолюбование, у других — нехитрый расчёт на самопиар, у третьих — общественная социология, у четвёртых — убийство времени, своего и чужого.

Соцсети — праздность, явленная вовне. Но праздность без праздника, праздность паразитическая: бесконечное “гортанобесие” — услаждение вкусовых рецепторов духовным фаст-фудом.

Соцсети — добровольное шоу “За стеклом”, пресловутое “Открытое общество” (всё строго по Джорджу Соросу), духовная дочь которого — “Открытая Россия” Михаила Ходорковского (чувствуете преемственность в названиях?!), ну и, конечно, кремлёвцы накреативили — у нас теперь есть “Открытое правительство”. (СМИ сообщают: глава этого ведомства Михаил Абызов, возможно, гражданин США; сканы документов министра опубликовал в сети анонимный блогер.)

Что ж, как пишут в соцсетях, Россия — “в тренде”. Но не кажется ли вам, что за открытым обществом легче следить? Вопрос только в том, кто и за кем следит. Все спецслужбы мира всегда были (и будут) закрытыми структурами. Их открытость — предвестие крушения государства. Вспомним последнего председателя КГБ СССР Вадима Бакатина, который 5 декабря 1991 года в знак “доброй воли” передал американцам схему размещения подслушивающих устройств в посольстве США в Москве. (Бакатин оправдывается тем, что получил “санкцию” Михаила Горбачёва. Что ж, обоим надо судить за измену родине, и ещё, между прочим, не поздно это сделать.)

Открытость — ловушка для простаков, в ней есть что-то неуловимо плебейское и глубинно-аморальное. Читая в соцсетях ежедневные “исповеди” тех или иных персоналий (не обязательно, кстати, это люди с отрицательным моральным капиталом), ловишь себя на мысли, что это горизонтальное “словоизлияние” заменяет нашему современнику то, что, в сущности, и сделало человека человеком — скрытый от посторонних глаз, “вертикальный”, направленный ввысь разговор с Богом. Личные дневники до недавнего времени были делом сокровенным, но технологии творят чудеса, и теперь оказывается, что абсолютному большинству народа совершенно нечего скрывать! Это, можно ска-

зять, “новые ангелы”: они усердно играют роли “хороших людей” и им, разумеется, не в чем каяться — они всегда правы!

Понятно, что соцсети хороши для быстрой коммуникации, рекламы товаров или идей, пиара и продвижения, и потому они могут рассматриваться как “малое медиа”. Но всё-таки функции СМИ в них вторичны и не всегда различимы пользователями, главное — это эксплуатация личности, провоцирование “эго” на любое, самое беспомощное самовыражение, унификация возможностей (сбылись грёзы Хлестакова: быть с Пушкиным на дружеской ноге!), полное срывание всего и вся — масок, покровов, тайн. Тайна души человеческой (а кстати, и тайна тела его) должна быть вскрыта, вывернута наизнанку, выпотрошена. “Царствие Божие внутрь вас есть”, — гласит Евангелие. Значит, эти “внутренности” следует явить миру, чтобы наблюдатели эмпирическим путём пришли к выводу — никакого Царства Божия нет, а есть “кошечки”, картинки, обрывки мыслей, тщеславие, бытовщина, “убеждения”, вкусы, цветочки, домики, рыбки — да что угодно! — но храма души человеческой нет. Нет ничего святого — не в смысле, что всё бессовестно; а нет ничего святого потому, что всё в человеке обыденно, бытово и легковесно, а главное, слово — величайший дар Божий — эксплуатируется бездумно и безответственно, в зависимости “от ситуации” или “настроения”. В общем, “всё разрешено”, вы сами себе господа, и эта новая “демократия” полностью вынесена из материальной жизни в виртуальную, где и проходят главные идеологические “сшибки”, рождаются и падают репутации, возникают “лидеры мнений”, выплёскиваются эмоции; здесь поминают умерших и приветствуют рождение младенцев, сообщают миру о семейных радостях и просят молитв о родственниках, предают анафеме политпротивников и ведут “миссионерскую работу” в пользу тех или иных веяний; короче, перед нами фактически “новая церковь”, а завсегдатаи соцсетей могут соревноваться в ревности посещения своих “часовен-аккаунтов” с адептами радикальных верований.

“Пророком”, предвидевшим рождение “новой церкви”, может считаться Олдос Хаксли, нарисовавший в романе “О дивный новый мир” весьма точную картину “открытого общества”. В нём слова “мать” и “отец” — ругательства, зачатие детей происходит в пробирках, а большинство психологических проблем решается с помощью безвредного наркотика “сомы” (частичная легализация марихуаны на Западе уже произошла). Но соцсети, в сущности, — та же “сома”. На Всемирном конгрессе психиатров, прошедшем в мае 2014 года в Санкт-Петербурге, интернет-зависимость (как и зависимость от соцсетей) предложили считать хронической болезнью и заговорили о необходимости “цифровой детоксикации”.

Культурное управление — самый тонкий и самый действенный инструмент; своего рода общественная микрохирургия, искусное вживление смысловых “чипов” и программирование не критически настроенных людей. Весь западный христианский мир, как икона, поклонился карикатурам на пророка Мухаммеда из журнала “Шарли Эбдо”. Фактически на наших глазах при огромном участии соцсетей творилась “новая святая”, которая в виде табличек “Я — Шарли” была размножена миллионами поклонников “открытого общества”. При этом заметим, что они удивительно непоследовательны. Ведь, если продолжать логику художников, исповедующих свободу творчества без границ, смерть карикатуриста — это самое смешное, что может с ним произойти.

Соцсети — один из самых мощных и действенных инструментов культурного управления, связанный с индустрией поглощения человеческого времени. Кто теперь вспоминает “Санту-Барбару” или “Дикую Розу”?! Следы этой “сомы” давно выветрились, ну, так и время успешно “убито”! На смену сериалам и компьютерным играм пришли соцсети — жизнь как забава гораздо привлекательней, чем надуманные фантастические миры. Соцсети “измельчают” человека: личность, с детства облепленная “горизонтальными связями”, отравленная цифровым контентом, уже никогда не наберёт могучую высоту; сокровенность для неё навсегда утрачена. Разговора с Богом не получается, потому что востребованы другие собеседники, дающие множественные и многовариантные ответы на абсолютно любые вопросы. Соцсети кажутся всезнающими и почти всемогущими, но реальный положительный результат от них ничтожен, они контрпродуктивны.

Подтверждение этому мы можем увидеть в отечественной литературе. Худосочный, выморочный сын постмодернизма — наш так называемый “новый

реализм". В основе этого метода — откровенный (а потому часто аморальный) "дневник современника", писание "как в жизни", "без божества, без вдохновения", "статус" в соцсети, растянутый на десятки страниц. Но художественность всегда предполагает некую "закрытость", причудливый, переплавленный в душе литератора отбор материала. Писание "как в жизни" вышло слишком плоским, поверхностным, да оно и не могло быть другим.

Так что же делать?! Десять бодрых, жизнерадостных пенсионерок всё-таки не заменят одну роженицу. Так и десять часов, убитых в соцсетях, не заменят общение с одной, но, возможно, судьбоносной книгой. Или с родным человеком, нуждающимся в нашем внимании. Время! Оно расходуется так же расточительно, как и слово, между тем и то, и другое исчерпаемо и конечно.

\* \* \*

Селфи — любительские автопортреты, выставленные с соцсетях. Эпидемия цифрового фотонарциссизма, прокатившись по Западной Европе, захлестнула Россию. Время от времени новостные ленты сотрясают жуткие новости: при попытке "остановить мгновение" произошел очередной несчастный случай. Жертвы экстремальных фотосъемок нечаянно стреляют себе в голову и падают с крыш поездов, гибнут на высоковольтных проводах и срываются в пропасть. МВД, озаботившись нелепыми смертями, даже разработало специальную памятку. Ведомство шагает в ногу со временем и говорит на языке соцсетей. Памятка гласит: "Делай безопасные селфи. Крутое селфи может стоить тебе жизни".

Но в сущности, жертвы рискованных фотографий — вершина айсберга, имя которому — "тихое убийство жизни". Трагические крайности — лишь проявление более глубоких процессов: десятки миллионов людей ежедневно сидят в соцсетях по несколько часов, выкладывая свои фотографии и рассматривая чужие. Селфизм — транслирование лучших мгновений во всемирную сеть, жажда одобрительных "лайков", постоянное мысленное возвращение к "цифровой клетке", в которую угодила цивилизация.

Сердцевина соцсетей, их сегодняшний смысл — именно селфи: упоение собой, постановка личного "я" в центр мироздания. В античном мифе Нарцисс погиб, влюбившись в собственное отражение в реке. Пытаясь обнять призрачный образ, юноша склонился к воде и утонул. Селфизм "можно рассматривать как игровое пристрастие, жажду общения, необходимость заявить о себе или вырваться из изоляции. Но селфи — это также и самореклама, где каждый рисует себя таким, каким он хочет выглядеть перед другими <...>. Уже никто не заинтересован в созерцании. Мы живём в цивилизации, в которой все что-то показывают, но при этом никто на это не смотрит", — пишет о феномене соцсетей аргентинский философ Энрике Вальенте Ноайльес.

Цифровые технологии дали простым смертным право на пиар. Как удержаться от искушения?! Здесь и сейчас! Жизнь следует разбить на красивые кадры: у пирамид и дворцов, в лифте и в ресторане, в бассейне и на цветочной клумбе! Жизнь, воспринимаемая как рай в обществе потребления, где все вопросы решены и не нуждаются в уточнении. Мир должен знать о личном бытии каждого вплоть до интимных подробностей: фото из бани, из родильного отделения, из больницы. Из морга и из гроба, увы, пока не получается — кадрирование жизни не делает человека бессмертным.

Мода начинает диктовать свои правила, и вот уже Обама и Папа Римский подстраиваются под "формат", идут на поводу у толпы, делая селфи. Что уж говорить о российских чиновниках? Медийность — путь к высокому рейтингу, который, в сущности, есть не что иное, как упоминание в СМИ. Иметь или быть? — эта дилемма Эриха Фромма в эпоху развития соцсетей получила дальнейшее развитие. "Иметь" — ныне значит "казаться", "имитировать". Компания "Медialogия" специализируется на мониторинге и анализе СМИ, ежемесячно публикует рейтинги высших чиновников. Чтобы подняться на несколько пунктов, завладеть общественным вниманием, нужно совсем немного, например, сделать селфи с известным человеком...

Впрочем, многие обитатели соцсетей интуитивно понимают: фотооткрытость делает человека более уязвимым. Но девушки, запечатлённые с губами "уточкой", или юноши со свежей татуировкой считают, что им нечего скры-

вать. Вряд ли они погружаются в такие высокие материи, как трансгуманизм и культурное манипулирование. Это видно по бедности словесного выражения у заядлых селфистов. Очевидно, что они мало читают и, следовательно, мало думают.

Цифра побеждает букву, фотоснимок — слово и фразу. Этой исторической смене самовыражения в России предшествовало невиданное опошление и огрубление бытового и литературного языка. Он засорился (на наш взгляд, намеренно) нецензурщиной, примитивизмом, словами-паразитами, англицизмами. Когда с театральной сцены звучит мат, с телеэкрана — пошлость юмористов, а в книге раскрученного писателя для выражения чувств используются междометия, тут, пожалуй, волей-неволей выберешь селфи. Здесь, по крайней мере, ты — господин своего образа.

Отказ от высокого слова (библейского, например) в пользу искусительно лёгкого цифрового фото (на фоне Гроба Господня, допустим) ныне уже данность. Но приблизила ли эта технология человечество к счастью? К смыслу бытия? К бессмертию? Или наоборот, цифра похитила **время жизни**, столь необходимое для выполнения предназначения человека?

То, что эти вопросы не ставятся селфистами, объяснимо: они заняты делом, “берут от жизни всё”. Удивительно другое: мировые “совести нации” относятся к победе цифры над словом весьма благодушно. Трансгуманизм ещё не стал официальной программой развития человечества, но условия для него уже созданы. “Массы” успешно денационализированы и обезьязычены. Героический пафос разрушен, молодёжь стремительно утрачивает понимание значимости и сакральности Слова. Клиповое сознание *рулит*, мир распадается на кадры. Слово государственного служащего зачастую параллельно его деяниям. Сегодня чиновник стоит в храме со свечой, а завтра смотрит стриптиз, сегодня он “телефонным правом” устраивает своё чадо в престижную гимназию, а завтра рощерком пера закрывает образовательную сеть в сёлах, сегодня он на “круглом столе” призывает бороться с коррупцией, а завтра “откатывает” в собственный карман бюджетные деньги. Никакой иерархии, безбрежный “плюрализм”, бесконечный тупик. И при этом — счастливое селфи, “лайки” домашним кошечкам, статус в соцсети о “трудовом дне”, спокойная совесть, абсолютная эмоциональная глухота...

“Никогда ещё столь немногие не манипулировали столь многими”, — удивлялся Хаксли в 1958 году, сравнивая свои давние пророчества с действительностью. Что, интересно, он сказал бы о современном “дивном мире”? Мире, где так упорно поддерживается иллюзия индивидуальности, созданной без духовного труда, лишь с помощью лёгких прикосновений к экрану телефона или планшета.

\* \* \*

Но как, когда и почему цифра стала доминировать? Чем это грозит человечеству? И какова роль художественного слова в заданных обстоятельствах?

В глубокой древности у людей появился язык — около трёх десятков слов, и с того времени спираль человеческой истории стала стремительно раскручиваться. Немота “тёмных” тысячелетий закончилась, шаги прогресса стали ускоряться, чтобы воплотиться в знаках и символах, клинописи и иероглифах, словах и цифрах.

Религия и литература, философия и политика — все эти сферы имели, прежде всего, словесное выражение. Удивительная пластичность, выразительность слова, способность создавать и архивировать простые и сложные образы, “самовосстанавливающиеся” у читателя или слушателя, вознесли творцов художественных произведений на духовный Олимп. Великие писатели прошлого — заслуженные гении человечества. Они скрепляли пространство и время, описывали мир во всём многообразии, размышляли о Боге и “маленьком человеке”. На страницах книг звучала музыка горних сфер и оживали картины величественных битв. Универсальный характер слова позволял писателю передавать тончайшие оттенки чувств, грубые инстинкты, героизм высоких натур, нравственное падение отдельных личностей, национальный характер целых народов.

Мир души человеческой детально исследован и описан художественной литературой как в типическом проявлении характеров, так и в “вывихах” сознания и поведения. Открытия, сделанные писателями на пространствах человеческой души, позволили создать пропагандистам и политехнологам эффективные методики манипуляции сознанием, информационное оружие, разрушающее архетипы целых наций и народов.

О том, что материк человеческой души освоен, наглядно свидетельствует так называемое “современное искусство” — дизайнерские конструкции, стремящиеся выразить одномерную, как правило, сиюминутную идею с помощью инсталляций, в которых часто применяются видеоэффекты. Эти же процессы прослеживаются и в музыке — в создании компьютерных интерактивных композиций, в литературе, где популярность набирают “писатели блогосферы”. Здесь нет и не предвидится шедевров, но удельный вес “цифрового искусства” увеличивается с каждым днём и затягивает в свою орбиту всё новые и новые человеческие массы.

Тут самое время вспомнить о нанотехнологиях — о вживлении чужих генов в продукт и придании иных свойств природным организмам. Учёные берут “запчасти”, соединяют их и получают новый материал, новое растение, новое животное. Биологические организмы, созданные в результате такого конструирования, пока нежизнеспособны — они не могут размножаться, но зато у них появляются исключительные качества. Нанотехнологии неуязвимы для вредителей, гнилостных бактерий, природных катаклизмов. Это уже не агрокультура и не селекция, а принципиально иной подход к воздействию на природу. На наших глазах возникает нанолитература и наноискусство: теперь не надо знать “источков”, чувствовать сопричастность национальной культуре, следовать традициям — достаточно владеть технологиями! Варьируя накатанные “приёмы”, можно легко создать нечто “художественное”. Оно, да, совершенно нежизнеспособно, но зато неуязвимо для культурологического анализа, успешно выполняет задачу по похищению времени и пространства, а главное — успешно навязывает образы смерти, распада, некрофилии (одна из любимых тем т. н. “современного искусства”).

Но ещё в 60-х годах XX века всё виделось по-другому: человек вышел в космос, и предполагалось, что “на пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы”. Писатели-фантасты рисовали заманчивые картины путешествий в иные миры, населённые инопланетянами.

Мы и не заметили, как эти грёзы сбылись. Причём самым комфортным для нас способом! Не надо ни космических кораблей, ни долгих перелётов, ни изнурительных тренировок. Новые миры открылись вслед за изобретением интернета (разработка этой “темы” стала реакцией Минобороны США на запуск в СССР искусственного спутника). Виртуальная реальность не является чем-то эфемерным, она в действительности существует, и люди, скитаясь по пространствам мировой паутины, становятся иными. Это доказывают многочисленные исследования. Американский педагог Марк Пренски ввёл такое понятие, как “цифровые аборигены” — это те, кто родился и вырос в окружении компьютеров, игровых приставок, плееров, видеокамер, мобильных телефонов. Для них интернет стал неотъемлемой частью мира, и потому сегодняшние дети думают и обрабатывают информацию совсем не так, как их предшественники. Доктор Брюс Д. Перри из Хьюстонского университета утверждает, что “мозг наших учеников претерпел физиологические изменения — и отличается от нашего... Мы можем с уверенностью сказать, что изменился их образ мышления”.

Информационный шум, обрушивающийся на современного человека, огромен, и в этом “заслуга” цифры, позволяющей легко копировать, умножать и распространять контент. Но мозг человека — не проходной двор, в него много не набьёшь. Психологи установили, что в день мы можем усваивать не более 20-22 новых информационных посланий, избыточные сведения механизмы саморегуляции блокируют, защищая организм от “перегрева”. С этой точки зрения видеосообщения для человека более комфортны, поскольку поступают уже в готовом виде, не требующем включения операции “образной разархивации” слова. Цифра кажется более надёжной, определённой и точной в отличие от слова; цифра, конечно, не допускает никакой “свободы” и, тем более, никакого “выбора”, обещая взамен чёткость и порядок — как на пресловутом штрих-коде.

В любых теоретизированиях подобного рода важно не сбиться с пути, не свернуть в сторону от цели (истины), важно не растерять и сохранить себя. Нужно честно смотреть в глаза опасности, пусть даже в нашем случае — это всего лишь “интеллектуальная угроза”. Если процесс “оцифровки” человека изменить невозможно, мы должны его осмыслить и описать, если же мы можем на него как-то повлиять, мы должны понять, что в наших силах сделать.

С помощью цифры сейчас активно разрушаются национальные государства, в основе которых лежало именно слово. Слово — единица языка, а язык — это “говор, наречие, диалект; слог, стиль; народ”. Национальные государства должны кануть в прошлое, поскольку на глобализированной планете грядёт новая эра правления. “Следует избежать риска “разбазаривания” сырья по национальным “квартирам”, — на эту бережливую концепцию наметила программа ООН по экономическому и социальному развитию ещё в 80-е годы.

“Излишкам человечества” можно, конечно, дать воду и пищу, но никак не потребление иных благ наравне с богатыми — на это ресурсов планеты не хватит. Значит, избыточным умам нужно дать виртуальную пищу — потусторонние миры примут в свои пределы заблудшие массы, направят их энергию в пространство соцсетей и селфи, туда, где нет богатых и бедных, но есть виртуальное удовольствие. Психотерапия на дому — дёшево и сердито.

Но неужели мощь цифровых технологий победит одинокую, ищущую истины и любви душу?! Можно отравить ядохимикатами озёра и реки, выхлопными газами — воздух, из алчности и по равнодушию истребить многие виды животных и растений и вообще превратить планету Земля в экологическую помойку, но значит ли это, что человек, создавший “новую лошадь” (автомобиль), “новую рыбу” (подлодку), “новую птицу” (самолёт), победит природу?! Эти мириады звёзд и галактик, светил и планет, рождений и смертей, бесконечную дорогу времени и бескрайнюю ширь пространства?! Можно, впрочем, попытаться создать и “нового человека” (биоробота) и предложить ему вместо бессмертия души стандартизированную и комфортную жизнь, с заменой “запчастей”, “перезагрузкой” мозга и т. п...

В те времена, когда человеческая душа сожмётся до кода, до цифры, живое, наполненное своим первоначальным глубоким смыслом слово будет огромной редкостью (уже сегодня убийство художественности, то есть красоты, мы видим везде — в кино, на ТВ, в жанровой литературе), оно будет спасительным, как чистая вода, как уголок дикой природы, оно будет редким отдохновением человека от жёстко цензурированного мира.

Молитва соединит человека с Богом — великим, непознаваемым и грозным, стихи — с таким же человеком — живым, измученным и беспомощным.

Есенин: “Гори, звезда моя, не падай, / Роняй холодные лучи, / Ведь за кладбищенской оградой / Живое сердце не стучит”.

Поэзия — настоящая — это прямое и безусловное обращение к душе человека. Поэзия, как и молитва, не может быть “бизнесом”, и она невозможна в “цифровом” исчислении. Поэзия останется последним прибежищем последних героев, словом утешения для бедных, униженных и гонимых. Поэзия будет воскрешать Бога, дарить красоту, питать силы души. Будущее художественного слова есть будущее самого человека. Потеряв его, он потеряет себя.

ИВАН ДЕМЬЯНОВ

## КАК БРАТЬЕВ ДЕЛАЮТ ВРАГАМИ

**Ибо ведали, что творили**

Недавно умерли две знаменитости отошедшей эпохи. И первые лица государства В. В. Путин и Д. А. Медведев выразили их родным и близким глубокие соболезнования по поводу их кончины. Значит, заслуженные были люди перед страной? Что-то я лично в этом сильно сомневаюсь.

Во всех средствах массовой информации на первом плане были сообщения о кончине Э. Шеварднадзе, в прошлом первого секретаря ЦК Компартии Грузии, министра иностранных дел СССР, президента независимой Республики Грузия. Особенно характерно одно: поразительно, но никто не забыл об исключительно важной роли покойника в развале Советского Союза. И потому большинство комментариев в интернете или гневные, или христианские: “О покойниках хорошо или ничего. Так лучше помолчим!” Известный писатель-революционер, тёзка усопшего, Эдуард Лимонов свой некролог в газете “Завтра” назвал весьма многозначительно: “Растения даже откажутся расти на его могиле...”

В свое время мир был удивлён назначением Эдуарда Шеварднадзе на должность министра иностранных дел Советского Союза. Во-первых, ни соответствующего образования, ни опыта дипломатической работы новый министр не имел. Во-вторых, он совершенно не знал иностранных языков. Даже русским владел плохо: говорил тяжело и с сильным акцентом. Зато в совершенстве обладал другими качествами: умением предавать интересы страны, давшей возможность парнишке из глухого грузинского села сделать оглушительную карьеру. Начать процесс парада суверенитетов союзных республик. Газеты жалостливо писали, как этот “Белый лис” скорбел по своей жене Нанули, ушедшей в мир иной восемью годами ранее. Но молчали и сейчас молчат о горе и слезах, скорбях русских людей, которых безжалостно гнали “угнетенные” и “обиженные” из всех республик под крики толп: “Чемодан, вокзал, Россия”. Именно Нанули Шеварднадзе, будучи в ранге супруги министра иностранных дел Советского Союза, принимала в своей квартире тогдашнего американского посла с женой. У американца был день рождения, и праздновали его в квартире главы МИД СССР! Именно там, в “тёплой и дружеской обстановке”, Нанули Шеварднадзе впервые произнесла тост: “За свободную Грузию!”. Этот тост горячо был поддержан заокеанскими гостями. С этого тоста и начался процесс предательства и сдачи позиций СССР по всем направлениям. Нынешней зимой по Первому каналу ТВ прошел документальный фильм “Анатомия предательства”. Один из афганских боевых военачаль-

Окончание. Начало в № 10 за 2015 год.

ников открыто и прямо сказал в кадре фильма о том, что во время войны с СССР в наших властных структурах было полно предателей, назвав в их числе Эдуарда Шеварднадзе, главу внешнеполитического ведомства Союза. Между прочим, попал на эту должность “Белый лис” благодаря своей старой дружбе с Михаилом Горбачёвым. Оба в юности были комсомольскими функционерами, а Ставрополье и Грузинская ССР не так далеки по своему географическому положению.

Приход к власти в стране Горбачёва — явление стратегического порядка. Привел его на самый верх однозначно Юрий Андропов. О самом Андропове известный русский писатель Пётр Проскурин в своем романе “Число зверя” писал так: “Этот человек принадлежал к мировой закулисе, людям тайных подземелий...” Иначе как оправдать назначение на главную роль в великой индустриальной, с огромным техническим потенциалом стране руководителя обычного сельскохозяйственного края? Вскоре рядом с Горбачёвым появился и быстро укрепился “главный идеолог перестройки” А. Н. Яковлев. В своих воспоминаниях председатель КГБ Крючков писал, что у него была информация, заслуживающая доверия, что Яковлев давно был связан с американскими спецслужбами. Он даже пошел с компроматом к Горбачёву. Но тот ... посоветовал показать эту информацию ... самому Яковлеву. Это был 1991 год. До конца гибели Советского Союза оставались считанные месяцы.

У известного философа А. А. Зиновьева была статья “Как иголкой убить слона”. Мысль достаточно простая и очевидная — найти ту болевую точку, воздействие на которую вызовет цепную реакцию распада всей централизованной структуры. Такой иголкой и оказался велеречивый и недалекий иуда Горбачёв, который подтянул нужные кадры и “процесс пошёл”. Что его, не обладающего ни управленческими, ни харизматическими данными, туда “привели” с целью развала, о чём есть много мнений, — весьма правдоподобно, уж больно быстро и правильно всё произошло. Если вспомним то время, можно отметить, что к его воцарению симптомчики общего неблагополучия были, но они не носили катастрофического характера, и при умелом руководстве эти трудности были бы преодолены непременно. Если бы вместо Горбачева у руля оказался П. М. Машеров, партийный лидер Белоруссии, партизан и герой, погибший в автокатастрофе при загадочных обстоятельствах, мы бы жили в другой стране.

А. А. Зиновьев советовал правительству, интеллигенции России строить свой уклад жизни, дарованный нам и определенный природой. Он говорил, что в Германии он прожил много лет. Стал ученым, доктором исторических и философских наук, но немцем не стал. Остался русским человеком и вернулся жить в Россию. “Если у вашего соседа есть собака-дворняжка, то она никогда не станет овчаркой, и наоборот”, — пишет он. И далее настаивает на том, что мы у себя в России должны строить свой дом, “свое жильё”, без участия Европы. “Европейцами мы никогда не станем. Так, как я не стал немцем”. В начале Великой Отечественной войны, в 1941 году, А. А. Зиновьев написал стихотворение, в котором были такие слова:

*Пусть будет бесконечным бой!  
Пусть будет как угодно плохо!  
Я всё равно останусь твой,  
Родившая меня эпоха.*

Далее он писал: “Я благодарен судьбе за то, что родился и прожил большую часть жизни в ту советскую эпоху, самую мрачную и самую светлую, самую жестокую и самую великодушную, самую низкую и самую возвышенную. Мне нестерпимо больно от того, что пришлось стать свидетелем её трагической гибели”.

Шеварднадзе тоже был под большим подозрением у КГБ. Ведь он, ни с кем не консультируясь, на переговорах с американцами всегда делал уступки им по вооружениям. Он никогда не записывал свои беседы с иностранными деятелями, особенно с госсекретарем США Бейкером. Эдуард Амвросиевич никогда не пользовался услугами советских переводчиков, а работал только с американскими. Он никогда не вёл переговоры с американцами в советском посольстве. Наоборот, уезжал с ними на какое-нибудь ранчо. В Союзе были общие правила для всех дипломатов без исключения: после любой

встречи они обязаны были записывать текст бесед. Потом текст этот рассылался всем членам Политбюро, так как они должны были знать, о чём шла речь на этой встрече и какие обязательства страна взяла на себя. Громыко всегда всё записывал. Другие тоже. Но Шеварднадзе — никогда. Таким образом, они на пару с Горбачёвым ликвидировали нашу новейшую тактическую ракету системы “Ока”. Никто и никогда не давал им на это согласие. Решили втихую с американцами и поставили страну перед фактом. В результате все установки “Оки” были уничтожены. Хотя потрачены были на эту ракету десятки миллиардов рублей. Разве могут оставаться сомнения в том, что эти люди были предателями?

Вместе с тем, все каналы нашего телевидения разразились хвалебными одами о “Белом лисе” после его кончины. Понятно, что об умерших хорошо или ничего. Можно было и промолчать. Только почему это правило не распространяется, допустим, на Сталина и других выдающихся деятелей великого советского прошлого? О них можно после смерти говорить плохо, и даже очень плохо, буквально заливая их имена потоками лжи и грязи, а про него — даяв, предателей и разрушителей страны, вроде Шеварднадзе или Яковлева, надо лепетать только хорошее. Это яркий пример двойных стандартов, а попытка усидеть между двух стульев известно чем кончается...

В перестройку его имя было на слуху. Сначала как министра иностранных дел, соратника Горбачёва, провозвестника новой внешней политики. Потом этот косноязычный деятель, развалив всё, что было возможно: от Берлинской стены до Советского Союза, отбыл “рулить” в уже независимую Грузию и в России упоминался мало. Там порулил недолго и, развалив всё, передал власть американскому прихлебателю Саакашвили, который даже речи произносит по-английски. Короче, вырастил достойную смену.

Про Шеварднадзе давно надо было сказать правду. Ведь КГБ всё знал и молчал. Вследствие этого молчания страна лишилась 46 000 кв. км шельфа и 7000 кв. км своей глубоководной акватории в Беринговом море. На отдельных участках исключительная экономическая зона России сократилась до 150 миль, тогда как американская расширилась до 250. Русский вариант соглашения все 90-е годы хранился в секрете, нигде не публиковался и непонятно, кем обсуждался. Соглашение, которое должно было вступить в силу после ратификации парламентами обеих стран, было введено в действие дипломатическими нотами о временном применении договора. Объединилась Германия, через год вступившая в НАТО и грозящая теперь России всё новыми и новыми санкциями. Это он дал добро на ввод в 1992 году грузинских войск в Абхазию, учинивших там кровавую резню. И прочая, и прочая... Вот какие поэтические строки родились на это событие у Марата Шахмана:

*По нем — ни грусти, ни тоски...  
Лишь память скорбных лет  
О том, что стал причиной бед  
Сей человек бесславный,  
Страну разрушив на куски —  
На хрупкие анклавы...*

Вслед за “Белым лисом” в мир иной ушла горячая ненавистница Советского Союза, России и русских людей Валерия Новодворская, хваставшаяся перед читателями тем, что её руки никогда не знали никакого труда. Одно это говорит о ней, как о существе, лишь похожем на человека, а на самом деле — ядовитом сорняке, ибо труд и человек — понятия неразделимые. Новодворская таких возможностей раздавать куски территорий России, как Шеварднадзе, конечно же, не имела. Поэтому она брызгала ядом, отравляя всё пространство вокруг, на котором могли существовать только подобные ей. Хвалила американскую демократию, ругала советскую власть, превозносила капитализм. И делала это до последних дней своей жизни.

Во время Крымских событий, когда страна воспрянула духом, она высказалась так: “Сегодня каждый порядочный россиянин должен желать поражения своему Отечеству. Мы всецело на стороне Украины, мы солидарны с её новой демократической властью и уверены, что российский агрессор встретит должный вооружённый отпор. Крым для порядочных людей закрыт — раз Украина его лишилась, значит и мы не будем пользоваться, — объявила

В. Новодворская. — А непорядочные пусть съездят и отдохнут без воды, без света и без еды. Пусть Путин им даёт сухой паёк. Предавшие Украину крымчане, решившие прибарахлиться российской пенсией, пусть жарят её на керогазе, потому что больше жарить скоро будет нечего". В апреле 2014 года она, имея паспорт гражданки России, демонстративно заявила о принятии воинской присяги на верность Киеву. Воевать за Украину, конечно же, это тестообразное, раздувшееся от злобы существо было не в состоянии. Единственное, на что способна — лишний раз испортить зловонным своим дыханием, смердящим, предтрупным воплем радость почти 140 миллионов россиян в связи с воссоединением Крыма с Россией.

На просьбу прокомментировать трагическую гибель российских журналистов на Украине заявила: "Я не буду делать вид, что проливаю о них слёзы. Это были плохие люди".

Бешеную ярость вызывало у неё вхождение Крыма в состав России. Она назвала эти события "аншлюсом", "аннексией". С ненавистью отзывалась о жителях полуострова, назвав их "предателями Украины".

Она просто не считала нужным скрывать ненависть к России, за которую, однако, почему-то очень держалась своими, не знавшими труда, лапками. На смерть этой ядовитой особы интернет отреагировал валом откликов, абсолютное большинство которых сводилось к словам: "Правда о Новодворской такая: у неё ненависть к России зашкаливала. Она мучилась от того, что родилась в "этой стране", всю свою жизнь посвятила борьбе с Россией. Убеждённый идейный враг России..."

Вот её самые яркие высказывания о родной стране и её людях:

"Я возненавидела эту власть ещё до того, как узнала, что она есть, с первых же классов школы".

"Мне наплевать на общественные приличия. Рискуя прослыть сыромядцами, мы будем отмечать, пока живы, этот день — 5 октября, день, когда мы выиграли второй раунд нашей единственной гражданской. И "Белый дом" для нас навеки — боевой трофей. 9 мая — история дедов и отцов. Чужая история".

"Я вполне готова к тому, что придётся избавляться от каждого пятого. А про наши белые одежды мы всегда сможем сказать, что сдали их в стирку. Свежая кровь отстирывается хорошо".

"Сколько бы их ни было, они погибли от нашей руки. Оказалось также, что я могу убить и потом спокойно есть и спать".

"Мы вырвали у них страну. Ну, а пока мы получаем всё, о чём условились то ли с Воландом, то ли с Мефистофелем, то ли с Ельциным".

"Меня совершенно не волнует, сколько ракет выпустит демократическая Америка по недемократическому Ираку. По мне, чем больше, тем лучше. Также меня совершенно не ужасает неприятность, приключившаяся с Хиросимой и Нагасаки. Зато смотрите, какая из Японии получилась конфетка. Просто "сникерс".

И, наконец: "Я лично правами человека накушалась досыта. Некогда и мы, и ЦРУ, и США использовали эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила своё, и хватит врать про права человека и про правозащитников. А то как бы не срубить сук, на котором мы все сидим. Я всегда знала, что приличные люди должны иметь права, а неприличные — не должны. Право — понятие элитарное. Так что ты или тварь дрожащая, или ты право имеешь. Одно из двух".

"Никогда, за исключением августа 1991-го и октября 1993-го, я не видела повода гордиться своей страной. Только краснела и стыдилась за неё".

Она говорила, что гуманизм не распространяется на быдло, что русская империя должна быть разломана, и всем будет только лучше, если РФ войдет очередным штатом в США и т. д. и т. п.

Русских Новодворская ненавидела яростно, даже, пожалуй, патологически. Не меньше, чем процитированная выше Нарусова. В августе 1993 года в интервью газете "Новый взгляд" она, говоря о русскоязычном населении Эстонии и Латвии, с презрением заявила, что "их нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию. Их положили у параша и правильно сделали".

Естественно, что о её смерти жалели не те, кого она всю жизнь ненавидела и для кого требовала гибели. Русский народ в массе своей плюнул в сторону её гроба и отвернулся. А вот там, где к русским сегодня отношение похожее, где на Россию смотрят как на врага, — там скорбели об уходе Новодворской.

Президент Украины Пётр Порошенко был в трауре: “Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало...” Городской голова Одессы Геннадий Туруханов подписал согласование к разработке проекта по установке в городе “скульптурной композиции”, посвящённой Валерии Новодворской. В Киеве власти даже предлагают переименовать один из проспектов, тот, где расположено посольство РФ, в её честь.

За что же так чтят украинские власти Новодворскую? Родилась она далеко от Украины, никогда там не жила, подвигов на её территории не совершала. Но нынешнее руководство Украины считает её своим соратником в борьбе против России, которую они ненавидят так же яростно, как ненавидела Новодворская.

Про смерть многих заметных людей журналисты пишут и говорят штампами: дескать, с этими людьми ушла эпоха. Потому и я мечтаю, что хорошо бы с этими двумя покойниками, действительно, умерла эпоха. Эпоха позора и предательства. Эпоха бездарной потери себя и продажи своей страны за лживые и пустые обещания. Особенно прискорбно, что на них, эти обещания, купилось тогда большинство населения страны. Хочется верить, что вместе с вышеназванными персонажами народ похоронит свои безответственные иллюзии, пустые надежды и возьмёт, наконец, собственную судьбу в свои руки.

Но вот соболезновать по этому поводу, в отличие от наших правителей, я всё-таки не стану.

Свои соболезнования я приношу всем родным и близким людей, погибших в авиакатастрофе малазийского “Боинга-777” над Украиной, и в страшной аварии в московском метро. Говорят — техногенная катастрофа. Увы. Многократно предсказанная футурологами и учёными, владеющими ситуацией в стране. Близится к нулю запас прочности советской инфраструктуры. Новое поколение “свободных” людей почему-то не так ответственно за порученное дело. Все мысли на первом месте о своём, личном интересе. Не то что мы, совки глупые, которые прежде думали о Родине, а потом о себе. Царствие Небесное всем 22 москвичам, которые ушли в то утро из дома, но обратно не вернулись.

В самое сердце ударило то, что интернет заполнен радостными воплями наших украинских братьев. Никогда даже самые отмороженные “борцы с режимом” не устраивали массовых плясок на костях. Даже после кровавых терактов кавказского бандподполья они не изливали из себя столько злорадства и ненависти, сколько вылилось её на просторы украинского интернета. Трудно поверить, что обычные граждане, не правосеки и майданщики, (хотя и они, конечно, тоже), не солдаты нацгвардии, способны так радоваться гибели ни в чём не повинных людей:

1. “Год назад я скорбел бы с российским народом. А теперь одна мысль: мало!”

2. “Самое страшное — я думаю так же...”

3. “Так этим ублюдкам и надо. Наведите порядок в своей стране”.

4. “Каждый день им надо такое устраивать. Пока не отстанут от Украины”.

5. “Мрази” сдохли в метро. И чем больше их сдохнет, тем лучше”.

И так далее. Вы поняли, что сдыхать желают нам? Тебе, мне, твоим детям, моим внукам! И чем больше, тем лучше. Написано на чисто русском языке. Явно не западенцы. Так что же это за помрачение рассудка?!

Думаю, что за перипетиями военных сражений украинцы потеряли нить своего исторического повествования и нарисовали себе образ врага, виновного во всех их бедах. Они быстро забыли, что сначала был Майдан, лозунги против олигархического режима, а потом приход новых олигархов во власть, гонения и запрет русского языка, а потом восстание на Юго-Востоке. Так можем ли мы оставаться братьями? Мне кажется, историю не изменить. Да, сейчас на Украине бушует националистический пожар, зажжённый специалистами из Европы и США. Тушить его придется очень долго, поскольку горячее завозили много лет, подливали его в обычную жизнь обыкновенных людей, большинство из которых никогда не задумывались о том, какой национальности сосед, имеющий в конце фамилии “о” или “ов”. Посмотрите, сколько у нас русских Петренко, Карпенко, Власенко и сколько украинцев Петровых, Карповых, Власовых. Ведь совершенно неважно, кто ты по национальности, на каком языке говоришь и с каким акцентом. Главное — всегда оставаться человеком. Особенно в такие скорбные дни. Так ведают ли они, что творят?

Какой мерой они сегодня меряют других, то есть нас, не согласных с ними, такой мерой и их будут мерять следующие поколения людей, которые будут жить на землях России и Украины. Людские слёзы, по их вине пролитые, вернутся к ним, их детям и внукам.

**“Ах, закройте, закройте глаза газет!”**

Этой строкой глубокоуважаемого мною Владимира Маяковского я называю очередной раздел, потому что не могу уже без опаски открыть газету, включить выпуск теленовостей. Потому что там Украина, Украина, Украина. И в каждом их выпуске — кровь и боль.

Газеты сообщают, что в ополчение на Юго-Востоке записалось всего... “около одного процента от общего числа шахтёров”. Хотя надежда у всех была большая: вот шахтёры выступят, покажут всем “кузькину мать”. Я ведь не раз слышал хвастливые заявления донецких шахтёров, что, мол, “если шахтёры встанут, то лягут все”. Оказалось, что никто встать не может и, главное, не хочет. Работают. За зарплату в 60 гривен (где-то около наших 200 рублей) за три (!) месяца. Раздувают от важности щёки и несут ахинею про свою силу и сплочённость. Нет никакой силы. Немое стадо в придачу к остальному “рабочему” классу с трубных и других заводов, коими полна была бывшая Украина. Помню, как господин Янукович грозил пальчиком Яценюку и всей этой компании, что вот, мол, выйдут на улицы шахтёры Донбасса, так и будет вам всем капец. Ну, и где эти шахтёры? Где этот капец? Корреспонденты сообщают, что большинство жителей Юго-Востока не хочет воевать. Мало того, не хочет поддерживать ополченцев. Оказывается, они вовсе и не жаждут освобождаться от ига и гнёта. Ведь им 22 года вдалбливали, что “москали ещё те!”

Меня всегда на матерок тянет, когда вижу в новостях сюжеты об украинских беженцах в Россию. Как правило, среди них — куча молодых, полнотелых мужчин с детишками на руках. Жёны маячат где-то на заднем плане. Все они, даже если и не задают корреспонденты вопросов, почему не пошли в ополчение, прикрываются детьми и семьёй: “У меня ж семья, дети!” К стыду своему, я всё-таки верил в них, преувеличивал шахтёрскую мощь и солидарность. Наверное, эта наивная вера базировалась на памяти ушедших в прошлое советских времён, когда шахтёры могли выступать единой силой и регулировать политические процессы. Помните, как ельцинские подручные целыми составами возили шахтёров из Кузбасса в Москву, и они стучали касками о брусчатку на Горбатов мосту? Но сегодня, отдавая дань тем, кто бьётся в рядах ополченцев, нужно всё-таки объективно отметить, что современные украинские шахтёры могут делать только две вещи: могут копать, а могут и не копать.

Конечно же, я понимаю, что далеко не каждый готов на подвиг, на борьбу, на смерть. Потому что многие думают, мол, это их не касается. Можно отсидеться на удобном диване перед миской борща или *во глубине донецких руд* — в шахте. У меня в квартире прошлой зимой сантехник возился с канализацией. Поговору определил, что он украинец. И потому задал вопрос, готов ли он встать с оружием в руках на одну или другую сторону в украинском конфликте? Последовал ответ: “Не-а. Я с мешком сала залезу в погреб. И пересижу там”. Такая вот жизненная позиция.

Но ведь никто из нас не мог представить, что возможно то, что случилось в Одессе, Мариуполе, Славянске и других городах и сёлах Юго-Востока Украины. Но это произошло. И не Россия это затеяла. Это давно готовилось. Репетиция была в Югославии. Уже тогда сербы предупреждали нас, что Россия на очереди. Не взяли бы Крым в состав России, это было бы в Крыму. Потом перекинулось бы дальше. Сейчас русские люди на Украине не нужны в принципе. Они там лишние. И этого никто не скрывает. Их надо зачистить. Идёт открытая война на Украине против России. Она коснётся всех. Это придётся понять, как ни больно, ни обидно это будет. Мы все это видели, но действенных мер не предпринимали. Украинская беда готовилась нашими врагами более 20 лет. И они добились успеха.

В интернете вы найдёте довольно откровенное высказывание высокопоставленного американца, директора Института глобальных перспектив Колумбийского университета Пола Кристи, опубликованное в еженедельнике “Европейский экономический вестник” (Германия). На вопрос, что сегодня является

главной мировой проблемой, требующей незамедлительного решения, он ответил: «Это, конечно же, разрешение финансовых вопросов, возникших из-за быстрого развития экономики США в последние три десятилетия. Государственный долг в 17 триллионов долларов висит дамокловым мечом над американской экономикой и может привести к глобальному кризису. Если Америке придётся девальвировать доллар, избавляясь от долгов (в случае, если иных способов выхода из долговой ямы найти не удастся), весь мир погрузится в глубокий экономический кризис, так как доллар является мировой валютой, на которой завязано всё мировое производство. Сразу же прервутся все международные экономические связи. Падение производства во всех странах будет неизбежным итогом разрушения международной кооперации. Из-за остановки производств появится огромная армия безработных.

Затем неизбежно произойдёт падение уровня жизни во всех странах мира. Падение уровня потребления станет решающим фактором политических изменений в различных государствах, когда безденежье и голод потребуют передела собственности и политических изменений. В мире, полном оружия, ненависти, непонимания и отложенных споров, может начаться мировая война за передел сфер влияния. И этого сценария не сможет избежать ни одна страна, в том числе и Америка. Осознав перспективы уничтожения человеческой цивилизации на земле, мы принялись за поиски мирных путей выхода из создавшейся ситуации.

Для того чтобы разрешить финансовые затруднения, США должны принять экстраординарные меры, сравнимые разве что с мировым катаклизмом. Проблема в том, чтобы устроить такой катаклизм без разрушительных последствий для самих Соединённых Штатов и их союзников. То есть необходимо разыграть такую карту, чтобы разрешить проблему долгов и не устроить мировую бойню, в которой можно запросто сгореть самому. Возможность погасить свои долги без существенного падения уровня жизни своего населения осуществима только за чужой счёт, как ни цинично это звучит. Необходимо найти того, с помощью кого Америка смогла бы решить свои финансовые проблемы. И такое естественное решение было найдено — сама история даёт этот шанс. Следует так организовать события, чтобы весь мир, каждая страна в той или иной степени, стали участвовать в разрешении финансовых затруднений Америки. Такая глобальная кооперация не только позволит сохранить мир на планете, но и задаст сильнейший импульс последующему прогрессу.

Для того чтобы покончить с долгами, Соединённым Штатам необходимы новые рынки, по масштабам сопоставимые с американским. Единственным таким рынком сейчас может быть только европейский рынок. Следовательно, необходимо найти способ, с помощью которого можно было бы полностью открыть европейский рынок для США. Разработкой этого проекта мы и занимались много лет. Бог дал Соединённым Штатам передовые технологии, самую мощную промышленность, огромные финансовые средства и гигантские природные ресурсы — этим и необходимо воспользоваться для преодоления трудностей роста американской экономики. То же самое Бог дал и Европе, поэтому для разрешения общих финансово-экономических проблем необходимо просто соединить обе главнейшие экономики земли в единую экономику. А для этого нужно переориентировать экономику Европы к более тесному сотрудничеству с Соединёнными Штатами. По существу, речь идёт о том, чтобы две экономики буквально слились в одну, взаимно дополняя друг друга.

Следовательно, необходимо создать такую ситуацию в Европе, чтобы европейцы сами отказались от энергетического сотрудничества с Россией и с другими поставщиками энергоресурсов и связали бы свой экономический интерес с поставками энергоносителей из США. Мирное разрешение проблем потребует со стороны всех стран посильного участия, а Европа сама подставила себя, привязав свою экономику к поставкам энергоносителей из проблемных регионов.

Соединённые Штаты всегда помогали Европе, мы способствовали возрождению Европы после Второй мировой войны, и теперь Европа должна в знак благодарности Соединённым Штатам за десятилетия своего процветания поучаствовать в восстановлении американской экономики. Кто виноват, что обстоятельства сложились таким образом, что необходимо помощь уже Соединённым Штатам со стороны Европы? Мы рассчитываем на понимание европейцами сложившейся ситуации, но, в любом случае, отступать некуда, и мы все

являемся заложниками момента. Судьба же России — в её руках. Каждый будет выживать, как может, и Россия, конечно, должна во многом пострадать от разрыва отношений с Европой, но степень этого страдания во многом будет зависеть от самой России. Россия сейчас находится в крайне незавидном положении — ей приходится разрешать очень опасные и в принципе неразрешимые вопросы. И что бы русские ни предпринимали, любое решение будет не в пользу России, поскольку любые шаги российского руководства уже не способны принципиально изменить складывающуюся ситуацию.

Что касается Украины, то останется ли единая Украина на карте мира или распадется — это не имеет абсолютно никакого значения для решения основной проблемы. Главная задача событий на Украине — развести Европу с Россией настолько, чтобы европейцы полностью отказались от сотрудничества с Россией и переориентировали свою экономику на полное сотрудничество с США. Главная цель — жёстче привязать экономику Европы к экономике США, а что при этом будет происходить на Украине — никого не интересует.

Украина лишь средство, с помощью которого возможно разрешить все проблемы, не втягивая мир в очередную мировую войну. Украине отводится роль завала, который прервёт европейское сотрудничество с Россией. А какой там будет строй, образ правления — это совершенно неинтересные вопросы.

Если создать на Украине управляемый хаос и перекрыть поставки энергоносителей из России, то Европа взвоет от возмущения. Останется только обвинить Россию в неуступчивости и агрессивности, и Европа вынуждена будет разорвать с Россией экономические отношения и переориентироваться на поставки энергоносителей из США.

И тогда мы с нашим сланцевым газом опять окажемся в роли благодетелей Европы, в роли своеобразной энергетической палочки-выручалочки.

Европа, отказавшись от российских поставок, сохранила бы своё лицо защитницы европейских ценностей, прав человека и одновременно помогла бы Соединённым Штатам решить проблему финансовой задолженности. Да, отказ от поставок энергоносителей из России создаст массу экономических и социальных проблем в Европе, но кто сказал, что Европа не должна платить за годы благоденствия, находясь под защитой американского ядерного зонтика? Пусть европейцы тоже поучаствуют в сохранении благополучия свободного мира. Надо, в конечном счёте, чтобы 500 миллиардов долларов, что составляют товарооборот Европы с Россией, стали бы товарооборотом Европы с Америкой. Тогда у нас появится реальный шанс рассчитаться по финансовым обязательствам и сохранить доллар как мировую валюту.

И что бы ни произошло в сфере политики на Украине, главное должно остаться неизменным — прекращение широкого сотрудничества России и Европы. Пусть события на Украине идут своим чередом как угодно, но, в любом случае, они должны привести к разрыву между русскими и европейцами. Нужно чётко осознать одну простую мысль: Соединённые Штаты преследуют исключительно свою собственную цель по сохранению мировой валютной системы, основанной на долларе, им нужны новые колонии — ради реализации этой цели и делаются все шаги. Для практического осуществления этой главной цели и начата украинская кампания по разрыву экономических отношений Европы с Россией. Все события, происходящие на Украине, следует рассматривать исключительно с этих позиций.

Например, договорённость от 21 февраля, когда лидеры украинской оппозиции и представители Франции, Германии и Польши подписали с Януковичем соглашение о досрочных выборах президента Украины, были заранее обречены на несоблюдение. Если бы эта договорённость осуществилась, раздор на Украине мог бы пойти на убыль, и тогда ни о каком разрыве экономических связей Украины с Россией не могло быть и речи. Следовательно, надо было грубо нарушить договорённости, что и было сделано. И Россия, и Европа должны были стать заложниками полной непредсказуемости и нелогичности действий новых украинских властей. Чем больше недопонимания тогда возникнет между Россией и Европой, тем скорее создадутся условия для реализации наших планов по созданию на Украине экономического барьера.

Америке нужен такой порядок на Украине, который прервал бы экономическое сотрудничество России и Европы друг с другом. И американская политика заключается в том, чтобы события развивались именно там. Сейчас события на Украине только разворачиваются, и умиротворения ждать не стоит —

беспокойная Украина должна стать непреодолимым барьером между Россией и Европой.

Нужно понять одно. Чтобы разорвать экономические связи Европы с Россией, нужно так сильно запугать европейцев русской угрозой, чтобы они сами пожелали это сделать, надо в корне изменить европейское общественное мнение о сотрудничестве с Россией. Надо всячески подчёркивать агрессивность и непредсказуемость России, провоцируя её на эскалацию конфликта на Украине. Средства массовой информации должны постоянно говорить о росте напряжённости на Украине, о насилии и жестокостях, творимых русскими, чтобы Европа созрела до разрыва. Пусть европейцы содрогнутся от возможного русского вторжения. Созданию образа бесцеремонного русского, готового на любую авантюру, начиная от провокационного облёта американского эсминца и кончая выдвижением армады русских танков к границам Прибалтики и Украины, должна быть посвящена сейчас вся деятельность наших СМИ. Именно от деятельности СМИ сейчас зависит умонастроение европейского населения и, в конечном счёте, успех украинской кампании для США.

В случае постепенного сокращения экономических отношений Европы с Россией она вынуждена будет переориентировать свою экономику на США, поскольку только с экономикой Америки можно сравнить сейчас экономику Европы по объёму и качеству товаров. Это даст мощный стимул к развитию американской экономики, что позволит начать ликвидацию американских долгов. Отказ Европы от русских и ближневосточных энергоносителей приведёт к гигантским капиталовложениям в американское производство сланцевого газа, приведёт к созданию мощной инфраструктуры по его переработке и доставке в Европу.

Европа будет заинтересована в скорейшем создании такой инфраструктуры и не будет скупиться на траты, что позволит США быстро ликвидировать свои финансовые проблемы. Европа слишком сильно зависит от США в политическом, военном и экономическом отношениях. И, кроме участия в структуре НАТО, существует ещё моральный долг Европы перед Америкой, спасшей её когда-то от тоталитаризма и обеспечившей Европе безбедное существование.

Да, разрыв Европы с Россией — непростой шаг, но сохранение *status quo* обернётся более серьёзными последствиями и для Европы, и для всего мира. Переориентация Европы на тесное экономическое сотрудничество с Соединёнными Штатами должна привести, в конечном счёте, к появлению некоего нового единства под условным названием, например, Организация Северо-Атлантического сотрудничества, тем более что военная основа такого объединения в лице НАТО уже давно существует. Такое объединение стало бы логическим продолжением интеграционных процессов, происходящих в современном мире, и позволило бы объединить все демократические народы по обе стороны Атлантики в единую демократическую цивилизацию. И к этому союзу в дальнейшем могли бы присоединиться и другие демократические страны: Япония, Австралия и так далее.

Россия, конечно же, не будет окончательно исключена из мирового сообщества, но только в том случае, если она не станет противопоставлять себя американским усилиям по преодолению финансовых проблем. России придётся остаться наедине со своими природными ресурсами, если она будет упорствовать в своём стремлении к восстановлению русской гегемонии. Тогда по отношению к России будет применяться политика изоляции и поощрения демократических процессов внутри России" (<http://nnm.me/blogs/atck/otkroveniia-iz-ssha-bespokoynaya-ukraina-dolzha-stat-nepreodolimym-barerom-mezhdu-rossiei-i-evroпой>).

Такие вот калачи. Куда ни кинь — всюду клин. Но есть ещё одна русская поговорка: "Написали на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить". У нас выход один: крепко помнить завет государя Российского Александра III: "У России только два союзника — её армия и флот". И необходимо крепить России армию и флот со всё нарастающей силой.

На счастье и на беду, большой войны у нас не было с 1945 года. Войны в Афганистане и Чечне не поднимали на щит темы общенародной борьбы. Одни воевали, другие — подавляющее большинство — мирно жили и работали. За 70 лет относительного спокойствия, добытого огромной кровью наших дедов и отцов, абсолютное большинство людей стали мягкотелыми пацифистами. Из нас ушла воля к борьбе. Вернуть её мгновенно нельзя. Обычного мир-

ного человека взять в руки автомат может заставить только экстремальная ситуация или призыв-приказ “Родина-мать зовёт!”

Пока же донецкому шахтёру, по его хитрому разумению, воевать не за что. Он всерьёз считает, что русский язык на Донбассе никто не запретит — это раз. Самую большую выгоду от вхождения Украины в Таможенный союз получает Россия. Это два. Да и угроза балакающего телевизора с “безработицей для других” несоизмерима с оторванной ногой или выбитыми глазами. Это три. Вот так рассуждает простой донецкий шахтёр, внимательно прислушиваясь, как майдановцы обещают побороть коррупцию люстрацией, надеясь и веря европейским красивым лозунгам и тому, что Россия им, видите ли, обязана до гробовой доски. Главная же проблема в том, что нет у этих людей национальной гордости. Какая-то западенщина нахрапом объявила исторические регионы Украины занятыми “понаехавшими москалями”. К глубокому сожалению, Донбасс это проглотил, даже не возмущившись идиотизмом ситуации, когда безработный квартирант вписал своё имя в домовую книгу поверх хозяйского.

Всем, кто нашёл в себе смелость взять в руки оружие и пойти воевать за свой отчий дом и своих детей против нацистов, я от всей души желаю победить и вернуться домой живыми. Остальные — ждите.

Глаза бы мои не смотрели в сегодняшние газеты и телевизор... А надо. Там всё про рейс Боинга-777 МН-17, сбитого над Украиной, полного туристами из Европы, летевшими в малайзийский Куала-Лумпур. Западная пресса как с цепи сорвалась: во всём виноват Путин. Хотя он сам чуть-чуть позднее “малайзийца” по тому же воздушному коридору прилетел из Южной Америки. Есть у меня бо-о-ольшое подозрение, что лупанули по самолёту не просто так, а в уверенности, что это борт № 1 Российской Федерации с президентом В. В. Путиным. И не один я, грешный, так думаю. Самолёты внешне похожи. Да и цвета флагов тоже. Тем более, поляки знали, что Путин возвращается домой над Польшей в это же время. А уж те мстить готовы в любой момент.

Это преступление готовилось заранее. Недавно кинорежиссёр Карен Шахназаров в передаче “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым” сказал, что в момент, когда произошла эта трагедия, он был в Израиле. Так вот, через два часа после события он видел в эфире канала “Евроньюс” новый выпуск какого-то журнала, на обложке которого был портрет нашего президента с подписью “Путин — убийца”. Шахназаров — очень умный человек и профессионал высокого класса, потому и заявил во всеуслышание, что журнальчик этот был изготовлен заранее, так как сделать глянцевую обложку журнала так стремительно просто невозможно. Да и в интернете в блогах проскочила информация-предсказание незадолго до этого события, что “над Украиной будет сбит самолёт, битком набитый туристами из Европы”. Кстати, информацию эту блогеры скопировали и обнародовали на следующий день после гибели лайнера.

Украина никогда не признаётся в содеянном — сомнений нет. Вспомните, как во время учений в 2001 году они сбили ракетой наш пассажирский самолёт Ту-154, следовавший из Израиля в Екатеринбург. Отпирались потом изо всех сил: и я — не я, и хата не моя. Спустя годы тогдашний президент Л. Кучма всё-таки мимоходом признал, что сбили, дескать, самолёт по ошибке. И всё. Ни извинений, ни тем более, компенсаций. Зато теперь — пыль до небес.

Три месяца не могли американцы заставить европейских партнеров, особенно Германию, Францию и Италию, принять новый пакет санкций против России. Не Россию жалели. Нет. Не хотели они большого ущерба для самих себя. А тут созрели сразу. Видно, дядя Сэм надавил всей своей мощной силой... Происходящие на Украине события — это часть очень сложной шахматной игры, в которой ставки сторон, прежде всего, США и России, а также ЕС чрезвычайно высоки, и не моё дело рассуждать о том, что здесь правильно, а что нет. Да и информации маловато. Но то, что Россию втягивают в войну на Украине, — это каждому понятно. Как и то, что жителям этой страны глубоко безразлично, под кем находится — под Януковичем, Коломойским, Фирташем или Порошенко! Было бы сытно, тепло и мирно. Только мира вот как не было, так и нет. Да и тепло с сытостью под большим вопросом.

Я бы очень хотел, чтобы Россия опомнилась и посмотрела на наших украинских братьев более трезво, и показывала бы реальную картину того, что происходит сейчас на Украине и в мозгах украинцев. Не только молодых, у которых мозги промывались ещё со школьной скамьи, но и у взрослых людей, которые сейчас с пеной у рта рвут на груди “вышиванку” и тянут руки в фа-

шистском приветствии. Шок от осознания того, что вчерашний народ-побратим стал реальным врагом, уже давно прошёл. Потому пора снять с носа розовые очки и понять, признать очевидное: они нас реально ненавидят. Чем скорее все мы это поймём и перестанем “жалеть заблудившихся в коричневой ночи” и перестанем давать им “бабло” и поддерживать материально, тем скорее у Украины наступит отрезвление от того, что такое независимость по-настоящему и сколько она будет стоить “скачущим великим украм”.

Гуманитарный конвой из России с продовольствием, реальной помощью тем, кто сейчас в беде, выставлен как “пиар-акция Путина” и желание под шумок ввести в Украину российские войска. В Донецке и Луганске начинается голод. Но конвой из 240 мощных грузовиков, вытянувшихся на добрый десяток километров вдоль границы, никто не торопился пропускать через пограничные пункты... Хотя характерно: до сих пор ни одна страна не протянула Украине ни грамма реальной помощи. Все отделяются только туманными обещаниями.

Простояв возле пропускных пунктов у государственной границы почти две недели и так и не дождавшись согласия Украины на пропуск гуманитарной колонны, автомашины пересекли пограничный пункт, контролируемый ополченцами ЛНР, и под артиллерийским и минометным обстрелом прибыли в Луганск. При помощи местных жителей груз был оперативно выгружен, и грузовики покинули территорию соседней страны. По свидетельству очевидцев, водителей автомашин, они отдали свои продовольственные пайки голодным людям: взрослым и детям, собравшимся у места разгрузки продовольственной помощи. Часть груза отправлена в Донецк. Жителям Луганска на руки выдают по одному килограмму риса, гречки, сахара, по паре бутылок воды. Семьям с детьми — ещё и детское питание. Затем были сформированы и формируются в России новые колонны с гуманитарной помощью для жителей мятежного Юго-Востока.

### **Соратники? Коллеги**

Хочу вспомнить о некоторых своих коллегах, тоже украинцах. Тех, кто рядом работал и жил не один десяток лет. С кем варился я годы и годы в нашем комсомольском плавильном котле. Кого всегда поддерживал и кому много помогал.

#### **Василий Федосеевич ЧУЙКО**

С комсомольских времён был хорошо знаком с Василием Федосеевичем Чуйко. Правда, в те годы Федосеевичем его, как и меня Кирилловичем, мало кто называл. Были просто Василий и Иван. Чуйко работал в Якутском обкоме комсомола инструктором и частенько наезжал в Мирнинский горком комсомола, так как был нашим куратором. Парень он был молодой, холостой, весёлый, ласковый и приветливый со всеми. Душа любой компании. Всегда Василий, хоть в комсомоле, хоть впоследствии на партийной и советской работе, был человеком с активной жизненной позицией. Хорошо пел и знал массу украинских и русских песен. И самое главное, был большим интернационалистом. Так думалось до одного памятного мне момента.

Василий Чуйко, уйдя из обкома комсомола, трудился в Кобяйском улусе первым секретарём РК КПСС, а потом в Мирном в должности заместителя председателя горисполкома. Я в это время работал начальником Мирнинского управления автодорог, коротко МУАД, объединения “Якуталмаз”. Председателем Мирнинского горисполкома в это время, после ухода на пенсию уважаемого Г. А. Ефремова, был Н. А. Давыдов, хороший руководитель и очень душевный человек. Работали мы все, как говорится, в тесном содружестве. Много приходилось помогать Чуйко в решении различных вопросов, хотя бы потому, что у хозяйственных предприятий тогда возможностей было значительно больше. Василий Федосеевич по-прежнему был очень дружелюбным, открытым, добрым. Короче говоря, рубаха-парень. Потом он пошёл на повышение и уехал в Сангар, на должность первого секретаря Кобяйского райкома КПСС. К этому времени я тоже уже работал в Мирнинском горкоме партии.

Но когда началась перестройка, он вернулся снова в Мирный, на прежнюю должность заместителя председателя по социальным вопросам, только уже в районной администрации. Когда он здесь попал под суд уже в “демократи-

ческие времена” за участие в нарушениях распределения гуманитарной помощи, я работал в ПНО “Якуталмаз”, позже в АК “АЛРОСА”. Хотя срок он получил условный, но работать на выборных должностях в администрации больше не мог. Всё-таки это была судимость. Мы с вице-президентом “АЛРОСЫ” А. С. Матвеевым переговорили с В. А. Штыровым, к тому времени президентом нашей компании, и он взял Василия к себе. Правды ради должен сказать, что против кандидатуры Чуйко тогда очень возражал другой вице-президент компании – Л. А. Сафонов. Видно, он лучше нас знал Василия Федосеевича. После того как Вячеслав Анатольевич был избран президентом республики, Чуйко переехал в Якутск. Так и текла жизнь. Я часто с ним встречался, ещё чаще разговаривал по телефону. К тому времени Василий Федосеевич работал на хорошей должности в администрации президента и по-прежнему тесно был связан со Штыровым. Правда, стал я замечать, что в отдельных случаях, особенно если он был не в духе, просьба решить какой-то несложный вопрос, его раздражала: “Знаешь, Иван, я не Штыров, и должность у меня другая. Если тебе надо – звони ему сам!”

В одну из наших встреч уже поздно вечером сидели мы с Чуйко в его квартире. Вячеслав Анатольевич просматривал какие-то документы под мужской разговор про “политику”. Заговорили о Крыме. О том, как бездарно, одним росчерком пера по вине Никиты Хрущева Россия его потеряла. Я тут в пылу разговора бодро заметил: “Крым рано или поздно мы вернём!” И был поражён реакцией Чуйко. Василий резко выбросил вперёд согнутую в локте руку и показал мужской неприличный жест со словами: “Вот вам, а не Крым!”

Я был буквально ошарашен: “Ты что, Василий? Ты же в России живёшь! И живёшь припеваючи!..” К тому времени он уже имел квартиру в Москве. Имел и дачу в ближнем Подмоскowie. Сестру и племянников туда перевёз, кстати, с Украины. И вот когда он понёс нас, русских и Россию, по всем кочкам, меня это очень рассердило. И понял я, что сколько волка ни корми, а он всё в лес смотрит... Тут в нашу перепалку резко вмешался Вячеслав Анатольевич Штыров: “Ты, Вася, руку-то разогни! Разогни! Сколько бы ты её ни гнул, а Крым мы возьмём. Возьмём!” Против нас двоих “щирый украинец” Чуйко попереть не смог. И примолк, вообще ушёл в другую комнату. В этот вечер мы больше не разговаривали. Да и в дальнейшем к этому разговору не возвращались.

Поспорили, поспорили, но продолжали вместе работать и вроде нормально общаться. Только вот я стал более внимательным по отношению к Василию. Как-то вдруг до меня дошло, что я всегда поздравляю его с днями рождения, а вот он меня – забывает. Сколько праздновал юбилеев, столько раз и его приглашал. Но он пришёл только один раз, на мое 60-летие. Даже ни разу не перезвонил, не извинился и не объяснил причину своего отсутствия, как принято в таких случаях. Это как расценивать? Я расцениваю как наличие у него ко мне претензий. Каких? Неведомо. Откуда появилась эта перебежавшая дорогу нашим отношениям черная кошка? Выходит, я для него тоже *москаль*?

Живёт он уже несколько лет на даче под Москвой... Пенсионер. Получает хорошую российскую пенсию. Живёт в достатке. И тут, после крымских событий, получаю вдруг от него смс: “Иван, Крым наш! Меня на моей страничке поддержали более 300 человек. Ура!” Он, видно, подзабыл тот эпизод. Зато я помню о-ч-е-нь хорошо. А может, и он все помнит. Да совесть проснулась? Недолго думая, я позвонил ему и спросил: “Ты помнишь наш разговор, Василий, в Якутске, в присутствии В. А. Штырова о Крыме?” Он молчал. Я задал новый вопрос: “А ты моё поздравление с 70-летием в 2011 году читал внимательно? Я ведь в нём тоже отметил, что у нас есть с тобой территориальные разногласия по Крыму, но мы их скоро разрешим...” Василий ответил так: “Я все поздравления храню и обязательно его прочитаю. Если же ты говоришь правду, то ты дальновидный человек”. Чтобы ему долго не искать, я прочитал копию того поздравления. Василий произнёс что-то невнятное, и мы попрощались.

О состоявшемся разговоре я рассказал по телефону В. А. Штырову. Он ответил мне коротко и ясно: “Иван, не верь. Это он пытается сейчас разогнуть руку, которую загибал в Якутске. И пытается оправдать себя перед тобой. Но он и сейчас лукавит”. Что, Василий, прав Вячеслав Анатольевич? Или ты и вправду переменял свои взгляды? В заключение скажу одно: жизнь всё расставит по своим местам. А мы с В. Ф. Чуйко по-прежнему коллеги. Думаю, что эти события не помешают нам таковыми оставаться.

## **Светлана Валентиновна КАЛИНОВСКАЯ-МОНАСТЫРСКАЯ**

О, как мы с моим старым другом Робертом Фёдоровичем Красноштановым гордились нашей дружбой со Светланой Калиновской-Монастырской и верили в эту красивую, весёлую, общительную профессиональную журналистку! И как глубоко мы в ней ошибались. Я в Мирнинской автобазе работал с её отчимом. Звали его Афанасий Герасимович Кравчук. Участник Великой Отечественной войны. Истинный коммунист. Хороший, честный, порядочный был человек. Умница, редкий трудяга, притом светлого ума. Качество, надо признать, довольно редкое для рабочего... Я его очень уважал. И эти симпатии мои перекинулись на его падчерицу, активную в ту пору комсомолку и журналистку Калиновскую. Работала она в нашей газете, а потом в первой мирнинской телестудии, открытой в городе в 1970 году. Открывали её как раз к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Лет через шесть студия прекратила свою работу, и Светлане, теперь уже Монастырской, пришлось пойти работать агентом Госстраха. Потом была какая-то нескладуха в её семье. Развод и отъезд из Мирного в Севастополь. Через знакомых знал в общих чертах о её жизни там.

В начале 90-х Светлане в независимой Украине жилось довольно трудно. Потому она захотела вернуться в Мирный. Я, каюсь, этот её порыв благословил. И она приехала. Была здесь года два или три. Женщина она очень контактная и пробивная. Сумела поправить свои дела и уехала обратно. Мне не раз приходилось бывать в Севастополе на нашей подшефной подводной лодке «АЛРОСА». Света не упускала возможности там тоже появиться под предлогом встречи со старыми друзьями, собрать материал для будущих публикаций. Ведь просто так на подводную лодку её бы никто не пустил и на пушечный выстрел! Встречались мы с ней и в Мирном, когда она прилетала к своим родственникам.

Потом стали доходить до меня слухи о том, что комсомольская наша подруга Светлана стала яркой «самостийницей» и была замечена в самом Киеве на майдане в стоянии за Ющенко! Я уже к тому времени ничему не удивлялся. Многие бывшие товарищи стали такими хамелеонами и на глазах так спешно меняли политическую окраску, что я к этому уже привык. Только вздохнешь с грустью: «Ещё один?»

Но вот в этом году общие знакомые рассказали о новом повороте в мировоззрении старой подруги. Светлана вновь участвовала в тусовке на майдане прошлой осенью. «Скакала» там в такие-то годы! Россию и русских поливала грязью. Мирный и старых своих товарищей, меня в том числе, обзывала разными словами. По её нынешнему разумению, в России, в Якутии, в частности в Мирном, живут и работают круглые дураки и олухи. Правда, это было до присоединения Крыма.

После мартовских событий горевала недолго. Как всегда, проявила в полной мере свою редкостную энергию и нахрапистость и быстро сумела получить российский паспорт. При этом кумирами её были Ющенко и женщина с косой. Путин для неё — враг, однако российское гражданство получила в числе первых.

Так что, друзья-товарищи, будьте осторожны в общении с дамой по имени Светлана Калиновская-Монастырская, если вдруг доведётся встретить её на улицах Севастополя. И меньше верьте её лживым речам и клятвам в любви к России. Думаю, что благодаря этому она уже сумела попасть во все списки льготников России. Ей ведь безразлично, кого доить. Был бы навар. Да, видно, со Светланой Монастырской мы были на разных политических платформах ещё в комсомоле, а потом и в партии. Просто она искусно притворялась. И таких было — легион. Потому и развалили эти перевертыши СССР. Потому и льётся на Украине кровь. Потому и «скачут» в центре Киева поистине гоголевские вурдалаки.

А вот о Нине Стец, её близкой подруге, тоже живущей в Севастополе, ничего худого сказать не могу. И ни от кого ничего подобного не слышал. Она не разменивается за гривны и чечевичную похлебку украинских националистов. Остаётся порядочным человеком и верна идеалам своей комсомольской юности и нашей дружбы. Не могу ничего предосудительного сказать и о других товарищах по КПСС, живших раньше в Мирном, а теперь — на Украине. Это Н. Н. Терещенко, Л. Ф. Поддубная, Е. И. Малинин, А. И. Сидоренко и ряд других.

### **Александр Иванович СЕРДЮК**

Был у меня совсем недавно ещё один коллега. Уехал на Украину чуть больше года назад. Всегда был доброжелателен и приветлив. Стихи о любви к России и компании слагал, далеко не бесталанный был человек. Зовут его Александр Иванович Сердюк. Известная в городе фигура, благо занимался культурой и был всегда на виду.

Александр Сердюк свою биографию на Севере начал с Ленска. Потом работал в Мирном во Дворце культуры “Алмаз” ещё в восьмидесятые годы художественным руководителем года четыре. Пару лет руководил отделом культуры горисполкома, затем, по рекомендации В. П. Шамшина, второго секретаря Якутского обкома КПСС, пошёл на повышение в Якутск, став заместителем министра культуры республики. При *параде суверенитетов* в 1991 году уехал из Якутска, как думал, навсегда, в уже *незалежную Украину*. Но, видать, жизнь там не заладилась.

В конце 1999 года А. И. Сердюк вновь приехал в Мирный. Город тепло его принял, Александр Иванович получил хорошую должность — стал заместителем директора культурно-спортивного комплекса компании “АЛРОСА”. Больше десяти лет продуктивно отработал в сфере культуры и буквально накануне описываемых мною событий уехал в родной Херсон на заслуженный отдых.

Кстати, я его уговаривал ещё поработать. Но он не захотел, желал пожить на родной земле. Ну, что же, уехал так уехал. Но при этом настойчиво просил меня не выписывать его из мирнинской квартиры. Может, рассчитывал ещё вернуться... Российское гражданство он сохранил.

У А. И. Сердюка во время работы в культурно-спортивном комплексе были трения с его директором Г. П. Юстом. Георгий Петрович очень сомневался в нём и многого ему не доверял. Я же частенько брал его под защиту. Очень хотелось бы верить, что я не ошибся в личности А. И. Сердюка. Надеюсь, что он действительно сохранит братские чувства к русским и благодарность России. Думаю, его уровень образования и порядочность позволят ему пронести это по жизни, отведённой природой. Желаю А. И. Сердюку здоровья, активного участия в работе с коллективами по месту жительства, где он может объективно разъяснять национальную политику на Украине.

### **Вадим Дмитриевич МАЗУР**

Вадим Дмитриевич Мазур работал на “Удачной” управляющим горнопроходческим трестом. Время это пришлось как раз на перестроечные годы, поэтому дерзкая смелость в суждениях и поступках Вадима Дмитриевича принималась на “ура”. Как-то в расчёт не брались его наглость и высокомерие в общении с людьми. Такого перспективного, идущего со временем в ногу руководителя не боялись выдвигать, и он вскоре занял пост заместителя генерального директора ПНО “Якуталмаз”. Потом, с подачи генерального директора “Якуталмаза” В. В. Пискунова, основал Акционерную компанию “Алмазы Якутии”. Компания эта выпустила красивые акции, так похожие на акции компании “Алмазы России-Саха”. Мы радовались, получая эти красивые бумаги: старость обеспечена. Да и Мазур уж больно складно врал “о светлом нашем будущем”. Как было ему не верить: не пришлый какой-то, а свой в доску парень. Но оказался Федот, да не тот. Помню его выбрасывающим из своего кабинета портрет Ленина. Чем всё кончилось, мирнинцы помнят. Скольким оказался. Потому акции эти лежат у большинства алмазников мёртвым грузом как горькое напоминание о Мазуре-“демократе”.

Интересно, укротила его жизнь или он таким “способным” и остался?

Немолодой я уже человек. Всякого в жизни навидался. Но вот каждый раз, когда сталкиваюсь с предательством знакомых, бывших вроде бы близкими по духу людей, на сердце ложится новый тяжкий камень: ещё один перевёртыш! И, к сожалению, несть им числа... Нужно ли сегодня перечислять их имена? Ведь выше я уже назвал немало фамилий даже своих бывших первых руководителей.

Украина видит своё послевоенное счастье в построении национального русофобского государства, а желательно — и в уничтожении России. Украинский флаг на шпиле сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве — это что? Хулиганство недоумков? Или заявка на гораздо большее? Кстати, о намерении “воевать с Москвой” они заявляли ещё до начала граж-

данской войны на Украине. Ведь их не устраивает сам факт существования русского государства.

Но на такие думки хочу процитировать замечательные слова публициста С. Климковича: “Бойтесь разбудить русского. Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение. Вы можете втоптать его в грязь, смешать с дерьмом, насмеяться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что вы победили русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные, стёрли в порошок, вдруг произойдёт что-то необыкновенное, удивительное для вас. Он придёт к вам в дом. Устало опустится на стул, положит на колени автомат и посмотрит вам в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смертью. Но он будет в вашем доме. И тогда русский задаст вам вопрос: “В чём сила, брат?” И тогда вы пожалеете, что вы не брат русскому. Потому что брата он простит. А врага — никогда. Французы помнят. Немцы знают... Русский живёт справедливостью. Западный обыватель — лживыми брифингами и лукавыми пресс-конференциями.

Пока жива в его сердце справедливость, русский поднимется из грязи, из мрака, из ада. И вы ничего с этим поделать не сможете”.

Из русских, Светлана Валентиновна Калиновская-Монастырская, спецы, подобные Вам, лепят образ врага. Людям ежедневно и ежечасно напоминают о реальной войне на Востоке, теребят просьбами скинуться на нищую армию, оказавшуюся без обмундирования и военной техники, абсолютно не готовую к военным действиям, показывают сюжеты, как здорово рыть окопы и защищать независимость Украины. В новостных программах радуются каждой негативной новости о России и россиянах, по-шакальи потирая руки и захлёбываясь слюной от удовольствия, что “у соседа корова сдохла”. Отвратительно это видеть, омерзительно это слышать...

Библейский Моисей 40 лет водил по пустыне народ Израиля, чтобы они забыли, что такое рабство. Народ “великих укров” 23 года уже на пути к светлomu и богатому будущему. Только видится мне: “великим украм” понадобится не менее пары веков на то, на что у евреев ушло 40 лет. Почему? Да потому, что менталитет народа таков.

Далеко не случайно гетман Мазепа, так любимый ныне на Украине, писал царю Петру I следующее: “Наш народ глуп и непостоянен. Пусть великий государь не слишком даёт веру малороссийскому народу, пусть изволит, не отлагая, прислать на Украину доброе войско солдат, чтоб держать народ малороссийский в послушании и верном подданстве”. Это, кстати, к вопросу о восторгах некоторых историков по поводу самого долгого гетманского правления Мазепы — двадцать один год — и о его якобы страстном стремлении к независимости Украины любой ценой.

Да, в течение двух десятилетий Мазепа неукоснительно выполнял волю Петра I. Только делал он это исключительно ради своей выгоды. Там никакой независимостью даже не пахло. За годы правления гетман стал самым крупным крепостником по обе стороны Днепра. На Украине и в России Мазепа имел свыше 100 тысяч крепостных душ. Ни один гетман ни до него, ни после не мог похвастаться таким богатством. Запахло независимостью позже, когда прожжённый интриган и предатель гетман почему-то уверовал, что непобедимая шведская армия разгромит войска нарождающейся Российской империи. Тогда-то впервые звериное, волчье чутьё Мазепы крепко его подвело. Словом, ребята, сколько верёвочке ни виться...

### **Свидетель — моя бабушка**

Слово “голод” лично для меня не пустой звук. С ним я знаком не понаслышке. Голодный 1947-й год впечатался в память шестилетнего пацана неизгладимо. Я ведь тогда в буквальном смысле умирал от голода. И спасло только провидение да советские врачи в Алексеевской районной больнице. Дело было так.

1946-й и 1947-й послевоенные годы выдались в стране-победительнице — СССР — очень засушливыми. Хотя страна помогала побеждённым немцам, свой народ страдал. Поля и даже луга в средней полосе России полностью выгорели. Население, жившее по большей части в землянках и времянках, голодало страшно. Люди ели всё: траву, коренья, кору с деревьев, мох. О щавеле, лебеде и крапиве даже не говорю, так как это был большой дели-

катес и его давно смели подчистую. Рационом нашей семьи ведала незабвенная, дорогая моя бабушка Татьяна Романовна. Мама, Анастасия Николаевна, всё время работала на ферме, и потому выжили мы тогда только благодаря бабушкиным хлопотам. Что мы тогда ели на конкретный обед, я вспомнить не могу, помню только голодное урчание в наших разбухших от воды животах. Воды же пили сколько хотели, и потому люди пухли от голода. Поестъ мы хотели всегда. Мы — это младший брат мой Вася, и я, шестилетний Ваня.

Росли мы оба безотцовщиной, так как отец наш, нами никогда не виданный, покоем в братской могиле на месте боёв Орловско-Курской дуги в селе Бутово Яковлевского района Белгородской области. Трудовая дисциплина тогда везде была строгой, и мама находилась на ферме от темна до темна. Огород, маленькое наше хозяйство целиком было на бабушке. Однажды она и тётя Варвара, тогда девочка-подросток, работали то ли в поле, то ли в огороде, точно сказать не могу. Но то, что мы, два маленьких голодных пацанёнка, остались дома одни — это факт. И, конечно, ринулись шарить по дому, чтобы добыть что-то съестное. Но ни в печке, ни на столе ничего не было. Только высоко под потолком в мешочке висел спрятанный от нас кулёк с гречневой мукой. И мы решили его достать. Я построил пирамиду. На стол поставил скамейку. На нее — табуретку. Дотянулся до узелка и...

Ели мы эту муку на пару с братцем и так же дружно ее запивали водой, так как сухая мука в горло не лезла. Муки было совсем немного, и потому справились мы с ней быстро. Вскоре забегали по двору, поскольку нас стало пучить, заболели животы. Мука-то от воды в животах разбухла! Что потом с нами было — помню плохо. Чётко в памяти запечатлелись причитания бабушки по нам как по покойникам: «Детки мои дорогие! Я же мучку эту прятала, чтобы вас от голодной смерти спасти, а вы съели её в один присест и теперь умрёте...»

Отвезли нас в детскую больницу в район. Промыли желудки. Подлечили немного. И мы опять ожили.

Очень плохо нам тогда жилось. Но было бы ещё хуже, если бы мама наша не работала в колхозе телятницей. Возле телят и мы были более-менее сыты, так как нам тоже доставалась кружка молока от телячьего рациона: своей коровы у нас не было и в помине. По правде говоря, всё, что шло в пищу телятам, ели и мы. Потому и выжили в то страшное время.

Потом, через годы и годы, когда я стал зрелым человеком и наезжал в отпуск в родные края, бабушка рассказывала мне о голоде, который пришлось ей пережить в 1932–1933 годах. О голоде, которым теперь размахивают на Украине, как дубиной, и называют голодомором. Помню дословно этот её страшный рассказ-исповедь. «Знаешь, Ванюша, какой страшный голод был у нас в 32–33-м годах! Я была молодой вдовой с тремя девочками, старшей из которых было 11 лет. Дед твой умер, оставив меня с кучкой малолетних детей. Весну, лето тридцать второго года кое-как пережили. В основном — на траве. Где-то к осени стало совсем невтерпёж. И я, после долгих бессонных ночей, приняла тяжкое для себя решение: пойти просить милостыню на Украину. Знаешь, внучок, почему это решение было для меня таким тяжким? Я ведь никогда не протягивала до этого руку за чужим куском хлеба. Плохо ли, хорошо ли мы жили, но просить подавание мне в жизни не приходилось. А тут совсем край пришёл. Но самым страшным было то, что я не могла взять с собой всех детей. Решила спасти малых, да и подавали мальчикам лучше. Старшую дочку Настю, которой шёл двенадцатый год, будущую твою маму, решила оставить дома одну. Просила соседей и родственников хотя бы приглядывать за ней, так как помочь едой никто из них не мог. Как же мне, матери, было тяжело сделать такой выбор! Ведь я понимала, что оставляю свою Настю на неминуемую смерть.

Продуктов никаких я ей оставить не могла, кроме узелка с зерном — около килограмма. Наказывала и просила её варить себе супчик. Бросать в кипяток по 3–5 зернышек и добавлять затем травы с огорода или обочины дороги. С каким сердцем прощалась я с Настенькой? Не спрашивай, Ваня. Плакала в голос. Ведь прощалась я с ней навсегда.

Собрала младших в дальнюю дорогу. С большим трудом мы добрались до Украины. Пешком шли, а далеко ли уйдёшь с малыши? И добрые люди на телегах подвозили. И в товарняк, с трудом, но всё-таки втиснулись. Тогда ведь ни машин, ни автобусов не было. Хватило горя...

Скажу тебе прямо. На Украине, в Харьковской области, люди жили в это время лучше нас. По крайней мере — сытнее. За месяцы, что провели мы там, добрые люди, а их, Ваня, и тогда было немало, дали мне много кусков разного материала — мануфактуры и крепких тряпок, из которых я потом на своей швейной машинке “Зингер” шила детям одежду. Собрала я и продуктов: муки, крупы, гороха, кусков хлеба, которые посушила на сухари.

Какой же великой была моя радость, когда на родном дворе в Иловке нас встретила живая, весёлая от радости встречи Настенька! Она ведь тоже не чаяла нас увидеть живыми и здоровыми, считая себя уже круглой сиротой. При этом вернулись мы не с пустыми руками, а с полными сумками, которые я и младшие мои несли наперевес на плечах. Наш “поход” на Украину истинно спас меня и моих детей от голодной смерти.

Да, Ваня, и там люди голодали. Но не все поголовно. Голод был во многих областях. И если на Украине считают, что только они голодали, то это неправда”.

Но тогда как понимать свидетельства другой стороны, уверяющей, что русские области жили гораздо богаче украинских? И голода в них не было! Вот как украинцы приграничной полосы делятся воспоминаниями о том, как они ходили в соседние русские села и несли туда своё “богатство” — вышитые полотенца, скатерти, рубашки, украшения в надежде выменять их на что-то съедобное. Вот несколько рассказов, приведённых буквально, с сохранением стилистики.

“Вот Россия, Бондаревка, от Ганнусивки семь километров. Так вот были у матерей покрывала, полотенца, всё такое — выносили туда. А там дадут ли кусочек хлеба... Россия не голодала. Вот же, прямо рядом, так кто дебеливший, кто на ногах держался — и вот все полотенца, все там — все ринулись в Россию. Наменяют немножко, и остались живы. А русские... совсем рядом, а жили неплохо” (Поволоцкий И. М., 1927 г. р., село Ганусивка Новопсковского района).

“Как ходили менять, так принесут или отрубей, или ещё чего-нибудь. Так отнесли рубашки вышитые — полотняные были, тогда полотенца полотняные были, носили, тогда скатерти вышитые были крестиком. Это всё носили, меняли в Старый Оскол, в Россию. Принесут какой-то шолухты или отрубей каких, когда, правда, приносили и зёрна. Туда все наши ходили, носили. Может, там и был голод, но не такой. На Дон ходили, к казакам. И мать ходила, и отец ездил, всем доставалось” (Слюсар Н. Ф., 1919 г. р., с. Проезжее Старобельского р-на).

“Этот голодомор сделан специально. Сталин хотел задушить Украину, это сталинизм называется. В Москве (это мы на скачки с конных заводов ездили), в Москве — тамечка ничего такого не было: ни голода, ничего. А на Украине это делали специально, Голодомор сделали, чтоб людей выбросить... Кто чуть умнее был — уехали в Россию” (Артюшенко А. И., 1918 г. р., Новолиमारовка Беловодского района) (<http://www.bud-v-kurse.info/mify-i-pravda-o-golodomore/>).

А вот ещё одно интересное свидетельство с той же интернет-страницы. Свидетельство нашей современницы по имени Елена: “Бабушка моя, ныне покойная, рассказывала, как сильно хотелось кушать. Как от травы постоянно болел живот. Как поели в селе всех котов и собак. Если ловились воробьи, вороны, мыши, то были самыми вкусными на свете. Варили, пока были буряки, клали их по чуть-чуть в суп, добавляя туда кору, шелуху или траву перемолотую. В Сумах голода не было. Но туда попасть никто не мог, так как стояло оцепление. Люди вываривали кожу с сапог и жевали. Но самое интересное и парадоксальное, что бабушка моя всегда оправдывала Сталина. На мои аргументы всегда говорила, что при Сталине был порядок. Вот вернуть бы Сталина! А как же голодовка, спрашивала я? Она говорила так: “Ну, наверное, так надо было”. Парадокс...

Но бабушка впоследствии познала ещё больший ужас — ужас фашизма. Её летом 1942 года угнали в Германию. Там она попала в концлагерь. Концлагерь работал на фабрику по изготовлению армейских касок, шлемов, сапёрных лопаток и другой амуниции. Кормили рабочих один раз в день кружкой перлового или пшеничного отвара. Если в кружку попадало кому-то зернышко в отваре, это был счастливый человек. Работали заключённые по 12 часов с прессами. Из-под пресса вытаскивали выдавленную продукцию. Пресс из-

деляя штамповал автоматически. Заключённые были измождены от недоедания и тяжёлой работы. Потому каждую смену было по несколько инцидентов с отдавленными руками и, случалось, таких бедолаг достреливали на месте.

Моей бабушке удалось убежать с подругой оттуда, потом несколько месяцев они скитались по лесам и чащам Германии впроголодь. Их поймали, снова побег, потом поймали и направили к фермеру уборщицами-работницами в хозяйстве. Там они Победу и встретили.

Может, с оглядкой на фашизм, но для неё Сталин — отец родной. Я знаю точно, что она защищала Сталина всегда. Это позиция, которую трудно и практически невозможно судить нам, поколению, которое не пережило всего того.

Другая моя бабушка жила в те годы в Харькове и трудностей с питанием у неё не было. Мои дедушки голодомора не знали, т. к. один родом из Харьковской области, а другой из Днепропетровска. Потому спросить о том, как они пережили голодомор и как они относятся к Сталину, у меня возможности не было” (размещено в интернете 12.05.2012 года).

Тема голодомора расцвела развесистой клюквой после окончания Второй мировой войны в Канаде и США. Украинская диаспора в этих странах, особенно в Канаде, была многочисленной уже и после Первой мировой войны и гражданской. А весной 1945 года туда через Европу и Атлантический океан хлынули тысячи изменников Родины, воевавших на стороне врага во власовской РОА и добровольческих батальонах СС “Нахтигаль” и “Галичина”. Выразивших желание воевать в этих батальонах было немало — 80 тысяч человек! Был конкурсный отбор в СС!

Первые послевоенные годы они ещё как-то маскировались и держались в тени, но в разгар холодной войны украинская эмигрантская колонна в этих странах активизировалась и занялась антисоветской деятельностью при активной поддержке их государственных структур. Голодомор разом оправдывал предательство и коллаборационизм этих людей в годы военного лихолетья, создавая над их головами нимбы мучеников в борьбе с “кровавым режимом”. Особенно старалась в создании этих нимбов те, кто принадлежал к Греко-Католической церкви, — униаты. Эта Церковь благословляла украинских националистов на борьбу с Советской властью и русским народом всеми возможными методами. Теперь же её пастыри вновь зовут своих прихожан на борьбу с “москалями”.

Украина готовится отметить на государственном уровне 150-летие со дня рождения митрополита Украинской Греко-Католической церкви Андрея Шептицкого, возглавлявшего УКГПЦ в 1901–1944 годах. За соответствующее постановление проголосовало 227 депутатов Верховной Рады из 320. Митрополит Андрей Шептицкий был известным русофобом и ненавистником Российского государства всю свою жизнь. Этот священник прославился откровенными антироссийскими лекциями и выступлениями, но в то же время он быстро менял политический окрас в зависимости от того, какая власть над ним стояла. Наибольшего почёта Шептицкий удостоился от своих нынешних коллег-русофобов на Украине вследствие своей деятельности во время Великой Отечественной войны. Считается, что именно Шептицкий, граф по происхождению, “благословил” бандеровские отряды на борьбу с Красной армией, партизанами, большевиками, что в конечном итоге вылилось в борьбу ОУН-УПА с мирным населением, с представителями других национальностей.

С первых дней войны Шептицкий высказывался за необходимость сотрудничества с нацистской Германией. С большим воодушевлением воспринял Шептицкий и захват немцами Киева. Гитлер получил от него в связи с этим событием поздравительное письмо. Текст письма сохранился в немецких архивах: “Его превосходительству, фюреру Великонемецкой империи Адольфу Гитлеру, Берлин, Рейхсканцелярия.

Ваша Экселенция! Как Глава Украинской Греко-Католической Церкви я передаю Вашей Экселенции мои сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины, златоглавым городом на Днепре — Киевом! Видим в Вас непобедимого полководца несравненной и славной немецкой армии. Дело уничтожения и искоренения большевизма, которое Вы, фюрер великого немецкого рейха, поставили себе целью в этом походе, обеспечивает Вашей Экселенции благодарность всего Христианского мира.

Украинская Греко-Католическая Церковь знает об истинном значении могучего движения немецкого народа под Вашим руководством... Я буду молить Бога о благословении победы, которая станет гарантией длительного мира для Вашей Экселенции, немецкой армии и немецкого народа.

С уважением, Андрей, граф Шептицкий, митрополит.

23 сентября 1941 года”.

Интересно то, что письма Шептицкого Гитлеру, как и часть его переписки с монахинями-василиянками монастыря Святого Илии, как в виде копий, так и в оригиналах сохранились в немецких архивах (не считая спецархивов СССР). На Украине же примерно с середины 1990-х годов письма Шептицкого из архивов вдруг исчезли. Для независимой Украины такая информация не нужна! Но ничего, источников хватает. Вот одно из писем монахини-василиянки к Шептицкому: “...Желаю, чтобы немецкое войско ничего не щадило в России, ни городов, ни замков, ни сёл, ибо Господь не хочет, чтобы там что-нибудь осталось...” Это письмо митрополит Шептицкий направил также Гитлеру, видно, чтобы тот проникся, что называется, по полной программе.

А вот ещё одно письмо. Не менее интересное.

“Правителю СССР, главнокомандующему и великому маршалу непобедимой Красной армии Иосифу Виссарионовичу Сталину привет и поклон.

После победоносного похода от Волги до Сана и дальше, Вы снова присоединили западные украинские земли к Великой Украине. За осуществление заветных желаний и стремлений украинцев, которые веками считали себя одним народом и хотели быть соединёнными в одном государстве, приносит Вам украинский народ искреннюю благодарность. Эти светлые события и терпимость, с какой Вы относитесь к нашей Церкви, вызвали и в нашей Церкви надежду, что она, как и весь народ, найдёт в СССР под Вашим водительством полную свободу работы и развития в благополучии и счастье. За всё это следует Вам, Верховный Вождь, глубокая благодарность от всех нас.

Митр. Андрей Шептицкий”

Ну, и каково? Прямо как в весёлом фильме-водевиле “Свадьба в Малиновке”: красные пришли — надеваем будёновку, белые на подходе — картуз из-за пазухи достаём. Так там ведь выживает сельский мужичок-хитрован, а в данном случае — граф, глава Греко-Католической церкви двуручничаёт и лицемерит! Правда, митрополит Шептицкий умер в 1944 году, но его достойные преемники приложили немало усилий к разжиганию вражды к русским на Украине, чему в незначительной степени способствовала тема голодомора.

Голод в деревне 1932–1933 годов унёс миллионы жизней. Его смертельная волна захватила Черноземье, Поволжье, Дон, Кубань, Украину, Южный Урал, Западную Сибирь, Северный Казахстан. Пока лютовал голод, власти о нём молчали. Потом забыли об этом на полвека. Если смотреть правде в глаза, то первый массовый голод был на территории Советской России в 1921–1922 годах, во время гражданской войны. Называют его Великим Голодом в Поволжье потому, что регионы Южного Урала и Поволжья пострадали наиболее длительно и массово. Пик голода пришёлся на осень 1921 — весну 1922 года, хотя случаи массового голодания в отдельных регионах регистрировались с осени 1920-го до начала лета 1923 года. Согласно официальной статистике, тот голод охватил 35 губерний (Поволжье, Южную Украину, Крым, Башкирию, частично Казахстан, Приуралье и Западную Сибирь) с населением в 90 миллионов человек, из которых голодало не менее 40 миллионов. Число жертв голода составило около 5 миллионов человек. В ходе борьбы с голодом правительство Советской России впервые приняло помощь от капиталистических стран.

И в 1932–1933 годах при подобном же Великом Голоде руководство Украины приняло позу страуса: голову под крыло и молчок. Украинское руководство в гораздо большей степени, чем центральное, несёт ответственность за масштабы трагедии, за те ужасы голода, которые были. 26 апреля 1932 года Косиор, первый секретарь Компартии Украины, пишет Сталину: “Всякие разговоры о голоде на Украине надо отбросить”. Сталин ему пишет в тот же день: “Товарищ Косиор, прочтите приложенные материалы. Если судить по материалам, то, похоже, в некоторых пунктах УССР Советская власть перестала существовать. Неужели это верно? Неужели это так плохо обстоят дела в деревне на

Украине?" Ещё один интересный факт. Вы знаете, кто первым официально признал факт голода на Украине? Это был Сталин. Он пишет Кагановичу и Молотову 18 июня 1932 года: "Ряд урожайных районов на Украине оказались в состоянии разорения и голода". Сталин, не доверяя больше информации первых лиц Украины, направил туда своих представителей, среди которых был и Семён Михайлович Будённый.

27 июня первый секретарь Винницкого обкома Алексеев писал Косиору, первому секретарю, о том, что делает Будённый на Украине, какие речи ведёт, что он говорит крестьянам буквально следующее: "Ваша беда в том, что власть не знает, что вы сидите без хлеба. Виноваты в этом ваши руководители, украинские и местные. Они выдвигали встречные планы хлебозаготовок и забрали у вас хлеб, а вас оставили без хлеба". Он пишет: "Будённый говорит всем, что в течение долгих лет местное руководство обманывало ЦК ВКП(б), давало сведения о высокой урожайности, самим Харьковом (тогда этот город был столицей Украины) доводились до районов нереальные планы. Причём он призывал буквально к тому, чтобы поубивать всех этих руководителей Украины, которые это всё делают. Потом Косиор жаловался Кагановичу: "Если Будённый и другие благодетели будут натравливать на нас колхозников и местные организации Украины, тогда не придётся говорить о выполнении плана этого года". Голод начался, развернулась эта трагедия в начале 1933 года. Весной уже начался смертный голод. А власти Украины не сразу признали, что произошла такая страшная трагедия. Не сразу, а после того, как уполномоченный ЦК ВКП(б) Хатаевич, в конце января 1933 года ставший первым секретарём Днепропетровского обкома партии, первым написал Сталину 12 марта того года: "Я буквально завален сообщениями и материалами о случаях голодных смертей, опуханиях и заболеваниях от голода". Дальше он просит оказать продовольственную помощь. Через 3 дня Косиор пишет Сталину письмо, в котором признаёт факт тяжёлого продовольственного положения. Дальше сообщает следующее: "Имеющиеся у нас сведения из обкомов крайне противоречивы. Днепропетровск, т. е. Хатаевич, слишком уж афиширует своё тяжёлое положение". Дальше он пишет о том, что голод наступил, так как люди плохо работали и растащили общественное питание. И, казалось, ему бы надо бить во все колокола и просить помощи, а он пишет: "Нам помощь понадобится не менее 2-х миллионов пудов в начале сева, а сейчас надо дать 300 тысяч только Киевской области".

Вот пример, как руководство Украины, — а это же был первый секретарь, ответственный за всё, что там происходило! — до последнего пыталось говорить о том, что на Украине не так всё плохо. И никому тогда и в голову не приходило, что это идёт плановое уничтожение украинцев!

"Такой провокаторский всплеск о геноциде стал зарождаться десятилетия спустя. Сперва потаённо, в затхлых шовинистических умах, злобно настроенных против "москалей", а теперь вознёсся и в государственные круги нынешней Украины, стало быть, перехлестнувшие и лихие заверты большевизмского Агитпропа? "К парламентам всего мира!" — да для западных ушей такая лютая подтравка пройдёт легче всего, они в нашу историю никогда и не вникали, им подай готовую басню, хоть и обезумелую", — возмущался писатель, Нобелевский лауреат Александр Солженицын, тоже, как всем известно, не шибко любивший Советскую власть.

Механизм голода был практически един, никаких национальных различий. Всё, что случилось в 32–33 годах, было результатом государственной политики года 1929-го. Руководством ВКП(б) был взят курс на форсированную индустриализацию, раскулачивание деревенских "богачей", коллективизацию, систему планирования, когда важен результат любой ценой, без учёта обстоятельств. В 1930 году началось форсированное выкачивание ресурсов из деревни. Крестьяне миллионами вывозились в быстро растущие города. Всё это привело к страшному кризису. Не последнюю роль сыграл и погодный фактор. По свидетельствам историков, в 1930 году погода была великолепной, и потому в стране собрали отличный урожай. Лето 1931 года было засушливым, но планы на урожай, учитывая прошлогодний результат, были удвоены. Только осуществить их не было никакой возможности. Но власти были настроены решительно: выполнить план любой ценой. В 1932 году власть осознала масштабы кризиса, но ситуация уже вышла из-под контроля.

Относительно масштабов голода сошлюсь на официальную оценку, подготовленную Государственной Думой в 2008 году. На территории СССР от голода и болезней, связанных с недоеданием, в 1932–1933 годах погибло около 7 миллионов человек.

Мне как коммунисту тяжело писать об этих ошибках, совершенных моей партией. Но из песни слова не выкинешь. Перегибы при проведении коллективизации были. И немалые. На местах троцкисты, свои комсомольцы и комбедовцы выгребали у единоличников весь хлеб.

Я же тоже помню рассказы бабушки и дедов о насильственных методах местных активистов по вовлечению крестьян в колхозы. Аграрная политика тех лет не рассчитывалась на людей, на их нормальную жизнь.

Я знаком с письмами великого советского писателя Михаила Шолохова Иосифу Виссарионовичу Сталину. В тех письмах – страшная правда о методах раскулачивания и расказачивания на Дону, чему Шолохов сам был свидетелем. Вот как он обосновывает своё письмо Сталину: “Решил написать Вам, нежели на таком материале создавать последнюю книгу “Поднятой целины”. С приветом М. Шолохов”.

И ответ Сталина Шолохову 5 мая 1933 года: “...Уважаемые хлеборобы Вашего района (и не только Вашего) проводили саботаж и не прочь были оставить рабочих, Красную армию без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий, не меняет того, что уважаемые хлеборобы, по сути, вели “тихую войну” с Советской властью. Войну на измор”.

И это тоже была правда. Не желая обобществлять скот, птицу, орудия производства, семена, работать в колхозах за “голые палочки”, крестьяне резали скот, закапывали зерно в ямы. Это вызвало резкое противодействие властей, направивших в сельские районы карательные подразделения НКВД, подчистую выгребавшие из крестьянских закромов всё продовольствие.

Таким страшным голод был потому, что были разрушены вековые способы выживания в условиях голода. Запасов нет. Скот обобществлён, и потому продать нечего. Нет зажиточных соседей, которые могли бы помочь, спасти. Они высланы. Такое положение было везде: судьбы жертв равно ужасны и для украинцев, и для русских, и для немцев Поволжья, и для татар, и для башкир и прочих национальностей.

Впрочем, свои особенности всё-таки были на Украине. Так, в 1933 году она, по свидетельству историка Виктора Кондрашина, получила 501 тысячу тонн ссуд продовольственных, зерновых. Много это или мало? Это в 7,5 раза больше, чем она получила в 1932 году. Хотя российские регионы, все вместе взятые, получили ссуд зерновых в 1933 году по сравнению с 1932-м всего в 1,5 раза больше. Из 12 100 тракторов, выделенных на всю страну, Украине досталась почти половина – 5,5 тысячи. В июне 1933 года были приняты Сталиным два решения об удовлетворении просьбы тогдашнего партийного лидера Днепропетровской области Хатаевича о выделении этому региону 50 тысяч пудов продовольственной ссуды. Одновременно (буквально через неделю!) 3 июля поступила такая же просьба от Нижневожского края, но она не была удовлетворена. Для Украины же закупили 16 тысяч рабочих лошадей, причём закупили в западных регионах, в Белоруссии. Из квоты на число рабочих, которым разрешалось иметь огороды, Украине досталась треть. Все эти послабления делались Украине из-за угрозы срыва посевной в республике – лидере зернового производства. И как это вписывается в “геноцид”?

Кстати, в апреле 1933 года Политбюро приняло решение о прекращении хлебного экспорта из Советского Союза. Поэтому в 1933 году из России было вывезено в пять раз меньше зерна, чем в 1932 году. В 1933 году вывезли 350 тысяч тонн, а в 1932-м вывезли около двух миллионов тонн.

Безусловно, это была трагедия всего народа, трагедия крестьянства. И это была победа власти. В результате этого голода был перебит хребет крестьянству. И уже к середине второй половины 30-х годов прекратились крестьянские восстания и бунты. Крестьяне смирились с колхозной жизнью. Да и жизнь колхозная стала иной, изменившись в лучшую сторону, потому что свои выводы из произошедших трагедий сделала и власть.

Известный учёный Питирим Сорокин ещё в 1922 году выпустил книгу “Голод как факт”, где подчеркнул: “Во всех традиционных обществах, основанных на аграрной экономике, периодически вспыхивают голодовки”. Это абсолютно точно. В России голод был в 1901, 1906, 1911, 1922, 1932, 1942, 1946 годах. По-

сле 1946–1947 годов голода в России больше не было. Хотя страна жила в некоторые периоды трудно, но не голодала! Например, в 1972 году положение в СССР было нелёгкое. Но голода не случилось, потому что страна имела развитую промышленность, добывала нефть и газ, успешно торговала с миром и смогла закупить за рубежом всё то, что не уродилось у себя. Это и есть заслуга Советской власти.

Заканчивая эту нелёгкую для меня тему голода в СССР, я хотел бы обратить внимание читателя на такой факт. Ни моя бабушка, ни мои деды, знавшие о голодных годах не понаслышке, никогда не искали виновных в этой трагедии. Не кивали на соседей, что те, дескать, жили лучше. Не хулили Советскую власть, никого не проклинали и никому не желали зла. Они были настоящими христианами и все испытания терпели, старались пережить и преодолеть.

...Снова в Мирный пришла осень. Тихая какая-то нынче осень. Затишье наступило и на Украине. Там перемирие. Думаю, что ненадолго. Успешно развернувшееся наступление ополченцев было резко остановлено минскими переговорами. Но противостояние зашло далеко и глубоко. Не один я думаю, что новое кровопролитие может начаться в любой момент. Всё так зыбко...

### **Глазами очевидца**

Г. Полулях, главный врач профилактория “Горняк” АК “АЛРОСА”:

— Последний раз на свою родину, в мирный ещё Донбасс, ездил я два года назад после похорон жены. Там, в Донецке, меня очень ждали старики: отец со своей нынешней женой и тёща. Родную маму мы похоронили уже давненько. Тёще хорошо за восемьдесят. Отец с супругой также в преклонном возрасте и не блистали здоровьем: папа — инвалид Великой Отечественной войны. Так что о житье-бытье на родной Украине знал не понаслышке, так как часто звонил родным. Но тогда там был мир.

Осенью прошлого года я ехал уже в воюющий Донбасс. На душе было очень тяжко. Тем более, что я знал, что отец мой серьёзно болен. Брат, да и он сам рассказывал о недомоганиях, и я как врач мог предполагать их причину.

Впервые в жизни я не мог поехать в Донецк на поезде. Поезда туда с некоторых пор не ходят. Потому на поезде добрался только до Ростова, оттуда автобусом приехал в свой любимый Донецк. Раньше, при Советской власти, во всех путеводителях “миллионник” Донецк именовали не иначе, как “город миллиона роз”. И это не было метафорой. Это было простой арифметикой. В последние годы “незалежности” роз поубавилось, но город всё равно был очень красив.

Теперь же я увидел новый Донецк. Заметно меньше стало жителей. Была поздняя осень, и цветов тоже было мало. Но главное, передо мной был уже совсем другой город. Это был город-солдат, город-боец. Здания с выбитыми окнами, следами былых пожаров, изрешечённые осколками стены жилых домов, засыпанные битым стеклом мостовые, запуганные, ожесточённые войной люди с потухшими взглядами.

Это же Украина, южный город. А люди — как зомби. Не видно улыбок, веселья. Вскоре я понял, почему. Потому что и сам стал таким. Полтора месяца практически без сна: бомбили и обстреливали без передыха днём и ночью. Стреляют “Грады”, артиллерийские самоходки, как дадут залп — земля дрожит. Днём часа полтора перерыв, видно, каратели обедают в это время. Вот и всё. Я же видел, как летают снаряды, слышал, как завывают летящие мины. Озноб по телу от этого воя.

В отношении отца оправдались мои самые худшие предположения, а я подозревал у него онкологию. Стал искать связи: сам ведь учился в Донецком медицинском институте. Обратился к старым друзьям и коллегам за помощью. Они знали, что я давно живу и работаю в России, и потому попытались на мне отыграться за “русские грехи”. Правда, историю России я всегда знал неплохо. До сих пор интересуюсь серьёзными трудами известных учёных и потому смог напомнить своим оппонентам и польский поход на Москву, и шведов под Полтавой, и французское нашествие, и первую мировую войну, и вторую. От фактов куда деваться? Война против России не прекращалась никогда. Продолжается и сейчас. Из 537 лет, прошедших со времени Куликовской битвы до момента окончания первой мировой войны, Россия провела в боях 334 года.

В одной войне она воевала против девяти держав, две войны — против пяти держав, двадцать пять войн — против трёх держав и тридцать семь войн — против двух держав. Во вторую мировую войну против нас ополчилась вся Европа, находившаяся под гитлеровской оккупацией.

Враги наши исконные — мечтающая о реваншах Европа, направляющая её Америка — всячески пододвигают к нам новую мировую войну. Я молю Бога, чтобы этот “день сурка” не настал. Ведь история движется по кругу. Надо всё перетерпеть и в войну не ввязаться.

Правда, к подобному приёму я был подготовлен уже полемикой с родным братом и его женой. Честно сказать, такого я от них не ожидал. Хотя когда я предложил брату идти на площадь кричать “Хайль Бандера!”, это ему тоже было не по душе. Потом-то я понял причины такого поведения. Народ устал от войны и хочет мира. Ведь население Донецкой и Луганской областей поверило в то, что их территориям уготована судьба Крыма. Все массово пошли на референдум и голосовали за ДНР и ЛНР. Но объединения с Россией не случилось. Зато пришла война.

Некоторые винят теперь во всём “москалей”. Ну, и я, конечно, тоже москаль. Даже спрашивали не раз: “А ты вот пошёл бы воевать? Людей убивать?” И уже здесь, в Мирном, спрашивали некоторые: “Доктор, а ты там повоевал с бандерами?” Отвечал и тем, и другим одинаково: “Я врач. Я всю жизнь борюсь со смертью. Моё дело — лечить. И не отказывать в помощи никому. Не имею права не помочь ни мусульманину, ни буддисту, ни иудею, ни католику. Меня так учили в моей альма-матер”. Кстати, ехал однажды мимо родного мединститута, помахал ему рукой, поприветствовал.

Видел в одной из передач сюжет о священнике украинском, который ездил в Америку просить оружие, чтобы убивать людей на Юго-Востоке. Это что же за батюшка такой? У него ведь одно оружие — слово Божье. Долго в себя прийти не мог.

Особо спорить не получалось. Надо было всерьёз заняться отцом. Старик мой уже буквально задыхался при малейшей физической нагрузке. Пошёл к соседу Евгению, коллеге. “Нет, Геннадий, и не проси. К себе взять дядю Боря не могу, — ответил сосед отказом на просьбу взять отца к себе в больницу. — Он тяжёлый, надо в реанимацию везти”. Вызвали “скорую”. Потихоньку папу подняли, посадили в машину и повезли. Привезли сначала в 20-ю больницу, но его туда не взяли. Повезли в 23-ю. Вообще-то эта больница была госпиталем для инвалидов войны. Хороший это был госпиталь раньше. Расположен в красивом месте, на окраине города, в лесопосадке.

При подъезде к госпиталю открылась страшная картина. Здание разбито. Нет крыши, нет второго этажа. Близко подъехать нельзя — дорога сплошь в воронках. Снаряды торчат из-под земли. Может быть, с приходом тепла все эти страшные символы войны ликвидируют. Сильно артиллерия била по окраинам города. По телевизору смотреть — это одно. Побывать самому под обстрелом или бомбёжкой — это совсем другое. Не дай Бог никому такое пережить.

Но госпиталь работал, несмотря на все разрушения. Папа лежал в неплохой палате с двумя молодыми парнями. Надо отдать должное медперсоналу больницы: девушки обслуживали хорошо. И бельём постельным обеспечивали. И кормили, и кое-какие лекарства как инвалиду дали: растворы для капельниц, системы. Остальное я покупал сам, потому что лекарства в городе есть, правда, очень дорогие. Но если деньги есть, то купить можно всё. Мне и тёще пришлось покупать лекарства и получать в бесплатной аптеке по льготе. Есть хорошие аптеки, в которых есть всё.

Кстати, я ещё не сказал, что медицина работает без зарплаты? Да, зарплата там нет давно, но работают все на совесть. Чем живут? Поборов с народа нет. Ну, принесёшь в подарок конфеты или что-то ещё — благодарят. Но ничего ни у кого не вымогают. Сам видел, как им привозили и раздавали прямо на работе гуманитарную помощь: крупы, муку, сахар, масло подсолнечное, масло сливочное, консервы рыбные и мясные. Голода в Донецке нет. Отдельные магазины на окраинах разбиты, но в центре работают все. Ассортимент неплохой, выбор есть.

На что живёт народ? Во-первых, работают шахты. Шахтёры каждый день идут в забой. Зарплату им платят. Небольшую, но на хлеб-соль хватает. Потом ещё вот такой факт. Об этом, кстати, я по телевизору в России даже не слышал. Пенсионерам выдают помощь от олигарха Рината Ахметова. Выдают

её каждый месяц с 26 по 29 число. Помощь не особо большая: 200–250 гривен. В переводе на рубли по нынешнему курсу это около полутора тысяч. Вот на них старики и живут.

Надо учитывать региональные особенности Донбасса. Там очень много пожилых людей. Я был просто поражён их количеством. У нас ведь в Мирном стариков очень мало. Многие ещё во времена Советского Союза, отработав на Севере по 15–20 лет, уезжали жить в тёплые края: в Крым, на Юго-Восток Украины, в Херсон, Одессу, Запорожье, Полтаву, в тот же Донецк. В Донецке совершенно иная ситуация. Здесь много шахтёров, выходящих на пенсию в 45 лет! Они никуда не уезжают, до конца своих дней живут на родной земле, поэтому объём социальных выплат очень большой. Это тяжким грузом висит на государстве. Поэтому там так актуальна тема повышения возраста выхода на пенсию и заморозки пенсий. Мне даже кажется, что на Украине идёт какой-то геноцид пенсионеров. После 60-ти ты уже вроде бы и не человек. Пенсии не платили старикам ко времени моего приезда уже месяцев девять. Ну, и как им жить?

Я сам — донор с большим стажем, потому решил пойти на пункт переливания и сдать кровь. К огромному моему удивлению, желающих оказалось очень много. Отстояв огромную очередь, человек в 150, зашёл в медицинский кабинет. Говорю, что у меня хорошая, редкая группа крови. И вдруг получил отказ... по возрасту! Вышел оттуда даже вроде бы обиженный, но не митинговал, ничего...

Кстати, сотни желающих стоят, чтобы сдать кровь практически безвозмездно! Факт очень знаменательный и говорящий сам за себя. Ведь у многих в ополчении отцы, братья, мужья, сыновья. Сколько мирных людей ранено и лежит по больницам! А у республики нет денег, чтобы платить донорам за кровь. Дают немного каких-то продуктов — и всё.

Папа мой в больнице лежал всего неделю. Потом пришли иные заботы. В последний путь 31 декабря прошлого года мы его везли под громкую “музыку”. Начался очень сильный обстрел, били и по кладбищу. И слева, и справа от дороги, по которой шла похоронная процессия, разрывами снарядов валило огромные деревья, разрушались памятники и оградки. Что и говорить, было очень страшно! Такое я испытывал впервые в жизни! И на девятый день, когда мы с братом навещали папину могилу, был такой же артобстрел. Потом ограду на могилу решили поставить, так ходили по кладбищу посмотреть их образцы. Всё кладбище в огромных ямах, многие захоронения разрушены. Всё это были следы бомбёжек и артобстрелов.

Обстреливали и городские кварталы. Недалеко от папиного дома посреди улицы я попал под миномётный обстрел. Бегу изо всех сил к дому и кидаюсь под крыльцо. Присел, отдышаться пытаюсь. “Падать, а не приседать надо”, — слышу голос соседей по укрытию. “Да я ещё не привык”, — пытаюсь шутить, хотя самому не до шуток.

Хоронили людей каждый день, но я сам убитых не видел. Видел кровь на асфальте, видел раненых в госпитале и на улицах, но убитых — нет.

После смерти папы не раз ходил в церковь. Все церкви в Донецке работают и до отказа заполнены народом. Народ ходит в Божий храм не праздню. Ставят свечи, истово молятся. Как иначе? Война. Вместе с тем везде стоят памятники советским государственным деятелям, В. И. Ленину, военачальникам. Никто на них не покушается, хотя тут не забалуешь — везде патрули ополчения. Город живёт. Как я уже сказал, работают магазины, аптеки, кинотеатры, детские театры, проходят спартакиады на стадионах, оперный театр по вечерам освещён огнями. Кстати, возле оперного стоит по-прежнему золотая статуя известного певца Соловьяненко. Сам был на спектакле в драматическом театре... Работает радио, телевидение. Транслируется российское ТВ и три-четыре местных канала.

Работают учебные заведения: школы, училища, институты. У всех высших учебных заведений есть договоры с Российской Федерацией об аккредитации и лицензировании. Выпускники будут получать дипломы через российские вузы.

Развернуто много полевых кухонь питания для населения. Меня тёща посылала за бесплатной едой, но я отказался, да я ей самой отсоветовал идти. Ведь туда, где скопление народа, всегда может снаряд или мина прилететь.

Пришлось мне побывать и на той стороне от линии фронта — посмотреть хотел, цела ли моя квартира. Как оказалось, пока цела. Проходил через блокпосты под Кураховкой. Это было во время первого перемирия. Отношение в целом было неплохим. На пунктах контроля у всех, кто моложе 60 лет, просили паспорта. Мужчин проверяли всех. Вещи тогда не досматривали. Теперь, после последнего перемирия, говорят, что стала лютовать украинская сторона. Сплошные проверки всех и всего. Это они вымещают на людях своё поражение. Что бы они там ни тарактели по телевизору про свою победу, но ведь ополчение нагнало им страху!

Усилился контроль и на нашей стороне. Тоже обоснованно: много появилось вражеских диверсионных групп. Устанавливают на машинах-мусоровозах миномёты и бьют из них по заранее определённым целям.

Били и бьют, в основном, по оставшимся заводам, работающим шахтам. Специально выводят из строя подстанции, трубопроводы, газопроводы и т. д. В республике нет запасных частей для замены разбитого оборудования. Нет масляных трансформаторов, проводов, кабелей. Всё это везётся из России. Ведь гуманитарная помощь — это не только продовольствие и лекарства, ещё везут с ней и жизнеобеспечивающие грузы.

Сейчас в Донбассе нет ни мира, ни войны. Я считаю, что это временное затишье. Минские соглашения, Минские соглашения... Люди надеются и молятся, чтобы мир был. Но Нацгвардия озверела. Они уничтожили столько людей! Я ведь кладбище видел... Кругом только свежие могилы. Обнародованные цифры о погибших — это “среднепотолочные” цифры. Сколько людей погибло на самом деле, никто не знает.

ДНР никогда под нынешнюю украинскую власть не пойдёт. Это однозначно. Ведь я встречался с людьми, с кем провёл детство, с родственниками и соседями. Не один и не двое говорили мне: “Иду в ополчение. Сына у меня убили. Буду мочить их до конца своей жизни”. Другой идёт помогать куму, свату, брату, ещё кому-то своему. Встретил женщину, она лет на десять моложе, жила когда-то над нами в одном подъезде. Так она сказала, что у неё сын и муж — в ополчении. Где-то под Иловайском или под Харцызском воюют. Идут осознанно и воюют люди, которых уже крупно навики достали или кого из семьи убили. Они знают, что на смерть идут, но под Украиной нынешней жить не хотят.

Российских военных я там не видел. Да, ходят люди в камуфляже без знаков различия, но с оружием. В основном, в возрасте, многим лет под 50. С густыми бородами. Немало казаков. Теперь все стали учёные: не очень любят фотографироваться и себя пиарить, как это было в первые недели конфликта. Передвигаются по городу военные машины, кузова тщательно закрыты и брезенты застёгнуты. Видел артиллерийские установки, менявшие место дислокации.

Постоянно идёт бегущая строка по телевизору, приглашающая мужчин в ополчение. Обещают хорошее довольствие, обмундирование. Денег не обещают. Мобилизации при мне не было. Всё на добровольной основе. Где-то недалеко от города находится полигон. Слышал оружейные разрывы с той стороны. Ведь очень много трофейных орудий наши взяли только в Дебальцево. Там много чего из техники отбили ребята. Да если учесть, что был “котёл” под Иловайском, под Харцызском... Иловайск — крупный железнодорожный узел. Там тоже очень много всего досталось нашим ополченцам.

Говорят, что ребята наши, в основном, вежливые. Грабежей, пьянок нет. Если что-то случается — кара самая строгая. Сам я пьяных военных не видел ни разу. Хотя, вероятно, всего хватает. Война, одним словом.

Как положительное явление хотел бы отметить создание государственных структур. Организуются органы юстиции. Работают нотариальные конторы, суды. Милиция полностью в подчинении местных властей. Тюрьма не пустует. Её сидельцы не отлёживаются на нарах, не едят дармовой хлеб, а каждый день работают на расчистке улиц от снега и ликвидации завалов. Очень мне понравилась женщина в местном Совете. Умная, деятельная. Часто выступала по телевизору по вопросам социальной политики. Очень большой молодец. “Зачем, — говорит, — нашим депутатам слишком много льгот? Они же тогда работать не будут!” Стопроцентно с ней согласен. Бюрократия везде всепобеждающая. С ворами никто не может справиться, даже китайцы, хотя судят воров и расстреливают безжалостно. Там слышал, что тоже прихватили

барыг то ли в Широкино, то ли где-то под Мариуполем: гуманитарную помощь налево и направо продавали. Воистину, кому война, а кому мать родна...

Но определённый порядок есть. Я написал заявление на оформление судебного дела по наследству отцовской однокомнатной квартиры. Оплатил пошлину и оставил там. Мне говорили, что ожидается принятие законов по судам, адвокатуře, нотариальным делам. Работа идёт, пусть не так быстро, но в таких делах и спешить незачем.

\* \* \*

У нас в профилактории открылось новое отделение — реабилитация. Работает там тихая, спокойная, красивая женщина. Руки умелые, чуткие пальцы. Видно, любит людей. Только глаза очень грустные. Зовут Светланой. Когда узнал, откуда приехала в Мирный, многое понял. Но душу ей не бередили и ни о чем не расспрашивал. А тут как-то мало-помалу стала проговариваться о своём недавнем прошлом.

Родилась и выросла в Мирном. Здесь похоронены родители. В 1996 году, после смерти мамы, уехала с мужем и маленькой дочкой на его родную Украину. Тут ведь на Севере за яблоком тогда в очередях стояли. А там — протяни руку и сорви то яблоко с дерева. Тепло, благодатный край, весёлый, приветливый народ. Обосновались в маленьком городке Донецкой области, недалеко от Славянска. Купили хороший дом, машину. Со временем устроилась Светлана в городскую больницу. Дочка в школу ходила. Что ещё надо для спокойной счастливой жизни? Но с личной жизнью не заладилось. Муж начал поглядывать на сторону, а потом совсем ушёл в другую семью. И всё же жизнь продолжалась. Дочка школу окончила. Пошла по стопам матери, получила профессию медсестры.

Вот тут и заплескали на киевском Крещатике майданные черти в масках. И жизнь у всей Украины пошла совсем по-другому. Светлана нервно потирает руки и тихо плачет. Без слёз о своём недавнем прошлом говорить не может:

“Знаете, я ещё по сравнению с другими дёшево отделалась. Школьные друзья мне очень и очень помогли. У дочки был ноутбук. Мой одноклассник Володя указал сайты, на которых были сообщения о месте формирования автобусных маршрутов для беженцев. Потом они же собрали денег на билет до Мирного. Приняли здесь очень тепло и сердечно. Одели, обули. Дай всем им Бог здоровья и счастья.

Надо честно сказать: никто до последнего не верил, что новая украинская власть так жестоко начнёт расправляться с русским Юго-Востоком. У нас городок маленький, никто не скрывал своих взглядов и тяги к России. Помните, как вставали на дорогах женщины, пытались перекрыть путь танкам? Кто мог представить, что танки станут давить безоружных людей! Оказывается, молодое бандеровское отродье выросло достойным продолжателем чёрных дел своих дедов и прадедов. Фактически сопротивление у нас там, под Славянском, начиналось. Там впервые начали обстреливать населённые пункты ракетами украинские самолёты. Не забыть мне никогда тот серебристый силуэт истребителя в синем безоблачном небе, выпускающего ракеты по нашим жилым домам! Но мой дом был разбит снарядом, выпущенным украинскими градами 3 июня прошлого года в 4 часа утра. Дома нас в это время не было. Прятались у соседей в погребе. Когда обстрел прекратился, вышли из погреба и увидели, что стены дома стоят, но крыши и окон нет, а внутри полыхает пламя. Мимо по дороге шла машина. Водитель остановился, подошёл посмотреть на пожар. От него-то мы узнали, что открыт “зелёный коридор” с 4 до 6 часов утра, и можно выехать по нему из места боестолкновений. Городок наш уже был в руках украинской армии.

“Садитесь ко мне в машину”, — предложил нам этот, не иначе как Богом посланный человек. И мы сели. Я была в домашнем халатике, тапочках на босу ногу. В руках — пакет с документами. У дочки точно такая же экипировка. Не доезжая до украинского блокпоста, спаситель наш остановил машину. “Проверьте, нет ли у вас каких-то компрометирующих документов”, — посоветовал он. Я стала все пересматривать и обнаружила... Свой военный билет, выданный в России. Медики ведь все военнообязанные! Билет этот пришлось уничтожить. Шмонали нас на блокпосту грубо и жестоко. Сразу поступила ко-

манда: “Мордами в землю! Руки-ноги на ширину плеч!” В следующей машине везли старую женщину с переломом шейки бедра. Они сами выволокли её из машины и так же, как и нас, бросили на землю со словами: “А эта старая сука куда прётся?” Ничего предосудительного они у нас не нашли, а в миграционных листах мы написали, что туристы и выезжаем отдыхать в Крым. Под отборный мат нас пропустили через шлаббаум.

В Харькове мы купили билеты на поезд до Симферополя. Границу пересекли 5 июня 2014 года. Уже там, в Симферополе, пошли по адресу, где работала служба помощи беженцам. Получили направление в Феодосию, в санаторий “Ай-Петри”. Там и жили почти два месяца. Условия были замечательные. Нас всех кормили хорошо, лечили. Всех одели, обули. Люди столько принесли одежды, обуви, что много даже было лишнего. Потом я улетела в Мирный. Дочка выбрала другой путь. Они с мужем поехали по программе переселения в Хабаровск. Вот так мы вырвались из этого ада.

А другим людям, как мы потом узнали, выпало на долю иное. Когда наш городок захватила украинская армия, они творили с людьми что хотели. Знакомая фельдшер со “Скорой помощи” поехала за город по вызову. Сама вызвалась, хотя должен был ехать другой фельдшер — моя близкая подруга. Та была беременна, и коллега её пожалела. На украинском блокпосту был ранен солдат. Она оказала ему квалифицированную помощь. Тут подъехали “правосеки”. Недолго думая, своего же раненого прикончили выстрелом в голову. На фельдшера, женщину в белом халате, патронов тратить не стали. Ударили прикладом по голове. Водителя “Скорой” эти подонки загнали на минное поле. Ещё и стреляли вслед. Но Господь не допустил ему погибнуть. Он уцелел, вернулся в больницу и рассказал об этих событиях...

После захвата города бандеровцы ворвались в больницу. У нас там к этому времени раненых было немного. Обстановка была такой сложной, что кто мог, тот получал помощь и уходил. Позиции держал чеченский батальон. Все раненые уезжали к себе в Чечню. Но один оставался, потому, что был нетранспортабельный. Бандеровцы скосили из автоматов раненого и персонал, кто был рядом. Оставшихся в живых врачей, сестёр и санитарок выгнали во двор и поставили к стенке. Начали стрелять над их головами, некоторых убили. Это была акция устрашения. Молодых девчонок увезли с собой. Больше их никто нигде не видел.

Был у нас в администрации координационный центр по поддержке ополчения. Там девочка семнадцатилетняя работала, помощь распределяла. И моя дочь хотела ей идти помогать в тот день! Администрацию захватили бандеровцы. И девочку ту тоже. Боже, какая страшная участь её ожидала!

Знакомый рассказывал, как стал очевидцем страшного преступления в заповедной лесной зоне. Людей заставили вырыть глубокие и широкие ямы. Он сам видел машины, набитые абсолютно голыми трупами молодых парней. Были подняты кузова, и их изуродованные тела сбросили в эти карьеры. Потом их присыпали извёсткой. Люди об этом говорят друг другу шёпотом, потому, что очень сильно изменились настроения у народа. Я даже представить себе не могла, что в таком благодатном краю, среди весёлых и приветливых на слово людей окажется столько предателей и доносчиков на своих же коллег и соседей.

Коллеги говорили, что городской morg был забит трупами молодых парней. Да какой там morg в маленьком городке! Лежали навалом, распространяя тяжкий трупный запах. Одна из работниц писала в интернете обращения к матерям западных областей Украины, чтобы они приезжали и забирали тела своих детей. Видно, невостребованные эти трупы и захоронены в тех глубоких ямах.

Дочка моя работала медсестрой у ополченцев. С медикаментами у них было очень плохо. Ничего практически не получали с 2013 года. Инсулина не было совсем. Потому, если где-то что-то попадалось нашим ребятам из медикаментов, сразу всё это везли в санчасть.

Разбомбили однажды украинский блокпост. Собрали там военные медикаменты, перевязочные средства, медоборудование. Привезли нам как гуманитарку с поля боя, теперь есть такой термин. Стали разбирать её. Обратили внимание, что на упаковках с лекарствами не было переводов, как обычно, на украинский или русский. Текст на английском или немецком языке, и все. Работал у нас сильный специалист — доктор, хорошо владевший языками. Он

очень заинтересовался этой гуманитаркой. Перевёл все эти тексты, внимательно ознакомился с трофейным инструментарием.

Его выводы всех просто ошарашили. Это оказались лекарства и хирургические инструменты, которые используют при трансплантации человеческих органов! Ополченский доктор объяснил, что он видел такие инструменты и оборудование только на картинках, когда учился на курсах повышения квалификации. Зачем они оказались на блокпосту? Значит, там было помещение, где изымались органы у убитых молодых бойцов?! Такого ведь даже немцы не делали во время Отечественной войны. Зверствовали тогда бандеровцы, выполняли самые страшные приказы.

Зато всё это было во время войны в Югославии, особенно во время столкновений в Косово. В этом открыто обвиняли косовских албанцев. Кстати, ополченцами был перехвачен телефонный разговор украинских военных, они сетовали: «Шлёте некачественное, холодное сырьё. Надо брать ещё с тёплых...»

Всё, больше ничего говорить не буду. Не могу. Но как же нам со всем этим жить?»

Вот такую историю поведала мне молодая женщина по имени Светлана уже здесь, в городе Мирном.

Конечно, новым республикам требуется помощь России. Она есть сейчас и должна быть всегда. Иначе им не выстоять. Потому я каждый день Бога молю, чтобы он хранил Россию, наше правительство и нашего президента.

Что я хочу ещё сказать. Там, в разбитом Донецке, появился интерес, к кому бы вы думали? К Иосифу Виссарионовичу Сталину! Видно, демократы-перестройщики перестарались, и маятник общественного интереса качнулся в другую сторону. Сорок лет продолжалась кампания травли этого великого человека, начатая троцкистом Хрущевым. И власть делала вид, что не было в истории такой личности. Сталина просто исключили из истории, повесив на него всех собак. Но нельзя всё перечеркнуть и начать жизнь и историю заново. А теперь народ, посмотрев трезво на своё прошлое и сравнив с настоящим, понял, что если бы не Сталин, то не было бы первых пятилеток, не было бы тех первых тракторных заводов, которые стали танковыми перед войной, не было бы авиационных заводов. И не было бы Победы в 1945 году.

Я ведь не просто так вспомнил о Сталине именно в контексте рассказа о поездке в родной Донецк. Сегодня мало кто помнит в России об истории этого замечательного города. До революции это был промышленный посёлок Юзовка, названный так по имени английского концессионера Джона Юза. Основную часть жителей этого посёлка составляли переселенцы из Центральной России и Левобережной Украины. Кто там только не жил: русские, украинцы, поляки, евреи, белорусы, армяне, цыгане, татары, немцы, люди многих других национальностей. Дореволюционная Юзовка строилась по линиям, как английские и американские города: первая линия, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая, седьмая... В одну сторону шли линии чётные, в другую — нечётные.

В 1924 году Юзовка была переименована в Сталино. В 1932 году город Сталино стал центром Донецкой области. После XX съезда, в 1961 году город Сталино был переименован в Донецк. Так что я родился в городе Сталино. Уже в советские годы городские линии бывшей Юзовки превратились в улицы Артёма, Постышева, Щорса, Розы Люксембург, Университетскую и т. д. На этих улицах я рос, ходил по ним в школу, потом в институт. Они мне очень дороги. Это же славная история моей малой родины. А у американцев нет своей истории. Они живут одним днём. И нас хотят заставить забыть дорогие нам имена. Вот зачем на Украине рушат памятники Ленину? Ведь именно Ленин был страстным приверженцем федерализации России после революции по национальному вопросу! Сталин как раз выступал против этого. Вот ещё один пример его прозорливости! Не было бы никакого парада суверенитетов, если бы сохранилось устройство прежней России — края и губернии.

О роли личности в истории написано немало. Но оценка любой личности всегда идёт по политическим и деловым качествам. Всегда ценились такие политические качества, как честность, справедливость, преданность делу и нестяжательство. Из деловых качеств во главу угла ставилась способность генерировать идеи и ставить задачи, находить пути решения и настойчиво их осуществлять, умение находить единомышленников, организовывать и увлекать их за собой. Всё это было присуще в той или иной степени Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Разве народ забыл, как под руководством И. В. Сталина из разрухи трёх войн, в том числе и гражданской, Россия восстала, как Феникс из пепла, и превратилась в могучую державу — Советский Союз. Это именно Иосифу Виссарионовичу Сталину даровано было Провидением уберечь всё славянское братство от гибели. Это Сталину, подобно библейскому Аврааму, выпала судьба занести клинок над своим сыном. Но Бог отвратил смерть сына Авраама, а Сталин отдал сына своего на заклание. И за эту его жертву на алтарь Победы весь народ наш помнит этого великого человека. Он не щадил воров, и потому так боялся его весь воровской капиталистический мир. И потому так рыдала великая страна в день его похорон.

\* \* \*

Да, я тоже считаю, что люди плохо знают свою историю. Сталина сегодня патриоты России чаще всего вспоминают в связи с событиями Великой Отечественной войны. Демократы и либералы толкут воду в ступе репрессий. А кто-нибудь помнит сегодня, какой он был руководитель? Что Иосиф Виссарионович не держался за власть и ещё до войны выступал за альтернативные выборы и предлагал при этом смотреть не на партийный стаж, а на образование кандидата? Помнит ли кто, как в 1944 году Политбюро отвергло его предложения ограничить деятельность партийных органов агитацией, пропагандой и соучастием в выборах? Неудивительно, что малограмотный Хрущёв так возненавидел Сталина. Разве он смог бы при таком раскладе рассчитывать на высокий пост?

Я очень уважаю историка Юрия Жукова. В течение многих лет он стойко, аргументированно и ответственно очищает имя Сталина от всякого наносного мусора и плевел. Дело это очень нелёгкое, непростое. Но уверен, что благодарные потомки воздадут этому человеку заслуженные им почести.

Сегодня часто проводятся параллели с периодом сталинского правления, когда Советский Союз был окружён врагами. И люди задаются вполне закономерными вопросами: кто сможет вывести страну из этого окружения? Как это сделать? Народ ведь не дурак. Толкует о том, что надо восстанавливать умышленно разрушенную оборонку, промышленность, экономику, сельское хозяйство. Ведь даже картошка у нас импортная. Я уж не говорю об электронике...

Отдельные хулителы И. В. Сталина видят “в бублике” только “дырку” репрессий, а развитие страны-империи они опускают: по их мнению, это произошло само собой.

А ведь именно при Сталине страна наша стала великой и счастливой для подавляющего большинства её граждан. Дело ведь не в том, сколько сортов колбасы лежит на прилавках магазинов. У людей были разумные потребности. Не было безработицы. На пенсию можно было достойно жить. И вор, какой бы пост ни занимал, шёл в тюрьму на большой срок, или его ставили к стенке. Потому люди и считают те, советские времена более справедливыми. Да и трудно убить в народе память о былом величии державы.

Рост положительного отношения к Сталину вполне объясним тем, что ему не только удалось выиграть самую масштабную и страшную войну, но и создать, подняв новую страну, как до этой войны, после распада империи, так и после её окончания, что и без войны не удаётся сегодняшним правителям, а со времени аналогичного развала Союза Горбачёвым и Ельциным прошло практически столько же времени. Скрытых жертв политики этих двух псевдодейтелей на самом деле больше, чем явных от сталинских репрессий. И чем больше времени проходит, тем более это становится понятно.

С именем Сталина связана не только победа в Великой Отечественной войне. Ещё до войны он сумел победить и изгнать троцкистов с их безумной идеей мировой революции за счёт России, обосновал возможность построения социализма в одной стране. Затем провёл культурную революцию, ликвидацию безграмотности населения, коллективизацию и индустриализацию, небывалый подъём экономики, что обеспечило победу над европейским нацизмом и фашизмом. Впрочем, это знал наизусть любой советский школьник. Как можно отделить Сталина от СССР и вообще изъять что-то из истории? Только в случае раздвоения личности, что и наблюдается у наших псевдоисториков типа Сванидзе, Радзинского и целой кучи политологов в нынешней России.

До тех пор, пока имя И. В. Сталина не займёт достойное место в истории России, ни о каких положительных процессах в стране не может быть и речи.

“Сталин – богоданный вождь”, – так назвал Иосифа Виссарионовича известный православный публицист, священник Дмитрий Дудко. В 1995 году отец Дмитрий написал: “Да, Сталин нам дан Богом. Он создал такую державу, которую сколько ни разваливают, а всё не могут до конца развалить... Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для всего мира...”

Наши патриархи, особенно Сергей и Алексей I, тоже называли Сталина “богоданным вождём”. К ним присоединялись крупные учёные, учёные-богословы. Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука Войно-Ясенецкий, кстати, при Сталине был осуждён, но это не помешало ему тоже назвать Сталина “богоданным”.

Сталин, внешне атеист, на самом деле был глубоко верующим человеком, великим государственным руководителем. И не случайно Русская Православная Церковь, когда он умер, пропела ему “Вечную память...”

К большому стыду всего нашего поколения, мы слышим от представителей нынешнего руководства нашей страны, как великого государственного руководителя целой империи И. В. Сталина называют преступником. Разве его кто-то судил? Так его называет один из руководителей страны, юрист по образованию, ставя его вровень с собой и ниже, но забывая при этом сравнить итоги его работы и своей!

После Великой Отечественной войны американский корреспондент задал И. В. Сталину вопрос, ассоциирует ли он себя с Петром I? Сталин ответил примерно так: “В России достойных царей было много. Пётр I значительно прирастил территорию России, прорубил окно в Европу, много притащил европейской культуры. Всё это он сделал для богатых людей за счёт крестьян и людей бедных. Я стою на марксистско-ленинской платформе. С этого пути не сверну”.

На просьбу корреспондента сравнить личности Ленина и Петра I, Иосиф Виссарионович ответил так: “Ленин – это океан, а Пётр I – капля в океане. Я всего лишь ученик Ленина, продолжаю его идею социализма-коммунизма”.

### **Так братья ли мы?**

17 сентября 2014 года исполнилось 75 лет вхождения территорий Западной Украины в состав СССР. Украинские СМИ почему-то дружно проигнорировали эту знаменательную дату. Почему? Да, видно, потому, что на Украине ещё не решили, как к этому событию относиться. Ведь, с одной стороны, как считают одни, была осуществлена “красная аннексия”, с другой – упавшее с неба в руки дарёное наследство, которым украинское руководство и распорядиться толком не смогло в течение почти четверти века.

17 сентября 1939 года на территорию бывшей Польши вошли советские войска. Территориальный раздел Польши был завершён 28 сентября подписанием договора о дружбе и границе. Договор был подписан после периода охлаждения политических и экономических советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооружённых конфликтов, во время которых СССР противостоял Германии и Италии ещё в Испании.

После оккупации нацистской Германией остатков Чехословакии вопрос был только в том, когда начнётся война и кто будет в ней участвовать. Больше всех от германо-советского договора проиграла Польша. Потому что, ненавидя русских, поляки всячески старались препятствовать созданию антигитлеровской коалиции с участием Британии и СССР. Советский Союз выигрывал время для подготовки к войне и вводил Германию в конфликт с теми, с кем она ещё недавно могла попробовать осуществить “крестовый поход против большевизма”. Германия получала возможность воевать против Запада на один фронт. Америка получала желанную войну в Европе, позволявшую ей решить проблемы, порождённые Великой депрессией 20–30-х годов. Америке война в Европе всегда приносила невиданные барыши. Так Америка ведёт себя и сейчас, пытаясь вновь столкнуть Европу и Россию, чтобы поправить свои финансовые дела.

С точки зрения итогов соглашения для всех его участников СССР по итогам этой войны стал сверхдержавой. Германия была уничтожена. Видно, именно этих результатов Запад не может простить России и русским. Именно тогда началась оголтелая травля И. В. Сталина, творца нашей оглушительной

победы в 1945 году. Война, готовившаяся Западом с целью уничтожить СССР, закончилась с прямо противоположными результатами.

События в 1939 году развивались так стремительно, что советское руководство тогда просто не успело или не сумело правильно просчитать все негативные последствия, связанные с присоединением Западной Украины к СССР. На первый взгляд казалось, что историческая справедливость восторжествовала, и СССР вернул исконные российские земли. Но, введя Западную Украину, в недавнем прошлом Галицию, в состав страны, руководство СССР собственными руками вкатило на свою территорию своеобразного “тройанского коня”. В своих воспоминаниях обстановку на Западной Украине в 1939 году известный чекист Павел Судоплатов характеризовал так:

“Галиция всегда была оплотом украинского националистического движения, которому оказывали поддержку такие лидеры, как Гитлер и Канарис в Германии, Бенеш в Чехословакии и федеральный канцлер Австрии Энгельберт Дельфус. Столица Галиции Львов сделалась центром, куда стекались беженцы из Польши, спасавшиеся от немецких оккупационных войск. Польская разведка и контрразведка переправили во Львов всех своих наиболее важных заключённых — тех, кого подозревали в двойной игре во время немецко-польской конфронтации 30-х годов. О том, что творилось в Галиции, я узнал лишь в октябре 1939 года, когда Красная армия заняла Львов. Первый секретарь Компартии Украины Хрущёв и его нарком внутренних дел Серов выехали туда, чтобы проводить на месте кампанию советизации Западной Украины. Мою жену направили во Львов вместе с Павлом Журавлёвым, начальником немецкого направления нашей разведки. Мне было тревожно: её подразделение занималось немецкими агентами и подпольными организациями украинских националистов, а во Львове атмосфера была разительно не похожа на положение дел в советской части Украины. Во Львове процветал западный капиталистический образ жизни: оптовая и розничная торговля находилась в руках частников... Огромным влиянием пользовалась украинская униатская церковь, местное население оказывало поддержку организации украинских националистов, возглавляемой людьми Бандеры. По нашим данным, ОУН действовала весьма активно и располагала значительными силами. Кроме того, она обладала богатым опытом подпольной деятельности, которого, увы, не было у серовской “команды”.

В итоге с началом войны СССР получил себе в противники, кроме германского вермахта, ещё и целую повстанческую армию в лице ОУН, и всё это на стратегически важном юго-западном направлении. Западная Украина хлебом и солью, танцами и песнями встречала вступившие на её территорию немецкие войска.

С 1944-го и по 1953 год на территории Галиции происходило ожесточённое вооружённое противостояние между силовыми структурами СССР и Польской народной республики, с одной стороны, и отрядами УПА — с другой. После разгрома УПА тридцать лет никто не слышал о западноукраинском национализме. Зато с началом перестройки наступил расцвет этого самого национализма. Наши “демократы” многоголосым хором на все лады проклинали пакт Молотова–Риббентропа и стоящего за ним И. В. Сталина. Получается, что присоединение Галиции к СССР сыграло в целом отрицательную роль и для Украины, и для России.

Царский министр внутренних дел П. Н. Дурново, русский мыслитель, государственный, в своей записке царю Николаю II ещё в феврале 1914 года предостерегал его от подобной ошибки в отношении Галиции.

“...Нам явно невыгодно, во имя идеи национального сентиментализма, присоединять к нашему Отечеству область, потерявшую с ним всякую связь. Ведь на ничтожную горсть русских по духу галичан сколько мы получим поляков, евреев, украинизированных униатов? Так называемое украинское или мазепинское движение сейчас у нас не страшно, но не следует ему давать разрастаться, увеличивая число беспокойных украинских элементов, так как в этом движении несомненный зародыш крайне опасного малороссийского сепаратизма, при благоприятных условиях могущего достигнуть совершенно неограниченных размеров”. (“Записки Дурново”).

Присоединение в 1939 году Западной Украины к СССР стало результатом сложившейся на тот момент военно-политической обстановки. Власти хорошо понимали, судя по воспоминаниям Судоплатова, что из себя тогда представ-

ляла эта “краина”. Тем более что ООН уже имела большой опыт подпольной работы против Польши, в которую тогда входила Галиция. Но, вероятно, недеялись мощью страны с “западницами” справиться. И задавили-таки бандеровщину в 50-х годах. Большой кровью, большими жертвами, но с бандитами справилась.

Всё пошло по другому сценарию после развала СССР. Западноукраинский национализм, как ржа, проник далеко на восток Украины и заразил бациллами национализма детей и внуков тех, кто боролся с бандитами — их дедами и прадедами. Разве не это произошло с моей комсомольской “подругой” Светланой Калиновской-Монастырской? Ведь её отчим Афанасий Герасимович Кравчук — активный участник Великой Отечественной войны, и, наверное, прах его ворочается во гробе, видя националистические выкрутасы вскормленной и вспоенной им Светланы.

Все абсолютно лидеры “незалежной” Украины, от Л. Кравчука до В. Януковича, всячески поощряли национальные изыски резвых ребят из западных областей. Сегодня боевики Яроша из необандеровской УПА убивают сограждан на Юго-Востоке страны. Но ведь УПА не была запрещённой организацией на Украине Виктора Януковича? Разве нынешний ООН — “Организация украинских националистов” — изобретение Арсения Яценюка, Олега Тягнибока? Или всё же это детище Коновальца, выпестованного австрияками, Мельника и Бандеры, пригретых немцами? Разве на Украине при Януковиче Бандера был врагом украинского народа?! Нет, он был героем, его именем названы улицы и площади украинских городов.

Все постсоветские украинские режимы последовательно поощряли безответственный национализм и антирусские настроения. Хотя всегда на Украине, за исключением малоразвитой Галиции, враждебно относился к “москалям” не народ, а творческая интеллигенция. С осени 1991 года эта численно ничтожно малая часть граждан получила возможность отравлять весь украинский народ. Все средства массовой информации и все государственные ресурсы были брошены на воспитание массовой ненависти к России, особенно в молодых поколениях.

Сегодня трагические события на Украине ставят на повестку дня вопрос: “Что ждёт эту страну?” В ближайшее время — ничего хорошего. А что ждёт Россию? Ровно то же, что и Украину. Ведь путь выхода Украины и России в уверенное историческое будущее — не просто общий, но единственно возможный и для России, и для Украины. Это путь единства.

Украина XX века — это “Запорожсталь” и “Азовсталь”, Новокраматорский машиностроительный “завод заводов”, Харьковский тракторный завод и Днепрогэс, киевский “Арсенал” и днепропетровское КБ “Южное” — основа Днепропетровско-Павлоградского ракетостроительного комплекса. В одном государстве с Россией Украина имела коксохимическое производство, производила турбины и танки, харьковские и луганские тепловозы, космическую электронику, ртуть, цирконий, марганец, титан.

Харьков, Запорожье, Киев стали крупнейшими центрами авиастроения. В Советском Союзе не производилось авиадвигателей лучше запорожских и самолётов крупнее гигантов “Антея”, “Руслана”, “Мрии” разработки киевского КБ Антонова. С потёмкинских времён служили флоту России верфи Николаева и Херсона. Стоит вспомнить и созданный для нужд всего Советского Союза киевский центр сварки имени Патона. В Харькове был построен специализированный научный центр криогеники мирового уровня — Физико-технический институт низких температур и Украинский физико-технический институт. Это наука. Большая наука. Не стоит забывать и о научных центрах, призванных быть на страже здоровья людей: кардиоцентре имени Амосова, глазной клинике имени Филатова в Одессе и многих других.

Всё это может стать прошлым. Общие ошибки последних десятилетий и подрывная работа чуждых нашим странам сил привели к тому, что по сути неразрывное целое режут по живому.

Никто в России не собирается завоёвывать земли Украины. Они давно отвоёваны усилиями всего советского народа, усилиями русских и украинцев в жестокой борьбе против внешних врагов. Никто в России не желает зла Украине и её народу. Наоборот, мы хотим видеть Украину процветающей, хлебосольной, звонкоголосой, какой она когда-то и была.

Хочу также обратить внимание вот на что. Русские никогда никого не оккупировали. Оккупанты не строят сталелитейные и турбинные заводы, не возводят днепрогэсы и байконуры, не строят школы, университеты и консерватории, оперные театры и музеи. Оккупанты грабят захваченные территории. Русские не покоряли Сибирь и Дальний Восток, а осваивали. Позиция русских резко отличалась в этом вопросе от позиции западных европейцев, которые не осваивали, а именно покоряли и истребляли местное население.

Да, признаю, что, объявив царскую Россию тюрьмой народов, большевики дали козырь в руки всякого рода националистам. Усиленно и чрезмерно лелея интеллигенцию окраинных народов, сами пилили сук, на котором сидели. Щедро снабдив Украину землями и населением, дали ей повод думать о себе как о чём-то большом и важном. Дальше всё пошло само собой. Главное, дать правильное направление. Гордыня захлестнула солидный слой населения на Украине: мы сами с усами! Потому-то и нашли отклики в душах многих агитация и пропаганда украинства. И мозги поплыли...

Наблюдая ретивые попытки объявить себя европейцами (как будто люди до Урала не восточноевропейцы!) и набиться в друзья к Америке, не могу избавиться от мысли, что кобыла решила подружиться с волком. Результаты такой дружбы известны: обглоданные копыта и клоки гривы на траве.

Народ Украины обманули заверениями, что самая богатая и процветающая республика в Союзе будет процветать и дальше, сбросив “оковы” Союза. Потому так легко и пошли на референдум по выходу из состава страны. Украинские власти были уверены, что с таким советским багажом они и дальше будут процветать. Но прошло только 23 года, а Украина, как промотавшийся картёжный игрок, с протянутой рукой обращается ко всему миру, выпрашивая всё новые и новые кредиты.

Что же ждёт народ Украины? Для меня это далеко не праздный вопрос. Ведь на Украине в г. Брянка Луганской области жили и работали в шахтах Донбасса мои двоюродные братья: Андрей Иванович и Илья Иванович Нечевы. Всю трудовую жизнь провели они в донбасских шахтах. Видно, это и укоротило их жизненные сроки.

Там же, на Донбассе, осталась жена Андрея Ивановича, его дети и внуки. У Ильи Ивановича детей, к сожалению, не было. Осталась одна жена, уже очень немолодая.

В городе Луганске в течение многих лет работал корреспондентом, а потом и редактором луганской газеты мой земляк и друг-наставник Николай Александрович Евдокимов. Много моих ровесников после окончания семилетки в Иловке поехали учиться в Горловку, что тоже на Донбассе. Конечно, поступили они не в университеты, а в ФЗУ — фабрично-заводские училища. Там ведь был полный пансион — выдавали обмундирование и обувь, обеспечивали трёхразовым питанием и предоставляли общежитие. Это была дорога в жизнь тысячам и тысячам подростков, особенно из сёл и деревень, живших ещё очень трудно в эти послевоенные годы. Ещё ребята получали хорошую профессию, позволявшую им быть востребованными на заводах и фабриках.

Потому и болит моя душа, когда я вижу разбитые дома, раненых и убитых людей в Новороссии. При этом всегда думаю: “Не дети ли это братьев моих? Не их ли вдовы и внуки страдают на Украине за свою русскую фамилию и русскую сущность?” Как провести водораздел между людьми единой славянской нации, чьи деды и родители всю жизнь трудились на благо Украины? Вот и конкретный ответ на прямой вопрос: “Братья ли мы?” Да, братья. И никуда от этого ни нам, ни Украине сегодняшней не уйти.

Думаю, отрезвление всё-таки наступит. И тем скорее, чем быстрее Россия займёт более жёсткую позицию. В том числе по газу. В Милане президент страны Владимир Путин прямо заявил: “Нет, Россия не будет поддерживать Украину. И это главное, что вы должны понять”.

Ну, что ж: так держать! Давно уже пришла пора перестать заигрывать с Украиной, вернее с тем, что от неё осталось. Никаких скидок на газ. Никакого вхождения в положение, о чём они последнее время просят. Сами себя до такого довели. И не видно даже попыток выхода из этого тупика! Президент Порошенко не идёт на демобилизацию армии, значит, война будет продолжена.

Что мы получили? На выходе мы получили профашистскую страну с несамостоятельным управляемым президентом. И не надо говорить, что там есть

население, замерзающий народ. Этот народ проходит каждое утро мимо сверженных памятников, скачущих на улице полудурков — юнцов из Львова и Галичины. Этим народом прикрывается марионеточная хунта, пытаясь выжать из нас слезу и заставить нас снизить плату за газ, и одновременно оставить себе побольше денег на вооружение и войну. Потому никаких скидок. Пора уже свой народ пожалеть. Ведь российские области, и не только в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, но даже в Центре до сих пор не газифицированы. Рядом со столицей страны — в Подмоскovie! — люди топят дома дровами и углём.

### **Вместо послесловия**

Остервенелая борьба с коммунистическим прошлым смыла не только плохое, но и всё то хорошее, что было построено в советском обществе. Это привело к полной разрухе в умах молодого поколения, к потере не только материальных, но и духовных ценностей. Когда нет идеологии, растёт поколение “Пепси” и СМСок.

Не без гордости отмечу, что нам в Республике Саха (Якутия) удалось сохранить стабильность в межнациональных отношениях именно благодаря бережному отношению к достижениям прошлых десятилетий, и лозунг “Люди дороже алмазов!” — это не просто звонкая фраза. В то время как многие крупные промышленные предприятия страны объявляли себя банкротами, сотнями увольняя своих рабочих, в компании “АЛРОСА” начали проводить собрания хозяйственного актива (которые проводятся почти двадцать лет!), ставшие действительно демократическим средством прямого общения трудового коллектива с руководством компании. Сегодня многие поняли, что на любом производстве нужен прямой диалог работодателя с рабочим человеком. Это способствует стабильности в коллективе, ведёт к высоким показателям в производстве, а значит, содействует стабильному развитию региона и росту благосостояния проживающего в нём населения.

Я искренне верю, что наше государство в скором будущем будет другим. Что оно, наконец, совершит разворот от губительных для него либеральных идей и реформ и станет служить своему народу, призвав на службу вместо скрытой западно-американской агентуры, которую сегодня справедливо называют “шестой колонной”, подлинных государственников, доказавших своими делами возможность преобразовать страну.

Уверен, Российская Федерация будет делать всё возможное, чтобы не допустить братоубийственной войны с Украиной. С миллионами хоть и заблудших, одурманенных, но всё-таки наших братьев...

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

## “ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ...”

ВЕЛИКАЯ ПОЭЗИЯ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

*Доклад, сделанный Ст. Куняевым на Конференции дипломатов, историков, архивистов и политиков в Южносахалинске 3 сентября 2015 года — в день окончания II мировой войны.*

### I

За всю свою тысячелетнюю историю Россия пережила около двухсот больших и малых войн, из которых несколько назывались “нашествиями”. Татаро-монгольское нашествие и последующее полуторавековое иго. Нашествие Мамай с его разноплеменным полчищем и Куликовская битва. Польско-шведско-литовское нашествие начала XVII века, отражённое ополчением Минина и Пожарского. Нашествие наполеоновской армады двенадцати языков. Нашествие Антанты в эпоху гражданской войны. И, наконец, Великая Отечественная война 1941–1945 годов.

“Нашествиями” народ называл те войны, в которых против России объединялось несколько государств и народов. Поэтому отражение подобных нашествий требовало от народа и власти предельного или даже беспредельного напряжения всех духовных, военных, государственных и экономических сил. Ни в одном европейском языке применительно к понятию “война” нет слова “нашествие”. Оно живёт, к сожалению, только в русской речи. Поэтому от русской литературы, от её поэтов, прозаиков, публицистов, авторов песен требовалась предельное идеологическое и духовное обеспечение этой борьбы за **“свободу и независимость нашей Родины”**, и древнеримское изречение: “когда гремит оружие, музы молчат”, — ни в коем случае не относится к истории нашего Отечества. Нет худа без добра, — эпохи нашествий обогащали нашу литературу.

Героический звук в письменной русской поэзии впервые прозвенел в “Слове о полку Игореве”. Через два века он повторился в “Задонщине”. Отечественная война 1812 года отразилась в поэзии Жуковского, Дениса Давыдова и Рылеева, в оде юного Пушкина “Воспоминания в Царском Селе” и в его же стихотворном послании европейским “Клеветникам России”:

*Так высылайте ж к нам, витии,  
Своих озлобленных сынов:  
Им место есть в полях России,  
Среди нечуждых им гробов.*

От Пушкина героическое эхо Бородинской битвы долетело до Лермонтова, воспевшего поединок наёмников наполеоновской армады со смертниками Михаила Кутузова:

*И молвил он, сверкнув очами:  
“Ребята! Не Москва ль за нами?  
Умрёмте ж под Москвой...”*

Трагическая советская эпоха, естественно, продолжила эту героическую традицию. Однако в 30-е годы характер будущей войны, близость которой была очевидной для всех крупнейших политиков мира, был не до конца ясен и советскому руководству, и творческой интеллигенции.

В 1939 году мне было 7 лет, но я помню песни и стихи того времени, в которых речь шла о приближающейся войне. Одни поэты по инерции воспевали её как продолжение мировой революции: **“Я хату покинул, пошёл воевать, / Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать...”** Или: **“Но мы ещё дойдём до Ганга, но мы ещё умрём в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя!”** Другие утверждали “оборонное” сознание. Идеология мировой революции к этому времени уступила новой цели: “построению социализма в одной, отдельно взятой стране”. Узнав об этой смене политического курса, Лев Троцкий обвинил Сталина и партию большевиков в предательстве дела мирового пролетариата. Но советские поэты уже расстались с этой химерой, осознав, что единого “мирового пролетариата” не существует.

**“Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути”; “если завтра война, если завтра в поход, если тёмная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ за свободную Родину встанет”; “но сурово брови мы нахмурим, если враг захочет нас сломать”; “чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим”.** В этих стихотворных афоризмах эпохи отразилась её оборонная идеология. Читаешь их и понимаешь, что советское руководство не только не желало войны, но старалось всеми силами избежать её, понимая, что мы ещё не готовы к ней. Правда, иные поэты ещё сочиняли песни о “лихих тачанках”, о том, что **“по дорогам знакомым за любимым наркомом мы коней боевых поведём”**, но эта отрывка гражданской войны уходила в прошлое. Руководство страны уже понимало, что будущая война — это война моторов, и потому песня **“Три танкиста, три весёлых друга — экипаж машины боевой”** стала главной песней предвоенных лет, как и песня на слова Юрия Германа **“Всё выше, и выше, и выше стремим мы полёт наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ”...**

И тем не менее, 22 июня грянуло, как гром среди ясного неба.

Есть две точки зрения на то, почему первые месяцы войны стали катастрофическими для нас. Одна из них гласит, что руководство страны во главе со Сталиным растерялось, выпустило вожжи из рук, проморгало дату начала войны, что оно к 1941 году сумело мобилизовать лишь 5 миллионов солдат и офицеров против 8 миллионов, стоявших под знамёнами Рейха.

Другую точку зрения изложил Георгий Жуков в 1972 году: **“Германия по всем статьям тогда была лучше готова к войне, чем мы. Мы в академиях военных учились у Клаузевица, Мольтке, Шлиффена. Прусский офицер — это целая каста, немецкий солдат покорила Европу. Немецкая техника была лучше нашей. Мы весной 1941 года только запустили в производство танк Т-34, штурмовик Ил-52, реактивный миномёт “катюша”. Мы войной обучались. Но, — добавил Жуков, — мы победили потому, что у нас был храбрый, патриотический молодой солдат, политически обученный, душевно подготовленный сражаться за Родину”.**

К этим словам Жукова можно добавить ещё то, что этот солдат был подготовлен к войне советской школой, советской историей, советским кино, советской поэзией, советской песней.

\* \* \*

Идею расового превосходства арийцев над “славянами” и другими народами СССР можно было победить только другой, понятной для всего народа идеей Родины-матери, идеей исторического и социалистического братства

народов СССР, идеей православной христианской общности. И недаром 22 июня сразу после речи Молотова по согласованию с бывшим семинаристом и поэтом Иосифом Сталиным с проникновенным словом к народу выступил патриарший местоблюститель Сергей.

**“Повторяются, — сказал он, — времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Потомки врагов православного христианства хотят ещё раз попытаться поставить народ наш на колени <...>. Вспомним святых вождей русского народа Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину, вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов”.**

А 7 ноября 1941 года Сталин, выступая перед участниками парада на Красной площади, добавил к именам Александра Невского и Дмитрия Донского имена Суворова, Кутузова, Минина и Пожарского и поставил их всех **“под знамя великого Ленина”**, поскольку понимал, что для победы над таким могучим врагом необходимо единство **“русского”** и **“советского”**.

Война властно сблизила церковь с высшей государственной элитой, обнажила для власти и для писателей православную сущность русского просто-народья, не подчинившуюся идеологии государственного атеизма, насаждаемого до середины 30-х годов Емельяном Ярославским (Минеем Губельманом) и его опричниками; любимец Сталина, и поэтому поэт советского русского офицерства Константин Симонов одним из первых запечатлел опору на веру православную уже в самом начале войны.

*А. Суркову*

Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины,  
Как шли бесконечные, злые дожди,  
Как кринки несли нам усталые женщины,  
Прижав, как детей, от дождя их к груди.

Как слёзы они вытирали украдкой,  
Как вслед нам шептали: **“Господь вас спаси!”** —  
И снова себя называли солдатками,  
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем вёрстами,  
Шёл тракт, на пригорках скрываясь из глаз:  
Деревни, деревни, **деревни с погостами**,  
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждую русской околицей,  
**Крестом своих рук ограждая живых**,  
Всем миром сойдясь, **наши прадеды молятся**  
**За в Бога не верящих внуков своих.**

Ты знаешь, наверное, всё-таки родина —  
Не дом городской, где я празднично жил,  
А эти просёлки, что дедами пройдены,  
**С простыми крестами их русских могил...**

В этом стихотворении все явления природы, все деяния людей, все приметы быта — дороги Смоленщины, злые дожди, кринки с молоком, женские слёзы, дорожные вёрсты, деревни с погостами, кресты на могилах, русские околицы, всё рождённое, ушедшее в прошлое и живущее в настоящем, — всё готовится вместе с нашими отступающими солдатами выстоять, вернуться и победить. Вот что такое народная война. Таких войн никогда не знала Европа. И не случайно ещё и то, что слова **“на великой Руси”**, **“вся Россия сошлась”**, **“за каждую русской околицей”**, **“с простыми крестами их русских могил”**, наполнившие стихотворение, предугадывали, что главной скрепой начавшейся борьбы за “свободу и независимость нашей родины” будет русская скрепа. Наши поэты с первых дней войны почуствовали, что столь могущественного врага можно победить, лишь следуя древней истине — “смертью смерть поправ”, и после этого их речь естественно обрела черты

бесстрашного трагического достоинства: “вставай на смертный бой”, “смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в бою”, “а коль придётся в землю лечь, так это только раз...”

Сотни писателей в первые же дни войны ушли добровольцами на фронт и в народное ополчение. Подлинным подвигом стало создание поэтом Василием Лебедевым-Кумачом и композитором Александровым песни “Священная война”, написанной в ночь с 22 на 23 июня 1941 года.

*Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой  
С фашистской силой тёмною,  
С проклятою ордой.*

*Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна, —  
Идёт война народная,  
Священная война!*

В истории человечества был лишь один случай, подобный этому. Во время Великой французской революции поэт Руже де Лиль за одну ночь сочинил в Марселе “Марсельезу”, ставшую гимном Франции на вечные времена: **“Вперёд, Отечества сыны! День славы наступил...”** Но нашим людям тогда было не до славы... И какой циничной ложью полны вопли нынешних фальсификаторов истории о том, что наша война была всего лишь войной двух тоталитарных систем, войной Сталина и Гитлера, следовательно, она и не “отечественная”, и не “священная”. Эти антисоветские русофобские шавки не могут понять даже того, что наша война была не просто советско-германской, но войной всей нападающей континентальной Европы с обороняющейся российской Евразией. По окончании войны в наших лагерях для военнопленных было около четырёх миллионов солдат III рейха. Из них два с половиной миллиона немцев, один миллион пленных были солдатами стран, официально объявивших нам войну — венгров, румын, итальянцев, финнов, норвежцев, словаков, и полмиллиона были добровольцами из стран, официально не воевавших с нами, — испанцев, чехов, французов, хорватов, бельгийцев, поляков, голландцев, датчан. Вся континентальная Европа — а это 350 миллионов населения! — была мощным тылом, работавшим на гитлеровскую военную машину, снабжавшим многомиллионную армию III рейха оружием, продовольствием, обмундированием, транспортом.

Все немецкие танки производились в Чехии, и экипажи “Тигров” были укомплектованы чехами. Добровольцы из гитлеровского Евросоюза вступали в вермахт потому, что знали: после победы все пространства Советского Союза станут колонией для объединённой коричневой Европы и, разумеется, для их собственных стран. В гитлеровском плане “Ост” политика в области сельского хозяйства определялась так: **“Производство продовольствия в России будет включено в европейскую систему, поскольку Западная и Северная Европа голодают... Германия и Англия нуждаются в ввозе продовольствия”**. (Англичане для Гитлера, несмотря на то, что Англия была в состоянии войны с Германией, были арийцами, в отличие от “унтерменшей” — славян.) Все разговоры о том, что наши пленные зверски уничтожались в немецких лагерях лишь потому, что СССР не подписал до войны какое-то соглашение с Международным Красным Крестом — ложь наших либералов. Какой там Красный Крест, если высшая раса вступила в борьбу с “недочеловеками”? Уничтожение всей нашей жизни, культуры, истории, всей цивилизации — вот каковы были планы фашистской Европы, и русская поэзия почувствовала эту смертельную угрозу с первых дней войны. Поэты старшего поколения и так называемого Серебряного века, даже те, кто ненавидел Октябрьскую революцию и соведпию, вдруг почувствовали себя русскими патриотами. 23 февраля 1942 года Анна Ахматова, молчавшая до войны много лет, сочинявшая “антисталинский” “Реквием”, отозвалась стихотворением “Мужество”:

*Мы знаем, что ныне лежит на весах  
И что совершается ныне.*

*Час мужества пробил на наших часах,  
И мужество нас не покинет.  
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,  
Не горько остаться без крова, —  
И мы сохраним тебя, русская речь,  
Великое русское слово.  
Свободным и чистым тебя пронесём  
И внукам дадим, и от плена спасём.  
Навеки!*

Стихи сразу же были опубликованы в газете “Правда”. Александр Вертинский, знаковая фигура Серебряного века, к тому же эмигрировавший из СССР, прославил великий подвиг народа, который взволновал его русскую душу, и написал стихотворение о Сталине, казалось бы, немыслимое для его эмигрантского окружения:

*Чуть седой, как серебряный тополь,  
Он стоит, принимая парад,  
Сколько стоил ему Севастополь!  
Сколько стоил ему Сталинград!..  
.....  
И когда подходили вандалы  
К нашей древней столице отцов,  
Где нашёл он таких генералов  
И таких легендарных бойцов?*

*Он взрастил их. Над их воспитаньем  
Долго думал он ночи и дни,  
О, к каким грозovým испытаньям  
Подготовлены были они!..  
.....  
...Тот же взгляд, те же речи простые,  
Так же скупы и мудры слова...  
Над разорванной картой России  
Поседела его голова.*

Борис Пастернак — тоже рафинированное дитя Серебряного века. В 1944 году он побывал после Курской битвы на освобождённой Орловщине и написал цикл стихотворений о героизме солдат и мучениях народа в оккупации, а в комментариях к стихам добавил: **“Победил весь народ сверху донизу, от маршала Сталина до рядовых тружеников”**.

А ещё один знаменитый эмигрант — нобелевский лауреат Иван Бунин — сделал запись в дневнике 1943 года, когда Сталин уезжал в Тегеран на встречу с Черчиллем и Рузвельтом:

**“Думал ли я, что сейчас, когда Сталин находится на пути в Тегеран, я буду с замиранием сердца переживать, чтобы с ним ничего не случилось”**.

После войны, в 1946 году Бунин сказал Константину Симонову: **“22 июня 1941 года я, написавший всё, что писал до этого, в том числе “Окаянные дни”, я по отношению к России и к тем, кто нынче правит ею, навсегда вложил шпагу в ножны”**. А во время ещё одной встречи с Симоновым после войны Бунин предложил тост: **“Выпьем за великий русский народ — народ-победитель — и за полководческий талант Сталина!”** Проживший в эмиграции на Западе более 20 лет истинный патриот России Бунин прекрасно понимал, что эта война есть нашествие, есть небывалое до сих пор по целям и масштабам очередное нападение на Россию хищного Запада, который не может терпеть существования рядом с ним чуждого и ненавистного ему мира. Он, в отличие от власовцев, понимал, что цель войны — не просто захват Москвы или смена режима, а уничтожение или превращение русского мира в пассивную питательную среду для Запада. (Ситуация, в некоторой степени похожая на сегодняшнюю.) Без полной самоотверженности, без священного чувства ненависти победить такого мощного врага было невозможно. Вот по-

чему Шолохов пишет очерк “Наука ненависти”, вот почему Эренбург с Константином Симоновым в своих стихах и статьях призывают и армию, и весь народ: “Убей немца!”

\* \* \*

Известный немецкий историк и руссист Эберхард Дикман, состоявший в конце войны в гитлерюгенде, так сказал о главной причине нашей победы: **“Немецкие обыватели ничего не имели против создания великой германской империи. И когда этот путь стал реальным, в Германии не было почти никого, кто не был бы готов идти по нему. Но с того момента, когда русскому народу стали ясны намерения Гитлера, немецкой силе была противопоставлена сила русского народа. С этого момента стал ясен исход войны: русские были сильнее, прежде всего, потому, что для них решался вопрос жизни и смерти”**. Вот как писал об этом всенародном чувстве участник войны удивительный мистический поэт Даниил Андреев, сын известного писателя Серебряного века Л. Андреева:

*С холмов Москвы, с полей Саратова,  
Где волны зыблются ржаные,  
С таёжных недр, где вековые  
Рождают кедры хвойный гул,  
Для горестного дела ратного  
Закон спаял нас воедино  
И сквозь сугробы, судры, льдины  
Живую цепью протянул.*

Даниил Андреев рисует поистине апокалиптическую картину всенародно-го сверхнапряжения, мобилизованного и исторгнутого из народного чрева не просто “законом” или волей вождя, но и волей всего народа:

*Дыханье фронта здесь воочию  
Ловили мы в чертах природы:  
Мы — инженеры, счетоводы,  
Юристы, урки, лесники,  
Колхозники, врачи, рабочие —  
Мы, злые псы народной псарни,  
Курносые мальчишки, парни,  
С двужилым нравом старики.*

Только такой “сверхнарод”, как назвал его Даниил Андреев, мог победить жестокую орду “сверхчеловеков”. Поэт, в те времена оборонявший вымирающий, но не сдающийся Ленинград, несколько раз проходил туда и обратно через Ладогу, по ледовой Дороге жизни, и он, конечно же, понимал, что мы устояли не просто благодаря Сталину или морозу:

*Ночные ветры! Выси чёрные  
Над снежным гробом Ленинграда!  
Вы — испытанье; в вас — награда;  
И зорче ордена храню  
Ту ночь, когда шаги упорные  
Я слил во тьме Ледовой трассы  
С угрюмым шагом русской расы,  
До глаз закованной в броню.*

Ведь эту броню надо было изобрести, изготовить, испытать... **“Дни и ночи у мартеновских печей // не смыкала наша родина очей...”** И слова “русская раса” здесь не случайны.

Даниил Андреев после войны был арестован по 58-й статье, просидел во Владимирской тюрьме несколько лет, после чего его книги долго не издавались и его поэзия, его пророчества и прозрения не дошли до широкого читателя, хотя, несомненно, были достойны этого.

Вот что он писал о гражданских распрях 30-х годов, которые нужно забыть перед наступлением общей и смертоносной для красных и белых, для партийных и беспартийных, для всех русских и всех нерусских беды: **“Страна горит, пора, о Боже, // Забыть, кто прав, кто виноват...”** Размышляя о роли в истории России всех её князей, царей, императоров, генсеков — от Владимира Крестителя до Сталина, — он рисует такой обобщённый образ вождя:

*Лучше он, чем смерть народа,  
Лучше он;  
Но темна его природа,  
Лют закон...*  
.....  
*Жестока́ его природа.  
Лют закон,  
Но не он — так смерть народа...  
Лучше — он!*

Спасти страну можно было только единством трёх сил: власти, армии и — самое главное — народа. И потому все самые значительные поэты эпохи, отдавая должное Сталину, прославляя армию, в первую очередь пытались понять, как сопротивляется нашествию каждый отдельный человек из народа — солдат, крестьянин, рабочий. И вполне понятно, что, в первую очередь, поэты военной эпохи имели в виду русского человека и русский народ. Да, конечно, победу добывали все народы Советского Союза. Но ведь недаром же маршал Баграмян, армянин по происхождению, писал в своих воспоминаниях, что любую крупную военную операцию можно было проводить только в том случае, если войска были более чем наполовину укомплектованы русскими солдатами и офицерами. И недаром грузин Иосиф Сталин 24 июля 1945 года произнёс знаменитый тост за здоровье русского народа.

И здесь, в первую очередь, надо вспомнить об Александре Твардовском, о его великом солдатском эпосе “Василий Тёркин”, о том, что памятник именно русскому солдату стоит на смоленской земле, на родине Твардовского на хуторе Загорье.

Помню, как мне, пятикласснику, в 1945-м или в 1946 годах попала в руки книжца в мягкой обложке, напечатанная на жёлтой газетной бумаге, — “Василий Тёркин”. Одна глава поэмы, прочитанной взахлёб, за один присест, особенно поразила меня:

*Переправа, переправа!  
Берег левый, берег правый.  
Снег шершавый, кромка льда...  
Кому память, кому слава,  
Кому тёмная вода, —  
Ни приметы, ни следа.*  
.....  
*И увиделось впервые,  
Не забудется оно:  
Люди тёплые, живые  
Шли на дно, на дно, на дно...*  
.....  
*Переправа, переправа...  
Темень, холод. Ночь, как год...*  
  
*Но вцепился в берег правый,  
Там остался первый взвод.*  
.....  
*Переправа, переправа!  
Пушки бьют в кромешной мгле.*  
  
*Бой идёт святой и правый.  
Смертный бой не ради славы,  
Ради жизни на земле.*

Недаром Иван Бунин, прочитавший во Франции “Тёркина”, пришёл в полный восторг, о чём написал в Москву своему другу, писателю Телешову.

А если вспомнить не менее великую поэму “Дом у дороги” или потрясающий реквием “Я убит подо Ржевом”, то, конечно, именно Твардовского надо считать подлинным летописцем войны именно как народной и священной, которую выиграл рядовой солдат:

*Я убит подо Ржевом  
В безыменном болоте,  
В пятой роте, на левом,  
При жестоком налёте.*

.....  
*И у мёртвых, безгласных,  
Есть отрада одна:  
Мы за Родину пали,  
Но она — спасена...*

Рядом с Твардовским самые разные поэты его поколения, возмужавшего в 30-е, создали немало стихов, написанных не просто “о войне”, но, как писал Вадим Кожин, “войною”. Это Михаил Исаковский и Ольга Бергольц, Александр Прокофьев и Михаил Светлов, и, конечно же, Константин Симонов.

Лето 1942 года. Немцы жаждут взять реванш за поражение под Москвой, рвутся к Сталинграду и к бакинской нефти. Наши войска отступают, порой в панике и беспорядочно. И тут выходит знаменитый сталинский приказ № 227, названный “Ни шагу назад”.

В грозном приказе были слова, обладавшие мистической силой: **“Население теряет веру в Красную армию”, “отступать дальше — погубить Родину”, “многие проклинают Красную армию”, “покрыв свои знамёна позором...”, “ни шагу назад!”** Симонов тут же откликнулся на сталинский приказ стихотворением, облетевшим всю страну, — “Безымянное поле”. В сущности, это стихотворение являлось переложением легендарного приказа на стихотворный язык: **“Кровавое солнце позора”, “Нас предки за это клянут”, “Чтоб больше ни шагу назад”**. А в 1944 году он же написал стихотворение, где каждая строфа заканчивалась словами: **“Друзья мои”**, — рефрен этот был взят из речи Сталина, прозвучавшей 3 июля 1941 года, начинавшейся словами: **“Братья и сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои!”**

Михаил Светлов, поэт того же поколения, что и Симонов, Михалков, Александр Прокофьев, увлекался в 20-е годы идеями мировой революции, мечтал о том, **“чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать”**, за что приобрёл в советском литературоведении опасную репутацию “троцкиста”. В начале Отечественной войны он расстался с этими иллюзиями и стал писать стихи, как русский патриот и как поэт сталинской эпохи. Вот его знаменитое стихотворение военных лет:

*Чёрный крест на груди итальянца,  
Ни резьбы, ни узора, ни глянца, —  
Небогатым семейством хранимый  
И единственным сыном носимый...*

*Молодой уроженец Неаполя!  
Что в России оставил ты на поле?  
Почему ты не мог быть счастливым  
Над родным знаменитым заливом?*

.....  
*Я не дам свою родину вывезти  
За простор чужеземных морей!  
Я стреляю — и нет справедливости  
Справедливее пули моей!..*

Можно вспомнить ещё многих поэтов, писавших о войне, творчество которых сформировалось в довоенные 30-е годы: Виктор Боков, Сергей Михалков, Алексей Сурков, но вспомним, в первую очередь, Ольгу Берггольц,

героическую женщину, пережившую ленинградскую блокаду. Над Пискарёвским кладбищем, где лежат сотни тысяч ленинградцев, где лежит и мой отец, посмертно награждённый медалью “За оборону Ленинграда”, высечены её слова: **“Никто не забыт, ничто не забыто”**.

А какое созвездие блистательных поэтов дало в годы войны поколение тех, кто родился в начале 20-х годов!

Это Михаил Луконин: **“Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой”**; Борис Слуцкий: **“Девятнадцатый год рожденья — двадцать два в сорок первом году принимаю без возраженья как планиду и как звезду”**; Давид Самойлов, вошедший в историю знаменитым стихотворением: **“Сороковые, роковые...”**; Александр Межиров с крылатой фразой: **“Коммунисты, вперёд!..”**; Михаил Кульчицкий со словами **“Не до ордена. Была бы Родина с ежедневными Бородино”**.

Я перечислил имена и стихи поэтов, вышедших из городской, более того — из столичной интеллигенции. Но, может быть, более глубокие стихи о войне выходили из-под пера крестьянских детей, детей сословия, за несколько лет до войны претерпевших все тяготы коллективизации, во многом пострадавших во времена “великого перелома”, уходивших на войну не с тротуаров Арбата, а из родных деревень, как уходил герой стихотворения нижегородского крестьянина Фёдора Сухова, который провоевал все четыре года войны наводчиком противотанкового орудия.

*Провожали меня на войну,  
До дороги большой провожали.  
На село я прощально взглянул,  
И вдруг губы мои задрожали.*

*Ничего б не случилось со мной,  
Если б я невзначай разрыдался, —  
Я прощался с родной стороной,  
Сам с собою, быть может, прощался.*

*А какая стояла пора!  
Лето в полном цвету медовело.  
Собирались косить клевера,  
Рожь от жаркого солнышка млела.*

*Поспевала высокая рожь,  
Наливалась густая пшеница,  
И овёс, что так быстро подрос,  
Прямо в ноги спешил поклониться.*

*Заиграла, запела гармонь,  
Всё сказала своими ладами,  
И платок с голубою каймой  
Мне уже на прощанье подарен.*

*В отдалении гром громыхнул,  
Весь закат был в зловещем пожаре...  
Провожали меня на войну,  
До дороги большой провожали.*

**“В чём тайна этого стихотворения? — писал Вадим Кожинов. — Именно в том, что перед нами не “картина”, а целое огромное переживание. Родина, народ провожают своего сына на войну. И отдельные лица уже неразличимы. Есть стихи Родины, в которой всё слилось. Но если вглядеться, угадываешь и все слагаемые этой стихии: “Губы мои задрожали” и “Ничего б не случилось со мной, если б я невзначай разрыдался...” Сквозь это видишь идущую рядом плачущую мать и скорбное лицо отца. А вот и голос друга — гармонь, которая “всё сказала своими ладами”. И девушка, ибо, конечно, именно она подарила “платок с голубою каймой”. И, наконец, рожь, пшеница — то богатство, то добро и красота,**

в которые веками укладывались и труд, и любовь односельчан, так что это как бы уже живые существа, кланяющиеся в ноги уходящему молодому хозяину.

Мальчишка — а возраст героя отчётливо выражается в этих “вдруг задрожавших губах”, — прощается с Родиной, уходит в зловещий пожар войны. Что ж, может, слаб и боязлив он, если готов невзначай разрыдаться? Лицо героя не сияет на прощанье показной белозубой улыбкой. Он по-русски откровенен и открыт, и не соблюдает “форму”... Но совершенно ясно: больше уже не дрогнут ни губы его, ни рука. Здесь, на пороге родного дома, он уже заранее как бы пережил и преодолел страх смерти, “попрощался сам с собою”...

А крестьянин из саратовской деревни Виктор Кочетков, попавший в плен после первых месяцев войны, бежавший из плена и снова взявший винтовку в руки, вспоминал, как в начале войны тяжело, через силу настраивается на родная душа, преодолевая страх, на смертный бой, как крестьяне-колхозники сжигают хлеба, чтобы они не достались врагу.

.....  
*Разрывы редких мин. Ружейная пальба.  
Надсадный плач детей. Тоскливый рёв скотины.  
На сотни вёрст горят созревшие хлеба —  
Ни горше, ни страшней не видел я картины.*  
.....  
*Закрыта жаркой мглой последняя изба,  
И солнце в этой мгле едва-едва мигает.  
На сотни вёрст горят созревшие хлеба —  
Последний страх в себе Россия выжигает.*

Раздумывая над этой плеядой поэтов, рождённых войной, вспоминаешь слова Александра Блока: **“Народ собирает по капле жизненные соки, чтобы произвести из своей среды всякого, даже не крупного писателя”**.

\* \* \*

Четвёртым поколением поэтов, отразившим в поэзии военное лихолетье, были дети войны — шестидесятники. У каждого из них — Евгения Евтушенко, Николая Рубцова, Владимира Высоцкого, Глеба Горбовского, Юрия Кузнецова, Владимира Соколова, Анатолия Передреева и у многих других — есть стихи, достойные того, чтобы войти при самом строгом отборе в поэтическую антологию войны.

Но в творчестве поэтов-шестидесятников есть свое особое и чрезвычайно важное осмысление войны, которого не было, да и не могло быть у её прямых участников и которое светилось искорками христианского милосердия по отношению к врагу, и которое армия и народ начали ощущать по мере изгнания немцев с родной своей земли.

Алексей Прасолов, который хоть и не воевал, но видел войну, пережил унижения оккупации и радость освобождения от ига, писал об этом чувстве так:

*Ещё метёт во мне метель,  
Взбивает смертную постель  
И причисляет к трупу труп, —  
То воем обгорелых труб,  
То шорохом бескровных губ  
Та, давняя, метель.*

*Свозили немцев поутру.  
Лежачий строй — как на смотру,  
И чтобы каждый видеть мог,  
Как много пройдено земель,  
Сверкают гвозди их сапог,  
Упёртых в мёртвую метель.*

*А ты, враждебный им, глядел  
На руки талые вдоль тел.  
И в тот уже беззлобный миг  
Не в покаянии притих,  
Но мёртвой переключки их  
Нарушить не хотел.*

*Какую боль, какую месть  
Ты нёс в себе в те дни! Но здесь  
Задумался о чём-то ты  
В суровой гордости своей,  
Как будто мало было ей  
Одной победной правоты.*

Гениальное стихотворение! Сколько богатых оттенков стихийного народного понимания борьбы, возмездия, справедливости светится в нём! С одной стороны, ещё не остыл гнев: **“А ты, враждебный им, глядел...”**, но тут же присутствует **“беззлобный миг”**. Вроде бы каяться тебе не в чем, ты прав — **“не в покаянии притих”**, — но в то же время нарастает чувство того, что убитый враг уже не страшен, и он тоже был человеком. Ты убил его, защищая себя и свою Родину, но не может сердце человеческое поверить, что победа обязательно должна быть связана с убийством: неполная это победа — с горечью, омрачающей торжество. Пословица “Труп врага хорошо пахнет” родилась не в нашем языке. Потому тебе и не хочется нарушать их **“мёртвой переключки”** — пускай себе хоть переключнутся, если ничего не успели понять. Потому тебе и **“мало”**, в **“суровой гордости своей”**, несмотря на **“боль”** и **“мечь”**, **“одной победной правоты”**. Ты сожалеешь о том, что необходимость убить врага лишила тебя возможности объяснить ему его неправоту, победить его зло душевной силой, дожидаться своеобразного воскрешения его души. То, что победить можно только силой, делает твою победу неполной и свидетельствует о несовершенстве мира и человека. Это не рыцарское, а иное, более высокое и более глубокое отношение к врагу как к человеку, как к образу и подобию высшей силы, искажённой злом. Но это не жалость к врагу, а печаль о несовершенстве мира, осколок стихийно живущего в глубинах духа народного мироощущения.

В связи с прасоловским стихотворением надо вспомнить вот о чём. Когда в 1945-м наши войска вторглись в Германию и двинулись на Берлин, то с каждым километром жажда мести, столь помогавшая нам в первые годы войны, постепенно остывала. Видимо, это почувствовал Сталин, и по его распоряжению газета “Правда” в марте сорок пятого резко осудила Эренбурга, призывавшего мстить немцам, не жалея мирного населения. Именно тогда генералиссимус произнёс исторические слова: **“Гитлеры приходят и уходят, а германский народ остаётся”**.

Моё же детство прошло в эвакуации, в лесной костромской деревне Пыщуг, где я написал первое в жизни стихотворение для школьной стенгазеты. В третьем-четвёртом классе в 1942 году в деревенской избе при свете коптилки и керосиновой лампы я прочитал “Войну и мир” Толстого, о чём впоследствии написал вот такие стихи:

#### ЧИТАЯ ТОЛСТОГО...

*Горит коптилка  
в северной ночи.  
В печной трубе  
протяжно воеет вьюга...  
Сестра и мать уснули на печи,  
а мальчик — в узах сладкого недуга.  
Он беженец. Он чудом выживал  
среди бомбёжек, голода, разрухи,  
и смерч войны, её горячий шквал  
его занёс на берега Ветлуги.*

*Но в этот час в натопленном дому  
он позабыл все страхи, всё сиротство —  
нет лучше пищи сердцу и уму,  
чем чистый воздух горя и геройства.  
“Война и мир”. Какие имена!  
Бородино! Смоленская дорога!  
И, наконец, река Березина...  
Остыла печь, и до утра далёко.  
А сводка Совинформбюро гласит,  
что к тёмной Волге отступили наши.  
Горит коптилка. Книга шелестит...  
Так, значит, суждено из той же чаши  
испить врагу!  
Недаром эта ночь  
так тягостно и так блаженно длится!  
Ещё он сможет Родине помочь  
глазами и устами очевидца.  
Пусть кристаллизуется в крови  
дыханье слов “бессмертье”, “слава”, “тризна”.  
Пылает, коптилка, и, душа, гори,  
Когда в сплошном огне твоя Отчизна!*

1975

\* \* \*

Неоценимую роль в нашей победе сыграли песни, которые народ пел во время войны. “Вставай, страна огромная” была написана Лебедевым-Кумачом за одну ночь с 22 на 23 июня, 24 июня текст был уже опубликован в газетах. В сущности, это не песня, а военный гимн или грозная величественная молитва о победе. Сам маршал Жуков на вопрос о наиболее ценных им песнях войны ответил: **“Вставай, страна огромная”, “Эх, дороги” и “Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат”**. И добавил: **“В них отразилась душа народа”**.

В лирических песнях войны было заложено столько жизненной силы, что они живут до сих пор. Жив **“Синий платочек”**, живут сурковская **“Бьётся в тесной печурке огонь”**, фатьяновские песни **“На солнечной поляночке”** и **“Горит свечи огарочек”**, **“Майскими короткими ночами”**. Живы песни на слова Исаковского: **“С берёз, неслышен, невесом, слетает жёлтый лист”**, **“На позицию девушка провожала бойца”**. Жива песня Евгения Долматовского **“Ночь коротка, спят облака”**... Слова этих песен порождены войной. Но на первом плане в них не война, а мир, который в этой войне нужно спасти.

Наш немецкий знакомый Эберхард Дикман, специалист по русской литературе, однажды сказал нам с Кожинным, что в Германии во время войны не было ни одной лирической песни, рождённой войной. Немцы на своих губных гармошках и аккордеонах исполняли лишь довоенные марши, вроде того, что **“Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра весь мир”**. А наши лирические песни отражали жизнь народа во всей её полноте — от поющих соловьёв до осенних жёлтых листьев, от соснового бора, где встаёт солнце, до родного крыльца, где **“мать сыночка ждёт”**.

Многие песни войны, ставшие всенародными, написаны поэтами, не обладавшими ни известностью, ни значительным талантом. К примеру, забытый ныне поэт Яков Шведов написал слова доселе знаменитой песни о смуглянке-молдаванке. Слова бессмертной песни **“Тёмная ночь”** написал забытый поэт Владимир Агатов, слова песни **“Прощайте, скалистые горы”** — заурядный поэт Николай Букин. Однако народ сохранил в своей памяти эти песни. Видимо, потому, что сама атмосфера великой войны возвысила скромных сочинителей стихов до таких лирических высот, которых они не могли достичь в мирное время — до войны или после неё. Чтобы объяснить силу песни, вспомню один эпизод из своей жизни, из детства, прошедшего в лесном селе Пищуг, куда мы были в 1941 году эвакуированы из Ленинграда. В древней сельской церкви, переделанной под клуб, постоянно шли советские фильмы,

предваряемые документальными “киносборниками” о ходе войны. В одном из киносборников однажды было показано, как юный солдат идёт по родной деревне, только что освобождённой нашими. Кадры сопровождалась песней на мотив **“Крутится, вертится шар голубой”**, под которую шагает солдат, жаждающий увидеть свой дом и свою невесту. Но, увы...

*Парень подходит — нигде ничего,  
Горькое горе встречает его,  
Горькое горе — жестокий удел,  
Только скворечник один уцелел.  
Только висит под колодцем бадья...  
Где ж ты, родная деревня моя?  
Где эта улица, где этот дом,  
Где эта барышня вся в голубом?*

А закадровый голос, словно голос судьбы, отвечает ему, что его семья убита немецкими оккупантами, что дом сожжён и что эти изверги **“Настю, невесту, с собой увели”**. И что остаётся солдату? Мстить, мстить и ещё раз мстить!

...Но какова сила простенькой пропагандистской песни, со словами, написанными на чужой мотив! Уже семьдесят с лишним лет прошло с той поры, как я услышал их в переполненной женщинами, стариками, старухами и детьми деревенской церквушке, с облупленных стен которой на нас глядели евангельские лики! Но ведь запомнились мне эти слова на всю жизнь и до сих пор они волнуют меня...

МИХАИЛ ЛОБАНОВ

## УБЕЖДЕНИЕ

*Из новой автобиографической книги*

*Убежденье хоть не скоро  
Возникает — но зато  
Кто Колумба Христофора  
Переспорить мог? Никто.*

Я.П. Полонский

У Марины Цветаевой есть такие стихи: *Что, если б зная мне доверил полк, / И вдруг бы ты предстал перед глазами — / С другим в руке, — окаменев, как столб, / Моя рука бы выпустила знамя...*

Ну, для женщины, да ещё такой безгранично свободной во всём, как названная поэтесса, “кульбит” со знаменем не удивителен, но ведь падко на это же и подавляющее большинство мужских особей рода человеческого вообще, как и та массовая готовность менять свои убеждения, которая прокатилась по нашей стране во времена “перестройки-революции”. Всегда было мало людей идеи, убеждения, готовых не предавать, жертвенно отстаивать их (здесь я не говорю об истинно верующих, это особый разговор). В. В. Розанов в связи с Достоевским говорил о “золотом слове” у писателей (связанном у него с Христом), и этим “золотым словом” я назвал бы “убеждение”. Как-то я поставил перед собой задачу: читая серьёзные книги (духовных лиц, историков, государственных деятелей, учёных, писателей), отмечать у них слово “убеждение” и выписывать содержание его. И передо мною открылись квинтэссенции русской мысли, духовности, грани бытия, национальных характеров. Приведу из огромного количества сделанных мною выписок только некоторые. Итак, об убеждениях.

В “Войне и мире” Толстого Кутузов “был убеждён, что ему было предназначено спасение России и что потому только, против воли государя и по воле народа, он был избран главнокомандующим. Он был убеждён, что он один в этих трудных условиях мог держаться во главе армии, что он один во всём мире был в состоянии без ужаса знать своим противником непобедимого Наполеона <...>”.

\* \* \*

“Таково убеждение автора статьи о западной и русской образованности. Поставив с одной стороны рассудочность и раздвоенность, с другой — разумность и цельность как начала, составляющие различие между двумя областями мысли, он, как мне кажется, определил с совершенною ясностью ту новую точку зрения, с которой наука должна и будет рассматривать явления Православного и западного мира”.

(Алексей Хомяков. Всемирная задача России. По поводу статьи И. В. Киреевского "О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России")

\* \* \*

"Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния <...>. Не годы ссылки, не страдания сломили нас. Напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга. Нет, нечто другое изменило взгляд наш, наши убеждения и сердца наши <...> Это нечто другое было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастье, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сроднён и даже приравнен к самой низшей ступени его. <...> ... Я был, может быть, одним из тех <...>, которым наиболее облегчен был возврат к народному корню, к узанию русской души, к признанию духа народного".

(Фёдор Достоевский. "Дневник писателя")

\* \* \*

"Убеждение — если оно есть действительное убеждение — покупается по большей части ценою умственных и нравственных процессов, более или менее продолжительных переворотов в душевном организме <...>, а не приходит с ветра".

(Аполлон Григорьев. "Апология почвенничества")

\* \* \*

"Убеждения самые разнообразные, самые противоречивые уравниваются перед безграничной злобой похотливой легковесности, все они подлежат преследованию и казни потому только, что называются убеждениями и напоминают о существовании ненавистной мысли".

(М. Е. Салтыков-Щедрин. Из публицистики)

\* \* \*

"Что же такое "нищета духа"? Или что значит "быть нищим духом"? Быть нищим духом значит иметь духовное убеждение в том, что мы ничего собственно своего, кроме грехов, не имеем, а из доброго имеем только то, что подал и подаёт Бог <...> Короче, нищета духовная есть смиренномудрие".

(Святой Праведный Иоанн Кронштадтский)

\* \* \*

"Каждое утро, когда я просыпаюсь и творю молитву, я смотрю на предстоящий день, как на последний в жизни, и готовлюсь выполнить все свои обязанности, устремляя уже взоры в вечность. А вечером, когда опять возвращаюсь в свою комнату, то благодарю Бога за лишний дарованный мне в жизни день. Это единственное следствие моего постоянного сознания близости смерти как расплаты за убеждения. Порою, однако, я ясно чувствую, что должен наступить день, когда замысел убийцы наконец удастся".

(П. А. Столыпин / Г. Сидоровнин. "П. А. Столыпин. Жизнь за Отечество. Жизнеописание (1862–1911)")

\* \* \*

Только искренность, сила убеждений способна вдохнуть в творение долгую жизнь, сопричастность вечности. Но что я могу сказать о своих убеждениях? Думаю, что без твёрдого убеждения я не мог бы написать своей статьи (с правдой о голоде в Поволжье в 1933 году) "Освобождение" (журнал "Вол-

га", 1982, № 10), вызвавшей такой резонанс в нашей стране и за рубежом, осуждающее решение ЦК КПСС по команде Генсека Ю. Андропова.

Должен сказать, что убеждение никогда не было для меня рационалистическим, головным, оно возникало, развивалось, обогащалось из опыта жизни, моих связей с миром, как человека **внутреннего**, подотчётного больше сердцу, чем рассудку. Я столько вложил "сердца" в свою первую книгу "Роман Л. Леонова "Русский лес" (1958), особенно в понимание народного характера Ивана Матвеевича Вихрова, великого учёного-лесоведа и великого патриота, что Леонид Максимович почувствовал это, и наш разговор с ним после выхода моей книги был, что называется, на одной волне. Как-то он писал мне: "Большое спасибо за всегдашнее Ваше доброе ко мне отношение. Правду сказать, оно весьма скрашивает мне действительность и потому имеет для меня лекарственное значение".

"Любовь критика" — так называлась рецензия Д. Старикова на мою книгу о Леонове ("Литгазета", май 1959). Может быть, этой любовью и обеспечено то, что эта книга и сегодня, спустя почти шестьдесят лет после её издания (1958), по отзывам в печати, не потеряла своего живого звучания.

У Вадима Кожинова есть статья "Позиция и понимание" (в кн. "Судьба России", М., 1990), написанная в связи с моим "Освобождением" (1982). Здесь на примере двух авторов Михаила Лобанова и "демократа" Адамовича показано, в чём различие между "пониманием" и "позицией".

Вадим Кожинов пишет, что в рассуждениях Адамовича о героинях его книги, испытавших ужасы оккупации, — рассуждениях, написанных одновременно со статьёй Лобанова, есть такая фраза: "Кажется, что полесские женщины-колхозницы все начитались... Достоевского... будто списывает кто-то с книг... Достоевского саму жизнь и подсовывает нам..." Что же касается Достоевского, Михаил Лобанов, невольно опровергая А. Адамовича, говорил в той самой статье: "Исторический опыт, пережитый нашим народом в XX веке, опыт ни с чем не сравнимый по испытаниям и потерям, перевернул многие предшествующие представления о ценностях, в том числе и в литературе. Этот опыт превзошёл всё, что только могло быть предсказано в прошлом, в том числе и все провидения Достоевского".

Вадим Кожинов спрашивает: "Почему же такое "расхождение" возникает между тем, что писали во времена "застоя" М. Лобанов и А. Адамович?.. Адамович просто **не понимал** того, что давно понял Лобанов... И уж, конечно, Адамович не понимал высказанной семь лет назад мысли о том, что жизнь XX века далеко превзошла провидения Достоевского... В конечном счёте дело заключалось в том, что Адамович принадлежит к литераторам, чья деятельность исходит не столько из **понимания** реальной истории и современности, сколько из такого типа организации сознания, который хорошо определяется словом "позиция". "Типичный образец "позиции", основанной не на реальном **понимании** дела, а только на желании что-нибудь "заклеймить". "Вообще, любая "позиция" (а не понимание) — плод всё того же неукротимого стремления к волюнтаристской "переделке бытия".

"В заключение вернусь к статье Михаила Лобанова, — пишет Кожинов, — с которой я начал разговор. В ней проникновенно сказано о ни с чем не сравнимом историческом опыте, пережитом нашим народом в XX веке. И если мы пренебрежём этим опытом, мы не только слишком много потеряем, но и наверняка обречём себя на гибель. А один из важнейших уроков этого опыта — ни в коем случае не руководствоваться в своём мышлении и действии самой что ни на есть привлекательной "прелестной" (вспомним древний смысл этого слова, означающего сатанинский соблазн) "позицией". Ибо любая "позиция" — это орудие политиканства, а не реальной, творческой политики".

Продолжая начатый Вадимом Кожиновым разговор о понимании, следует сказать, что иногда "понимание" может достигать высот, когда оно становится открытием нового бытия. Иван Аксаков в 1848 году, в возрасте 25 лет писал: "Надо жить, отвергая жизнь... Рушится быт повсюду; вместо тепла предложен воздух горних высот <...> уже вместились в нас это убивающее жизнь понимание..." (И. С. Аксаков. Письма к родным. 1844–1849). И это пишет молодой человек, вспоенный, вскормленный "теплом" быта, самой атмосферой любви и дружбы многодетной семьи, здоровой, казалось бы, стабильной основой христианского духа. И сколько в этом "убивающем жизнь понимание" предчувствия грядущего выветривания бытия, человеческих душ, энтропии мира. И как поверхностно, узко мироощущение западников, всякого рода ге-

гелистов, позитивистов, прогрессистов, нынешних либералов, “демократов” в нашей стране с их революционной чесоткой, маниакальной “позицией” перделывать русский народ, уничтожить Россию как самобытную православную цивилизацию.

Как сказано поэтом: “убежденье хоть не скоро возникает”, но сказать то же самое можно и о понимании. Говоря о пагубном влиянии на писателя “внутреннего цензора”, В. Астафьев пишет: “Так что извините, не знаю пока, кроме Твардовского “По праву памяти”, другого произведения современника, свидетельствующего об отсутствии внутреннего цензора. Но опять же возраст... Или вот Лобанов, написавший о нашей литературе статью “Освобождение”, за которую его хотели очень уничтожить. Но он-то точно не из молодых. Помните у Чехова: “По капле выдавливать из себя раба”? Но это раба! А чтобы внутреннего цензора, эту глисту, страшная, долгая кропотливая работа” (В. Астафьев, из интервью // Сельская жизнь. 1988. № 1).

Именно потому мои статьи, книги вызывали такой широкий общественный резонанс, что они писались без сковывавшего мысль “внутреннего цензора”, при внутренней свободе, что называется “прямо”, от сердца к сердцу. Тогда-то, кстати, и возникает взаимопонимание между автором и читателями, усвоение самого смысла понимания. Но тогда же и накидывались на меня, множились недруги.

Как две предыдущие мои статьи “Просвещённое мещанство” (“Молодая Гвардия”, 1968, № 4) и “Освобождение” (журн. “Волга”, 1982, № 10), этапной стала в моём творчестве и статья “Слепота” (“Наш современник”, 1991, № 11). Написанная в острейшем духовном предчувствии надвигающейся гибели великого государства, статья и произвела своё действие на читателя обнажённостью моей реакции на происходящее как на личную трагедию. Помнится, как сразу же после публикации её мне позвонил Игорь Шафаревич и сказал, что его поразила “духовная сила статьи”. И вот недавно, спустя уже четверть века, как она вышла, звонит мне выпускник моего литинститутского семинара, прошедший войну в Чечне, Виталий Носков и говорит, что перечитал ту мою давнюю статью “Слепота” и что она имеет “государственное значение”.

Не побоюсь повторить давно известное: сколько вложено в слово, столько и отзовется.

Вадим Кожинов назвал меня “наиболее полнокровно — из известных мне моих современников — воплотившем в себе русскую духовную стихию”.

Высшей формой убеждения является вера. В атеистической обстановке 60—начала 80-х годов минувшего столетия работать в идеологической области (в том же Литературном институте им. А. М. Горького, где я руководил семинаром прозы) “открыто верующему” не было возможности. Не знаю, прав ли я, но у меня оправданием было то, что я высказал как-то однажды Леониду Максимовичу Леонову: “Когда будет переписать населения, то нельзя скрывать своей веры, отречься от Христа, и Он отречётся от тебя”. “Нет, нет!” — замахал руками Леонид Максимович. После духовного переворота во мне в начале 1963 года в своих книгах, в общении со студентами я оставался “внутренним” христианином. Знаменитый священник, он же писатель Дмитрий Дудко, писал о том времени (60-70-е — начало 80-х годов): “Я Лобанова давно уже заметил по его произведениям, они мне очень нравились, были удивительно духовны. Как он всё хорошо понимал в безбожный период в нашей стране и безбоязненно обо всём говорил. Его статья “Освобождение” наделала большой переполох. Лобанова наказали. Вот они — герои, а всё выставляют кого-то, кто им и в подмётки не годится. Мучаются другие, а лавры пожинаят кто-то, но забывая враги, что есть Промысл Божий, есть Грозный Судия, по выражению Лермонтова: “Тогда напрасно вы прибегнете к зловещью, оно вам не поможет вновь...” Я почувствовал в Лобанове по духу сродное мне” (Священник Дмитрий Дудко. “Шторм или пристань”. М., 2001).

Когда студенты знали, догадывались, за какую “духовность” разносят меня в печати, на партийных собраниях, учёном совете Литинститута, так и я догадывался, знал о скрытой вере некоторых из них.

...Мы сидели с моим студентом поздно вечером после семинара вдвоём в пустой аудитории (№ 11) и говорили о его дипломной работе. Шла она у него туговато, писал он под Пруста — одна фраза почти на страницу, — нельзя было понять, о чём идёт речь. Я советовал ему взять какую-нибудь реальную историю из собственной жизни или даже услышанную от других, чтобы была опора на предметность, “натуру”, что он впоследствии и сделал (и защитил

дипломную работу). А тот наш разговор в пустой аудитории закончился так. В голосе моего собеседника послышалась нотка проповедничества, в лексике — “отцы церкви”, на что я, расставаясь с ним, сказал ему: “Володя, то, что ты сейчас говорил мне, помолчи об этом на экзамене по марксизму-ленинизму, там другие “отцы”, тебя не поймут, и останешься сиротой для Литинститута”. К счастью, отцы марксизма не распознали, с кем имеют дело, и уж не знаю, какими средствами ухода от опасности, но экзамен по грозному предмету был сдан. Было это с выпускником моего семинара Владимиром Орловским, который впоследствии стал игуменом Дамаскиным (Орловским), известным автором книг о новомучениках и исповедниках Российских XX века, секретарём Синодальной комиссии по канонизации святых.

Встретился как-то с другим своим бывшим “семинаристом”. Он рассказал мне, что написал письмо в Организацию Объединённых Наций о “современном положении человечества” с целью его совершенствования. И уже спустя много лет получаю от него письмо с фотографией его в монашеском одеянии. У меня невольно вырвалось: “Пономарёв! Юра Пономарёв!” Пять лет учился в Литинституте, выдумывал рассказы, интересных героев. А самое интересное, неожиданное, оказывается, он сам. Это тогда, в первую минуту поразило меня, а потом ушло в раздумье: сколько неожиданного, таинственного в жизни! От письма в ООН, от “общечеловеческого проекта” — к Евангелию, от Юры Пономарёва — к отцу Феодору, монаху Александро-Свирского монастыря (Ленинградская область). Мы переписываемся, встречаемся у меня в Москве.

Однажды, в самый разгар шума в печати о моей статье “Освобождение” получаю пакет от Василия Белова, открываю и вижу большую рукопись о моей статье, подписи — Евгений Булин. Неизвестный мне Булин из Башкирии послал свою статью обо мне Белову, а тот переслал её мне, вскоре и я получил ту же статью от самого автора. Видно, что молодой человек талантлив, явно с “духовными запросами”. Потом мы познакомились, когда он поступил в Литинститут, и хотя занимался на семинаре критики, но часто ходил на мой семинар прозы, даже когда закончил Литинститут, записывал нужное для него.

С “перестройкой” Евгений Булин уехал в Америку, у него там был родственник по жене — Николай Иванович Тетенов (редактор журнала “Русское самосознание”). Работал маляром, поступил в Свято-Троицкую духовную семинарию Русской Зарубежной Церкви в Джорданвилле, но после окончания первого курса (из шести) вернулся в Россию и стал служить в храме Покрова Божией Матери в Раменском районе под Москвой. У меня есть фотография: трогательно видеть небольшой храм, малое “стадо Христово” — приход в составе неизменных старушек, шествие их, возглавляемое батюшкой... Увидел я его в Литинституте, на выступлении перед моими студентами замечательного русского писателя отца Ярослава Шипова, и что-то дрогнуло во мне: показался он мне постаревшим — в его-то годы! Хотя “иго” это и “благо”, но сколько духовных, душевных, физических сил требует служение Церкви, Христу, более тяжкого подвига и нет. А тут он ещё задел во мне какой-то недозволенный нерв: жена Татьяна (она была на этой встрече) передала мне, что в моё отсутствие (я выходил из аудитории) на вопрос студентов, что стало толчком на его пути к вере, отец Евгений сослался на моё духовное влияние на него... Сейчас он служит в храме Михаила Архангела в селе Загорново в Подмосковье.

Как-то в конце 80-х годов мы втроём — Женя Булин (вернувшийся из Америки), Николай Тетенов и я — приехали в подмосковное Черкизово, где служил в храме отец Димитрий Дудко. Незабываемые сутки, проведённые с дорогим батюшкой! Днём мы прогуливались с ним по берегу Москвы-реки, удивительно широкой здесь, разговаривали на разные темы, о литературе, которую он очень любил, сам писал, изливал в простодушной форме свою открытость на все дары земного бытия, принимая и самое горестное, трагическое в своей жизни как “подарок от Бога” (одноимённое название его автобиографической повести с пронизывающей правдой о деревенском детстве в 30-х годах прошлого столетия).

Батюшка любил встречаться с молодёжью, не раз приходил на мой семинар побеседовать с молодыми авторами, переходя от одного студенческого стола к другому, выслушивал, приложив руку к уху, вопросы, отвечал просто и мудро. Выпускники Литинститута хорошо помнят его. Валерий Шелегов (из Канска Красноярского края), десятилетиями поздравляющий меня со всеми праздниками, вспоминает, как отец Димитрий спас его, вывел из тяжкого недуга. Преподавательница Литинститута Светлана Молчанова в трудное для

неё время по моему совету обратилась к отцу Димитрию, и за помощь его пожизненно благодарна ему. Был случай, когда один из моих выпускников, режиссёр по профессии, кажется, из Новочеркасского театра, ночью звонит мне в каком-то запале, путаясь в словах, кричит, что хочет покончить с собой, не может жить, что ему делать, куда обратиться, срочно, сейчас же. И первая моя мысль — не о “скорой помощи”, не о психиатрической больнице, о том, что было бы в порядке вещей, — а к отцу Димитрию. Я дал “ночному голосу” отца Димитрия телефон, и слыша, как “голос” понемногу успокаивается, просил его звонить отцу Димитрию не сейчас, а утром. Днём же узнал, что батюшка “отвёл беду”.

Истории, связанные с церковностью студентов, порой заканчивались неожиданным исходом, означавшим, что общественная жизнь была сложнее, богаче “тенденции времени”. Священник, известный писатель Владимир Чугунов вспоминает: “Хождение в церковь чуть не обернулось нашей троице исключением из Литинститута. Как узнал позже, по просьбе М. П. Лобанова он (ректор Литинститута В. К. Егоров. — **М. Л.**) обратился к своим бывшим коллегам из ЦК ВЛКСМ, те — к коллегам из КГБ, и кампанию прекратили, а уж казалось бы всё” (Владимир Чугунов “Преодоление неопитствующего максимализма”. “Литературная Россия”, 04.04.2014). Одним из этой “троицы” был мой “семинарист” Геннадий Рязанцев, об этом я рассказывал в своих мемуарах (кн. “В сражении и любви”, 2003). Впоследствии он стал священником в Липецке.

В годы горбачёвской “перестройки” и ельциновщины вроде бы был ослаблен внешний контроль властей над Церковью. Помнится, с каким подъёмом прошло в Новгороде празднование тысячелетия Крещения Руси в мае 1988 года, как выбрировал мост через реку от шествия многотысячной толпы к местному Софийскому собору... Уже не одни “белые платочки” можно было видеть в храмах, их стали заполнять массы людей, вереницы молодёжи шли сюда, чтобы венчаться, крестить своих детей. Все эти плодотворные признаки возрождения Православия в России активизировали и враждебные ему силы. Главный идеолог “перестройки”, её “архитектор”, он же член Политбюро А. Яковлев рассчитывал на некий торг, отправляясь в поездку в Оптину пустынь: мы передаём церковникам Оптину пустынь, а они должны уступить — отойти от “устаревших догматов”, то есть отказаться от Православия, которое, как известно, немыслимо без вековых, традиционных догматов. И хотя эта сделка не могла состояться, сама плюралистическая политика властей велась явно не в пользу Церкви.

В моей книге “В сражении и любви” мелькают имена околоцерковных диссидентов, ничтожных самих по себе, ныне уже никому не известных, которые своей агрессивностью, сплочённостью, общей ненавистью к Православной Церкви, как моль, пытались точить её здоровое тело, сеяли подлые наветы против Московского Патриархата. И поддерживал их в этом Солженицын, обвинявший Патриарха Пимена... во лжи (“Но после лжи какими руками совершать Евхаристию?” — из “великопостного письма” “Всероссийскому Патриарху Пимену”, 1972).

Моя связь с Церковью по интенсивности переживания более всего относится к периоду Патриаршества Святейшего Пимена (3 июня 1971 — 3 мая 1990). В моей памяти он остался своим суровым обликом, величественным в богослужении, чётким, на весь храм, голосом необычайной красоты. Тогда кафедральным был Богоявленский (Елоховский) собор, и я посещал проходившие там патриаршие службы, почти всегда на Страстной седмице. Помню, как однажды в Великий Пяток, стоя у вынесенной из алтаря Плащаницы, опираясь на жезл, он произнёс такую проповедь в нескольких словах, повторяя кого-то из Отцов Церкви: “Что мы можем сказать в этот час? Мы можем только молчать и плакать”.

Избранный Поместным собором на первосвятительское служение, Патриарх Пимен обозначил главным в деятельности Патриархии сугубо бережное отношение к православному вероучению, к каноническим основам церковного строя. “Я хочу, чтобы наше богословие было всегда сугубо ортодоксальным... Мне хотелось бы... чтобы традиции Русской Православной Церкви неукоснительно сохранялись <...>” (История Русской Церкви. 1917–1991. Книга девятая. Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, М., 1997).

И Патриарх Пимен от начала до самого конца своей деятельности как Предстоятеля Русской Православной Церкви твёрдо стоял на незыблемом сохранении в ней традиции, оберегая её, защищая от диссидентствующей обnoxious заразы.

Мало кто, только близкие к Патриарху люди знали, как он в последние годы страдал от тяжкой болезни. Врачи настаивали на операции, но Патриарх отказался, веряя свою судьбу воле Божией. Во время отпевания Святейшего Патриарха Пимена Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II в своём слове соболезнования сказал: “Когда мы со стороны смотрим на жизнь Святейшего Патриарха Пимена, то видим только величие и славу, вспоминаем торжественные богослужения, но не видим тяжёлых испытаний, которые он перенёс, бессонных молитвенных ночей, слёз и страданий, того тяжёлого креста, который он нёс на своих раменах. Святейший владыко, прости нас за нашу близорукость!” (Там же. С. 479).

А я вижу Святейшего Патриарха Пимена таким, каким видел его последний раз в Богоявленском соборе в 3-ю неделю Великого поста, Крестопоклонную, медлительно шествующего в толпе верующих при знобящем душу песнопении: “Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим”...

Осенью 1990 года в Италию, на Капри, на конференцию “Религия и культура” выезжала группа писателей, сотрудников Института мировой литературы (ИМЛИ), в составе которой был и я. Тема разговора был задан тогдашним епископом Никандром, который решительно провёл непроходимую границу между религией и культурой: резко, бескомпромиссно противопоставил вертикальную линию самопознания — связь с Богом — с горизонтальной — связь с культурой, не допуская абсолютно никакой возможности их взаимопроникновения. Другие выступавшие защищали культуру, “проводника божественной просветлённости”, видели её и там, где её быть не могло (в “серебряном веке”), в “воскрешении” (не в воскресении) Н. Фёдорова, в “Розе мира” Д. Андреева, в “пассионарности” Гумилёва (не в исихазме Паламы). Звучали имена модных зарубежных философов, и почти ничего не говорилось о Православии. В своём выступлении я говорил о том, сколько духовной смуты внесла в прошлое, да и теперь вносит философствующая интеллигенция, как боролись с этим лучшие наши русские мыслители и иерархи Церкви, что в нынешнее катастрофическое для России время испытывается наша тысячелетняя вера и единственной “твердыней духа” для сближения всех здоровых творческих сил может быть только Православие. Под таким названием “Твердыня духа” и было опубликовано моё выступление в газете “Литературная Россия” (11 января 1991).

В моём возрасте писать о литературе (когда надо бы отчитываться перед “вышей инстанцией” за всю прожитую жизнь) вроде как “несолидно”, несерьёзно, но что делать, если эта литература стала моей проклятой долей, тем более что от неё неотделимо то, что я считаю своим убеждением. О моей пожизненной верности своим убеждениям говорил даже такой рьяный либерал, мой гонитель, как Анатолий Бочаров, начиная наш с ним еженедельный диалог в “Литературной газете”: “Рад возможности провести диалог с Вами, Михаил Петрович, критиком, твёрдо отстаивающим уже не один десяток лет свои взгляды, в отличие от многих вертодоксов, если вспомнить выражение Л. Леонова. Взгляды у нас, правда, разные на всё, что происходит в литературе. Да и не только в литературе” (“Литературная газета”, 6 сентября 1989).

Здесь я должен прервать начатый диалог и привести слова К. Аксакова: “добросовестное глубокое убеждение уже по одним этим качествам заслуживает уважение. Как скоро оно ошибочно, оно требует добросовестного опровержения, требует спора дельного, а не выходок <...> часто наполненных разными искажениями и клеветами, взводимыми на противника...” Вроде бы воздав должное своему оппоненту “за твёрдое отстаивание уже не один десяток лет своих взглядов”, А. Бочаров в итоговом обсуждении диалогов называет мои вполне резонные суждения “мракобесием”, не приводя никаких доказательств этого лихого приговора. Сам пленник безнадёжной языковой серости, он не понимает той разницы, которая может существовать между оппонентами, что понимает, скажем, другой либерал, который, не принимая моего толкования народности А. Н. Островского в моей книге о нём, всё же считает нужным оговориться: “Скажу искренне, автор, безусловно, талантлив. Слог его можно позавидовать. Многие рассуждения интересны, есть места просто отличные”. Но отмечено здесь как главное — именно слог, в наше время ни о каком слоге в литературе уже не говорят, хотя это главная особенность творческой индивидуальности, и многозначительно как бы проходное замечание автора статьи, видящего в разбираемой им книге об Островском с её “завидным” слогом, с её сотысячным тиражом “перехват целого поко-

ления читателей” (В. Кулешов “А было ли “Тёмное царство?” “Литературная газета”, 19 марта 1980 г. ).

Небезызвестный “в узком кругу” идеолог режима 90-х годов, он же автор постмодернистского романа о них В. Сурков в одной из своих лекций перед активистами партии “Единая Россия” привёл высказывание Н. Бердяева о дворянстве, как о “белой кости”, существование которой “есть не только сословный предрассудок”, но и “антропологический факт”. Но у Бердяева есть и такие слова: сословный аристократизм кончился, наступило время “духовного аристократизма”, которым могут быть отмечены люди любого сословия, социальной группы. В сущности, это то же самое, о чём говорил до него ещё И. Аксаков, потомок тысячеклетного дворянского рода, который в середине XIX века выступил за упразднение дворянства как привилегированного сословия и в своей “теории общества” писал: “Общество, по нашему мнению, есть та среда, в которой совершается сознательная умственная деятельность известного народа, которая создаётся всеми духовными силами народа, разрабатывающими народное самосознание... Общество образуется из людей всех сословий и состояний — аристократов самых кровных и крестьян самой обыкновенной породы, соединённых известным уровнем образования”.

О писателях Пушкин говорил: “Писатели во всех странах есть класс самый малочисленный из всего народонаселения <...> Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли”.

Впрочем, заведённый “по Бердяеву” разговор о “белой кости”, что называется, — “пристегая к кобыле”. Имеется в виду “элита” другая, современная, а вот какая она — об этом говорит В. Сурков в своей лекции. “Одно из самых важных достижений 90-х годов, мне кажется, то, что в такой достаточно зоологический период нашего развития к ведущим позициям пробилась по-настоящему активные, стойкие, целеустремлённые и сильные люди, “материал для формирования нового, ведущего слоя нации”. Мне вспоминается, когда на отпевании поэта Виктора Кочеткова священник говорил, как много умирает молодого возраста от тридцати до сорока лет предпринимателей. Выходит, не такие уж сильные люди. О тех же, на кого делает ставку В. Сурков, как на “новых дворян”, хорошо говорит врач: “Я ушла из частной (бывшей ведомственной) клиники из-за того, что осточертело прыгать вокруг “больших боссов”, с устрашающей регулярностью укладывающихся в стационар с похмельным синдромом. Вместо того чтобы заниматься тяжёлыми пациентами, приходится оказывать “знаки внимания” “элитным деятелям” (“Литературная газета”, № 16, 19–25 апр. 2006 г. ) Кто не знает, через какой криминал, разбой, через какие кровавые преступления, трупы соперников по грабежу пробивались “к ведущим позициям” упомянутые “сильные люди”, материал для формирования нового ведущего слоя нации”. И от этого “одного из самых важных достижений 90-х” тянется кровавый шлейф к нашим дням, отравляя смрадом нравственного разложения всё наше бытие. Таким же продуктом “зоологической среды” 90-х, как хищное предпринимательство, стали и метастазы господствующей у нас разрушительной идеологии (при лицемерном отказе режима от всяких идеологий). Вот он, кодекс “новой морали”, ненавистничества: “больше наглости” (Чубайс); “брезгливость к жалости” (Д. Баканов); “русский фашизм страшнее немецкого” (Швыдкой). В своё время П. А. Флоренский писал о русских поэтах: “Гонимые, окружённые помехами, с заткнутым ртом... Процветали же всегда посредственности, похитители чужого” (“Из письма к родным”, Соловки, 1937). Ныне эти “похитители чужого”, дети кровавых 90-х, вполне естественно вошли в дьявольскую систему обогащения как “успешные писатели”. После “новых русских” в “новой России” — “новые реалисты”, прочие “нашисты” в литературе с той же хищнической хваткой, наглым безъязычием, плебейством всяческих “елтышевых”, и всё это щедро поощряется правительственными государственными премиями.

Священник Владимир Соколов в своей книге “Мистика или духовность? Ереси против христианства” (М., 2012), обоснованно выделяя проблему таланта в современном мире, пишет: “Настоящий талант всегда связан с религиозностью. Подлинно талантливый человек не может быть не религиозным, так как целостность невозможна без религиозности, а талантливость — без целостности” (с. 195). “Более того то, что сегодня называют успехом, на самом деле часто является судьбоносным провалом, ибо в достижении успеха не брезгают никакими средствами — важен только результат... Талант всегда восходит, а бездарность

падает, вовлекая в поток падения и окружающих. Восхождение же требует воздержания от соблазна — аскетического подвига, поэтому талантливый человек почти всегда лишенец: во-первых, развращённое общество из ненависти лишает его благ, во-вторых, и сам он ограничивает себя в потреблении, ибо обилие и роскошь развращают дух, а в творчестве приводят к пошлости” (с. 197-198). “...обновление жизни, в котором так нуждается сегодня мир, невозможно, если подлинно талантливые люди не займут центральное место в духовной, общественно-политической и культурной жизни человечества... Искать таланты — это жизненная необходимость для любого народа. Если ему удастся найти и выдвинуть истинные таланты для общественного служения, то такой народ ожидает подлинный общественный успех... Можно сказать, что наше будущее, а в сегодняшней постановке вопроса — и наша жизнь зависит оттого, сумеем ли мы найти и выдвинуть на служение народу истинные таланты” (там же).

Должен сказать, исходя из личного опыта, какой платой может обернуться для вас в жизни верность своим убеждениям и, что особенно печально, трагично, — для самых близких вам, родных людей. И да поможет вам тогда несокрушимая истина — ничего не происходит в мире без произволения Божьего.

### ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Многоуважаемый Михаил Петрович!

От всего сердца я поздравляю Вас с Днем Великой победы. Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Я, как и миллионы других россиян, хочу прежде всего сказать спасибо Вам за Победу! Майский весенний день как нельзя лучше подходит для такого светлого, душевного праздника! Я поздравляю вас с 9 Мая и желаю знать в жизни только хорошее! С праздником!

Есть люди, талант которых неоспорим. Я с огромным уважением и любовью отношусь к Вашему творчеству.

Пусть хотя бы частичка той доброты и любви, которую дарите нам Вы своим талантом и великолепным мастерством вернется к Вам в виде любви и почитания преданных поклонников (ну, как минимум таких, как я) Сэмюэль Беккет сказал гениальные слова: “Жизнь как тюрьма: каждый живет в отдельной камере. А искусство — когда узники этих камер начинают перестукиваться”. Спасибо Вам за то, что Вы своим талантом, своим мастерством, пытаетесь достучаться до наших сердец.

Я приглашаю Вас в гости в славный город Новочеркасск (город уникальный и по красоте, и по исторической значимости), который находится всего в 15 минутах езды от Ростова.

С глубоким уважением и признанием Вашего таланта.

Эдуард Ревенко, Кристина Ревенко (дочка)

**Р. С.** Уважаемый Михаил Петрович!!

Если Вас не затруднит подписать фотографию для нашей семьи и наклейки для книг “Великий государственный”, “Аксаков”, “Твердыня духа”, которые есть в нашей библиотеке, будем Вам очень благодарны. Это же будет нам и знаком того, что наше письмо нашло своего адресата и не затерялось в дебрях нашей почтовой системы. Зная Вашу занятость и не желая занимать Ваше драгоценное время, заранее кладем надписанный конверт. Просим извинения, если побеспокоили Вас. Семья Ревенко.

\*..\*..\*

Дорогим моим неожиданным друзьям  
Эдуарду Ревенко и Вашей дочке Кристине:

*Когда сочувственно на наше слово  
Одна душа отзывалась —  
Не нужно нам возмездия иного,  
Довольно с нас, довольно с нас...  
(Ф. Тютчев)*

Ваше письмо, милые мои, глубоко взволновало меня и стало для старого писателя-фронтовика лучшим подарком, и не только ко Дню Победы.

Вас. Вас. Розанов говорил, что единственное, чем мы, существа жалкие, беспомощные, можем помочь друг другу, это — молитва. Читая Ваше письмо, я чувствовал, что это как будто и молитва обо мне, и на это можно отвечать только тем же самым. Дай Бог Вам, Кристине, всей семье всех возможных радостей в жизни, а Вашей дочке — и женского счастья.

Благодарю Вас, дорогой Эдуард, за приглашение побывать у Вас в Новочеркасске. Увы, по возрасту и состоянию здоровья не могу воспользоваться Вашим гостеприимством, хотя очень хотелось бы увидеть Вас, побродить по Вашему историческому городу, столь вошедшему в моё сознание по “Тихому Дону” — с трагедией казачества в гражданскую войну. Да и сам я в конце 1952 г. лежал в Новочеркасске в больнице (где мне делали операцию на лёгких). И вообще, ещё со времён учёбы в Московском университете (1944–1949), после чтения потрясшего меня “Тихого Дона” так тянуло на Дон, что я после окончания МГУ поехал туда работать — в областную газету “Молот” (проработал три с половиной года, в том числе “собкором” газеты на строительстве Волго-Донского Канала). Очень жалею, что из-за сковавшего меня туберкулёза лёгких (с пневмотораксом) мало что смог увидеть по следам казавшейся тогда ещё такой недавней гражданской войны.

Самые тёплые пожелания Вам и от моей любимой жены Татьяны, которую тоже очень тронуло Ваше письмо.

Ваш Михаил Лобанов.  
Троица, 8 июня 2014.

### **“ЛОБАНОВСКАЯ ТВЕРДЬ”. ПИСАТЕЛИ И КРИТИКИ О М. ЛОБАНОВЕ**

“Лобанов Михаил Петрович (родился 17. 11. 1925) — русский критик, публицист и общественный деятель. Вырос в многодетной крестьянской семье на Рязанщине близ родины Есенина. В 17 лет был призван в армию, на Курской дуге получил тяжёлое ранение, был демобилизован. Окончил филологический факультет МГУ в 1949 году. Первая книга — “Роман Л. Леонова “Русский лес” (1958). Приобрёл широкую известность публикациями в “Молодой гвардии”, одна из которых стала истинной классикой Русского возрождения (“Просвещённое мещанство”, 1968). Автор биографии драматурга А. Н. Островского и славянофила С. Т. Аксакова, ряда других книг, составитель документального сборника “Сталин” (1995). Лобанова всегда отличала верность русскому патриотизму, никогда не каляла и не отступал перед постыдными поношениями и угрозами со стороны космополитов — партийных или “демократических” в равной мере. С 1960-х преподаёт в Литературном институте, многие из его учеников успешно продолжают дело учителя”.

**С. Семанов. Русский патриотизм.  
“Энциклопедия русской цивилизации”, 2003**

“Дорогой Михаил Петрович, я получил Ваши книжки и прочту их незамедлительно, тем более что там, видать, кое-что написано и про меня.

Большое спасибо за всегдашнее Ваше доброе ко мне отношение. Правду сказать, оно весьма скрашивает мне действительность и потому имеет для меня первостепенное лекарственное значение.

Навестили бы меня для взаимообозрения в стиле знаменитой ярославской частушки:

*А давайте-ка, робята,  
Отойдём да поглядим,  
Хорошо ли мы сидим...*

Позвоните — я почти безвылазно на даче”.

**Леонид Леонов. 17 июня 1963**

“Когда мне хочется почувствовать самое глубинное, чистое, сильное — я беру Лобанова (кн. “Время врывается в книги”) и нужное вызываю в себе”.

**Алексей Прасолов из места заключения в письме к критику  
Инне Ростовцевой за 1963 год. Альманах “Поэзия”, 1986, № 46**

“Новое направление журнала “Молодая гвардия” начало складываться, прежде всего, в статьях Михаила Лобанова “Чтобы победило живое” (1965, № 12), “Внутренний и внешний человек” (1966, № 5), “Творческое и мёртвое” (1967, № 4), но стало явным для всех позднее”.

**Вадим Кожин, кн. “Судьба России”, 1990**

“Да, можно выделить, перечислить и оценить отдельно мысли этой и смежных статей “Молодой гвардии”, весьма неожиданные для советской печати.

У нас выросло просвещённое мещанство. (Да! — и это ужасный класс — необъятный, некачественно образованный слой, образованщина, присвоившая себе звание интеллигенции — подлинной творческой элиты, очень малочисленной, насквозь индивидуальной. И в той же образованщине — весь партаппарат).

Молодого человека нашей страны облепляют выхолощенный язык, опустошающий мысль и чувство; телевизионная суэта, беготня кинофильмов.

Одним словом, в 20–30-е годы авторов таких статей сейчас же сунули бы в ГПУ да вскоре и расстреляли”.

**А. Солженицын. “Бодался телёнок с дубом”**

“Внеисторический, внеклассовый подход к проблемам этики и литературы характерен для понимания М. Лобановым эпопеи Л. Толстого “Война и мир”. Отечественная война 1812 года трактуется М. Лобановым как период классового мира, некоей национальной гармонии. Неприятие М. Лобанова вызывают идеи Великой французской буржуазной революции: якобы избавление от них, как от “наносного, искусственного, насильственно привитого”, и “возвращение к “целостности русской жизни” обеспечило, по его мнению, “нравственную несокрушимость русского войска на Бородине”.

**А. Яковлев. “Против антиисторизма”.  
“Литературная газета”, 15 ноября 1972**

“Очень мне понравились Ваши суждения о Булгакове в рецензии на Виктора (Петелина) — <...> да, талант, но именно театральность в нём сидела неистребимая! Очень тонко подмечено!...”

С уважением сердечным, **Олег Михайлов. 31.10.1972**

“Михаил Петрович! Спасибо за письмо. И за отзыв на рассказы Шукшина. Всерьёз ли хотят издать их в “Р. газете”? Хорошо бы. И состав Ваш мне очень нравится. А как по объёму? Нельзя ли увеличить? Сообщите, что узнаете.

А я по-прежнему прошу Вас участвовать в создании книги. Причины Вашего отказа считаю несостоятельными. Если есть другие причины — другое и дело. Нужна не “более любящая”, как Вы говорите, а объективная статья. Не статья, а книга на 12 листов. Я лёг костями в “Советском писателе” на пути Чаковского, хотя, с другой стороны, не имел права этого делать, так как совсем не подхожу для писания книги о ком бы то ни было, тем более о своём покойном друге. Но что было делать? (Нельзя же было позволять этой шпане оставлять за собой последнее слово).

Я прочитал Ваш отзыв и не вижу ничего, что не соответствовало бы замыслу книги. И сам Василий Макарович, насколько я знаю его, ничуть бы не обиделся на Вашу критику, хотя, может быть, и поспорил бы в чём-то...

Одним словом, Михаил Петрович, ради Бога, подумайте ещё!..

Почтительно, Белов. 29.01.75”.

**Из письма В. И. Белова от 29.01.1975**

“Спасибо Вам за добрые слова о моих повестях. Что касается “Живи и помни” — возможно, Вы и правы, но было бы неприлично мне полностью соглашаться с Вами. Я же, не кто другой, хлопотал и её. И сил на неё извёл немало. Я ищу для себя надежду и утешение в том, что Вы смотрите на неё со своих критических и гражданских позиций, которые мне, кстати, очень сродни, но они со временем, как и всякие позиции, могут измениться в зависимости от позиций наших противников. Но это так, повторяю, для собственного утешения.

Очень отраднo было читать страницы в защиту русского языка. Сердце болит, как посмотришь, что делают с ним свои и чужие.

Всего Вам доброго”.

**Из письма В. Распутина от 8 сентября 1978**

“Да, М. Лобанов относится к мысли Добролюбова, справедливо увидевшего трагедию народного характера в невозможности жить по-старому, по законам “тёмного царства”, отнюдь не как к мёртвой, застывшей догме, но как к живой развивающейся идее. Если критик революционной демократии исходил в своей оценке драмы из страстной веры в близкую кончину “тёмного царства”, то современный критик, осмысливая то же явление, обязан исходить из знания реальной исторической последовательности событий: “тёмное царство” крепостничества сменилось, как мы знаем, не “светлым царством” свободы, но ещё более “тёмным царством” буржуа... Взгляд М. Лобанова на трагедию Катерины как на отражение судьбы народного характера, “идеала в переходные кризисные эпохи” (с. 140) представляется продуктивным, не опровергающим, но закономерно развивающим идею Добролюбова...”

**Ю. Селезнёв. “Служить своему времени и своему народу”.  
“Вопросы литературы”, 1980, № 9**

“Были и раньше подписанные статьи, близкие по духу и по позиции Н. Андреевой... Достаточно вспомнить выступление журнала “Наш современник” уже нынешнего года (статья “Послесловия из воспоминаний”), где критик Михаил Лобанов, приветствуя падение “Нового мира” Твардовского, говорит об изживших себя, “исчерпавших себя” (!) “либерально-прогрессистских тенденциях”.

**“Как ловчат противники перестройки”.  
“Московские новости”, 1988, № 18**

“Уважаемый Михаил Петрович! Я мог бы, обращаясь к Вам с этим письмом, поставить и другие эпитеты: “дорогой” и т. д. Но на этот раз мне захотелось воспользоваться простым и очень искренним словом “уважаемый”... В последнем “Современнике”, всё ещё (6 недель) находясь в больнице, я прочёл Вашу статью, которая абсолютно точно, без обманов и жульничества, поставила всё сразу на место. (О, как же и это, и другое сейчас распространено!) А цитаты Твардовского и Симонова? Ведь известно, что, несмотря ни на что, всё так же... пытается отмыть К. С. от его древнего, как мир, двурушничества... И т. д. Не хочу повторять Ваши мысли, одно могу сказать — статья глубокая и самая главная за последнее время...”

И ещё хочу сказать Вам: я никогда не изменю своих взглядов. Наши “друзья” понимают это и потому травят и меня, и вас, и других...

Сердечный привет”.

**А. Софронов. Из письма от 25.07.1988**

“Поведение Солженицына (как и поведение Сахарова или Шафаревича, Леонида Бородина и прочих антисоветских диссидентов, обласканных Западом), без сомнения, разительно отличалось от поведения М. Лобанова и других русских писателей, критичных к советской истории, но не опускавшихся до апелляции к лжесвободному миру, до сотрудничества, сорабничества с ярыми, безусловными врагами своего Отечества. Не искавших ни “понимания”, ни поддержки, ни славы на исстари ощеренном против России Западе...”

Я полагаю, что помимо непосредственного чувства, которое удерживало или прямо отталкивало этих людей от столь лъстившего Солженицыну и его близкой компании западного, американо-германо-израильского сочувствия, литераторы типа М. Лобанова (позволю себе такое обобщение) обладали достаточным разумом, чтобы понимать: за действительный русский патриотизм на Западе не платят ни славой, ни долларами, ни учёными званиями, ни докторскими мантиями, ни почётными лауреатствами... Что именно неустребованность Западом может сделать честь русскому патриоту...”

**Татьяна Глушкова. Журнал “Молодая гвардия”, 1995, № 1**

“В статье “Просвещённое мещанство” автор обвинил советскую интеллигенцию (её либеральное крыло) в духовном вырождении, назвал её “заражённой мещанством массой”, которая визгливо активна в отрицании и разрушительстве. В итоге Лобанов призывал власть опираться не на прогнившую сплошь проамериканскую, омещанившуюся интеллигенцию, а на простого мужика, который способен сохранить и укрепить национальный дух, национальную самобытность... Следом за этой статьёй в том же журнале вышла ещё одна — В. Чалмаева на эту же тему... Именно в этот спор, который шёл

уже на протяжении последних двух лет, и вплёл свой голос Высоцкий... Из-под его пера родилась песня про джинна (1967), где он вволю поёрничал над национализмом русского разлива... Этот раб-джинн представляет из себя весьма неприятное на вид чудище ("зелёное, пахучее, противное"), напоминающее "мужука". И здесь намёк более чем прозрачен. Вспомним, на кого призывал опираться в своей статье М. Лобанов — на простого русского мужика, а не на омещанившуюся интеллигенцию... Либеральная публика из числа столичной интеллигенции советскую деревню презирала, воспринимала её обитателей как безликую серую массу, безропотную опору советского режима".

**Ф. Раззаков. "Я в колесе не птица", или "Чёртовое колесо" Владимира Высоцкого. "Советская Россия", 22 июля 2010**

"Она (статья "Освобождение") принадлежит к тем событиям в моей жизни, которые изменили очень многое во мне как в человеке... Я понял, что это — моё. Я отсюда вышел... Но на самом деле, многие Ваши статьи определённым образом изменили в нашей стране взгляды огромного числа людей, значит, они изменили и нашу страну".

**Владимир Костров. "Российский писатель", 2005, № 23-24**

"Забуть ли, с каким нетерпением взбирался на двадцать второй этаж высотного здания МГУ в аспирантскую свою пору, чтобы, отложив в сторону Музиля, о котором писал, и Гессе, которого переводил, полистать свежие журналы в тамошней библиотеке. С каким упоением — западник! — проглатывал, к примеру, "Освобождение" Лобанова. За непомерным окном "сталинского" небоскреба пуржит, а взвихрённая мысль автора уносит в ту заснеженную бескрайность России".

**Юрий Архипов. "Литературная Россия", 2010, № 26**

"О недавнем 80-летию Михаила Петровича Лобанова с телеэкрана не было сказано ни слова. Между тем, вклад этого человека в духовную жизнь Отечества по-настоящему значителен и весом. В своё время явлением не только в литературной критике, литературоведении, да и вообще в литературе, но и во всей нашей общественной жизни стали такие статьи Михаила Лобанова, как "Просвещённое мещанство" и "Освобождение". С огромным интересом воспринимались, как правило, его книги, и даже написанные, казалось бы, о личностях исторических, скажем, о Сергее Тимофеевиче Аксакове или Александре Николаевиче Островском, звучали они всегда сугубо современно.

Хотя почему — "звучали"? И сегодня звучат! Недавно вышедшая его книга "В сражении и любви", вместившая глубокие размышления автора о дне вчерашнем и нынешнем, сугубо злободневна. Как злободневна лобановская публицистика последних лет на страницах "Нашего современника", "Молодой гвардии", "Советской России", "Правды" и других патриотических изданий. Вместе с тем он уже более сорока лет работает в Литературном институте им. А. М. Горького, ведёт два творческих семинара прозы. Вот почему так хотелось мне поговорить с ним о сегодняшнем состоянии русской литературы как неотъемлемой части культуры Отечества".

**Виктор Кожемяко. Газета "Советская Россия", 26.01.2006**

"Сколько написано и сказано ныне о Сталине! И восторженного, и уничижительного, и доброго, и откровенно злого... У Михаила Лобанова — свой, отличающийся от таких рассуждений ход. Это тщательно изученные и прокомментированные опытным публицистом, писателем, критиком живые свидетельства об Иосифе Виссарионовиче Сталине, а также подлинные документы, относящиеся к его многогранной деятельности. Остаётся лишь поразиться тому, сколь долго и тщательно, с каким вниманием и упорством собирал все эти материалы автор, чтобы затем выстроить из них цельную, захватывающую, а главное — убедительную книгу!.. Я слышал о ней уже много отзывов — и ни один из них не обошёлся без примечания: это работа настоящего мастера".

**Евгений Нефёдов. "Завтра", 2008, № 35, август**

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ

## “РУССКИЙ ДЕРВИШ”, ИЛИ ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ В ПЕРСИИ

*Я живу на грани России и Персии, куда меня очень тянет. На Кавказе летом будет очень хорошо, и я никуда не собираюсь выезжать из него. Снимаю с себя чалму Эльбруса и кланяюсь мощам Москвы.*

### “У гения своя дорога”

Место рождения поэта всегда скрывает в себе некую тайну пробуждения поэтической энергии, которая проявляет себя по-настоящему только через много-много лет. Так случилось и с русским поэтом Велимиром Хлебниковым, одной из самой загадочных фигур в истории отечественной поэзии, которому суждено было появиться на свет на перекрёстке разных культур и религий, на стыке Запада и Востока. Сам поэт так вспоминал об этом: “Родился 28 октября ст<арого> ст<илия> 1885 года в стане монгольских, исповедующих Будду кочевников — имя “Ханская ставка”, в степи — высохшем дне исчезающего Каспийского моря... Вступил в брачные узы со Смертью и, таким образом, женат”. Отец поэта Владимир Алексеевич — учёный, лесовед, орнитолог — служил тогда попечителем Малодербетовского улуса управления калмыцким народом и, как писал впоследствии его сын:

*Меня окружали степь, цветы, ревущие верблюды,  
Круглообразные кибитки,  
Моря овец, чьи лица однообразно худы,  
Огнём крыла пестрящие простор удода —  
Пустыни неба гордые пожитки...*

По долгу службы отец поэта постоянно переезжал с семьёй, сначала на Волинщину, потом в Симбирскую губернию, а затем в Казань и Астрахань, заложив в судьбе поэта стойкую странническую струю, причём такую явную, что она вызывала удивление у многих знавших поэта. Так, В. Маяковский вспоминал: “Ездил Хлебников очень часто. Ни причин, ни сроков его поездок

нельзя было понять. Года три назад мне удалось с огромным трудом устроить платное печатание его рукописей. Накануне... я встретил его на Театральной площади с чемоданчиком. “Куда вы?” — “На юг, весна!...” — и уехал. Уехал на крыше вагона”.

“У гения своя дорога”, — сказал как-то сам о себе Хлебников, чья страсть к путешествиям часто переходила всякие границы разумного. Художница Нина Коган, почитательница поэта, спросила его однажды, каждый ли поэт может написать по-настоящему хорошие стихи? “Стихи, — ответил Хлебников, — это всё равно, что путешествие, нужно быть там, где до сих пор ещё никто не был”. Получается, что постоянные разъезды, внезапные отлучки и исчезновения были для Хлебникова продолжением его творческого поиска, ради которого поэт готов был объехать весь свет, хотя бы на крыше вагона, или даже обойти его пешком. Во время Первой мировой войны призванный в армию поэт признавался: “Меня давно зовут “оно”, а не он. Я дервиш, йог, марсианин, что угодно, но не рядовой пехотного запасного полка”. Он однажды очень просто сформулировал свою главную мечту: “Я хотел издалека, как грядущих облаков, как дальний хребет, увидеть весь человеческий род”.

С 1917 года Хлебников постоянно находился в гуще революционных событий. О том годе он писал: “Это было сумасшедшее лето, когда после долгой неволи в запасном пехотном полку, отгороженном забором из колючей проволоки от остальных людей... я испытывал настоящий голод пространства, и на поездках, увешанных людьми... проехал два раза туда и обратно, путь Харьков–Киев–Петроград. Зачем? Сам не знаю”. А потом в 1917–1919 годах последовали странствия поэта с одним вещевым мешком, заполненным рукописями стихов и рисунками, в Москву, Петроград, Киев, Таганрог, Царицын, Нижний Новгород, Казань, Астрахань, Харьков. Поэт собственными глазами видел все стороны разбушевавшейся в стране стихии — от энтузиазма масс до голода, холода, крови, красного террора и бесчинств белых (чтобы избежать призыва в белую армию, поэт фактически спасался в Харькове в психиатрической лечебнице), но он всё равно не разочаровался в революции, видя в ней нечто тектоническое и вселенское.

Поэта, постоянно интересовавшегося событиями на всём земном шаре и отражавшего в своём творчестве, к примеру, цивилизацию индейцев и завоевание Америки испанцами, африканские коллизии и историю Индии, больше всего влек к себе загадочный Восток. На переломе 1918–1919 годов, мечтая о путешествии в Персию и Индию, Хлебников написал в Астрахани повесть “Есир”, в которой, окунувшись во времена Степана Разина, провёл своего героя, астраханского рыбака Истома, путями “хождения за три моря” Афанасия Никитина, через Кавказ, Персию, Индию и Яву. Пройдя в поисках истины полмира, Истома вернулся к исходной точке: “Когда его сильно потянуло на Родину, он вернулся вместе с одним караваном, посетил свой остров, но ничего не нашёл, кроме сломанного весла, которым когда-то правил. Грустно постояв над знакомыми волнами, Истома двинулся дальше. Куда? — он сам не знал”.

Проживая долгое время в Астрахани, поэт считал её “окном в Персию и Индию”, местом, “где смотрит Африкой Россия”, “где дышит в башнях Ассирия”, где “чалмы зелёные толпой... бродят в праздник мусульман”, где “мечеть и храм несёт низина”. Именно здесь он узнал, что такое ислам, увидев в нём и “русские черты”:

*Как зная мы молодость в бурю возвысим,  
Рукой огневою начертим мы смех.  
Ах, мусульмане те же русские,  
И русским может быть ислам.*

*“Хаджи-Тархан” (1913)*

Тема Востока пестрит во многих произведениях Хлебникова. Так, стержнем фантастической повести “Ка” стала история двух влюблённых, сюжет которой получил известность благодаря поэме Низами “Лейли и Меджнун” (1188). И опять действие повести происходит в Египте, Абиссинии, Персии, Индии и других далях. Поэт вообще считал историю ключом к познанию мира: “Мы должны уметь читать знаки, начертанные на страницах прошлого, чтобы освободиться от роковой черты между прошлым и будущим...”

## На пути к Персии

1 сентября 1920 года в Баку начал работу Первый съезд народов Востока. Хлебников повезло получить от Харьковского политпросвета командировку в Баку и попасть на съезд, который оказал на поэта сильное влияние, воодушевив его выполнить, наконец, свою мечту и посетить Персию, ведь ещё 13 июля того же года поэт записал в своём дневнике: “Вышел “Ладомир”. Хотел ехать в Персию”. Под впечатлением съезда народов Востока Хлебников как бы предвидел своё будущее:

*Видите, персы, вот я иду  
По Синвату к вам.  
Мост ветров подо мной.  
Я Гушедар-мах,  
Я Гушедар-мах, пророк  
Века сего и несу в руке  
Фрашокёreti (мир будущего).  
...Клянётся золотыми устами Заратустры —  
Персия будет советской страной.  
Так говорит пророк!*

Однако путь в Персию в судьбе поэта лежал через новые поездки в Ростов-на-Дону, Армавир, дагестанский аул вблизи Дербента и снова в Баку. Занятный в библиотечно-лекторский отдел политпросвета Каспийской флотилии, Хлебников жил в морском общежитии, выступал с лекциями, занимался разносторонним творчеством, вызывая у окружающих постоянное удивление своим странным видом. Как вспоминала Т. Вечорка, “его видят то босым, то в дырявых ботинках с разматывающимися обмотками: высокий человек с большой рыжеватой гривой волос, в рваном полувоенном ватнике и с толстой бухгалтерской книгой под мышкой”. В декабре 1920 года Хлебников выступил в Баку со своим докладом “Коран чисел”, в котором сформулировал главные положения своего “основного закона времени”. Отныне все свои записи он хранил в солдатском жестяном сундучке, с которым никогда не расставался.

“Здесь на Кавказе хорошо, и я поселюсь на всю жизнь где-нибудь в Сочи или в Дербенте. Зимовать буду в Баку”, — писал поэт в ноябре 1920 года. А в феврале 1921 года он обращался к В. Маяковскому: “Я живу на грани России и Персии, куда меня очень тянет. На Кавказе летом будет очень хорошо, и я никуда не собираюсь выезжать из него. Снимаю с себя чалму Эльбруса и кланяюсь мощам Москвы”. Несомненно, что тяга к Ирану была вызвана у Хлебникова в том числе и интересом к фигуре А. Грибоедова, нашедшего там свою гибель. Как вспоминал лингвист Роман Якобсон, “на вопрос мой, поставленный напрямик, каких русских поэтов он любит, Хлебников отвечал: “Грибоедова и Алексея Толстого”. В творениях поэта вообще, по утверждениям филологов, присутствует немало созвучий и откликов на грибоедовское творчество.

А ситуация в Иране тем временем всё больше приближала встречу с ним Хлебникова. Дело в том, что ещё в апреле 1920 года по всему Северному Ирану поднялось широкое восстание против иранского правительства и поддерживавших его англичан, а 17 мая из Баку вышла Волжско-Каспийская военная флотилия под командованием Фёдора Раскольников и Серго Орджоникидзе и взяла курс на Энзели, где находились корабли, уведенные денкикинцами из России. Вскоре начались боевые действия, англичане и белогвардейцы отступили. Воспользовавшись моментом, 4 июня 1920 года отряды восставших сил под командованием Мирзы Кучук-хана взяли город Решт — столицу остан-на Гилян, а 5 июня после переговоров с советскими представителями там же была провозглашена Гилянская Советская республика. Были сформированы Реввоенсовет республики, правительство и армия, главой республики был назначен Кучук-хан. Однако вскоре последний поссорился с коммунистами, ушёл из Решта, а к власти в Гиляне пришёл Национальный комитет во главе с Эхсаноллой-ханом. Армия республики предприняла наступление на соседнюю провинцию Зенджан с дальнейшей перспективой взять Тегеран, но была отброшена иранскими войсками.

О трагической судьбе первого вождя Гилянской республики Мирзы Кучук-хана Хлебников вспоминал в 1922 году, незадолго до своей смерти: “Я узнал,

что Кучук-хан, разбитый наголову своим противником, бежал в горы, чтобы увидеть снежную смерть, и там, вместе с остатками войск, замёрз во время снеговой бури на вершинах Ирана. Воины пошли в горы и у замороженного трупа отрубили жречески прекрасную голову и, воткнув на копье, понесли в долины и получили от шаха обещанные 10 000 туманов награды”.

В сентябре 1920 года правительство РСФСР приняло решение о сворачивании своей военной операции в Иране и приступило к переговорам с шахским правительством. 26 февраля 1921 года был заключён советско-иранский договор о постепенном выводе советских войск. Согласно договору, они начали покидать Гилян с апреля и были полностью выведены к 8 сентября 1921 года. Однако в начале этого года на помощь Гилянской республике из Баку направляются военные части сформированной Персармии (кстати, комиссаром штаба этой армии стал авантюрист Я. Г. Блюмкин, убивший в 1918 году немецкого посла Мирбаха), а вместе с ними едут журналисты, художники, лекторы и другие гражданские лица, прикомандированные к военным. В эту группу попадает в качестве лектора и Хлебников, а вместе с ним — талантливый художник Мечислав Доброковский, который сдружился с поэтом ещё в Баку.

### На персидской земле

13 апреля 1921 года на пароходе “Курск” Хлебников отплывает в Персию. О восторге, который испытывал поэт, свидетельствует его письмо В. В. Хлебниковой: “Знамя Председателей Земного Шара, всюду следующее за мной, развеивается сейчас в Персии. 13/IV я получил право выезда... плыл на юг к синим берегам Персии. Покрытые снежным серебром вершины гор походили на глаза пророка, спрятанные в бровях облаков. Снежные узоры вершин походили на работу строгой мысли в глубине божиих глаз... Синее чудо Персии стояло над морем, висело над бесконечным шёлком красно-жёлтых волн, напоминая об очах судьбы другого мира... Уезжая из Баку, я занялся изучением Мирза-Баба, персидского пророка, и о нём буду читать здесь для персов и русских: “Мирза-Баба и Иисус”. Персам я сказал, что я русский пророк”.

Поэт прибывает в Энзели и ступает на персидскую землю. Очарованный увиденным, он восторженно пишет: “Энзели встретило меня чудным полднем Италии. Серебряные видения гор голубым призраком стояли выше облаков, вознося свои снежные венцы. Чёрные морские вороны с горбатыми шеями чёрной цепью подымались с моря. Здесь смешались речная и морская струя, и вода зелёно-жёлтого цвета. Закусив дикой кабаниной, сабзой и рисом, мы бросились осматривать узкие японские улицы Энзели, бани в зелёных изразцах, мечети, круглые башни прежних столетий в зелёном мху и золотые сморщенные яблоки в голубой листве.

Осень золотыми каплями выступила на коже этих золотых солнышек Персии, для которых зелёное дерево служит небом. Это многоокое золотыми солнцами небо садов подымается над каменной стеной каждого сада, а рядом бродят чадры с чёрными глубокими глазами. Я бросился к морю слушать его священный говор, я пел, смущая персов, и после 1½ часа боролся и барахтался с водяными братьями, пока звон зубов не напомнил, что пора одеваться...”

Литератор и будущий филолог М. С. Альтман, также работавший в КавРОСТА и посещавший ещё в 1920 году Персию с пропагандистскими задачами, вспоминал: “Как-то после моего возвращения из Персии в Баку я встретил Хлебникова грустно бредущим по берегу Каспия.

— Отчего вы в грустях, Велимир?

— Хочу в Персию: все едут, а я вот один не еду.

Вскоре, впрочем, поехал и он. О его “прибытии” в Персию мне... рассказали следующее. Уже очень близко от входа в порт Энзели, там, где капитан русского корабля сдаёт управление персидскому лоцману и при этом, естественно, происходит некоторая задержка, Хлебников, горя нетерпением скорее вступить на легендарную персидскую землю, каким-то способом спустился с парохода и по воде в одежде добрался до берега! Рассказ явно фантастический, и за его достоверность я отнюдь не ручаюсь. Привожу его лишь, чтобы показать, каким Хлебникова представляли близко его знавшие и какими он уже при жизни обрстал легендами”.

М. С. Альтман совершенно прав, что стремление увидеть Персию подпитывалось рассказами многих друзей и знакомых Хлебникова, которым уда-

лось побывать там раньше него. А это были и Василий Каменский, и Сергей Городецкий, и А. О. Моргулис, и Вячеслав Иванов, и тот же М. С. Альтман.

Хлебникову выпало провести на иранской земле всего лишь три с половиной месяца, но какое колоссальное воздействие это время оказало на его творчество и взгляды. Постоянных обязанностей у поэта тогда не было, и он окунулся в атмосферу незнакомой жизни, постигая приметы иранского бытия и восхищаясь богатством местной природы. В своей “Иранской песне” он смачно описывал моменты этой счастливой для него жизни:

*Как по речке по Ирану,  
По его зелёным струям,  
По его глубоким сваям,  
Сладкой около воды,  
Вышло двое чудаков  
На охоту судаков.  
Они целят рыбе в лоб,  
Стой, голубушка, стоп!  
Они ходят, приговаривают.  
Верю, память не соврёт,  
Уху варят и поваривают...  
Верю сказкам наперёд:  
Прежде сказки — станут былью...*

Из Энзели Персармия направилась в Решт, чтобы потом наступать на Тегеран. В Реште на русском языке выходила газета Персармии “Красный Иран” с приложением “Литературный листок”. Сотрудником этой газеты и стал Хлебников. Член редколлегии газеты А. Е. Костерин (1896–1972) вспоминал: “Поздним утром, когда солнце уже изрядно прогрело лабиринт узких улиц, я шёл к себе в редакцию газеты... На площадке-пятачке, где узелком переклестнулись пять червеобразных улочек, заметил я очень странного человека: высокий, плечистый, с обнажённой головой. Спутанные, нечёсанные волосы ниспадали почти до плеч. На нём длиннополый сюртук, а из-под сюртука выглядывали длинные ноги в узких штанах из рыжей персидской домоткани...”

На другой день в редакцию неожиданно вошёл тот странный человек, которого я увидел в узле рештских улиц. Высокий и сутуловатый, он молча, неторопливо прошагал босыми ногами по ковру, положил на стол несколько листиков бумаги и сказал:

— Вот... стихи...

Повернулся и так же неторопливо вышел. Мы оба — редактор и секретарь — удивлённо переглянувшись, тотчас же взяли листки. Под стихами была краткая и не менее странная, чем сам посетитель, подпись — “Хлебни”. Стихи поэта стали часто появляться в газете. “Я сотрудник русского еженедельника на пустынном берегу Персии”, — писал он родным.

Как вспоминал Костерин, многие революционеры не понимали стихов Хлебникова и просили больше не печатать его в газете. Они говорили Костерину: “Ну-с, товарищ редактор, а сам ты понимаешь эти стихи? Я признавался, что понимаю плохо, но настаивал на своём тезисе: “Далеко не всегда произведения искусства познаются разумом”... Он приносил стихи всё так же молчаливо и отчуждённо, войдёт в нашу единственную комнату, положит листки стихов и уйдёт. И ни разу не удостоил нас хотя бы краткой беседой. Настолько это было странное общение, что я, например, не могу вспомнить, какой тембр голоса был у Хлебникова.

Только с Доброковским он о чём-то говорил и часто ходил с ним по городу, вызывая у персов некое почти религиозное уважение. В одном стиле с ним был Доброковский, ходивший в какой-то цветастой кофте с махорками и такой же длинноволосый. Кофту Доброковский, кажется, взял из цирковой костюмерной, захваченной моряками-балтийцами...”

### **Причуды “русского дервиша”**

В Персии Хлебников, привыкший ранее за свои чудачества получать лишь насмешки и презрение, вдруг почувствовал себя “в своей тарелке”, здесь люди воспринимали странствующих бедняков, всяких чудаков и оригиналов как

уважаемых личностей, как дервишей. И в поэте многие местные жители стали узнавать именно дервиша, прозвав его Гуль-муллой. Однажды Хлебников провёл целую ночь в сакле на полу с местным дервишем, который читал поэту Коран и подарил ему посох, шапку и шерстяные носки, которые, правда, вскоре у поэта украли.

А. Костерин в очерке “Русские дервиши” вспоминал: “Хлебников и Доброковский часто сидели или возлежали в какой-либо чайхане, курили терьяк и пили крепкий чай. Доброковский рисовал портреты всем желающим, не торгуясь и даже не спрашивая платы. Заказчики сами клали около “русских дервишей” серебро. Доброковский с поразительным равнодушием так же легко выбрасывал это серебро за терьяк или водку. Он обладал изумительной памятью и очень быстро научился болтать по-персидски. Во время болтовни Доброковского с персами Хлебников, углубившись в себя и беззвучно шевеля губами, обычно молчал и, как мне кажется, именно в это время в его голове зрели строчки будущих стихов.

Такое поведение создало и Хлебникову и Доброковскому славу “русских дервишей”, священных людей. Накурившись терьяку, оба так и оставались ночевать в чайхане... Несмотря на странность этих штатных агитаторов, Реввоенсовет армии справедливо считал их совершенно необходимыми работниками. В религиозных и бытовых условиях того времени, при настороженном внимании к русским революционерам, несущим на своих знамёнах совершенно необычайные лозунги, “русские дервиши” каким-то трудно объяснимым образом усиливали наши политические позиции”.

Испытывая творческий подъём, поэт создал целый цикл иранских стихотворений: “Пасха в Энзели”, “Навруз Труда”, “Кавэ-кузнец”, “Иранская песня”, “Курильщик Ширы”, “Дуб в Персии”, “Ночь в Персии”, “С утробой медною”, “Юноша”, “Ночи запах — эти звёзды...”, “Воздушный воздух...”, “Стеклянный шест покоя...”, “Видите, персы...” и т. д. Тогда же он начал писать поэму “Труба Гуль-муллы”, во многом автобиографичную, в которой автор нашёл своего героя, Гуль-муллу, “священника цветов”, “русского дервиша”. Позднее похожий автобиографический образ Хлебников развивает в своей повести “Зангези”, в которой главным героем выступает пророк, мудрец и проповедник. Поэт успеет в 1922 году подготовить эту книгу к печати, но уже не увидит её изданной.

В своей литературной автобиографии “Своися” (1919) Хлебников призывал: “Заклинаю художников будущего вести точные дневники своего духа: смотреть на себя, как на небо, и вести точные записи восхода и захода звёзд своего духа”.

А вот слова прощания с Персией:

*Прощайте все!*

*Прощайте, вечера, когда ночные боги, седые пастухи,  
в деревни золотые вели свои стада.*

*Бежали буйволы, и запах молока вздымался деревом на небо  
и к тучам шёл.*

*Прощайте, чёрно-синие глаза у буйволиц за чёрною  
решёткою ресниц,*

*Откуда лились лучи материнства и на телёнка, и на людей.  
“Ручей с холодной водой...”*

В это время ситуация в Гиляне обострялась. Эхсанолла-хан, на помощь которому шла Персармия, самовольно двинул свои войска на Тегеран и занял деревню Шахсевар на берегу моря, куда части Персармии добрались морем в начале июля. В составе прибывших были и Хлебников с Доброковским, которые, по словам Костерина, тут же “обосновались в чайхане, где их бесплатно кормили, поили крепким чаем и давали курить терьяк. Около них всегда толпился народ. Доброковский рисовал портреты, карикатуры на Реза-хана, на англичан и на языке фарси разъяснял слушателям программу Эхсаноллы. Хлебников или сидел тут же, присматриваясь к посетителям и прислушиваясь к разговорам Доброковского, или же бродил по ближайшим окрестностям”. При этом он изучал персидский язык, знакомился с концепциями Заратуштры, Маздака, Мирзы-Баба и других вероучителей и пророков Востока. Здесь

поэту удалось сполна реализовать продекларированную им ещё в 1918 году программу жизни свободного речаря: он “бродил и пел”.

Как признавался поэт, “я в далёкой Персии, на берегу моря в порту Шахсевара, вместе с русским отрядом. Живётся здесь скучно, дела никакого, общество — искатели приключений, авантюристы шаек Америго Веспуччи и Фердинанда Кортеса. Зато в смысле продовольствия здесь никаких затруднений”. Однако вскоре Хлебников нанялся к Талышскому хану в качестве воспитателя его детей, проработав так почти месяц. Его поразили и нравы, и внешний вид ханского дворца, и неизвестно, сколько бы ещё проработал так поэт, если бы Саад-эд-Доуле, главнокомандующий революционных войск, двигавшихся на Тегеран, не совершил измену. Утром 25 июля его люди захватили работников штаба Персармии, в том числе Доброковского и Хлебникова. Скоро предателя выбили из Шахсевара. “Мы вернули своё имущество, — писал Костерин, — освободили арестованных. Но Хлебников накануне нашего наступления один ушёл в Решт, и никто — ни ханы, ни офицеры Реза-хана — не посмели задержать “русского дервиша”. Его охраняло всенародное почтение и уважение. Босой, лохматый, в рваной рубахе и штанах с оторванной штаниной до колена, он спокойно шествовал по берегу моря от деревни к деревне. И крестьяне охотно оказывали ему гостеприимство”.

Странствуя, Хлебников часто спал на голой земле, плохо питался, и это потом не могло не сказаться на его здоровье. Он не хотел покидать Персию, но всё же решил после нескольких приключений, в том числе очередного ареста вооружёнными людьми, догонять своих. Как объяснял он позже, он решил уехать, потому что Персия давила его “древностью своей многовековой культуры”. Ему следовало набраться новых сил. И, конечно, ни о каком первоначальном плане дойти до Индии ему нечего было и думать. “На одном переходе, — вспоминал Костерин, — я с командиром Марком Смирновым опередил отряд. На пустынной отмели, по пояс в море, мы увидели голого человека. Он стоял неподвижно и смотрел в опаловую даль моря. Лёгкий ветерок трепал длинные волосы. Смирнов придержал коня и с усмешкой сказал:

— А ведь это наш поэт. Смотри-ка, идёт, как по лугам своей деревни. И никто его не тронет, и везде кормят...” Вскоре весь отряд вместе с Хлебниковым на пароходе “Опыт” переправился в Энзели и на следующий день был в Баку.

### Возвращение в Россию

Вернувшись в столицу Азербайджана к обычной жизни, поэт стал всё чаще ощущать признаки лихорадки, которая менее чем через год сведёт его в могилу. Но он продолжал активно писать и в стихах, и в прозе, вспоминая о пребывании в Персии, к примеру, в черновых набросках очерка “Разин напролом” и в очерке “Ветка вербы”. Свой персидский опыт поэт ярко отразил в образе “одиноким лицеведем”, “вечернего странника”, который “влачил по пустыне”, “шагая напролом”,

*Во сне над пропастями прыгал  
И шёл с утёса на утёс.  
Слепой, я шёл, пока  
Меня свободы ветер двигал  
И бил косым дождём...  
Я понял, что я никем не видим,  
Что нужно сеять очи,  
Что должен сеятель очей идти!  
“Одиноким лицеведем”*

Самую же полную картину своего пребывания в Иране Хлебников оставил именно в поэме “Труба Гуль-Муллы”, где представил самого себя в образе “священника цветов”, пророка, странника, который становится своим среди персиян:

*“Наш!” — сказали священники гор.  
“Наш!” — запели цветы!..*

*“Наши!” — запели дубравы и рощи...  
Только “мой” не сказала  
Дева Ирана.*

Поэт, описывая удивительную страну, “где все люди Адамы”, радуется, что “в этой стране я!” Ему хочется быть “зелёным знаменем пророка”, бродить, как дервиш, по просторам страны, ощущать безвозмездную поддержку местных жителей:

*Из Энзели мы едем в Казьян.  
Я счастье даю? Почему так охотно возят меня?  
Нету почётнее в Персии  
Быть Гуль-муллой,  
Казначеем чернил золотых у весны.*

Поэта прельщает его новая роль и слияние с удивительным миром:

*Сегодня я в гостях у моря.  
Скатерть широка песчаная.  
Собака поодаль.  
Ищем. Грызём.  
Смотрим друг на друга.  
Обедал икрою и мелкой рыбёшкой.  
Хорошо! Хуже в гостях у людей!  
Из-за забора: “Урус дервиш, дервиш урус!” —  
Десятки раз крикнул мне мальчик.*

Серебряному веку, сыном которого был и Хлебников, вообще было созвучно чувство “всеобщего единства мира”, свойственное восточной культуре. Хлебников пытался рисовать в своих трудах фантастическую картину будущего, когда человечество осознает, наконец, своё единство и совершит “постепенную сдачу власти звёздному небу”, и “персидский ковёр имён, государств да сменится лучом человечества”.

Немного позднее великий русский учёный В. И. Вернадский, создавший учение о ноосфере, учение о единстве на планете всего живого и неживого, в том числе всех народов, выпишет целую подборку строк из Омара Хайяма, поясняя ими то чувство “единства мира”, которым пронизана мистическая поэзия Востока:

*Этот луч красою нежной  
Нынче взоры наши манит.  
Нежной травкой будет прах наш,  
Чьей она отрадой станет?  
На лугу зелёный стебель  
Не топчи небрежно.  
Знай: из праха щёк-тюльпанов  
Он развился нежно.*

Словно заповедь на века звучат сегодня слова Вернадского о единстве всех людей и народов как о незыблемом законе природы. Идея всеединства, естественная для восточного сознания, была осознана и принята Серебряным веком в лице главных его творцов, в числе которых был и Хлебников, а затем получила своё развитие в учении Вернадского. Пожалуй, Хлебников, как никто из русских поэтов, сумел не только понять неведомый и загадочный мир Востока в его иранской ипостаси, но и вжиться в него, почувствовав на себе самом, что такое для русского человека иная цивилизация под названием Персия. И этот опыт занял достойное место в ряду творческих открытий поэта, которому во многом суждено было определить будущие пути развития русской литературы, ведь он не только творил свои “заумные стихи”, но и создавал естественно-научные, филологические, математические и философские труды, был прекрасным художником-рисовальщиком.

Многие из прозрений Хлебникова казались когда-то утопиями, но сегодня поражают своей точностью: он смело рассуждал о связи времени и пространства, о цикличности исторических процессов, о влиянии лунных и солнечных циклов на человеческое бытие, о скрытых математических кодах истории, о закономерностях расселения народов в Европе, о судьбах языка, о грядущем развитии России и мира и даже технических новшествах, которые перевернут мир. Опережая время, поэт называл себя и “вечным узником созвучия”, и “других миров ребёнком”, и “будетлянином” — от слова “будет”. “От него пахнет святостью”, — сказал как-то о Хлебникове В. Иванов, а В. Маяковский написал в некрологе поэту: “Его биография — пример поэтам и укор поэтическим дельцам... Считаю долгом чёрным по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей... что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе”.

Об огромном духовном влиянии Хлебникова писали позднее многие поэты. И не случайно подчёркивали именно странническую суть творчества Хлебникова, его одержимость постижением мировых пространств и, в первую очередь, Востока. Даниил Андреев сказал об этом лучше других:

*Тавриз, Баку, Москва, Царицын  
Выплёвывают оборванца  
В бездомье, в путь, в вагон, к станциям,  
Где ветер дикий кружит в танце,  
Где расы крепили на просторе:  
Там, от азийских плоскогорий,  
Снегов колебля бахромю,  
Несутся демоны к нему.  
Сквозь гик шаманов, бубны, кольца,  
Всё перепутав, ловит око  
Толпу грядущих богомольцев  
К святыням вечно Востока.  
Как феникс русского пожара,  
**ПРАВИТЕЛЕМ ЗЕМНОГО ШАРА**  
Он призван стать — по воле рока!*

Побывав в Персии почти ровно через сто лет после открытия её Грибоедовым, Хлебников как бы завершил вековой круг познания этой страны и Востока в целом, который был предначертан русским поэтам на ветрах времени. И он ещё раз доказал, что “всемирная отзывчивость” русского человека — это не выдумка писателей и философов, а глубинная особенность народного духа, который всегда воплощали и воплощают в себе, прежде всего, поэты. Превратившись в дервиша, поэт, как никто другой, смог слиться воедино с миром Востока и отразить потом это слияние в своих творениях. И совсем не случайно на надгробии Велимира Хлебникова на Новодевичьем кладбище в Москве установлена древняя “каменная баба” с явными тюркскими чертами, которую с большим трудом разыскали поклонники поэта. Так и спит “русский дервиш” почти в центре Москвы, а над ним застыл в образе “каменного изваяния” древний Восток...

АЛЕКСАНДР ВОДОЛАГИН

## “ТАЙНОЕ ЗНАНИЕ” АЛЕКСАНДРА БЛОКА

*Основание “мистической философии духа”*

*Как свершилось, как случилось?  
Был я беден, слаб и мал.  
Но Великий неких тайна  
Мне до времени открылась,  
Я Высокое познал.*

Александр Блок (1913)

Человек как существо метафизическое никогда не довольствуется чувственно данной ему реальностью, так или иначе выходит за ее границы — духовно-практически или мысленно, — прорывается в *Запредельное* (А. Блок). Будучи обитателем *серединного мира вещей*, каждый из нас тем не менее сохраняет связи с ирреальным, *Несбывшимся* — с тем, что еще не стало вещами, событиями, лицами, а также с “мирами иными”, коим, по словам Блока, нет числа, которые объективно-реальны, т. е. “вовсе не суть “наши представления”<sup>1</sup>. Что касается поэта, то он, как никто другой, чуток к *веяниям ветров* из “этих “иных”, еще неизвестных миров”, запечатленным в древних мифах. Грезя наяву, он в своем бегстве от погружающегося в лиловый сумрак “страшного мира” невольно или намеренно возвращается к архетипам мифо-мышления, воссоздавая тот или иной миф — из смутных воспоминаний и домыслов о жизни своих предков, из обрывков “демонических снов”, из “хаоса подсознания”. Поэтому можно сказать, что даже его повседневное существование есть **бытие-в-мифе**, бытие-на-пороге истины. Какой же миф — подобно космическому року — управлял жизнью и творчеством Александра Блока? Судя по его собственным признаниям — миф о Прекрасной Даме, смысл которого, по версии К. В. Мочульского, — в “мистерии богоявления”, что лишь отчасти верно, так как миф этот несет на себе печать непреодолимой двойственности, внутренней разорванности и *двуликости* его творца, за которой скрывалось двоеверие Блока, так и не решившегося на окончательный выбор между Дионисом и Христом, не достигшего искомого им “апокалиптического синтеза” язычества и христианства. “Собирая мифологические материалы, давно уже хочу я положить основание мистической философии моего духа, — записал

---

ВОДОЛАГИН Александр Валерьевич — доктор философских наук, профессор. Член Союза писателей России. Автор книг “*Метафизическая ось евразийства*” (в соавт. с Даниловым С. И. 1994), “*Метафизика воли*” (2012), “*Собирание духа. Пути и беспутство русской мысли*” (2013), сборника рассказов “*Оливема*” (2000), романа “*Ворох, или Играющий с огнём*” (2010 — Литературная премия имени Н. В. Гоголя).

Блок в своем дневнике 26 июля 1902 года. — Установившимся *наиболее* началом смело могу назвать только одно: женственное". Очевидно, без уяснения указанного основания невозможны ни реконструкция **философии духа** Александра Блока, ни адекватная оценка его вклада в историю русского *устремленного вперед самосознания*. Говоря в одном из писем невесте о своей готовности развивать "очень стройную, далеко не рассудочную (это важно) систему", Блок сводил свою "мистическую философию" к объяснению *резкого, крайнего, полного отличия* своих отношений к Л. Д. Менделеевой от "обыкновенных любовных отношений"<sup>2</sup>, т. е. стремился, по сути, к концептуализации уникального духовно-эротического опыта, используя при этом символику восточной эзотерической традиции и категории западной метафизики, как это делал некогда Данте.

### "И Александр Блок — к Дионису"

Обращаясь в июне 1915 г. к своим "очень хорошим" воспоминаниям о деде — профессоре А. Н. Бекетове, Блок писал в своей автобиографии о многочасовых прогулках с ним по лугам, болотам и дебрям, окружавшим Шахматово, выкапывании с корнями трав и злаков для ботанической коллекции, поисках редкого для московской флоры папоротника ("Внемлет слух лесным былинкам..."). Это искание Блок возобновил через несколько лет после смерти деда:

*Я буду ждать с глубокой верой  
Чудес, желаемых тобой:  
Пусть вспыхнет папоротник серый  
Под встрепенувшейся рукой.*

Незабываемое приобщение к "начаткам ботаники" привело к неожиданно-му результату, не имевшему никакого отношения к естествознанию: мальчик, "внемля зову жизни смутной", проникся восторженной любовью ко всему живому, "услышал трепет жизни мировой", испытал радость совершенную от переживания свой причастности к *всеобщей одушевленности природы*, которую позднее, в годы студенчества, стал отождествлять с платоновской "Мировой Душой" и "Софией" древних гностиков. Заявляя в 1910 году о своей принадлежности к "немногим знающим, символистам", Блок сравнивал дарованное ему **потаенное знание** с неким "кладом, над которым расцветает цветок папоротника в июньскую полночь". Так, казалось бы, простое, запомнившееся в детстве явление природы стало в его глазах символом высшего блага, на обладание которым смеет притязать человек в своем недолгом *бытии-междурождением-и-смертью*. "Солнце наивного реализма закатилось; — уверял современников Блок, — осмыслить что бы то ни было вне символизма нельзя". Даже свое собственное навязчивое желание найти упомянутый папоротник.

"Животных любил он до страсти, — вспоминала его тетушка М. А. Бекетова. — Дворовые псы были его большими любимцами. Глубокую нежность питал он к зайцам, ежам, любил насекомых, червей и прочих гадов, словом — все живое. (И это осталось на всю его жизнь.)"<sup>3</sup>.

*Душа моя рада  
Всякому гаду  
И всякому зверю  
И о всякой вере.*

"Мистическая суть" этой *первой любви* Блока ко всему одушевленному существу оставалась скрытой от обожавшего его бекетовского семейства, ведь известная литературная традиция требовала от влюбленного *подростка* соответствующей концентрации на образе Беатриче, а тут какие-то "твари весенние", гады, зайцы, ежи, насекомые и даже ослы. Хотя в добросовестнейших воспоминаниях М. А. Бекетовой есть намек и на *Нее*. Описывая пребывание сестры и своего любимого четырехлетнего племянника в Италии, тетка Блока упоминает, на первый взгляд, незначительный эпизод: "В день отъезда из Флоренции произошел маленький случай. Все утро на глазах у Сашиной матери вертелась Sophia, семилетняя хозяйская дочка. Она держала в руках какую-то картинку и старалась привлечь внимание сестры. Когда ей это уда-

лось, она протянула то, что было у нее в руках и оказалось так называемой “*imag sainte*”, — изображением богородицы. Сказав, что это для “Alessandro”, Sophia убежала. Сестра сохранила картинку. Она всегда висела под стеклом над кроватью “Alessandro” и оставалась на том же месте до его смерти”. Так невзначай, бессознательно семилетняя София передала будущему поэту *религиозное задание* для всего его творчества<sup>4</sup>: тема Мировой Души-Софии, во-вочеловечившейся в святой образ Девы Марии, Матери Света (А. Блок), но также способной являть себя в иных, порою страшных обликах, стала для него (через 14–15 лет после описанного эпизода) главной. И будущей невесте он писал 16 сентября 1902 г. о своей глубокой вере в нее “как земное воплощение пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женственности”<sup>5</sup>, по-своему истолковывая известный ему из истории алхимии **принцип соответствия**, намекая дочери Д. И. Менделеева на космическое значение их грядущей *химической свадьбы* — в духе Христиана Розенкрейца<sup>6</sup>. Перед нами установленный факт: с раннего детства Блока и до конца его дней *неподвижная, вечно-женственная ОНА — Владычица вселенной* — так или иначе символически присутствовала в его жизни, оставаясь для него главным мистическим ориентиром, звездой путеводной. Мистицизм “есть самое лучшее, что во мне когда-нибудь было; — уверял он невесту. — ... “Мистицизм” дал мне всю силу к жизни, какая есть... Это — все мое лучшее “я”...” Мистицизм “проникает меня всего, я в нем, и он во мне. Это — моя природа. От него я пишу стихи”<sup>7</sup>. Может быть, без той особой атмосферы утонченной и “неукротимой жизненности”, которая сформировалась в семье Бекетовых, прямой контакт *крайне нервного мальчика* с Мировой Душой (= Софией)<sup>8</sup> не состоялся бы, и не появилось бы главное свидетельство о нем — “Стихи о Прекрасной Даме” (1904), *стихи-молитвы*. Тем не менее ни дедовский идеализм “чистой воды”, ни “казачья порода” его жизнерадостной бабушки Елизаветы Григорьевны не оказали решающего влияния на духовное самоопределение Блока в качестве мистика-ясновидца, “художника, прозревающего иные миры”, так что его “гибель в бекетовщине”, “гибель в декадентстве” была просто выдумана мировоззренчески чуждыми ему критиками. Таким, в частности, был его “дорогой враг” Иванов-Разумник со своим ошибочным диагнозом “полного духовного разложения Блока”.

Подлинно гибельное начало — “врожденный демонизм” — было привнесено в мир Бекетовых Александром Львовичем Блоком, отцом поэта, искавшего защиты и спасения от рокового наследия (“Я — черный раб проклятой крови...” ) в завораживающем первообразе, открывшемся его “духовному зору”:

*Признак истинного чуда  
В час полночной темноты —  
Мглистый мрак и камней гряда,  
В них горишь алмазом ты.  
А сама — за мглой речною  
Направляешь горный бег  
Ты, лазурью золотою  
Просиявшая навек.*

Не впадая в излишнюю детализацию, отметим, что вместе с “арийской кровью” (“Было что-то германское в его красоте...” — З. Н. Гиппиус) Блок во-брал в свое существо и **сумрачный дух германского мистицизма**<sup>9</sup> с прису-щей ему *идеей идей*, о которой как-то раз написал матери следующее: “Все одинаково смрадно, грязно и душно, как всегда было в России... Для того, чтобы забывать о том жалком состоянии, в котором находишься ты, я и все остальные жители России, нужно иметь одну “подкожную” идею, или мечту, которая протекает вместе с кровью то спокойно, то бурно, то в сознании, то подсознательно”. Не трудно догадаться, о какой идее речь. Раннее чтение Лермонтова, Тютчева, Фета, Владимира Соловьева, изучение диалогов Платона (в соловьевском же переводе) и философии Плотина способствовали пробуждению в семнадцатилетнем поэте “духа пытливости”, стремления к обретению “цельного знания”. Все отмеченные духовные влияния толкали его — *покорного Богу и Платону* — на **поиск спасительного знания**. Идущий от предков и подкрепленный семейным воспитанием “европеизм”, по его собственному признанию, помог ему “облечь в формы и плоть то глубокое и все

ускользающее содержание, которым исполнена всякая русская душа” — не смотря на свою исконную аморфность, беспутность и безыдейность. По своей конституции Александр Блок был *психиком*, т. е., по классификации апостола Павла, *человеком душевным*, колеблющимся “на перепутьи двух дорог”, восприимчивым и к “голосам миров иных”, и к ужасающему дыханию *бездны*. Не случайно числом, управлявшим его жизнью, юный “поклонник эллинов” признавал четверку — число человеческой души в пифагорейской системе координат, *знак мастерства*, связанный с ремесленными инициациями<sup>10</sup>. К тому же и себя называл “человеком бездны”. Говоря о пережитом им **“долгом и страшном поединке души и духа”** (выделено мной. — А. В.), поэт, видимо, имел в виду те разнонаправленные силы, которые разрывали его *несчастное сознание*: с одной стороны, присущую русскому человеку “тайную страсть к жизни”<sup>11</sup>, переживаемую как “радость-страдание”<sup>12</sup>, любовь-ненависть, и, с другой стороны, *дух Земли (Erdgeist)*<sup>13</sup>, опознанный еще тайным советником Гете, “с загадочной двойственностью относящимся ко всему”<sup>14</sup>. Возможно, именно этот дионисийский “дух музыки” и привносил в душевную жизнь поэта “руководительную мечту”, “неколебимую истину” мистического порядка. Нечто подобное испытал в свое время Гете, описавший связанный со стихией огня пьянящий “дух Земли”, который и извлекает из лабиринта *коллективного бессознательного* ту или иную архетипическую фигуру (к примеру Аниму, Ариадну). В то же время Гегель противопоставлял овладевший Фаустом дух Земли как “беднейшую форму духа” — “небесно сияющему духу всеобщности знания”, “скорбному уму” Люцифера, “первородного сына света”<sup>15</sup>, смыкая, таким образом, нижнее звено иерархии “темных сил” с верхним. Люцифер замычал в замороженном сознании Блока в период работы над поэмой “Возмездие”, когда *душа поэта*, как в юности, оказалась буквально между двух огней. В одном из своих последних писем Андрею Белому (9 апреля 1918 г.) Блок снова вспоминает о фаустовском “духе Земли”: “Было (в январе и феврале) такое напряжение, что я начинал слышать сильный шум внутри и кругом себя и ощущать частую физическую дрожь. Для себя называл это Erdgeist’ом”. Поэт вслушивался в пугающую железную поступь *звезря, выходящего из бездны*, улавливая **знамения грядущей эпохи “открытых человеческих жертвоприношений”**, о которой пророчески писал ему месяцем ранее его “невольный” брат Андрей Белый<sup>16</sup>.

От отца Блок унаследовал восприимчивость к “музыкальной сущности мира”, аполлоническое “требование формы”, стремление к исцеляющему самопознанию и вместе с тем — “врожденный демонизм”, чувствительность к “ежедневному трепету хаоса”, дионисийское “порыванье к бездне”, *любовь к гибели*, все то, что он называл “отцовским мраком” и от чего искал спасения в экстазах *восходящей любви*. Будучи неопытным юношей, он, подобно своему отцу, “задумал тревожить темные силы — и уронил их на себя”, оказался во власти темной иерархии (“Вокруг шумят бесчисленные крылья...”). Поэма “Возмездие”, над которой поэт работал последнее десятилетие своей жизни, — выражение творческих попыток прочитать во “внутреннем облике отца” предопределение собственной участи, разгадать судьбу последнего звена “изнигилизовавшегося” дворянского рода. “Отцовский мрак находится еще на земле и вокруг меня увивается, — признавался Блок матери вскоре после смерти отца. — Этого человека надо замаливать”. Не из этого ли мрака возникло блоковское “дохристово чувство Рока”, странный мираж “полевого Христа” и сознание своей принадлежности к языческой “арийской культуре”?

Прав был Андрей Белый в своих непревзойденных по проникновенности “Воспоминаниях о Блоке” (1922), когда говорил о глубинах “неразгаданной, замечательной личности” поэта<sup>17</sup>. Историк литературы, составившему более или менее полное представление о внешней канве жизни поэта и его сложных отношениях с современниками, но лишенному дара *различения духов*, недоступен эзотерический подтекст его произведений, их “*мифологическая глубина*”. Уже одно только немецкое слово *Erdgeist*, не раз мелькавшее в переписке Блока, свидетельствует о его приобщенности к древнейшей духовной традиции, вне контекста которой его поэтическое слово представляется какой-то *невнятицей* — “той непонятностью, которую и не хочется понимать” (З. Н. Гиппиус)<sup>18</sup>. Сам Блок, будучи “глубоким мистиком” (архимандрит Киприан)<sup>19</sup>, отчетливо понимал природу того *даймона*, который более двух десятилетий вел изнурительную борьбу за его *русскую душу*, прельщая “красотой

Недостижимой”, заманивая в “Беззакатную глубь и высь”, повергая ее в состояние безысходной тоски и скорби, отравляя скепсисом, граничившим с безверием, и подстрекая к богоборчеству. Поэт идентифицировал своего даймона с пытливым духом отрицанья и сомненья, некогда мучившим и вдохновлявшим Лермонтова и Михаила Бакунина, захватившим и его отца, превратив его в “новоявленного Байрона”, на которого в салоне Философовой обратил внимание Ф. М. Достоевский. Этот **инфернальный дух** (“дух пряный марта... в лунном круге”) фигурирует в заметках, письмах и стихотворениях Блока под разными именами, одно из которых до сих пор остается для многих читателей “неразгаданным именем бога на холодных и сжатых устах”. Неразгаданным оно, видимо, было какое-то время и для самого поэта:

*И сам не понял, не измерил,  
Кому я песни посвятил,  
В какого бога страстно верил,  
Какую девушку любил.*

Хотя в его текстах мы находим подсказку — упоминание *крылатых глаз*, символизирующих “духовный взор”, который возносит душевного человека (*психика*) к Абсолюту, делая возможным интеллектуальное созерцание Бога в той или иной Его ипостаси. Для Блока — в ипостаси вечно-женственной Мировой Души-Софии, аналога египетской Исиды. Заметим, между прочим, что *крылатый глаз* — атрибут “бога Света”, всезнающего Гора<sup>20</sup> — Мстителя за своего отца (Осириса-Диониса), давнего соперника Христа (“Но не спал мой грозный Мститель...”). Всевидящее око Гора — символ гносиса, тайного знания о том, что принесенный в жертву отец не ушел из мира навсегда, но так или иначе возвращается в него (хотя бы в виде призрака), вечно возвращается (“Возвращается все, все”). Это — гамлетовское **знание о “вечном возвращении”**; знание, в котором “много печали”, и которое подводит человека к “вопросу высшего ранга”: что же, в конечном счете, для него более ценно — бессмысленный круговорот бытия (*сансара*) или небытие, чреватое смыслом (*нирвана*)? Отец Блока выбрал небытие — и, вероятно, не вполне осознанно сам принес себя в жертву тому темному, мятежному “духу Земли”, которым был некогда пленен и захвачен:

*Потомок поздний поколений,  
В которых жил мятежный пыл  
Нечеловеческих стремлений, —  
На Байрона он походил...  
Тот самый ответ красноватый,  
И выражение власти то ж,  
И то же порыванье к бездне.*

Важной вехой на пути осознания юным Блоком истоков усвоенной им вместе с кровью духовности стало для него увлечение игрой на любительской сцене. Под маской Гамлета, готовившего метафизическое возмездие многоликому духу зла (предателю дядюшке, предавшей мужа королеве-матери, друзьям-предателям и т. д.), скрывался герой древней египетской мистерии Гор, персонифицировавший собой дионисийское решение вопроса о том, что предпочтительнее для человека с “нечеловеческими стремлениями” — *бытие-в-мире* абсурда или “безликое темное Ничто”. Исполняя роль Гамлета, юный Блок невольно склонялся к дионисийскому предпочтению небытия, что вскоре проявилось в его суицидальной настроенности и соответствующих приговорах, а позднее — в осознанной любви к гибели: “...я люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви”, — писал он Андрею Белому через несколько лет после пережитого духовного кризиса, в 1910 году<sup>21</sup>. Книга Фридриха Ницше “Рождение трагедии из духа музыки” (1871)<sup>22</sup>, вскрывшая, между прочим, дионисийскую (а не сократическую) природу гамлетовского “духа пылкости”, стала для него, как и для Андрея Белого, открытием. Оба друга, вообразившие себя одолевшими Ницше с помощью Соловьева, тем не менее оказались на некоторое время во власти ницшеанского дионисизма, на грани срыва в безумие, в двух шагах от самоубийства, повод к которому не раз давала *холодность* бобловской Офелии — Любви Дмитриевны Менде-

леевой<sup>23</sup>. Андрей Белый нашел спасение в христианском гносисе, замутненном штайнеровской антропософией, и в любви к тургеневской девушке (Асе), также оказавшейся в сетях антропософских иллюзий. Блок же, не чувствовавший Христа, отшатнувшись от антропософии, остался верен “буйному” Дионису<sup>24</sup>, что обнаружилось и в его последней поэме “Двенадцать”, где под маской Христа “в белом венчике из роз” является Дионис-Убивающий, “яростный” и “сыроядный” бог восточных мистерий. То была одна из его последних кощунственных подмен в стиле ницшеанской “переоценки ценностей”, так пугавших в давно минувшую “эпоху зари” (1901–1903 гг.) его друзей-соловьевцев — Андрея Белого и Сергея Соловьева. Оставаясь последовательным в своей любви к гибели, Блок — божьей милостью поэт — шел на рискованные эксперименты и в своей личной жизни, и в творчестве. При этом, отдавая дань Дионису — “начальнику Смерти” — Блок (как и Ницше) все же не забывал о Христе, о своей детской, “осенней любви” к Нему:

*Когда над рябью рек свинцовой,  
В сырой и серой высоте,  
Пред ликом родины суровой  
Я закачаюсь на кресте, —  
Тогда — просторно и далеко  
Смотрю сквозь кровь предсмертных слез,  
И вижу: по реке широкой  
Ко мне плывет в челне Христос.*

Обратим внимание еще на одну особенность овладевшего душой поэта пьянящего,пряного “духа Земли” — его **двойственное отношение к жизни** в целом и ко всякому одушевленному существу, будь то, например, безжалостно вырубаемая им шахматовская сирень, обольщаемая “незнакомка” или сама Русь с ее “разбойною красой”. В этой неистовой блоковской любви-ненависти к жизни чисто дионисийский момент **узнания-приятя** (“О, весна без конца и без края...”, “О, я хочу безумно жить...”): нередко заглушался пламенем **вражды** (“И смотрю, и вражду измеряю...”, “И отвращение от жизни, И к ней безумная любовь, И страсть и ненависть к отчизне...”): — пожирающим все сущее **огнем негации**, уже опалившим некогда русских гегельянцев, активных нигилистов — Михаила Бакунина и Александра Герцена. Восхищаясь Бакуниным, Блок все же оставался пассивным нигилистом (“Часто развертывается во мне огромный ноль”), изживал нигилизм как “психологическое состояние”<sup>25</sup>, хотя однажды и поучаствовал в антиправительственной демонстрации, прошел с толпой митингующих по улицам Петербурга с красным (дионисийским по цвету) флагом, обозначив таким способом свою ненависть к “русскому правительству”. В отличие от других “дионисианцев” Серебряного века — “упадочников” (А. Белый), отмеченных “печатью патологии”<sup>26</sup>, — поэт невысоко ценил жизнь (как частный случай бытия), понимая, что она сама по себе не только **мглиста**, но более того — неизбежно сгущается в беспросветную тьму по мере угасания духа и приближения **Мировой ночи**<sup>27</sup>. Хотя... кто знает, не была ли его “любовь к гибели” превращенной формой влечения к “Абсолютному началу как положительному небытию”, о котором вещал знаток каббалы и шеллингианско-бемовской мистики Владимир Соловьев? Если так, то перед нами в самом деле неразгаданный до сих пор **феномен русской внецерковной религиозности**, не сводимый к дионисизму (в версии Вячеслава Иванова), представляющий собой сложный **сплав из элементов языческого панпсихизма и христианского гносиса**. А поэзия Блока по своему духовному содержанию оказывается явлением намного более сложным, чем представлялось его философски искушенным современникам и философски беспомощным потомкам. Не реагируя на истерические протесты главных деятелей русского религиозно-философского “возрождения”, Блок отбрасывал банальные гуманистические обоснования ценности человеческой жизни, оставаясь в своем “одионочестве двуликом”: “стоял он прекрасной загадкой то близкий, то дальний (прекрасный — всегда)”<sup>28</sup>.

Удивительно, что “самый проникновенный критик” произведений Блока — Андрей Белый — почти ничего не сказал о поэме “Возмездие”, коснувшись ее в своих “Воспоминаниях” вскользь и не заметив в ней главного: блоковской **историософии**, нетривиального понимания мировой истории.

*Но тот, кто двигал, управляя  
Марионетками всех стран, —  
Тот знал, что делал, насылая  
Гуманистический туман...*

Упомянутые Блоком в поэме теории с известными “умозрительными понятиями” не дают ответа на главный вопрос: кто, используя мелкие человеческие интересы и страсти, двигает марионетками — этими “пузырями земли”, вообразившими себя авторами и исполнителями исторической драмы, вершителями судеб нашего “страшного мира”? В поэме “Возмездие” Блок, как и в “Балаганчике”, остается неоплатоником: для него люди — “куклы богов”, нити от которых тянутся к “невидимой руке” того или иного бога. Мысленно восходя к первоистoku “малых дум и вер”, захватывающих суетливых героев земного “балаганчика”, неизбежно оказываешься в плену *Мирового духа*, поверженного на Землю *Денницы*, “князя мира сего”, *Люцифера*. Проникая в эзотерический подтекст поэмы “Возмездие”, мы видим, как ее автор, не изменяя *соловьевству* своей юности, отбросив ненавистные ему “теории прогресса”, возвращается к издавна преследуемой как ересь “древней доктрине”:

*Ты, поразившая Денницу,  
Благослови на здешний путь!  
Позволь хоть малую страницу  
Из книги жизни повернуть.*  
.....  
*Двадцатый век... еще бездомней,  
Еще страшнее жизни мгла  
(Еще чернее и огромней  
Тень Люциферова крыла)...*

К кому же обращался поэт за благословением? У кого искал спасения от руководившего им с юности “Неведомо Страшного”, от чарующего и враждебного жизни люциферианского духа, властвующего над “стихиями земными и подземными”, “кующего гибель день и ночь”?

### **Стихи о Прекрасной Деве**

Переписка Александра Блока и Андрея Белого началась в январе 1903 г. сразу же “в философской тональности”. Не успев познакомиться друг с другом непосредственно, они мгновенно нашли общий язык — как “видящие среди невидящих”, *озаренные* — язык эзотерической традиции, и заговорили о той манифестации “Абсолютного начала”, которая открылась им почти одновременно в эпоху зорь в слепящем облике *Лучезарной Подруги*, “жены, облеченной в солнце”, мысленно сопрягая этот апокалиптический образ с неоплатонической концепцией Мировой Души (= Софии Премудрости), переформулированной “двоящимся Вл. Соловьевым” в стиле христианского гностицизма. Уже во втором письме Блоку 6 января 1903 г. Андрей Белый проговаривает “основы соловьевства”, предопределившие, как ему думалось, все содержание и проблематику творчества Блока — “соловьевца” *par excellence*<sup>29</sup>. В самом деле, судя по двум блоковским текстам — “Рыцарь-монах” (1910) и “Владимир Соловьев и наши дни” (1920) — поэт был привержен упомянутым “основам” до конца жизни, более того, сам стал создателем оригинальной версии русского софийного идеализма — поэтической *космософии*. Нужно сказать, что Блок как “конкретный философ” (А. Белый) все еще остается неизвестной величиной для историков русской философии, не видящих в его текстах “вселенской, постигнутой многими, как и непостижимой для многих, мистической философии”<sup>30</sup>. Андрей Белый вспоминал, что “интеллектуальная зоркость” 22-летнего Блока, владевшего терминологией западной метафизики, исповедовавшего языческий неоплатонизм и вполне осознанно дистанцировавшегося от “лукавейшего” Канта, произвела на него ошеломляющее впечатление. Образ *Лучистой Девы* был для Блока таким же несомненным фактом сознания, каким ранее он был для Владимира Соловьева, увековечившего в поэме “Три свидания” “самое значительное” из того, что случилось с ним в жизни: *тремякратное прозрение в двойственную, “вечно-женственную”*

сущность вселенной. Проще всего было бы объявить *Лучезарную Подругу* (*Деву Радужных Ворот*) псевдогаллюцинацией романтического сознания и закрыть на этом “тему Софии” для обсуждения, к чему, по сути, и призывал в свое время недоволоптившийся фрейдомарксист Н. Валентинов, не обнаруживший в лирике Блока ничего, кроме идеализации похоти, ненавидевший скифство (= евразийство), в ком бы оно ни проявлялось — в Ленине, Сталине или Блоке. Включившись в борьбу с русским гностицизмом под псевдонимом, ассоциирующимся с фигурой древнего гностика Валентина, он в своих разоблачениях Блока продемонстрировал лишь собственное недоумие. Раскапывать с фрейдистской одержимостью там и сям один и тот же психосексуальный кошмар (комплекс) нетрудно. Сложнее проследить движение чистой мысли “конкретного философа” Блока в ее истоках и символических выражениях, ведь это уже настоящая “философия в захватывающих образах” — нечто, не вмещающееся в сознание профана, каким был антивалентиновец Валентинов. Думаю, что Блок как убежденный неоплатоник-соловьевец, знакомый и с ницшеанским антиплатонизмом, ясно сознавал, что спасавший его от “отцовского марка” и от всего “неведомо Страшного” в жизни образ *Прекрасной Девы* есть фантом аполлонического сознания, необходимая для выживания гениального одиночки **прекрасная видимость**, маска, за которой скрывается грозная, двойственная, пурпурно-лиловая стихия космического психизма — тоскующая *Душа Мира*:

*Я — одинокий сын земли,  
Ты — лучезарное виденье.*

“Хорошо бы, ах, как хорошо, скажу я, остановиться, оглядеться, возрадоваться на все феноменальное, замереть от счастья перед “кажущимся”, “являющимся”...”<sup>31</sup> — писал он А. Белому 1 августа 1903 года. “Стихи о Прекрасной Даме” — ранняя **утренняя заря** (выделено мной. — А. В.) — те сны и туманы, с которыми борется душа, чтобы получить право на жизнь”, — говорил Блок в марте 1908 г. в Предисловии к сборнику “Земля в снегу”, невольно напоминая читателю об одном из питавших поэта истоков его творчества: настольной книге русских мистиков бемовской “Авроре, или Утренней заре в восхождении”, бывшей некогда неиссякаемым источником вдохновения для автора “Феноменологии духа” и “Науки логики”. Интересно, что Блок в полном соответствии с гегелевской логикой квалифицировал лик Прекрасной Дамы как феномен, в многообразных определениях которого — “моменты видимости” (Гегель) — просвечивало его сущностное **основание** (*Душа Мира*) и, кроме того, приоткрывалась безосновная бемовская **Бездна**. Иначе говоря, Прекрасная Дама — субъективно-идеальная **кажимость**, нечто “в самом себе несамостоятельное”<sup>32</sup> (и, как таковая, “Она не ездит на пароходе”); это — “прикрывающая иллюзия”, цель которой “соблазнить к существованию” (Ф. Ницше) и таким способом удержать нигилиста от самоуничтожения; это — чарующая своим сиянием видимость, делающая бытие для него сносным.

Блок практиковал платоновский метод *припоминания* — “художнический анамнесис” как способ возвращения к “сияющей вершине” своего визионерского опыта (“Есть сияющие вершины...”)<sup>33</sup> — к экстатическому созерцанию лучезарного лика “вечно-юной” *Таинственной Девы*:

*И полнится душа тревожно и напрасно  
Воспоминаям дальным и прекрасным.*

В ответном письме А. Белому 9 января 1903 г. Блок вопрошает, “может ли поэзия в своем *taximum’e* приблизиться к Запредельному настолько, чтобы расслышать и познать?” И сам предлагает решение: “Утвердительный ответ возможен хотя бы только на том основании, что наши времена поэзии ощутили, как никогда, двойственную природу вселенной...”<sup>33</sup>. Об этой двойственности писали Платон, Якоб Беме и Шеллинг. О ней же по-своему говорили Ницше и Владимир Соловьев. Она была известна любому духовному человеку (*пневматику*), пытавшемуся подняться над противоположностью захватывающих его влечений к красоте и безобразию, порядку и хаосу — обрести блаженство в “высшем синтезе жизни” (Ф. М. Достоевский). В мифопоэтическом мышлении платоников и гностиков эта динамичная, имматериальная, двойственная сущность вселенной именовалась Мировой Душой (= Софией).

Для Блока *Она* — “темного хаоса светлая дочь” (Вл. Соловьев), “Дева Радужных Ворот” (гностический термин, использованный Вл. Соловьевым в стихотворении “Нильская Дельта”), “Владычица вселенной” (у Вл. Соловьева — “Владычица земли, небес и моря”), вечно-юная “Царевна”, “Лучезарная Жена”, “Прекрасная Дама”. В письме А. Белому 6 января 1903 г. поэт явно завышал онтологический статус интересовавшей его “сферы познанной Девы”, называя ее “областью субстанции”, каковой она никогда не была и не могла быть, согласно традиции. Собственно субстанцией в свете пантеистической мистики является вселенная как *не созданная никем из богов* психоматериальная целостность. Что же касается “Лучистой Девы”, то она символизирует лишь внутреннюю “субстанциальную форму” вселенной, приоткрывая скрытую мощь “космического психизма”, искры которого одушевляют *все сущее*. Будучи лишь *формой форм*, “Монадой монад”<sup>34</sup>, Душа Мира (*Психея*) сама по себе не самостоятельна (= не субстанциальна), хотя и может казаться таковой подавшемуся Ее чарам, влюбленному в Нее поэту. Вот почему, внося коррективы в рассуждения юного философа, т. е. существа *одержимого*, захваченного пламенной любовью к *Софии*, можно уверенно утверждать, что блоковская “сфера познанной Девы” не тождественна “области субстанции” (как он думал), но представляет собой феноменальную область кажимости, наполненную фантомами и призраками, каждый из которых может быть истолкован как **излучение манящей и обманывающей Психеи — Закатной, Таинственной Девы**. Вместе с тем, будучи второй ступенью эманации Абсолюта (*Единого* у платоников, *Отца светов* у христиан), Мировая Душа-София подчинена Логосу-Христу, восприимчива по отношению к исходящим от него “глаголам вечной жизни”, эйдосам-первосмыслам, *храня* которые, Она помнит все, является вселенской памятью, “мистическим телом” Истины (*Незабываемого*). В силу своей исконной двойственности Мировая Душа способна выйти из подчинения Христу-Логосу и низринуться в материальный хаос земной жизни, сменив облик “Хранительницы-Девы” на личину сладострастной Астарты, *великой блудницы* (Отк. 17, 1). В связи с этим А. Белый, между прочим, вспоминал о разговорах в семье младшего брата Владимира Соловьева о “страшных” стихах Блока и опасностях, угрожавших ему на пути абсолютизации *Софии* и забвения о Христе<sup>35</sup>. Главная особенность духовного опыта автора “Стихов о Прекрасной Даме” — опыта “первой любви” к *Софии*, которую некоторые исследователи ошибочно отождествляют с увлечением летом 1897 г. *синеокой* Ксенией Садовской в Бад-Наухайме, была обусловлена “мистическим восприятием” Мировой Души вне контекста божественной иерархии, в отрыве от Христа-Логоса. Дело в том, что в своей *восходящей* “интеллектуальной любви к Богу” Блок поднялся по “лестнице чудной, к небу ведущей” (Вл. Соловьев) лишь до второй ступени эманации Абсолюта, не найдя в себе ни сил, ни желания для дальнейшего восхождения — к Христу-Логосу. “У него нет знания о Христе!” — ужасался А. Белый. По Блоку, “Душа Мира” *неподвижна и окончательна* и в этом плане действительно напоминает математическую сущность (*монаду*) пифагорейцев, с воззрениями которых он познакомился, читая М. Н. Каткова — “Очерки древнейшего периода греческой философии” (1851). Кроме того, Она еще и *холодна*, так что надежда влюбленного в *Софию* поэта на соразмерную его страсти ответную любовь оказывается очень слабой, если не тщетной:

*Все виденья так мгновенны —  
Буду ль верить им?  
Но Владычицей вселенной,  
Красотой неизреченной,  
Я, случайный, бедный, тленный,  
Может быть, любим.*

И все же, как показывает мистический опыт, *Она* — не математическая фигура и не вещь-в-себе. Ее красота — обманчивая, а неподвижность мнимая. Свою подвижность и неокончателность *Прекрасная Дева-звезда* продемонстрировала падением на Землю, где и пошла по кругу, согласно гностическому мифу, меняя личности и имена (Клеопатра, Офелия, Гретхен, Фаустова Елена, Кармен, Фаина и, наконец, Катька), а порой являясь под снежной маской безымянной Незнакомки — этого дьявольского сплава “бушующих лиловых

миров”, или в виде “красавицы-куклы” петербургских ресторанов и бульваров. Она для Блока “значительнее Христа; — утверждал А. Белый, — и “Она” — ему ближе... Идея Христософии (София лишь риза Христова) — оттолкнута Блоком...”<sup>36</sup>. Верно. Тем не менее он был одним из тех гениальных одиночек, которым, по словам Фридриха Ницше, “дозволено вступить в область нестерпимо ясного света — чтобы возвратиться оттуда с прояснившимся ликом, возвещая триумф дионисийской воли, которая в восхитительном безумии отрицает собственное отрицание бытия, поворачивает в другую сторону и ломает острие мощного копья, которое было направлено против самого бытия”<sup>37</sup>.

В мгновения творческого экстаза поэт чувствовал себя образом и подобием древнего “бога Света”, всевидящим “оком Гора”, Мстителем за своего отца, что, между прочим, проявлялось, в захватывавшем его периодически женоненавистничестве. Противопоставив “отцовскому мраку” и его дионисийской “любви к гибели” прекрасную субъективно-идеальную видимость “Девы Радужных Ворот”, женщины-звезды, женщины-кометы, создав собственный миф о Прекрасной Даме, Блок пошел дальше Ницше в поисках противоядия “абсолютной негативности” Запада — к открытию России как своей “изначальной родины” — места реинкарнации Мировой Души-Софии, снова нисходящей на Землю, согласно пророчеству *рыцаря-монаха* Владимира Соловьева. “Ты — богоданный нам, вещей поэт всей России — первый среди поэтов!” — так Андрей Белый оценивал Блока в 1912 году.

### Изначальная родина

Как уже было сказано выше, “мистическая философия” Александра Блока, получившая свое первое символическое выражение в его поэтическом дневнике — “Стихах о Прекрасной Даме” (новоявленной *Целомудренной Деве* — eine züchtige Jungfrau — известной по текстам розенкрейцеров и трактатам Якоба Беме<sup>38</sup>), была позднее развернута им в уже не сводимую к соловьевству, вполне оригинальную историософию, которая включала в себя, между прочим, концепции “вышей мистики войны” и революции как “мирового цикла”, выхода из-под земли безжалостного по отношению к любой “отзвучавшей цивилизации” *духа музыки*, как одного из самых зловещих проявлений “торжества лилового сумрака”<sup>39</sup>. Революция — не живое существо, поэтому никаких детей у нее не бывает, и хлесткая фраза о революции, “пожирающей своих детей”, ничего не стоит. Иное дело “матушка Россия”, периодически выпадающая в неистовство и уничтожающая лучших своих сынов. К ней зывал поэт в июле 1905 года:

*Много нас — свободных, юных, статных —  
Умирает, не любя...  
Приюти ты в даях необъятных!  
Как и жить и плакать без тебя!*

“Россия — Сфинкс”, т. е. загадочное “бесконечно древнее существо”, в котором вечно-женственное начало смешалось с дикой звериностью, явление более природно-космическое, чем социальное и политическое. Ее поведение двусмысленно, иррационально, алогично. Пребывая в дремлющем состоянии десятилетиями и даже веками, Она неожиданно пробуждается к массовому историческому действию и продвигается к своей непостижимой для человеческого ума цели скачками. В такие периоды **Россия превращается в “разгоряченного и рвущегося из правовых пут зверя”**. Тем не менее в ее мрачно-кровавой истории явно обнаруживается некая “бессознательная целесообразность”, которую не следует путать с *логикой исторического процесса*, поскольку последняя определяется не “лидерами”, а “космическим умом” — *Логосом*. Россия, самочинно выйдя из подчинения Христу-Логосу (еще во времена патриарха Никона) и став таким образом “воплощением Софии падшей” (= *коллективного бессознательного человечества*), утратила чувство пути, “пошла по кругу”, пустилась в беспутство. С тех пор ее поведение в мировой истории присущи пугающая высокоумный Запад импульсивность, самоубийственная жертвенность и бесстрашие. Это понял еще Михаил Бакунин, которого глубоко чтит Александр Блок. Россия как “живой организм” (А. Блок), *коллективная историческая индивидуальность*, представляя собой

мистическое единство континентального жизненного пространства и кочующего в его границах *сверхнарода*, действует без оглядки на собственные, неотчетливо сознаваемые интересы или заимствованные извне идеи, руководствуясь скорее фантазмами, вещими снами, коллективными галлюцинациями. Обуздать ее “разбойную красу” на короткое время под силу лишь какому-нибудь *магу* или *чародею*, но только не марионеточному персонажу политического “балаганчика”, со скрытыми механизмами которого Блок познакомился в период работы в Чрезвычайной следственной комиссии после Февральской революции 1917 года. Провидя появление такого чародея-пастыря в России, Блок писал еще в 1903 году:

— *Кто он, народный смиритель?*

— *Темен, и зол, и свиреп:*

*Инок у входа в обитель*

*Видел его — и ослеп.*

*Он к неизведанным безднам*

*Гонит людей, как стада...*

*Посохом гонит железным...*

— *Боже! Бежим от Суда!*

В то же время звучит в его стихотворениях “красный смех чужих знамен”, мелькают образы “дионисианцев” той поры: “веселые красные люди” в *остроконечных шлемах*, обреченные на гибель в пламени тех костров, которые сами же разводили в начале века: “Зачинайся, русский бред...”. Такова участь *непосвященных*, возомнивших себя хозяевами мира и собственных судеб.

В “душе России” (ее *коллективном бессознательном*) как манифестации Мировой Души-Софии есть та же непреодолимая двойственность: “великий свет и злая тьма”. Поэтому и отношение к России у “одиноким сына земли” двойственное: “и страсть и ненависть к отчизне...” Страсть, освещенная памятью о первой любви к “изначальной родине”, испытанной им на заре юности, когда он верхом на белом коне блуждал в окрестностях селца Шахматова. Ненависть — к телодвижениям этого дикого, плотоядного и все же “милого нам существа”, в которое родина время от времени превращается, согласно оборотнической логике своего бытия-в-мифе, и о котором у умиравшего Блока есть такие слова, полные “яда ненавистнической любви”: “Слопала-таки поганая, гнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка”. Как видим, Блок был очень далек от тех вскормленных властью непрозорливых интеллигентов, которые продолжали “упорно и тупо “любить отечество”, отождествляя его с той или иной государственной формой организации (монархией, демократией или диктатурой). Еще в июле 1909 г. Блок утверждал, что он “не с теми, кто за старую Россию” (не с монархистами) и “не с теми, кто за европеизм” (не с социалистами), “но — за новую Россию, какую-то, или — за “никакую”. Или ее не будет, или она пойдет совершенно другим путем, чем Европа...” Каким же? Поэт не брал на себя решение этого вопроса. Он лишь взывал тогда к своей Музе — к Той, которая, как ему думалось, “в поля отошла безвозвратно”: “Но Ты — вернись, вернись, вернись — в конце назначенных нам испытаний. Мы будем Тебе молиться среди положенного нам будущего страха и страсти. Опять я буду ждать — всегда раб Твой... Дай мне увидеть зарю Твою. Возвратись”. Поразительно, что *Владычица вселенной* — София — услышала мольбу поэта и явила ему свой “лик нерукотворный”. Более того — дала ответ на мучивший его вопрос о “другом пути” России. Предчувствия ожидаемого ответа были высказаны поэтом годом ранее в потрясающем цикле “На поле Куликовом” (1908):

*О, Русь моя! Жена моя! До боли*

*Нам ясен долгий путь!*

*Наш путь — стрелой татарской древней воли*

*Пронзил нам грудь.*

*Наш путь — степной, наш путь — в тоске  
безбрежной,*

*В твоей тоске, о Русь!*

*И даже мглы — ночной и зарубежной —*

*Я не боюсь.*

Собственно же ответ, который не сразу поняли “веселые, красные люди”, прозвучал десятью годами позже — в “Скифах” (1918):

*Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, —  
С раскосыми и жадными очами!*

Кажется, что устами поэта заговорила сама кочующая Россия-Евразия, ее широкая, исполненная небывалой любви, тоскующая душа, готовая и к “мирным объятиям” с настырным противником, и к “смертному бою” с ним. Перечитывая Блока, понимаешь: никакие дурачки-реформаторы не прервут нашего “вечного кочевья”, не развернут страну в сторону “отзвучавшей цивилизации” Запада — вопреки нашей “варварской”, “древней воле”, не признающей никаких границ, вслушивающейся в идущий из-под земли гул, рвущейся в *Запредельное*.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Александр Блок. Соч. в двух томах. Т. 2. М., 1955. С. 153.

<sup>2</sup> Литературное наследство. Т. 89. Александр Блок. Письма к жене. М., 1978. С. 82-83.

<sup>3</sup> Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990. С. 37.

<sup>4</sup> А. Блок — “поэт религиозный”, — полагал один из создателей евразийской идеологии П. Н. Сувчинский (Александр Блок: PRO ET CONTRA. Личность и творчество Александра Блока в критике и мемуарах современников. СПб., 2004. С. 306).

<sup>5</sup> Литературное наследство. Т. 89. Александр Блок. Письма к жене. М., 1978. С. 52.

<sup>6</sup> В книге лютеранского пастора Иоганна Валентина Андреа “Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца” (1604) были сформулированы основы мистической философии — “учения Розы и Креста”, включавшего в свой состав элементы пифагореизма и неоплатонизма (Rebisse C. Geschichte und Mythos der Rosenkreuzer. Baden-Baden, 2007. S. 24-26, 31, 48-50, 107-113). Розенкрейцерский эзотеризм допускал заключение лишь духовного брака. Братья-розенкрейцеры давали обет целомудрия, без чего было невозможно восхождение по “духовной лестнице” к Абсолюту — “центру божественной любви” (Я. Беме). Невеста Блока не верила, что он всерьез намерен следовать заветам братства. Ее шафером на “химической свадьбе” 17 августа 1903 г. был друг ее брата “петербургский мистик” граф А. В. Розвадовский, готовившийся тогда к пострижению в монахи, ставший через год членом враждебного розенкрейцерам ордена иезуитов и позднее — профессором философии.

<sup>7</sup> Литературное наследство. Т. 89. С. 108.

<sup>8</sup> “В первой юности нам было дано неложное обетование... Может быть, мы сами и погибнем, но останется заря той *первой любви*” (Александр Блок. Т. 2. С. 157). А. Блок и его “духовный брат” А. Белый — *озаренные*.

<sup>9</sup> В записной книжке № 1 Блок описывает явившуюся ему в вешем сне “Владычицу вселенной”, которой он подает стихи Вл. Соловьева, неожиданно оказывающиеся “немецкой книгой”. Ирреальность открывшегося Блоку первообраза *Прекрасной Девы* не снижает его онтологической ценности как элемента *пневматосферы* (= *Плеромы*), вселенского *семантического поля*.

<sup>10</sup> Генон Р. Символы священной науки. М., 2012. С. 415.

<sup>11</sup> Александр Блок. Т. 2. С. 698.

<sup>12</sup> Там же. С. 192. Феномен “радости-страдания” представлен Блоком в драме с розенкрейцерским названием “Роза и крест” (1915).

<sup>13</sup> Там же. С. 728. *Erdgeist* — подземный дух разрушения, тот самый хорошо роющий “крот истории”, которым восхищался младогегельянец К. Маркс. Возможно, именно этот дух придает ту или иную направленность “мщению подземных сил”, напоминающих о себе такими событиями, как поразившее поэта землетрясение в Мессине.

<sup>14</sup> Там же. С. 308. Перед появлением Мефистофеля Фауст открывает книгу на странице с изображением “знака духа земли” (das Zeichen des Erdgeistes). Согласно Гегелю, вселяющийся в самосознание “дух Земли” отвлекает человека от “небесно сияющего духа всеобщности знания”, превращая его в “вождеющее самосознание”, стремящееся к призрачному счастью и рано или поздно уничтожающее предмет своей страсти. Это — “беднейшая форма духа”.

- <sup>15</sup> Hegel G. W. F. *Phänomenologie des Geistes*. Nach dem Texte der Originalausgabe. Berlin, 1975. S. 538.
- <sup>16</sup> Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 2001. С. 514, 513.
- <sup>17</sup> Белый А. Воспоминания о Блоке. М., 1995. С. 16.
- <sup>18</sup> Александр Блок: PRO ET CONTRA. Личность и творчество Александра Блока в критике и мемуарах современников. СПб., 2004. С. 32.
- <sup>19</sup> Там же. С. 559.
- <sup>20</sup> Интерес Блока к египетским мистериям сформировался в ходе изучения текстов Плотина и Владимира Соловьева. Символы египетского мифомышления всплывают, например, в “Клеопатре” (1907), “Снежной Деве” (1907) и “Скифах” (1918), а также — в письмах А. Белому. Поэт не раз отождествлял свое “Я” с “духовным взором”. Например: “Что пока — я? Только — видел кое-что в снах и наяву, чего другие не видели” (Александр Блок. Т. 2. С. 424).
- <sup>21</sup> Андрей Белый и Александр Блок. Переписка 1903–1919. С. 373. Символическим выражением полного торжества дионисийского начала в жизни поэта был показательный эпизод последнего года его жизни, когда Блок в припадке “отвращения ко всему” разбил кочергой стоявшего на его шкафу Аполлона (Блок Л. Д. И были и небылицы о Блоке и о себе. — В кн.: Две любви, две судьбы. Воспоминания о Блоке и Белом. М., 2000. С. 121).
- <sup>22</sup> “Дух музыки” — центральное понятие блоковской эстетики, заимствованное им из книги Ф. Ницше “Рождение трагедии из духа музыки”.
- <sup>23</sup> Л. Д. М. для Блока — “холодная богиня”, воплощение Мировой Души-Софии, “Девы в снежном инее”, *Девы Снежной*: “Она победила морозом эллинское солнце во мне...” *Духовный брак* с ней стал для поэта способом обретения *блаженства абсолютного знания*.
- <sup>24</sup> Замысел одноименной “сонной мистерии” с *крушением героя* (1906), навеянный воспоминаниями Блока о привидевшемся ему в отрочестве “молодом народившимся боге” — *Дионисе Лидийском*, не был им реализован.
- <sup>25</sup> Nietzsche F. *Der Wille zur Macht*. Stuttgart, 1996. S. 13–14.
- <sup>26</sup> Александр Блок. Т. 2. С. 173.
- <sup>27</sup> Александр Блок. Т. 1. С. 485.
- <sup>28</sup> Белый А. Воспоминания о Блоке. С. 16.
- <sup>29</sup> Там же. С. 27.
- <sup>30</sup> Литературное наследство. Т. 89. Александр Блок. Письма к жене. М., 1978. С. 82.
- <sup>31</sup> Андрей Белый и Александр Блок. Переписка С. 88.
- <sup>32</sup> Hegel G. W. F. *Wissenschaft der Logik*. II. Berlin, 1975. S. 12. “Дева есть великая Тайна в Совете Божиим... она есть без плоти рожденный образ” (Беме Я. О тройственной жизни человека. Уфа, 2011. С. 85).
- <sup>33</sup> Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. С. 31.
- <sup>34</sup> “Человек — маленькая монада”, — полагал Александр Блок, — “...инфузория, догадавшаяся о беспредельности”.
- <sup>35</sup> Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. С. 28.
- <sup>36</sup> Белый А. Воспоминания о Блоке. С. 39.
- <sup>37</sup> Ницше Ф. Полн. собр. соч. Т. 7. Черновики и наброски 1869–1873 гг. М., 2007. С. 164.
- <sup>38</sup> Böme J. *Aurora oder Morgenröte im Aufgang*. Frankfurt am Main und Leipzig, 1992. S. 212, 235.
- <sup>39</sup> Александр Блок. Т. 2. С. 153. “Фиолетовый запад гнетет...” (Переписка. С. 160).

---

*Поздравляем нашего давнего друга и автора — философа и публициста Александра Водолагина с 60-летием!*

*Редакция*

ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВ

## ВЛАДИМИР – ИКОНОПИСЕЦ

**5 декабря 1937 года на печально известном расстрельном полигоне НКВД в подмосковном Бутове смертью мученика окончил свои дни Владимир Алексеевич Комаровский** – художник, иконописец, теоретик и практик возрождения канонического православного иконописания в русском церковном искусстве XX века. Около полувека занимаясь поисками его работ, изучая с помощью наследников и близких знакомых художника его биографию и творчество, сложные повороты его трагической судьбы в послереволюционные годы, автор обращается к широкому кругу читателей, мало или вовсе не знакомых с именем этого незаслуженно малоизвестного замечательного человека и художника.

В. А. Комаровский родился 8 октября 1883 года в Петербурге, в носившей графский титул аристократической семье с давними культурными и художественными традициями. Его двоюродный дед – поэт пушкинской эпохи Дмитрий Веневитинов (1805–1827), отец – граф Алексей Егорович Комаровский (1841–1899), художник-любитель и иконописец, в 1890-х годах – хранитель Оружейной палаты Московского Кремля, старший брат Василий (1881–1914) – известный поэт Серебряного века.

Род Комаровских в России ведёт своё начало от польского шляхтича, оставшегося на русской службе после событий Смутного времени в начале XVII века. Родовой титул графов Священной Римской империи, признанный и в России, получил один из его предков – русский офицер, первым привезший австрийскому императору известие о победе над войсками Наполеона.

Начальное образование будущий художник получил в московском Лицее имени Цесаревича Николая Александровича и в гимназии в Ялте, куда переехал после смерти отца и жил у деда по матери Василия Григорьевича Безобразова, представителя древнего дворянского рода.

Окончив три курса юридического факультета Петербургского университета, Владимир Алексеевич перешёл в Императорскую Академию художеств, но вскоре покинул её и стал работать самостоятельно. Большое значение в становлении творчества художника имела многолетняя дружба его с двоюродным братом, графом Юрием Александровичем Олсуфьевым (1878–1938), знатоком и исследователем древнерусской иконописи, а также заказчиком многих его иконописных работ. Впоследствии Юрий Александрович послужит моделью одного из лучших портретов, написанных Комаровским. В 1904-м и 1906 годах они вместе путешествовали по Италии, изучая произведения старых мастеров (этот блистательно образованный и разносторонне одарённый человек, в советские годы работавший реставратором в Третьяковской галерее, был арестован и в 1938 году приговорён к расстрелу).

В 1910-х годах Комаровский постоянно участвовал в выставках в Вене, Лондоне и других городах за границей, а также в Москве — в выставках “Союза русских художников” и “Московского товарищества передвижных выставок”. Произведения Владимира Алексеевича декоративно-прикладного характера (эскизы вышивок, резьбы по дереву, изразцов и т. п.) с 1905 года экспонировались на выставках “Нового общества художников” (НОХ) в Петербурге. Здесь же была представлена первая его церковная работа — эскиз росписи в притворе Троицкого собора Почаевской лавры на Украине, построенного по проекту архитектора А. В. Щусева (1910). К этому времени относится его эскиз мозаики “Благовещение”, хранящийся в частном собрании в Лондоне. В 1909-1910 годах Владимир Алексеевич совершенствовался в живописи в известной мастерской Р. Жульяна и Ф. Коларосси в Париже, а также под руководством проживавшего там В. А. Серова. Живя в Париже, он знакомится с новыми тогда исканиями современных художников Запада, оказавшими влияние на его творчество, ненадолго посещает Италию и летом 1910 года возвращается в Петербург. Впечатления от итальянского искусства раннего Средневековья в какой-то мере отразились в его работах, появившихся на 7-й выставке НОХ в 1910 году. Это — “Архангелы”, “Образ”, “Цари”, “Головы апостолов” и другие. Последняя из названных работ была опубликована в журнале “Аполлон”, в № 1 за 1911 год. В том же номере журнала можно найти отзыв об этих произведениях известного художественного критика Сергея Маковского.

С начала 1910-х годов проявляется живой интерес Комаровского к русской иконописи. Он принимает участие в деятельности “Общества изучения древнерусской живописи”, ратуя за необходимость общедоступных изданий, посвящённых древней иконе, и обращая особое внимание на распространение знаний о подлинно православной иконописи как на дело общенационального значения. В Отделе рукописей Государственной Третьяковской галереи хранится его письмо 1913 года председателю этого “Общества” художнику П. И. Нерадовскому, где он горячо и убеждённо отстаивает эту мысль: “Ещё хочу сказать об издании икон... Не делайте дорогого, роскошного и бесполезного издания, мне кажется, что теперь большая потребность в популяризации иконописи, особенно среди духовенства, было бы полезно именно теперь хорошее НЕДОРОГОЕ (выделено Комаровским) издание икон”.

Тогда же Владимир Алексеевич становится членом редколлегии сборников “Русская икона”, широко общается с художниками, реставраторами и коллекционерами — знатоками русской иконописи. С упоением и восторгом делает зарисовки и копии новооткрытых шедевров древней новгородской иконописи в Музее им. Александра III в Петербурге.

На многотрудный путь современного иконописания Комаровский вступил в 1911 году, когда совместно с уже известным в этой области искусства Дмитрием Семёновичем Стеллецким начал писать иконостас в древнерусском стиле для церкви Константина и Елены в имении графов Медем “Александрия” под Хвалынском Саратовской губернии (1911-1913). При создании этого иконостаса художники применили своеобразное распределение труда, известное, по крайней мере, с XVII столетия: Стеллецкий выступал как “знаменщик” и делал рисунки икон, а вся живописная работа красками выполнялась Комаровским. После революции церковь была разграблена и разрушена, иконы утрачены. Владелец имения и заказчик иконостаса Александр Антонович Медем при советской власти крестьянствовал на арендованном участке земли, был несколько раз арестован по церковным делам, в 1931 году умер от туберкулёза в тюремной больнице в г. Сызрани. В 2000 году прославлен Русской Православной Церковью в лике святых мучеников.

В апреле 1912 года Владимир Алексеевич вступил в брак с Варварой Фёдоровной Самариной (три года спустя её отец, Фёдор Дмитриевич Самарин, на краткий срок займёт должность обер-прокурора Святейшего Синода, но вскоре будет уволен по личному требованию императрицы за попытку борьбы с влиянием Распутина. Комаровский хорошо знал о конфликте своего тестя с царской семьёй и был целиком на его стороне).

В том же 1912 году художник совершил творческую поездку в Ростов Великий и Ярославль для знакомства с тамошними памятниками древней архитектуры и произведениями искусства, хранившимися в храмах и ростовском Музее церковных древностей.

Прежде чем приступить к очередной иконописной работе, требовательный к себе художник колеблется, слыша заявления близких друзей, в частности, Олсуфьева, что “теперь икону в строгом смысле написать нельзя, что ни-че, отдающего религиозному чувству, не напишем, пока в совершенстве не овладеем способом выражения древнерусского искусства”. “Тем не менее, — писал Комаровский, — нельзя не стремиться к этому, хотя бы заведомо зная, что наши иконы пока будут неудовлетворительными с точки зрения внутреннего содержания”. И глубоко верующий, прекрасно знакомый с иконописью древних мастеров, он с благоговением продолжал труд иконописца. В 1913–1915 годах при участии Д. С. Стеллецкого Комаровский создал иконостас для церкви преподобного Сергия Радонежского на Куликовом поле, в селе Буйцы Епифанского уезда Тульской губернии. По отзывам видевших его современников, это был великолепный художественный ансамбль, стилистически связанный с архитектурой храма, построенного по проекту А. В. Щусева (1908) в традициях древнерусского зодчества (освящён в 1918 году). Кисти Комаровского здесь принадлежало большинство произведений: царские врата, ярус праздников, деисусный чин и большая часть икон местного ряда, а Стеллецкий, ещё до окончания работ навсегда покинувший Россию, написал иконы пророческого ряда.

Работа над иконостасом производилась в имени деда Комаровского Ракша Моршанского уезда Тамбовской губернии и получила высокую оценку близкого друга Комаровского и заказчика иконостаса Ю. А. Олсуфьева, знатока и строгого ценителя искусства, который телеграфировал художнику: “Сегодня открыли иконы. Поражены красотой”.

Сейчас известно единственное случайно сохранившееся произведение из этого иконостаса, вывезенное владельцем имения из Буйцов, — образ преподобного Сергия Радонежского работы Комаровского — замечательный образец канонической иконописи, ориентированный на творческое переосмысление древнерусских художественных традиций, настоящая, высокого стиля и уровня духовного содержания икона, которую некоторые принимали за подлинное произведение шестнадцатого века.

Пишущему эти строки в 1970-х годах посчастливилось не раз любоваться этой дивной иконой в московской квартире племянницы Ю. А. Олсуфьева Екатерины Павловны Васильчиковой (1896–1994). На всю жизнь отложился в моей памяти этот поясной, на белоснежном фоне образ с молитвенно протянутыми руками, мягко светящийся благородного оттенка багор на одежде святого, тонкие лессировки его вдохновенно-молитвенного лика.

Екатерина Павловна, добрая моя знакомая, всю свою долгую жизнь бывшая близкой с семьёй Комаровских и даже состоявшая с ними в родстве, входила в круг лиц, послуживших живым связующим звеном между героем этого повествования и мной. Её рассказы о Владимире Алексеевиче Комаровском наряду с другими подвигли меня заняться изучением его жизни и творчества\*. Что касается иконы преподобного Сергия Радонежского, то впоследствии она была пожертвована владелицей в единственную действующую тогда церковь близ Куликова поля в селе Рождествене — Монастырщине.

О печальной участи церкви на самом Куликове поле и её иконостаса с горечью поведал А. И. Солженицын в рассказе “Захар-Калита”: “Церковь во имя Сергия Радонежского, сплотившего русские рати на битву, построена, как добрая крепость... Две круглых крепостных башни. Немногие окна — как бойницы. Внутри же не только всё ободрано, но нет и пола, ходишь по песку. Спросили мы у Захара. — Ха-га-а! Хватились! — позлорадствовал он на нас. — Это ещё в войну наши куликовские все плиты с полов повыламывали, себе дворы умостили, чтобы ходить не грязно. Да у меня записано, у кого сколько плит... Ну да, фронт проходил, тут люди не терялись, ещё наперёд наших иконостасные доски пустили землянки обкладывать да в печки”...

Конечно, церковь, переданная верующим, давно уже приведена в идеальный порядок, в ней теперь совершается служба, но чем восполнить утрату замечательных икон, погибших от извечного нашего варварства и равнодушия?

---

\* См.: Сергеев В. Н. В. А. Комаровский (1883–1937) — иконописец XX столетия // Журнал “Златоуст”. № 2. 1993. С. 234–241; Он же. Комаровский Владимир Алексеевич // Православная энциклопедия. Т. 36. М., 2014. С. 500–503.

С началом Первой мировой войны Комаровский, освобождённый от службы в армии в связи с тяжёлой хронической болезнью, находился на Кавказе, где включился в работу Всероссийского земского союза, занимаясь организацией лазаретов для раненых. В 1915 году по заказу Ю. А. Олсуфьева он написал большие иконы Спасителя и Божией Матери для Успенской церкви русского Ольгина монастыря близ Мцхеты (Грузия; местонахождение икон неизвестно).

Летом 1917 года Комаровский с семьёй переехал из Петербурга в Подмосковье, в имение своей жены Варвары Фёдоровны Измалково, расположенное вблизи станции Переделкино по Киевской железной дороге. Их большой, вместительный дом вскоре принял лишившихся крова родственников и друзей. Об этих годах жизни художника читаем в воспоминаниях Ксении Петровны Трубецкой, урождённой Истоминой: «После того, как отца освободили, — пишет мемуаристка, — Алексей Владимирович и Варвара Фёдоровна Комаровские пригласили нашу семью в её подмосковное имение Измалково. Переехали мы туда летом 1917 года и прожили около шести лет. После нас приехала в Измалково семья Осоргиных... В шутку наше сожительство называли «Искомое» (Истомины, Комаровские, Осоргины). Вскоре после приезда Осоргиных, по зимнему пути из их имения Сергиевское на Оке приехали на трёх санях тамошние крестьяне. Они привезли всякие деревенские угощения, рассказывали о своей жизни, радовались свиданию. Прекрасные отношения с крестьянами соседних деревень были и у Самариных, а позднее — и у Комаровских. Помню рассказы о том, что в случаях несчастий по хозяйству — пала ли лошадь или корова, случился ли пожар — никогда не было отказа в помощи... Вспоминаю некоторые случаи из измалковской жизни. Но сперва скажу, что в начале ещё сохранялось некоторое хозяйство. Были три коровы и две лошади... Наши старшие совместно возделывали большой огород, сажали картошку, заготавливали сено. На Рождество устраивали нам великолепные ёлки, изукрашенные и сияющие зажжёнными свечами».

Эти безмятежные детские воспоминания приходятся на трудные для Комаровского годы, когда он сильно бедствовал, преподавая рисование в сельской школе, перебиваясь случайными заработками, и в первый раз был арестован.

В 1918–1919 (по другим сведениям — не позднее 1923 года) им была создана больших размеров Донская икона Божией Матери — суровый и трагический образ послереволюционной эпохи, вошедший в историю русского искусства как одна из лучших икон XX века (ныне находится в Покровской церкви Свято-Данилова монастыря в Москве). Подробности о драматической судьбе этой иконы читаем в процитированных выше мемуарах свидетельницы и участницы её находки — Ксении Петровны Трубецкой: «На полдороге от станции Переделкино до измалковского дома, там, где теперь дачи писателей, на первом правом углу находилось деревенское кладбище. На нём стояла небольшая деревянная часовня, никогда не запиравшаяся. Владимир Алексеевич написал и поставил в ней, не позднее 1923 года, большой иконописный образ Божией Матери. Пред ней постоянно горела лампада. Во второй половине или в конце двадцатых годов часовню уничтожили и образ попал в сельсовет, где из него сделали доску для стола, к счастью, не погубив самого образа. Затем икона была взята в одну крестьянскую семью деревни Рассказовка и много лет там находилась. Условия не были благоприятными, но, милостью Божией, икона продолжала существовать в относительно хорошей сохранности. В 1970 году дочь Владимира Алексеевича — Антонина Владимировна — с помощью Валерия Николаевича Сергеева разыскала икону и привезла её в Москву. Сейчас икона передана Антониной Владимировной в московский Свято-Данилов монастырь»\*.

Мне, действительно, довелось тогда принять участие в поисках этой выдающейся иконы, организовав однодневную экспедицию в места, где она была создана. Несмотря на давность события, отчётливо встаёт в памяти то хмурое утро в конце зимы, когда встретился у Киевского вокзала с двумя другими участницами этой поездки и моими добрыми друзьями. Уже сидя в электричке, с любопытством плебея внимал добродушной перебранке двух старых

\* Трубецкая К. П. Воспоминания о П. И. Истомине // «Хоругвь». Сб. статей. № 1. 1993. С. 64–65.

русских аристократок. “Ты, Тоня, совсем дура!” — говорила княгиня Трубецкая графине Комаровской, а та, явно привыкшая к такому определению со стороны своей близкой подруги, примирительно отвечала: “А ты, Ксана, зануда”. Предметом ссоры был я...

Антонина Владимировна, несколько лет не соглашавшаяся на данную экспедицию, не веря в её успех, и теперь упрямо ворчала, что зря едем, что ничего не найдём, поскольку со времени создания иконы прошло пятьдесят лет, на что Ксения Петровна резонно возражала: “Валерий Николаевич находит в своих музейных экспедициях произведения, написанные и пятьсот лет тому назад”...

Сойдя на станции Переделкино, мы пешком отправились в ту самую большую деревню Рассказовку, тогда ещё не снесённую с лица земли стремительно надвигавшейся городской застройкой. Здесь в 1930 году в последний раз видели разыскиваемую нами икону. В поисках её мы заходили в каждую избу и рассказывали о цели нашего приезда. На кухне одного деревенского жилища видели небольшой прекрасный портрет молодой крестьянки работы Комаровского, написанный в манере Ренуара. Это было изображение бабушки нынешней хозяйки, которая знала, что портрет создан лет пятьдесят тому назад “измалковским барином”, и наотрез отказалась продать памятную для неё вещь.

Зимний день уже клонился к закату, когда мы, наконец, попали в дом, в чулане которого обрели искомое. Икона была в прекрасной сохранности, но часть лика Божией Матери оказалась залитой чернилами — след её использования в местном сельсовете в качестве письменного стола. Хозяин избы, молодой человек, к моему удивлению, придерживался издревле живущего в нашем народе убеждения, что иконы продавать грешно, долго отказывался от той скромной суммы, которую мы могли ему предложить, и взял деньги только на том условии, мы платим не за саму икону, но лишь за её хранение.

Замерзшие, голодные и счастливые, мы уже в сумерках поймали такси и довезли большую, размером примерно 120 сантиметров в высоту и 80 в ширину, написанную на массивной доске и очень тяжёлую икону до квартиры Антонины Владимировны в Мерзляковском переулке. Сначала икона реставрировалась в Музее имени Андрея Рублева Анной Степановной Веселовской и, после передачи святыни в Данилов монастырь в 1990-е годы, — священником-иконописцем о. Вячеславом Савиных.

В первой половине 1920-х годов Владимир Алексеевич Комаровский был духовным сыном почитаемого в Москве старца — отца Алексея Мечёва (впоследствии прославленного Церковью как святой праведный Алексий Московский), а после его смерти (1923) — священномученика о. Сергия Мечёва, расстрелянного в 1940 году.

В 1921 году Комаровский был впервые арестован и провёл три месяца в Бутырской тюрьме. Вся его вина заключалась в том, что у него в Измалкове гостили несколько друзей и родственников. “Монархический заговор!” — определили бдительные чекисты, но совершенно далёкий от политики Владимир Алексеевич был освобождён по ходатайству в ВЧК крестьян села Измалкова и окрестных деревень. Сохранился этот трогательно-наивный документ, возымевший, однако, своё действие — свидетельство заботы этих простых людей о судьбе их бывшего барина: “Мы, граждане вышеуказанных деревень, общим приговором порешили ходатайствовать пред Чрезвычайной Комиссией о разрешении выпустить под общую нашу круговую поруку заарестованного в настоящее время гражданина В. А. Комаровского, состоящего учителем при нашей сельской Самаринской школе; в нём ощущается крайняя необходимость по его должности как учителя”. Местные крестьяне вообще любили Владимира Алексеевича за доброту и доступность и в те голодные годы тайком помогали ему, по ночам привозя продукты, плоды своих трудов, и оставляя дары у дверей измалковского дома, о чём тронутый их заботой художник вспоминал всегда с благодарностью и гордился хорошим отношением к нему людей из народа.

В 1923 году, изгнанный вместе с семьёй из измалковского дома, он переехал на жительство в Сергиев Посад и, живя в доме Олсуфьевых на Вальной улице, работал художником в Комиссии по защите памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, затем — в Сергиевском музее. Участвовал в выставках местного творческого объединения “Клич”. К этому времени относится его знакомство с о. Павлом Флоренским (1882–1937), который тесно

общался с Владимиром Алексеевичем и высоко ценил его личность и творчество. В 1925 году о. Павел писал о светской живописи Комаровского в письме к одному из основателей творческой группы “Маковец” художнику Н. М. Чернышёву: “Он идёт от французов и от русской иконы. Но в противоположность стилизаторам (Стеллецкому и прочим), он живёт не красками, а реальностью... Это большой художник, с каждым месяцем делающий шаг вперёд. Он ищет конкретного выражения в живописи самого сердца реальности и достиг успехов, которым трудно поверить, не видя его работ”.

В 1924–1925 годы Владимир Алексеевич создал вызвавшие большой интерес и споры среди знатоков искусства три портрета о. Павла Флоренского (Музей-квартира священника П. А. Флоренского в Москве) и портрет Ю. А. Олсуфьева (частное собрание, Москва), в стилистике которых своеобразно сочетаются традиции авангардистской живописи, народного примитива и средневековой фрески. Приблизительно к этому времени относится его икона “Св. мученица Екатерина” из собрания Е. П. Васильчиковой (Москва).

Пребывание Комаровского в Сергиевом Посаде оказалось недолгим. В 1925 году он снова был арестован по надуманному обвинению в “принадлежности к монархической группировке бывшей аристократии”. Несмотря на то, что на его защиту выступили известные деятели культуры (архитектор Щусев, художники Фаворский, Нерадовский, Остроухов, скульптор Андреев, а также Музейный отдел Главнауки и группа из двадцати восьми измалковских крестьян, он был осуждён и отправлен на три года в ссылку в город Ишим Тобольской области. Там, зарабатывая писанием вывесок, покраской заборов и крыш, он продолжал заниматься творчеством — писал портреты и иконы, создал серию темперных, на дереве, картин, в иконописной форме и символично-философского содержания, отражающих существенные моменты и обстоятельства человеческой жизни: “Брачный пир”, “Семейная группа”, “Трапеза”, “У постели больного” и др. (к настоящему времени утрачены). До нашего времени дошла единственная работа этой серии “Блудный сын” (Церковно-археологический музей Данилова монастыря). В семье художника сохранились также исполненные любви и заботы письма из ишимской ссылки к жене Варваре Фёдоровне\*.

В 1928 году Владимир Алексеевич возвращается из ссылки в Москву, но, ограниченный по месту жительства, осенью того же года устраивается в ныне не существующем селе Федосьине в трёх километрах от станции Переделькино, а затем в деревне Рассказовке. Чтобы прокормить семью, берётся за любую работу: технические рисунки, чертежи, диаграммы, расписывает игрушки для Кустарного музея... Тогда же Комаровский написал икону Донской Божией Матери для церкви села Ахтырка Загорского р-на Московской области, ещё сохранявшуюся в этом храме в 1970-е годы.

В самом конце 1928 года он получает заказ, принесший ему большую радость, — роспись церкви Святой Софии — Премудрости Божией на Софийской набережной в Москве (1929). Заказчиком был настоятель этого храма о. Александр Андреев (1901–1937; расстрелян, в 2000 году прославлен Церковью как священномученик). Сохранившаяся лишь фрагментарно, эта роспись, согласно официальной искусствоведческой экспертизе, “должна рассматриваться как уникальный памятник русского церковного искусства XX в. и как реликвия Церкви, достойная особого поклонения” (эксперт — доктор искусствоведения Л. И. Лившиц). Сохранились также несколько эскизов и фотографий этой росписи.

“Весной 1930 года, — вспоминает дочь художника Антонина Владимировна Комаровская, — Владимир Алексеевич случайно избежал нового ареста: когда за ним пришли, успел выйти из дома и провёл ночь в лесу. После этого, заболев воспалением лёгких, лежал в Москве у родных. Решив, что за ним следят, тут же собрался и, больной, уехал к сестре своей жены в город Верею Московской области, где провёл несколько месяцев. Живя там, беседовал с отдыхавшим летом в Верее о. Сергием Мечёвым. И как бы в продолжение этого общения и разговоров изложил в письме к о. Сергию свои мысли об иконописи и о возможности её возрождения в наши дни”\*\*.

\* См.: “Необыкновенно яркие здесь звёзды...”: Письма В. А. Комаровского к В. Ф. Комаровской 1925–1928 гг. // Коркина слобода. Краеведческий альманах. Ишим, 2001. Вып. 3. С. 60–110.

\*\* Журнал “Златоуст” № 2. 1993. С. 249.

“Письмо об иконописи” впервые было опубликовано в 1979 году в переводе на французский язык, причём без имени автора, в издававшемся в Париже “Вестнике Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата”. Поскольку лично мне пришлось принять своеобразное участие в упомянутой публикации, расскажу здесь, как всё это было. Чрезвычайно высоко ценя эту работу Комаровского, я предпринял ещё в начале 1970-х годов несколько попыток её обнародовать в одном из церковных изданий, но всякий раз, как это ни парадоксально теперь может показаться, встречал сопротивление со стороны наследников автора — упоминавшейся уже дочери художника Антонины Владимировны и его сына Алексея Владимировича, проживавшего в Вильнюсе, но встречавшегося со мной в время приездов в Москву. Едва я сделал предложение опубликовать “Письмо об иконописи” в “Журнале Московской Патриархии”, где иногда сам анонимно печатался, то получил решительный отказ, мотивированный нежеланием видеть работу их расстрелянного отца “в советском издании”. Предложение устроить публикацию на Западе также было отвергнуто со ссылкой на реальную опасность преследований за это в те годы. В один из приездов в Москву жившего в Париже выдающегося богослова-иконолога нашего времени Леонида Александровича Успенского я ознакомил его с этой работой, от которой тот пришёл в восторг. Леониду Александровичу с трудом удалось договориться с Антониной Владимировной о её напечатании в политически нейтральном патриаршем “Вестнике” лишь на условиях полной анонимности. Так запуганы были эти люди, пережившие десятилетия гонений, арестов и ссылок.

На русском языке “Письмо об иконописи” мне удалось впервые публиковать в качестве приложения к своей статье о В. А. Комаровском в 1993 году во 2-м номере журнала “Златоуст”<sup>\*</sup>.

“Письмо об иконописи” Комаровского — выдающаяся теоретическая работа, не потерявшая своего значения и в наши дни. Одновременно это вдохновенное слово глубоко верующего человека, которому доступны высокие созерцания Небесного.

По мысли автора, цель иконописания — “хваление Бога в лицах”, создание иконы приравнивается к молитве. Основная задача современного церковного художника — “не только усвоить технические приёмы” по древним образцам, но и “войти в сферу свободной композиции”, создавая самостоятельные, творческие произведения. Центральная тема “Письма” — анализ принципиальных различий иконописи и реалистической живописи по языку и целям, присущим тому и другому видам искусства. “Иконопись, — пишет Комаровский, — веками, под благодатным Покровом Святой Церкви, создавала те законы, условия и способы, которыми она достигает полноты выражения. Обратная перспектива, дополнительная плоскость, так называемое вохрение — высветление ликов, пробела, и т. д. — всё это творчески и органически связано с целым...” Согласно глубокому убеждению автора, система названных им приёмов в канонической иконописи является единственной возможной основой её художественного языка. “Но мы знаем, — признаёт Комаровский, — что есть благодатные и чудотворные иконы живописные, но это только означает, что “Дух дышит идеже хочет”, но этот факт не опровергает того, что наилучшим приёмником Духа является тело иконописное”. По его мнению, “все иконы Андрея Рублева почитались чудотворными, вероятно, не только за святость писавшего, но и потому, что взаимная необходимость и цельность всех отдельных элементов в его творчестве достигала той высоты, которая присуща Божественному”. Комаровский весьма скептически относится к практике копирования при создании икон: “Чтобы подготовить путь к иконописи творческой, нужно совсем другое: осознание законов пластической формы по существу...”. Неприемлема для него и изощренная стилизация икон “под древность”, широко распространённая в русском церковном искусстве конца XIX — начала XX вв.: “Суррогат иконописи, дающий иллюзорный вкус высокого стиля, и лицемерен, и вреден. Пусть уж иконопись будет убога, но правдива”. Особенностью “Письма об иконописи” является перспективное для дальнейших исследований учение о т. н. “диатаксисе” — о различных уровнях созерцания разной степени высоты образов.

---

<sup>\*</sup> Второе его и более доступное русское издание с современным комментарием см. в сб.: “Православная икона. Канон и стиль. К богословскому рассмотрению образа”. М., 1998. С. 150–160; 472–473.

Здесь Комаровский выделил как наиболее перспективные работы молодой тогда иконописицы Марии Николаевны Соколовой — впоследствии монахини Иулиании, чьё многолетнее творчество и преподавательская деятельность в 1930–1960-е годы послужили одной из основ возрождения современного иконописания в России.

В подготовке этого теоретического труда значительную роль сыграл о. Павел Флоренский, который принимал деятельное участие в обсуждении и окончательно редактировании его текста.

Осенью 1930 года Комаровский был всё же арестован и провёл около пяти недель в московских тюрьмах. Биографы до сих пор спорят о числе и последовательности гонений и преследований, которым подвергался этот ни в чём не повинный человек. Для нас же важно подчеркнуть то благодушие и терпение, с которыми он относился к своим гонителям и мучителям. Помню рассказ Антонины Владимировны Комаровской, как вернувшись однажды из магазина, она не застала отца дома, а сосед видел, что тот шёл на станцию, весело и оживлённо разговаривая с каким-то незнакомым соседю человеком. Вскоре выяснилось, что собеседником Владимира Алексеевича был приезжавший его арестовывать сотрудник ОГПУ.

С 1931 года художник проживал в посёлке на станции Жаворонки по Белорусской железной дороге. Зимой 1933–1934 года он в очередной раз был арестован, но той же весной неожиданно освобождён. Вместе с ним был подвергнут аресту его восемнадцатилетний сын Алексей, приговорённый к трем годам лагерей. Вот как вспоминает эту историю в своих поздних, лагерных воспоминаниях, опубликованных за рубежом, сам Алексей Владимирович: “Уже стала появляться первая зелень и распустились первые цветы “мать-и-мачеха”, когда я получил из дома письмо с известием об освобождении из тюрьмы моего отца. Помог известный художник Павел Дмитриевич Корин. Ещё до революции его брат Александр Дмитриевич, будучи ещё совсем юным, помогал моему отцу в работе над иконостасом для церкви на Куликовом поле. С тех пор у отца сложилась дружба с обоими братьями, которые его любили и уважали. П. Д. Корин в тридцатые годы был в большом почёте у Горького, а Горький дружил домами с Ягодой, наркомом ГПУ. Корин обратился к Горькому с просьбой помочь отцу. Павел Дмитриевич дважды спасал моего отца: в первый раз — в 1929 году, второй — в 1934-м. Но в последний раз, в 1937 году, Корин был бессилиен помочь отцу: к тому времени не было в живых ни Горького, ни Ягоды”<sup>\*</sup>.

До 1937 года Комаровский работал в издательствах, участвовал в росписи интерьера Казанского вокзала в Москве (по эскизам Е. Лансере), создал ряд монументальных композиций (панорама Москвы в Геологическом музее; утрачена), серия декоративных панно в детском санатории “Ярополец” и др., картины из серии “Сказки Пушкина” для павильона игрушек в Измайловском парке, эскизы росписей актового зала Московского университета на Моховой, аптеки на ул. Горького. К 1936 году относится последняя его церковная работа — роспись алтаря кладбищенской церкви в честь иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радосте” в Рязани (в настоящее время — под позднейшей масляной записью). 27 августа 1937 года, в канун праздника Успения Божией Матери, Владимир Алексеевич был арестован по грубо сфабрикованному ложному обвинению как “участник контрреволюционной монархической организации церковников, последователей Истинно-Православной Церкви” и препровождён в Таганскую тюрьму. Прощаясь с родными — детьми и лежащей в параличе женой, — сказал только: “Молитесь Богородице”. Расстрелян 5 ноября 1937 года и похоронен в общей могиле на Бутовском полигоне. Реабилитирован в 1960 году.

С первой половины 1990-х годов начался интерес исследователей к биографии и творческому наследию Комаровского. К настоящему времени библиография работ о нём насчитывает не один десяток названий.

Среди современных мастеров церковного искусства он почитается как страдалец за веру и покровитель “святого ремесла” иконописания. Служатся панихиды об упокоении души раба Божия убиенного Владимира и, в надежде на будущее церковное прославление в сонме святых мучеников, пишутся его изображения в иконном стиле с надписью: “Владимир — иконописец”.

---

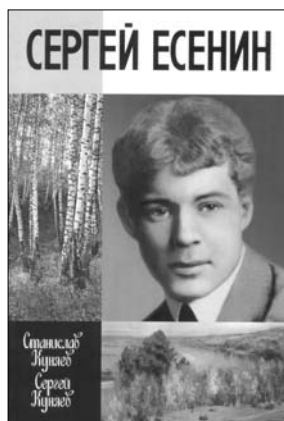
<sup>\*</sup> Комаровский А. В. Пролог // Новый журнал. Нью-Йорк. 1991. Кн. 183. С. 308.

И теперь, почти шесть десятилетий спустя после гибели Владимира Алексеевича Комаровского, зададимся вопросом: так за что же при власти “строителей нового светлого будущего” был лишён жизни этот простодушный и незлобивый человек, напроць лишённый каких-либо сословных претензий и предрассудков, в послереволюционные годы — бедняк в евангельском смысле этого слова, трудившийся, чтобы прокормить тяжко больную жену и четверых детей, несколько раз безвинно арестовывавшийся и, наконец, расстрелянный? За утраченный ли графский титул, независимость взглядов и суждений, за веру и верность Церкви и святому своему призванию?

.....

## ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ В РЕДАКЦИИ ЭТИ КНИГИ

*количество ограничено, справки по телефону (495) 621-48-71*



Станислав КУНЯЕВ  
Сергей КУНЯЕВ  
Серия ЖЗЛ.  
Сергей ЕСЕНИН



Станислав КУНЯЕВ  
Жрецы и жертвы  
холокоста  
(издание третье)



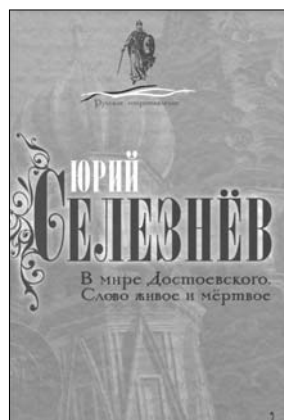
Станислав КУНЯЕВ  
Любовь,  
исполненная зла



Ярослав СМЕЛЯКОВ  
Терновый венец



Станислав КУНЯЕВ  
СТАС уполномочен  
заявить



Юрий СЕЛЕЗНЁВ  
В мире Достоевского.  
Слово живое  
и мёртвое

